

УРУЙМАГОВА
ЕЗЕТХАН

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ

КНИГА
ПЕРВАЯ



Отсканировано
в июне 2013 года
специально для эл. библиотеки
паблика «Бәрзәфцәг»
(«Крестовый перевал»).

Скангонд æрцыд
2013 азы июны
сæрмагондæй паблик «Бәрзәфцәг»-ы
чиныгдонæн.

<http://vk.com/barzafcag>

Езетхан Уруймагова

КНИГА ПЕРВАЯ

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ

Роман

ИЗДАНИЕ 5

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИР» ● ОРДЖОНИКИДЗЕ * 1976

С(Осет)
У—73

У—73 **Уруймагова Е. А.**
Навстречу жизни. Роман. Изд. 5-е.
Кн. 1 — Орджоникидзе, «Ир», 1976.
Кн. 1. 1976. 527 с.

У $\frac{733-82}{M131(03)-76}$ 26—76

С(Осет)

Часть первая



I

Ребенок стоял посреди глиняного пола на высохшей телячьей шкуре. Поодаль от него лежали две тыквы: одна — ярко-оранжевая, другая — зеленовато-жухлая. Мальчик тянулся к ним, но боялся шагнуть. Мать, сидя на краю жесткого топчана, улыбалась ему и звала:

— Иди, иди смелее, на, возьми...

Носком сафьянового чулка она подтолкнула к ребенку тыкву и протянула ему руку. Малыш, выбросив ручонки вперед, как бы умоляя прийти ему на помощь, сделал два неуверенных шага и остановился.

— Ах, ты, маленький трус, лишний шаг боишься

сделать. Ну-ка, давай, шагай, в год не научился еще ходить...

Она присела на корточки и ласково подзывала сына, катая перед ним тыкву. Ребенок стоял, вытянув руки, и вдруг бросился к матери и обхватил ее за шею.

В дверь постучали. Мать посадила ребенка на топчан, оправила косынку на голове, которую носят все замужние осетинки, затем открыла дверь. На пороге стоял коренастый, большоголовый мужчина, с коротким туловищем и крутыми бочкообразными боками. Это был стремянный помещика Туганова, Габо. К поясу его черкески были привешены две уздечки.

— Добрый вечер, Разиат,—проговорил Габо, оглядывая стройную фигуру молодой женщины.

— Дела ваши да будут добрыми,—ответила она на приветствие, продолжая стоять у порога.— Мужа нет дома, потому и не зову,—добавила Разиат, не отходя от порога.

— Я знаю,—ответил Габо,—но все же мне надо войти в дом и сказать тебе два слова.

Он прошел мимо безмолвно стоящей женщины. Укоризненно поглядев на нее, сам взял табуретку и присел у окна. Щуря зеленовато-желтые глаза, оглядел убогое убранство хижины и произнес:

— Настоящий мужчина не имеет права жениться, если не может прокормить семью...

— Муж мой ни разу не ходил к вам за куском хлеба,—произнесла Разиат, сдвинув тонкие брови.

— Темур обещал починить уздечку,—будто не слышав, проговорил Габо.—Амурхан эту уздечку никому не доверяет — подарок князя Наурузова...

— Муж уже давно не занимается этим...

— Что так, или новому ремеслу научился? — усмехнулся Габо.

— Он все умеет делать, когда захочет,—гордо сказала молодая женщина, наклонившись к ребенку.

— Все умеет делать, а в нищете живете,—ехидно бросил Габо.

Разиат вспыхнула, хотела еще что-то сказать в ответ, но промолчала и взяла сына на руки.

Не скрывая презрения к их бедности, Габо осматривал низенькую комнатушку: стены сверкали снежной белизной, пол гладко смазан, очаг подбелен. Только обстановка в комнате была действительно убогая: деревянная кровать с двумя подушками, топчан, покрытый жестким войлоком, дубовый стол без скатерти, скамейка и три табуретки. В простенке между окнами висело маленькое зеркало. Отсыревшие пятна на нем напоминали осенний репейник. На деревянный сундук была брошена бурка, сделанная умелыми руками Разиат. Габо, не спуская глаз с бурки, отливающей смолой, проговорил:

— Не в такой бы тебе, Разиат, конуре жить... А могла б лучше жить, уаллахи-биллахи¹, могла б, сам Амурхан не раз тебя примечал, говорит: красавица Темура жена...

— Предложите помещику свою сестру, а если не считаете зазорным говорить такое мне, замужней женщине, так предложите своей жене, — прервала она Габо, зардевшись от стыда.

— У моей жены не выросли такие косы, под которыми можно укрыться и в зной, и в ненастье... — продолжал Габо, не обращая внимания на возмущенный тон женщины.

— Ваше поведение недостойно мужчины, я замужем... вы оскорбляете мужа, он не простит вам этого... — с дрожью в голосе произнесла она.

— Я считаю тебя настолько умной, что уверен — о таких вещах не станешь говорить мужу... Он тебе слишком дорог, чтобы настраивать его против Амурхана... и против меня...

— Бесчестный сводник, не смейте так говорить, не смейте!..

Но стремянный спокойно продолжал:

— Муж твой лучший седельщик, седла его в Кабарде и в Дагестане знают, не говоря уже о том, что он лучший наездник по всей Осетии...

Габо испытующе посмотрел на молодую женщину. Он решил во что бы то ни стало доказать сегодня, что на службе у помещика Туганова ей, маленькому сыну

¹ Уаллахи-биллахи — так мусульманин клянется богом.

и мужу будет гораздо лучше жить, чем в этой курной избе.

— Скажи мужу, что девушка, выходя замуж, бросает родную мать и отказывается от фамилии своего отца не для того, чтобы ей в доме мужа жилось хуже, чем у отца... Не умирать женщина выходит замуж, а жить... Держит он тебя в этом курятнике...

Габо брезгливо плюнул на пол.

— В вашем доме не чище, чем в моем курятнике, — проговорила Разиат, еле сдерживая слезы обиды.

— Вот, вот и я о том же говорю, — продолжал Габо с ехидным спокойствием. — Разве ты не работница?.. Убрать не умсешь или пошить, или приготовить? Говорят — от вечерней зари до утренней у тебя черкеска на тридцати крючках бывает готова...

— Что вы от меня хотите? Не подобает мужчине с женщиной попусту болтать... Мужа нет дома, приходите, когда он вернется, — снова напомнила она, сдерживая дрожь в голосе.

— Скажи мужу, если он хочет по-человечески жить, пусть идет к Амурхану в услужение. Кто, как ни Темур, может обуздать непокорного коня, сделать легкое седло, плетку тонкую, как лезвие... Богатым конюшням Амурхана Туганова не хватает только Темура Савкуева.

— Мой муж не для того родился, чтобы стать принадлежностью помещицкой конюшни, у помещика для этого есть такие, как вы...

— Я судьбой доволен, — проговорил Габо, не смущаясь. — А уж тебя, поверь, не на каторжный труд приглашаю, — к сестре Амурхана в качестве компаньонки. В тепле жить будете, в покос. Да стану я жертвой твоей, Разиат, не пожалел бы я отдать за тебя не только конюшни Амурхана Туганова, но и породистые табуны князя Наурузова, если б они у меня были...

— Как вы смеете! — возмутилась она. — Не нужен мне покой, если спина моего мужа будет служить помещику седлом. Хватит того, что вы стали подстилкой для его ног, позабыв и честь осетина, и гордость

мужчины, — проговорила она с презрением. — Я ненавижу мужа, если увижу его хоть один день на вашем месте! — вскричала она. Смуглая кожа ее лица покрылась багровыми пятнами. — Прощу, уходите.

Габо поднялся, бросил на нее взгляд, полный затасиной ненависти, и как можно спокойнее произнес:

— Хорошо, я больше никогда не приду в ваш дом, так как у вас нет больше дома... ни у тебя, ни у твоего мужа...

Короткой толстой ногой он отпихнул табуретку назад и стремительно подался к двери. Но у входа повернулся, и погрозив оттуда женщине серебряной уздечкой, задыхаясь, прошипел:

— Сама придешь... нет, приполз-з-з-ешь, змея! Вспомнишь Габо!

Он закрипел зубами, и на его щеках взбугрились упругие желваки.

Разиат посмотрела вслед стремянному и с ужасом подумала: «Боже мой, что это значит? Ни у тебя, ни у твоего мужа нет больше дома».

— Помогите, господа, — произнесла она вслух и побежала на улицу, прижимая сына к груди.

Сырой весенний день клонился к вечеру. Тяжело, как после угара, просыпалась земля.

Селение Дур-Дур раскинулось на покатом холме у входа в ущелье, у густых лиственных лесов. Но сейчас лесистые холмы стояли оголенные, угрюмо-темные. Ночами мела сухая поземка, одевая в блестящую корку гололедицы взбухшую по-весеннему землю. В ожидании первых теплых дождей крестьяне тревожно оглядывали сизые дали, заглушая в себе безудержный зуд к работе. Но весна запаздывала. Старики не снимали овчинных шаровар и мохнатых папах, а из чужак еще по-зимнему торчали золотистые соломинки.

Из кирпичной трубы двухэтажного помещичьего дома волной тонко расчесанной шерсти струится белесый теплый дымок. Окруженный каменным забором дом помещика Туганова горделиво высится у самого ущелья. Реки Урсдон и Дур-Дур, вырвавшись из гор на равнину, сплелись здесь в тесных объятиях, омывая с двух сторон фруктовые сады помещиков Тугановых и Кубатиевых. Жилые постройки поме-

щичьего имения в беспорядке расползались по мягкому холму, по берегу реки. Сегодня к помещику Туганову приехал гость, князь Макаев. По крашеному коридору нарядного особняка Туганов провел своего гостя во внутренние покои. Через минуту, выйдя в коридор, хозяин громко позвал стремянного. Габо, как из-под земли, вырос перед помещиком. Услужливо вскинув на него глаза, не ожидая приказа, прошептал:

— Не уговорил... не хочет жена Темура прислуживать твоим сестрам...

Амурхан, занятый своими мыслями, не глядя на стремянного, погладил короткими пальцами концы круглой бородки и голосом, каким говорит человек совершенно счастливый, произнес:

— Никого не проси и не уговаривай... погоди, сами попросят... Раздобудь на ужин для князя самой лучшей форели, смотри...

Недослушав ответа стремянного, Амурхан молодого поднялся по каменной лестнице. Габо посмотрел ему вслед и злобно подумал:

«Видал... стучится в ворота вечер, а ты, Габо, раздобудь, палови в ночной реке князю форели. Князь... было бы на что посмотреть; мне до пупа, а тоже... князь».

Коротким, тяжелым шагом стремянный прошел в конюшню, вскинул плотное тело в седло и выехал за ворота.

Багровым полотнищем полыхала на западе заря.

Нахлестывая лошадь, он поскакал по аулу. Толпы людей попадались ему навстречу, и он удивленно подумал:

«Умер кто или свадьба, почему я не знаю?»

Несмотря на поздний вечер, люди бродили по аулу, сходясь в густую, шумливую толпу. Проезжая мимо лачуги Темура, Габо увидел Разиат с ребенком на руках. В бессильном гневе, бросив на нее колючий взгляд, он злорадно подумал:

«Подожди, мое солнце, скоро вам стоять будет нигде, не то что жить».

Разиат увидела стремянного верхом и тревожно подумала:

«Куда сго иссет на почь?»

Переполненная тревогой за мужа, она перешла улицу и остановилась у соседских ворот. Седовласая старуха, угрюмо-спокойная, смотрела на народ, а на вопрос Разиат: «Что это такое?», ответила: «Смерть».

Прижав ребенка к груди, Разиат беспомощно оглянулась.

— Выселят... Обязательно выселят, — скрипучим голосом произнесла старуха и решительно направилась к толпе, собравшейся у помещичьего дома.

Со всех сторон к дому помещика стекались людские толпы. Гневные выкрики взлетали над толпой:

— Некуда уйти! Никуда не уйдем с дедовских земель!.. Человек не птица, нельзя ему на ветках жить.

Женщине по адату нельзя принимать участие в «мужских делах». Разиат встала поодаль от толпы, высматривая мужа. Но Темура не видно было. Из темного ущелья быстро набегали сумерки, людей охватывала мучительная тоска и ожидание чего-то страшного.

В притихшем вечернем воздухе прозвучал вдруг молодой сильный голос, и Разиат узнала голос мужа, такой родной и знакомый:

— Человек должен где-то жить!.. Птица и то без гнезда не живет. Князь Макаев у Тугановых в гостях, пусть он нам скажет, где наше прошение, которое подали начальнику области. Пахать пора, а мы опять без земли... Если дети не обуты, родителей винят, а если целое село, сотни людей без аршина земли — так в этом начальство виновато, от него и требовать землю... Князя, давай Макаева сюда! — крикнул Темур и застучал в ворота тяжелой суковатой палкой.

Толпа хлынула к воротам:

— Князя! Давай князя сюда!.. самого Амурхана! Пусть при Макаеве скажет, что разрешит!.. Князя Макаева! — орала толпа, колотя в помещичьи ворота.

— О господи, — прошептала Разиат, — так кричать у помещичьих ворот... Что будет?..

Не смея присоединиться к толпе, она устремилась

за старухой, преградила ей дорогу и отчаянным голосом произнесла:

— Пожалуйста, нана¹, уймите их, подойдите к ним... Вы самая старая женщина в селе, ваш возраст дает вам право вмешиваться в мужские дела, упростите их разойтись. Скажите... скажите ему...

Она запнулась и умоляюще смотрела на старуху. Она хотела сказать: «Идите и скажите моему мужу, чтобы он шел домой». Но по адату ей нельзя было произносить имя мужа, вообще говорить при старших о муже, и потому она замолчала, не спуская со старухи испуганных глаз. Старуха сдвинула косматые брови и, не сказав ни слова, прошла в гущу толпы. И тотчас же Разнат услышала прерывающийся голос старухи:

— Выхаркайте кровью молоко матери... Поодевайте бабьи платки вместо шапок мужских... Пусть тот из вас, кто струсит, останется трупом на этой земле... Пусть тот не пазовется мужчиной, кто побоится пролить кровь, чтобы сохранить старикам покой и детям завтрашний день..

В толпу будто подбросили горящую паклю. Десятки рук забарабанили в ворота. Отчаяние охватило душу Разнат. Темур был во главе бушующей толпы. Седая голова старухи мелькала то там, то тут.

В узкой калитке ворот показался управляющий помещичьим именем Адулгери Шанаев, сорокалетний мужчина, с черными выкрашенными усами и в темно-синем стеганом бешмете. Шанаев прошел в гущу толпы и с присущей ему лстивой вежливостью витиевато заговорил:

— Так давно в добром соседстве с Амурханом живете, земельными угодьями его по дешевке пользуетесь, а все вы им недовольны, уваженья к нему не имеете, из-за всякого пустяка волнуетесь...

— Как бы ты не волновался на нашем месте, а? — перебил его Темур, подходя к нему.

Шанаев прямо посмотрел Темуру в глаза, провел указательным пальцем по выхоленным усам и, ухмыльнувшись, сказал:

¹ Н а н а́ — мать, старушка.

— Темур, уаллахи-биллахи, из тебя б набатный колокол вылить, всю бы область обзвонил... И чего вспыхиваешь, как костер из щепок? Что случилось, что за сходка?

— Скажи, что за гость у Амурхана? — спросил старик со щетинистыми бровями, выдвигаясь вперед и заслоняя Темура.

Шанаев заложил руки назад, снова усмехнулся на вопрос старика и шагнул от него в сторону.

— Уа, коран-кетаб, — поклялся он кораном (Шанаев был магометанин), — спокон веков господа перед своими холопами не отчитывались. Смею ли я у моего господина спрашивать, кто у него гость и по какой причине... Не запрещено князю знатному быть в гостях у не менее знатного своего друга...

В толпе притихли. Амурхан знал своего управляющего не один год, знал его умение разматывать самые запутанные дела и, когда не надеялся на себя, всегда посылал его.

— Придет утро, не запрещено вам обратиться к нему с любой просьбой, а теперь,—продолжал он, досадливо разведя руками,—разве мы не осетины? Почему позабыли адат гостеприимства? Пусть отдохнет спутник с дороги...

— О каких просьбах говоришь, Адулгери? Осталось одного бога просить, а остальных мы всех уже просили, — прервал Темур Шанаева, — земным богам уже всем клаялись...

— Тебе, Темуру Савкуеву, всегда чего-нибудь не хватает, — сказал он, оглядев мощную фигуру Темура, и подумал:

«Буштары!.. Он не умрет своей смертью. Надо будет купить его, тогда остальные притихнут».

Шагнув в сторону Темура, управляющий снова ухмыльнулся и тихо сказал:

— Гордец ты, разве зазорно тебе было прийти ко мне и поговорить наедине...

— Наедине мне с тобой не о чем говорить, знаешь, что пахать пора. За десятину десять рублей арендной платы, где это видано? Скажи Амурхану, если не сбавит цену — и без денег вспашем...

— Не грози, гормон¹, не грози, ласковый теленок двух маток сосет... — укоризненно произнес Шанаев.

— Хватит, насосались мы голода вдосталь, — раздалось за спиной Шанаева. — Передай Амурхану — как только наступят погожие дни — пахать начнем.

Шанасв не сразу повернулся назад, а повернувшись, с улыбкой заверил:

— Скажу, все скажу, ничего не утаю, воля ваша...

Взволнованной толпой вдруг овладело безразличие. Толпа притихла, и люди в каком-то смущении стали расходиться. Темур со злобой посмотрел на Шанаева:

«Лиса лживая, опять смутил народ своим языком».

Больше, чем помещика, ненавидел Темур управляющего и не скрывал этого.

— Ты нужен мне, Темур, погоди, — проговорил Шанаев, почесав волосатое ухо, и мягко взял Темура за рукав бешмета. — Разве у тебя, неразумный, несколько жизней? Зачем ты подвергаешь себя опасности? Поверь моему опыту, толпа идет за тобой только до того места, где ты споткнешься, а потом она покинет тебя и возненавидит. Поверь мне, эти люди не стоят того, чтобы ради них терять многое, что ты можешь легко приобрести... Тебе нужна земля, ты ее получишь — Амурхан рад тебя видеть своим сторонником...

— Нет, передай Амурхану, что если даже мясо наше сварится вместе, то все равно не смешается суп... На подлость меня не зови, ради себя народ не продам, в холопы к Амурхану не пойду, у него достаточно таких, как ты...

Темур повернулся и оставил Шанаева. Злобно поглядев ему вслед, управляющий подумал: «Ой, берегись, если повстречаемся на узкой тропинке, я припомню тебе сегодняшний день».

Из ущелья подул сырой потеплевший ветер, принося с собой запах прелой земли, буйный запах весны.

¹ Гормон — непереводимо; упрек, который делают только младшим.

Торопливо растапливая очаг, Разнат думала:

«Если с ним что-нибудь случится, тогда на что мне жизнь?»

Увидев мужа на пороге, она со стоном кинулась ему на шею. Темур удивился. Разнат имела ровный, спокойный характер. Прошло больше двух лет, как она вышла замуж, но по-прежнему его стеснялась. Когда Темур задерживал на ее смугло-розовом лице долгий любящий взгляд, Разнат, зардевшись, отворачивалась от него, и Темур спрашивал:

— До каких пор ты будешь меня стесняться? Ты уже мать, почему всегда молчишь?

Однажды Разнат ответила ему:

— Я еще не нагляделась на тебя, а слова мне только мешают.

Сейчас Темур вдвойне был удивлен ее порывом. Не до ласк, не до нежностей было людям — голод глядел со всех углов. По селу ходили упорные слухи, что помещик снова ходатайствовал об их выселении.

Темур взял в руки смуглое лицо жены, посмотрел с укоризной, но тут же смутился, — она была бледна и заплакана. Глаза смотрели с мольбой: «У меня нет никого дороже тебя».

Он молча прижал голову жены к груди, провел своей небритой щекой по ее холодной, вздрагивающей щеке и сказал:

— Ничего, найдем нашу долю на земле. Если нельзя добром — силой возьмем.

В дверь постучали, и Разнат отскочила от мужа.

На пороге низенькой лачуги Темур радостно приветствовал своего друга, казака Илью.

— Входи, входи, Илья, позабыл ты меня, давно не был. Вот сюда, дружище, сюда, — радостно говорил он, усаживая друга к столу.

— Не с добрыми вестями я к тебе пришел, Темур, — сказал Илья, опускаясь на скамейку.

— Добрые вести сейчас в диковинку, особенно нам, дурдурцам, поэтому не сетую на тебя... — весело говорил Темур, пряча в глазах тревогу.

— Слышал я вчера, — Илья левой рукой вытащил

кишет, высыпал на стол махорку и задумался. — Помещик выселять вас будет.

— Я думал, ты что-нибудь похуже скажешь, а к этим угрозам мы уже привыкли...

— Чудак ты, Темур, что может быть хуже этого? Обязательно выселят, бумага есть. Помещик ваш будто говорил Сафа: «Выселяю их, хоть клещами от земли оторву»... А ты знаешь, Сафа и Туганов — друзья. Я потому и пришел...

Казак Илья — вскованный батрак. Родом он из казачьей станицы Николаевской. Мать его потеряла мужа, когда Илье было три года. Молодая казачка каждую осень нанималась к богатому осетину на кукурузную ломку. Когда Илье исполнилось десять лет, мать хвалилась соседкам, что пристроила сына в надежные руки, в подпаски к Сафа Абаеву. С тех пор прошло много лет.

Кем только не был Илья за эти годы — и поваренком, и конюхом, и дворником, и пастухом. А когда съезжались к Сафа знатные гости — был мальчиком на побегушках.

Последние годы Илья работал мельником. Семь лет назад, построив мельницу, Абаев Сафа послал туда работать Илью. На незнакомой работе Илье оторвало руку. Поэтому теперь пустой рукав его рубахи аккуратно заправлен за пояс.

Темур и Илья познакомились на пастбищах Сафа. Подростками-пастушатами они вместе пасли баранту и спали под одной буркой. Потом Темур ушел в горы, но безземелье прогнало его с гор. Он арендовал у помещика Туганова десятину усадебной земли и построил хату. Женился. Но выкупные платежи с каждым годом повышались, и Темур так и не смог выкупить свой участок.

Сейчас Илья пришел к Темуру в Дур-Дур, чтобы рассказать о том, что приехал судебный пристав по делам дурдурских крестьян и остановился у его хозяина, Абасва Сафа, в селе Христиановском.

На землях помещика Туганова жили сто сорок три семейства, которые когда-то были коренными жителями этих мест, но сейчас они числились как приписанные, и их называли «временнопроживающими».

Помещик долгие годы старался от них избавиться, судился, но крестьяне со своей стороны доказывали, что земли эти принадлежали их дедам и отцам. Долголетнюю тяжбу все-таки выиграл помещик. Суд решил: «Выселить дурдурских крестьян, 143 семейства, с земли помещика Амурхана Туганова и расселить по всей Осетии, Кабарде и под Моздоком».

— Защиты искать больше не у кого, — проговорил Темур, подсев к столу и опустив подбородок на ладонь крупной жилистой руки. — Начальник Владикавказского округа, полковник Вырубов, Амурхану—друг... Начальнику Терской области, наказному атаману Терского казачьего войска писали... Архипастырю Владикавказскому — писали... Был у нас один защитник — Коста. И ему писали, но, говорят, он сам в далеской ссылке...

— Да, не такое теперь время, чтобы честные люди хорошо могли жить. Что же вам теперь остается делать? Вы командующему округом напишите, князю Голицыну, в Тифлис, всем сходом напишите, — посоветовал Илья. — А не то судебный пристав Никитин да князь Макаев шутить не любят. Самых злых собак к вам послали...

— Не пожалеют, выбросят на улицу, — сказал мрачно Темур.

— А то, — глянув Темуру в глаза, прошептал Илья, — избеите пристава... Покажите себя, что вам терять?

— Плетью обуха не перешибешь, Илья, — возразил Темур. — И князю Голицыну писали, только не мы, а крестьяне Новой Санибы и грузинские крестьяне — имеретины, проживающие в Алагире. Сперва подали прошение начальнику области Толстову о наделении их земель. Толстов написал: «В просьбе отказать», а Голицын приписал: «Бродягам земля не нужна, почему грузины не живут в Грузии?» Что они, что мы одинаково зовемся временнопроживающими.

Темур помолчал, потом проговорил сквозь зубы:

— Странное нам придумали название. Было бы вернее называть нас нашим настоящим именем — безземельные, а то — временнопроживающие... Ты со-

ветуешь судебного пристава избить? А что мы от этого получим?

— Э, э! — воскликнул Илья. — Да что там! Мокрый сырости не боится. Чего вам терять? Все одно — временнопроживающие. Показать себя не умеете, боитесь, — горячо говорил казак. — Разгонят по аулам. Без кола, без двора, последнего телка за долги Амурхан отберет. Что ты такое будешь? «Временный», «пришелец», «кавдасард»¹, как у вас безземельников-бедняков называют. Где-нибудь под чужим сараем, без родных, без друзей, под вечным страхом жить будешь: скотину пасти на чужом выгоне нельзя, детей твоих в круг играть не примут, жена по воду пойти не посмеет — каждый попрекать станет... Толкнут, обзовут, а ты и вступиться не посмеешь. Не человек ты будешь, а «кавдасард».

— Знаю, давно этим именем зовусь, — мрачно проговорил Темур.

— Нет у меня никого, — продолжал Илья. — Мать померла давно. Однорукий я... Мельник, и все... Мне и жить и помирать не для кого, а у тебя — сын, жена... Эх, — вздохнул Илья, — кабы мне твои руки, твое здоровье, поиграл бы я с начальством... — Он глянул на свое плечо и шевельнул обрубком руки.

Темур поднялся с места, бросил на пол добела обструганную палку и заходил по избе. Большие уродливые тени заматались по стене.

— Слышал я, что в Грозном рабочие избили пристава нефтяных промыслов. Избили, и без штанов по улицам бегать заставили. — Темур улыбнулся, зевнул и с хрустом потянулся. Разглядывая большую ладонь, он продолжал:

— Только ничего у них не получилось, половину рабочих, говорят, арестовали. А ты говоришь — сила... Силы много у меня, а на что она мне — мешает... Только кровь портит. Эх! Добраться бы до князя Макаева, он бы у меня враз зайкой стал, — сказал Темур, сжимая кулаки.

— Он и привез бумагу о выселении.

¹ Кавдасард — холоп.

— Вот что, Илья, — вдруг обратился Темур к другу и сел рядом с ним. — Ты осетинский язык знаешь и русский знаешь. Может, ты нам прошение напишешь? А то опять писарю деньги платить. Если до утра подпишем его всем сходом, то скажем приставу, что ответ от начальства ждем. Может быть, до осени дотянем, а там будет видно. Напиши, Илья, да так, чтобы до сердца дошло, ведь у них, у начальников, тоже дети есть...

— Не сумею, что ты! — проговорил казак. У меня три рубля есть, дай писарю рубль, не пожалей... — сказал Илья, роясь за пазухой. — Пойдем, позовем его. Он складнее напишет.

Уже брезжил рассвет, а Темур и Илья еще сидели за столом. Писарь вполголоса читал прошение, Темур внимательно слушал, одобрительно кивая головой и усиленно дымя махоркой.

«Его превосходительству господину начальнику Терской области и наказному атаману Терского казачьего войска.

Нижепоименованных, временнопроживающих в селении Тугановском и Синдзикауском 3-го участка Владикавказского округа.

Всепокорнейшее прошение.

Мы, в числе ста сорока трех домохозяев, выходцы из четырех осетинских приходов — Тибского, Галиатского, Махческого, Стыр-Дигорского, расположенных в горах Северной Осетии, хотя и ныне числимся коренными жителями тех же приходов, однако и деды наши и прадеды жили здесь. По крайней бедности, нищете, и вопиюще безвыходному положению, происшедшему вследствие безземелия, деды наши вынуждены были покинуть горы и поселиться на землях этих, где живут Тугановы и Кубатиевы.

В горах плодородной почвы нет, а если она и создается искусственно, то ничто не может ее застраховать от обвалов, оползней, ливней, нередко смывающих урожай и самую почву.

Единственным выходом из бедственного нашего положения является аренда земли на равнинах, но

осетинские общества сами уже давно страдают от безземелья, а потому мы принуждены арендовать земли у частных землевладельцев Тугановых, Кубатиевых и у станиц Терского казачьего войска.

Арендные цены за последние годы утроились.

Вследствие больших поборов землевладельцев за право проживания и пользования землей, постепенно растут наши долги, коих уже в настоящее время не в состоянии уплатить. А что станет с нами в скором будущем?

Такое наше безвыходное положение, Ваше превосходительство. Почему и всепокорнейше просим всем обществом пожалеть наших детей и поселить нас особым поселком, где-либо на двух казенных участках Алагирского лесничества Владикавказского округа — Змегун или Ахсарисар.

Входя в наше прискорбно-безвыходное положение, любвеобильнейший наш архипастырь письмом, к коему были приложены наше прошение и подворно-посемейный список наших семейств, благоизволил войти с ходатайством перед предместником Вашего превосходительства о поселении нас на одном из указанных участков. Не получая по сие время ответа на нашу всеподданнейшую просьбу и уже падая под ярмом вопиющей нашей бедности, мы приняли смелость просить распоряжения Вашего превосходительства о скорейшем поселении нас на одном из указанных участков.

Если же мы, к прискорбию нашему, не будем осчастливлены этим, в крайнем случае, поселите нас на казенном участке, находящемся в десяти верстах от города Моздока, заключающем в себе около шестидесяти десятин.

Обращаемся к Вам, Ваше превосходительство, как к отцу, нашему покровителю, спасите наших детей от голодной смерти, наших жен и сестер от позора бродячей жизни.

1901 года, апрель, 9 дня, селение Дур-Дур».

— Складно написано, — проговорил Темур, беря у писаря заявление. — Я по дворам пойду подписи

собирать, а ты, Илья, иди домой. Новое услышишь — сообщи.

Они вышли во двор. Молочные туманы клубились над рекой, над холмами. Село еще спало. Рассвет был сумрачен и хмур.

Еще не рассеялся туман над лесом, еще утро не наступило, а судебный пристав уже подъезжал к Дур-Дуру. Позванивая колокольчиком, дружно бежали две кобылицы, впряженные в линейку, покрытую красным ковром. По одну сторону линейки сидел судебный пристав Владикавказского мирового съезда Никитин, по другую — старшина села Христиановского.

— Беги, народ оповещай, — проговорил Илья. — Эти гости с колокольчиком ваших детей и стариков выбрасывать на улицу будут.

Линейка поравнялась с ними.

Темур молча оглядел незваных гостей, а Илья зашагал по дороге, что ведет из Дур-Дура в Христиановское.

Первым домом, из которого надо было выселить хозяина, был дом Темура. Когда пристав Никитин вместе с сопровождающими его должностными лицами направился к дому, народ опередил его. Со всех концов селения бежали люди и, добежав до дома Темура, останавливались. Собралось все село. Никто ни о чем не спрашивал. Толпа молчала. Притихшая, безмолвная, она ждала...

Тут стояли ветхие старики, у которых веки были изуродованы трахомой, и безусые юноши, и сморщенные старухи с седыми волосами, и оборванные ребятишки в отцовских бешметах, и молодые стройные девушки.

Вышел вперед высокий старик со щетинистыми бровями, выборный от дурдурцев, и сказал:

— Нет такого закона, чтобы выгонять детей и стариков, оставлять их без крыши, без хлеба... Не допустим мы этого, лучше не трогайте.

Подобно шелесту ветра перед грозой, прошел по толпе шепот и смолк.

Ползли с севера большие черные тучи, дул влажный ветер, накрапывал дождь, горы хмурили седые брови. Хорошо в такой день иметь теплую избенку,

за избой — сарай, полный дров, сено, корову, ведро ароматного молока, а в печке — хрустящий чурек...

Плотной стеной загородил народ дом Темура, сжимаясь все плотнее и плотнее...

Пристав, князь Макаев и старшина отступили от дома. Отойдя, Никитин сказал:

— Разойдитесь и не сопротивляйтесь, все равно вас выселят. Не мешайте приводить в исполнение решение суда.

Молчание. Словно не толпа, а один человек — мрачный, насупленный, злой, готовый на смертельную схватку.

Тогда Никитин предложил полиции очистить проход к дому Темура.

Полицейские кинулись в толпу, но она сжалась еще сильнее и, как пробку, вытеснила их. Образовав живую плотную стену, толпа лавиной двигалась на пристава и должностных лиц, оттесняя их все дальше от дома. Тогда пристав вынул револьвер и направил его в толпу. Но даже это не испугало людей. Затаив дыхание, они наползали на кучку начальствующих лиц.

— Не пугай револьвером, начальник, — сказал старик и вплотную подошел к приставу. — Есть вещи страшнее смерти. Спрячь оружие, не озлобляй народ. Тот не боится смерти, кто устал ненавидеть...

Пристав, видя, что привести в исполнение возложенное на него поручение опасно, спрятал наган и сказал:

— Я принужден буду составить протокол о вашем поведении. За противодействие властям вы будете наказаны и, в конце концов, все равно подчинитесь решению суда.

— Пиши!.. Не бойся! Записывай!.. Всех записывай!.. — раздались крики.

— Все мы, как один человек, — сказал опять старик. — Не позволим выселить нас. Это наша земля. Деды наши, отцы наши умерли здесь, умрем и мы на ней...

— Где сам Амурхан? Где он? Трус!.. Пусть сюда придет! Погоди, отольются шакалу овечьи слезы...

Поднялся крик, послышалась ругань.

Старик поднял палку над головой. Шум прекратился.

Пристав начал составлять протокол.

Никто не ушел. Назывались имя и фамилия, старшина удостоверял личность, и все сто сорок три семейства были занесены в протокол.

Чины полиции, старшина, пристав и князь пошли в дом помещика, а толпа все не расходилась: ругалась, стонала, проклинала, грозила...

Ворота помещичьего дома были плотно закрыты, с цепей спустили собак.

Амурхан знал, когда толпа волнуется, она безрассудна, не знает удержу, как река, прорвавшая плотину.

Сыпал мелкий дождь. Ветер с печальным шорохом свистел на чердаках, где-то протяжно мычала корова, где-то плакал ребенок.

2

Владикавказ¹ — центр Терской области, место пребывания наказного атамана Терского казачьего войска. Живописны окрестности города! С юга—пологий хребет, покрытый густым лиственным лесом, выше — цепи скалистых и снежных вершин.

По дну узкого ущелья изорванным серым канатом извивается Военно-Грузинская дорога, соединяющая Северный Кавказ с Грузией. В городе — небольшой цинковый завод, находящийся в руках бельгийского капиталиста Дюкенна и несколько маленьких кустарных заводиков, имеющих местное значение: салотопный, мыловаренный, кожевенный и винокуренный. Несколько мельниц, расположенных у изрезанных крутых берегов Терека, три бани, из которых одна персидская, и посещает ее только мусульманская часть населения. Два торговых дома крупных богачей Огановых и Киракозовых, книжный и писчебумажный магазины, две частных лечебницы, реальное училище Терского казачьего войска, мужская гимназия, жен-

¹ Владикавказ — теперь г. Орджоникидзе.

ская прогимназия, осетинский женский приют, выпускающий учительниц для горских школ. Пять церквей во главе с кафедральным собором, польский костел, персидское консульство с мечетью и громоздкий дом барона Штенгеля, суровой архитектурой своей напоминающий древнеготические замки. А на окраине города — кадетский корпус, готовящий из детей казачьих и горских привилегированных сословий офицерские кадры. На левом берегу Терека, на Тифлисской улице, в близком соседстве с публичным домом, тянутся казармы апшеронской пехоты и стоит тюрьма.

В городе одна центральная улица — Александровский проспект. Начинаясь с южной окраины города, он тянется через его центральную часть. Проспект разрезан вдоль широким бульваром, густо засаженным каштаном и липой. Еще несколько прилегающих к проспекту мощеных улиц, а потом начинаются узкие улочки, затем — слободки с крохотными домиками. Среди маленьких кирпичных домов, раскрашенных ультрамарином, красуются особняки казачьих и горских богачей.

Владимирская слободка заселена мелким торговым людом и застроена купеческими домами. Бросается в глаза нарядный особняк князя Макаева, офицера по особым поручениям при начальнике Терской области. В Молоканской слободке живут сектанты и бездомные рабочие. В Шалдонской — мелкие кустари и ремесленники, славится она многочисленными винными подвалами. Запах пересваренного хаша и черемши держится здесь даже в лютые морозы. Курская слободка заселена преимущественно рабочими. С южной стороны примыкает Осетинская слободка, самая нищая из всех окраин города.

Атаманский дворец, как называют жители дом начальника Терской области, расположен на небольшом возвышении, в самом красивом месте города. Справа — весь потонувший в зелени архиерейский дом, впереди — кафедральный собор.

Князь Макаев, невысокий худой капитан с тонким хрящеватым носом, тщательно одетый, стоял в приемной начальника области. Посланный на расследование крестьянских жалоб, он вернулся вчера и ждал

вызова к начальнику. В опрятном кабинете, сидя за ореховым столом, начальник Терской области Толстов просматривал крестьянские жалобы: «Дело № 2 — временнопроживающие».

Дверь кабинета открылась. Макаев вошел, откозырял, и подал атаману распечатанный серый пакет, где вместе с другими бумагами находилось и прошение дурдурских крестьян.

— Опять дурдурские крестьяне! — поморщившись проговорил Толстов. — Напомните мне решение суда, капитан, — обратился он к князю.

— Они подлежат выслению, ваше превосходительство...

Наказной атаман Терского казачьего войска нахмурил брови и протянул:

— Вы-се-лению? А куда? В безвоздушное пространство? И суд, и сенат умыли руки, а я, начальник области, должен найти незаселенную планету и... Напомните мне, капитан, кто присутствовал на судебном заседании? — раздражаясь, продолжал Толстов.

— На судебном заседании правительственного сената, ваше превосходительство, присутствовали сенаторы: Булах, Прибыльский, обер-прокурор Фролов и помощник обер-секретаря Сегаль, — услужливо перечислил Макаев.

— И что же определили?

— Определили, ваше превосходительство, что подлежащих выселению с земли Тугановых сто сорок три семейства водворить в разных селениях Владикавказского округа.

— А эти разные селения, что скажут, когда к ним переселят такую голытьбу? — спросил начальник области, вглядываясь в лицо князя Макаева.

— Простите, ваше превосходительство, прошение дурдурских крестьян ни на чем не основано... Они оспаривают у помещика Туганова землю на том основании, что на этих землях когда-то жили их деды и прадеды... Однако у помещика Туганова, ваше превосходительство, есть неоспоримые документы, что земля эта дарована их деду, полковнику Асланбеку Туганову, впоследствии генерал-майору. Есть отзыв шефа жандармов генерал-адъютанта графа Бенкен-

дорфа к командиру отдельного кавказского корпуса от 29 июня 1837 года, что граф Бенкендорф подвергал на всемилостивейшие воззрения государя императора все обстоятельства дела. И главнокомандующий кавказским корпусом, генерал от инфантерии Ермолов, испрашивал высочайшего соизволения Асланбеку Туганову и прочим лицам этой фамилии акта на владение указанной землей... Его императорское величество на всеподданнейшем докладе собственноручно написать соизволили: «Согласен. Николай». Поэтому, ваше превосходительство, не утруждайте себя чтением этой холопской петиции, — сказал Макаев, с удовольствием прислушиваясь к собственному голосу.

— Разрешите, еще...

— Продолжайте, только скорее.

— Это — дела Горной Осетии. «Аулы Хапаз и Задалеск расположены на скате горы на двух маленьких участках, — начал Макаев. — Допрошенные старожилы показали, что с тех пор, как они себя помнят, этими участками пользовались задалесцы и хапазцы. Живут в кутанах, построек капитальных у них нет, — продолжал читать Макаев. — До перехода этих земель в ведение управления Государственных имуществ жители пользовались лесом, дровами, сенокосом, теперь пользование этими угодьями прекращено. Лесная стража не дает им ни леса, ни хвороста, запрещает пасти скот на полянах, не позволяет спускаться вниз к реке и пользоваться водой, стражники штрафуют их, являясь главными определителями виновности и ценности порубок. Крестьяне, проживающие на этих полянах, просят, за давностью владения участком, признать его за ними. Просят пользоваться лесом, сенокосом, рекой, без которой они существовать не могут»...

— Это они так думают, князь, — прервал его начальник области, — а я послал вас выяснить действительное положение...

— При личном моем осмотре я нашел, ваше превосходительство, что им действительно необходим валежник и мелкий лес, необходим сенокос и протекающая внизу река...

— А сколько лет допрошенному старожилу? — снова прервал начальник князя Макаева.

— Одному восемьдесят, ваше превосходительство, другой стар очень, не помнит, сколько ему лет...

— Старики из ума выжили, капитан, а вы по их показаниям составляете протоколы. Если бы они оспаривали права на вашу землю, вы составили бы совсем другой протокол, — неприязненно проговорил Толстов.

Макаев и без того уже знал, что начальник области недоволен им, если в разговоре вместо «князь» он именовал его «капитаном», подчеркивая его низкий служебный ранг. Желая направить недовольство Толстова по другому руслу, Макаев сказал:

— Дознание, ваше превосходительство, я производил на основании надписи начальника округа, полковника Вырубова...

— Филантропией занимаетесь... либеральничаете и полковник, и вы, — резко оборвал он князя. — Разжалобили вас. Институтки... А впрочем, жалость к низшему сословию сегодня считается хорошим тоном, капитан, не удивляюсь... дань моде. Вы свободны, капитан. Скажите и тем, и другим, что на основании решения правительственного сената — в просьбе им отказано.

Князь не уходил. Начальник области посмотрел на щуплую фигуру князя и раздраженно спросил:

— Что еще?

— Дурдурские крестьяне, ваше превосходительство, знают, что по решению суда они подлежат выселению, но, тем не менее, выселить их невозможно...

— Что значит «невозможно»? — желчно спросил Толстов.

— Пытались, ваше превосходительство, но жители оказали сопротивление... Пристав и должностные лица были...

— Что «были»? — теряя терпение, вскричал начальник области.

— Простите, ваше превосходительство, помещик Туганов снова ходатайствует перед вами, что без при-

менения воинской силы справиться с ними нельзя, могут быть...

Толстов вскочил, обошел стол вокруг и в упор спросил князя:

— Так если вы уверены, ваше сиятельство, что без применения воинской силы с ними справиться нельзя, то что же вам непонятно? Разве войска расположены в кабинете начальника области?

Князь вытянулся. Толстов выхватил из рук Макаева прошение дурдурских крестьян, стоя у края стола, написал на прошении: «Немедленно выселить принудительными мерами тех дурдурцев, которые по судебным приговорам подлежат выселению». Подумав, начальник области приписал сбоку прошения: «Всякое посягательство со стороны дурдурцев к неисполнению должно быть всеми мерами пресекаемо».

Не глядя на князя, он подал ему прошение и сказал:

— Идите, князь, и в следующий раз будьте догадливей... Какими методами помещик Туганов будет избавляться от своих холопов — это прямая задача фельдфебеля, а не начальника области...

Князь Макаев четко откозырял и вышел из кабинета.

* * *

Дождливым утром вернулись из города выборные от дурдурских крестьян. Посланцы не вошли еще в село, а уже целые толпы людей бежали им навстречу.

Старики, по несколько лет не покидавшие старческое ложе, старухи, никогда не принимавшие участия в общественной жизни, молодые женщины, которым адат не велит показываться мужчинам, и даже просватанные девушки, которым нельзя попадаться на глаза никому из фамилии жениха, — все сегодня были здесь, в толпе встречающих.

Ответственным от выборных был Темур Савкуев. Обращаясь к двум своим товарищам, он сказал:

— Смотрите, всем селом встречают, как покойника, — и указал на темнеющую толпу.

Он закатил выше икр холщовые шаровары, сунул шапку за пазуху и, мяся босыми ногами липкую грязь, быстрее пошел навстречу толпе.

— Сколько глаз на нас смотрит, а что мы им скажем?.. Сколько надежд, — горестно продолжал Темур. — С четырнадцати лет с дедом на медведя ходил, не боялся... Нет в наших горах таких тропинок, где бы не ступала моя нога. Урух¹ весной переплывал — не потонул. Казак на ярмарке ударил — возвратил ему удар, старшину в Донифарсе² побил — не испугался, а вот сейчас... — он не закончил.

Да... так встречают покойника. Убьют где-нибудь на дороге человека, убьет неизвестно кто, и прискачет вестник смерти в родные места. Выйдет тогда навстречу покойнику все село — мужчины, обнажив бритые головы, женщины, распустив волосы, жалобно стелясь...

— С худыми вестями они, — проговорил старик со щетилистыми бровями, всматриваясь в лица посланцев.

— Закаркал старый ворон, — проскрипела старуха, бросив на старика возмущенный взгляд.

Когда посланцы подошли к толпе, она, затаив дыхание, большим немигающим оком впиалась в лицо Темура.

— Нартам было легко, — попытался пошутить Темур, — у них и на дне морском, и на небесах родственники были и в трудную...

— Не до шуток сейчас — перебил его старик со щетилистыми бровями. — Говори, что привез?.. Не томи, ты видишь... — бросил он и оперся на суковатую палку.

Темур указательным пальцем правой руки провел за тугим воротником бешмета и, покрутив шеей, окинул взглядом безмолвную толпу.

— Начальник области не захотел нас принять, — виновато промолвил он. — Через князя Макасва передал нам, что земля дурдурская царем российским

¹ Урух — река в Западной Осетии.

² Донифарс — селение в Западной Осетии.

Асланбеку Туганову за генеральский чин, за верную службу, якобы, давно подарена.

Люди молчали. По спинам овчинных сыромятных шуб ленивыми струями сбегала дождевая вода. Низко окутывая темные холмы, ползли над селом тучи.

— Через князя Макаева передал?.. Так, что же вы тогда ждали? — не поднимая головы, укоризненно молвил старик со щетинистыми бровями. — Разве не знаете, что князь и Амурхан издавна друзья?

Помолчав, старик тяжело вымолвил:

— Надо уходить...

— Ох, смерть! Смерть наша, — завопила старуха, — приди и выручи нас!..

— Подожди, мать, не спеши, смерть и без тебя придет, — сказал кто-то в толпе.

— Так куда же идти? Кто же нас примет? — взлетел над толпой надрывный женский крик.

— Никуда не пойдем! Никуда не уходить!.. Выхватывать из печки горящие головешки — опасно, не посмеет начальство выгнать... Должен человек на земле иметь пристанище... — горячо говорил Темур, становясь впереди толпы.

Он повернулся лицом к селу и пошел ровным широким шагом. Толпа двинулась за ним. Скучившись, как испуганный гурт баранты, молча, медленно шли люди.

3

Над городом несколько дней подряд плотной завесой висит теплый дождь. К обеду будто утомясь, он утихает, а к ночи опять усиливается. Лиловый влажный туман стелется над холмами, просачиваясь на окраины города. Кажется, что не будет конца дождям и туманам. А на деревьях уже набухают почки.

В одну из таких дождливых почей командир батальона 81-го апшеронского пехотного полка капитан Масальский, подойдя к дежурному по батальону, приказал: «Поднять батальон по тревоге». И двор казармы наполнился бегом. В сумраке ненастного расвета, толкаясь и переругиваясь хриплыми, сонными

голосами, строились взводы и роты. Были выделены головное отделение, походная застава и дозорные. Капитан Масальский хотел, чтобы батальон до рассвета вышел из города, поэтому он торопил подчиненных, придираясь к пустякам. Ротным была непонятна излишняя нервозность батальонного, и они в свою очередь набрасывались на взводных, а взводные — на отделенных. Нервозность передалась солдатам.

— И куда в такую непогодь гонят? Хороший хозяин собаку не выпустит...

— Чаво воны в такую лыхую мыгыцу выгоняют?..

— А им, господам, все одно, что мыгыца, что луна, — глухо ворчали солдаты с мрачными лицами.

Когда первая рота в голове батальона проходила Владимирскую улицу, в особняке князя Макаева не спали. Князь еще с вечера знал, что в Дур-Дур пойдут апшеронцы. Батальон поведет сам командир батальона, капитан Масальский. Князь помнил его слова:

«Знаете, князь, я — солдат, рад стараться воевать, но не люблю мужичьих баталей, все равно, что с детьми воюешь».

С полуночи князь уже напряженно прислушивался. Он обещал Амурхану, что холопы его будут вынаны, пока не установится погода. Услышав сквозь однообразный шум дождя ритмичный, цокающий солдатский шаг, князь вскочил. Накинув теплый плед жены на плечи, он приоткрыл ставню и увидел в белесом сумраке утра ровные ряды пехоты.

— Пошли... — со вздохом облегчения сказал князь, прислушиваясь к мерному солдатскому шагу.

— За городом батальон остановился и подтянул дозоры. В солдатских рядах то и дело раздавалось:

— И куды гонят?.. Светопреставление, а не погода. Не война ведь.

К полудню батальон остановился на большой привал у казачьей станицы Архонской и разбил палатки на берегу мелководной речушки. Забегали обозные, задымились походные кухни. Казачки, выходя за водой, изумленно смотрели на мокрых, измученных служивых.

К вечеру батальон пришел в большое степное село Христиановское. Капитан Масальский вызвал к себе старшину села. Так ему было приказано в городе. К ночи, когда село уже спало, батальон вошел на ночевку. Надо было отогреться и высушиться. Солдаты не скрывали возмущения.

Дурдурские крестьяне тем временем готовились к пахоте — под сараями виднелись перевернутые сохи и бороны. Хлопотливо бегали женщины одна к другой с дырявыми мешками в руках, прося более крепкие латки на мешки, обмениваясь горсточками семенной кукурузы. Латались рабочие костюмы мужей, с чердаков стаскивались закопченные бычьи шкуры на подошвы к чувякам. С особой заботливостью откармливались лошади и большая часть порции корма коровы весной переходила к лошади. А корова большими печальными глазами глядела на пустую кормушку и тоскливо мычала. Хозяйка выгоняла ее за ворота, приговаривая:

— Иди, лентяйка, уже южные холмы зазеленели, а тебе все домашнего корма?..

Управляющий тугановским именем Шанаев, появляясь в ауле, почтительно низко кланялся крестьянам. Женщины с тревогой смотрели ему вслед, но управляющий ничего не говорил — значит, можно пахать... Но дожди не прекращались, и крестьяне угрюмо оглядывали взбухшую по-весеннему землю.

С рассветом Темур вышел во двор, надеясь увидеть погожее утро. Но дождь по-прежнему шуршал в соломенной крыше хлева, бурыми струйками растекался по стенкам лачуги.

«Когда же дождь перестанет? Сгнила земля», — с досадой подумал Темур. Станный, однообразный, повторяющийся звук поразил его слух. Застегнув ворот бешмета, Темур вышел на улицу. По узким улицам села, подравнивая шаг, шли шеренги солдат. Полы мокрых шинелей были подтянуты к поясам. Словно частокол, на одном уровне торчали над серыми фигурами солдат острия штыков, покачиваясь в такт шагов.

Темур, приезжая в город, не раз видел, как на казачьих полигонах солдаты учились воевать. С недо-

умением он смотрел, как протыкал солдат мнимого врага — соломенное чучело. Видел и конников. Словно птицы, пролетали кони мимо столбов, на которых торчали тонкие прутья. Как молнии в темную ночь, мелькали шашки. Темур с восхищением следил за их ловкостью.

«Может, ученья какие, но в наших местах никогда не обучались», — равнодушно, как о постороннем предмете, подумал он, вглядываясь в мокрые, тяжело шагавшие фигуры солдат. Жирная, досыта напоенная земля с хлюпаньем втягивала ноги. В безмолвной тишине утра резко и непонятно звучали слова команды.

Темур собрался уже уйти, как вдруг во главе солдатского строя заметил короткую фигуру стремянного Габо.

«Странно, какое у стремянного к солдатам дело?» — удивился он и остался стоять.

Потом он увидел, как на краю улицы появились два всадника в бурках. Темур сразу узнал вороную низкорослую кобылу Шанаева.

Всадники подъехали к голове солдатского строя, долго о чем-то говорили с одним из офицеров. «По-видимому, солдатам надо идти куда-то дальше, и они спрашивают у Шанаева дорогу». Оба всадника отъехали от солдатской шеренги и шагом проехали на другой конец села. В другом всаднике Темур узнал старшину села Христиановского, Дриса. Темур огляделся по сторонам. Тревога ледяным жалом кольнула сердце.

«Что старшине так рано понадобилось в Дур-Дуре? А вдруг... а вдруг эти войска против нас?»

Хотя на Темуре был только один бешмет, ему стало душно — он стащил с головы папаху и сунул ее под мышку.

Сонное село встрепелось, как по крику глашатай: «Қараул! Угнали стадо!»... Но сейчас сельский глашатай молча смотрел на солдат. Простоволосые женщины, босоногие дети, мужчины, на бегу подвязывающие кинжалы, стали перед страшной правдой. Солдаты, разбившись по трое, останавливались у ворот. А за селом плотным серым частоколом стояли

вторая и третья роты, недоуменно вглядываясь в переполошенную людскую массу.

Когда трое солдат подошли к хворостяному плетню Темура, он, как вкопанный, стоял посреди двора... Когда-то, будучи юношей, он более пяти верст катил мельничные жернова, а докатив их до места, долго неподвижно лежал в полном изнеможении, налившись тяжестью. Сейчас он чувствовал во всем теле такую же тяжесть. Один из солдат прошел во двор и остановился около Темура, двое других остались у ворот.

Лицо солдата было юно, безусо. Светлые глаза смотрели на Темура смущенно и, казалось, просили прощения. Темур не двигался. Вдруг он услышал громкое скорбное причитание... Так голоса женщины-осетинки у свежей могилы родного человека. В мгновение село наполнилось отчаянным воплем, скорбным стенанием, тоскливыми вздохами. И тут Темур окончательно поверил, что их выселяют. По улицам мерным шагом, еще и еще, непрерывной серой бечевой тянулись мокрые солдатские шеренги, заполняя дворы.

— Не выходите!.. Не оставляйте дома!.. Пусть на совести поколения позорным шрамом останется сегодняшний день!.. Не уйдем!.. Не уходите!.. — кричал Темур, останавливаясь то у одних ворот, то у других. — Не выходите! Не выходите из домов! Лучше на месте умереть, чем издыхать на дорогах позора!..

Старик со щетинистыми бровями, сосед Темура, поймав его за полу бешмета, сурово сказал:

— Безумец, уймись! Разве не видишь — на одного безоружного—пятеро вооруженных?.. Иди лучше к семье, жену твою выбросили... иди к ней...

Добежав до своего двора, Темур увидел Разиат, сидящую на куче домашнего скарба. Дождь обильными, холодными струями стекал по ее лицу, она не старалась закрыть ни себя, ни ребенка и большими немигающими глазами смотрела в лицо мужа, будто в темную пропасть...

К вечеру дождь утих. Огромным пожаром висела за селом холодная поздняя зоря. Казалось, дурдурская земля, кормившая крестьян от прадеда до вну-

ка хотела с честью проводить их сегодня в неведомый путь и упростила небо не поливать дождем дорогу скорби... И поднялось село Дур-Дур с насиженного веками места, и огласился вечерний воздух стонами проклятья...

Арбы, наполненные крестьянским скарбом: тюфяками, корытами, ситами, овчинными полушубками; дети, засунутые между подушками и одеялами; больные с запрокинутыми назад усталыми головами; тревожный собачий лай, блеяние овец, мычание коров, скрип сухих колес, детский крик, женские проклятья, глухие окрики мужских голосов — все это было словно во сне. Выехали на большую дорогу, ведущую в Христиановское. Оттуда дороги расходились во все стороны: и в Кабарду, и в Юго-Осетию, и в Моздок, и в Россию, и в большие осетинские села — к Алагирю, Ардону, Эльхотово, Ольгинскому.

Темур с женой и сыном шли в голове толпы. Овчинный полушубок, тюфяк, корыто были увязаны на спине коровы (лошади у них не было). В бордовом байковом платье и черном платке Разиат гнала теленка, подхлестывая его, когда он отставал от матери.

В руке несла она корзину с цыплятами. Сын Аслан сидел на руках у отца и с веселым любопытством разглядывал стонущую и колыхающуюся толпу. Узнав кого-нибудь из соседей — детей или взрослых, — он хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и обнимал отца за голову.

За селом, на крутом холме, покрытом редкими старыми дубами, общипанным орешником и кизилом, раскинулось кладбище. Стерлись могильные надписи погнулись деревянные кресты, осели старые могилы, и вросли в землю каменные памятники.

Поровнявшись с кладбищем, передние арбы остановились. Как легкая рябь по глади реки, прошло по толпе волнение.

— Как же так? Как же это, люди добрые? — заголосил в толпе густой женский голос. И с еще большей силой почувствовали все, что выгнали их с родных мест и нет у них ни земли, ни леса, ни воды, ни села, что оставляют они здесь могилы близких.

В устах осетинки зловещим карканьем звучат слова проклятья: «Да останешься ты трупом на чужой земле». Издревле считалось великим позором оставить покойника на чужбине. В набегах ли, в честном ли бою, на поле сражения или в страшном поединке кровников оставить труп — позор. Оставить покойника, покинуть своих мертвецов — во веки веков не смыть потом позора.

— Что же стоите вы? Почему не плачете? Ведь в субботний вечер не принесем мы сюда поминальную трапезу. Совет здесь гнездо сова, проклятая птица.

— Ранней весной не проложат сюда тропинку ваши жены и матери. Поздней осенью не срежут ваши сестры бурьян с курганов дедовских.

— Суровой зимой не сметут любящие руки с могил порошу снежную... — густо, надрывно причитал женский голос.

Смолк скрип телег. Невысокая полная женщина, распустив седые волосы, била себя то в грудь, то по щекам и продолжала голосить:

— Одеть бы вам, нашим мужьям и сыновьям, вместо шапок мужских платки бабьи за то, что не нашли вы в себе отваги мужской отстоять очаги ваши и цепь надочажную!¹ Землю дедов ваших, кости их бросаете на поругание.

Застонали, заплакали женщины, и, глядя на них, плакали дети.

Рассыпались люди по кладбищу, к могильным буграм приникли седые головы старух. К свежей могиле сына прижималась теплой молочной грудью молодая мать. Обычай не позволял ей при мужчинах, при старых женщинах оплакивать свое дитя, но сейчас все забыли об этом. Даже мужчины застонали низкими, приглушенными голосами. Они опускались на колени и вытирали слезы подолом черкесок. Темур опустил сына на землю и прислонился к оглоблям чьей-то арбы. Он перебегал глазами с одного предмета на дру-

¹ Надочажная цепь — железная цепь над очагом, для подвешивания котла, считавшаяся у осетин священным предметом, символом устойчивости семьи, фамилии.

гой и молча разглядывал лес, холмы, бугры, старое кладбище, будто хотел хорошенько запомнить места, на которые не имел больше права.

Глухой гнев и невыплаканное горе душили его, он рванул ворот бешмета. Разиат прижалась лицом к его спине. Он не шелохнулся. Потом она заглянула ему в лицо. Темур увидел бледное, перекошенное горем лицо жены, сжал ее руку и сказал:

— Не плачь, мы найдем еще на земле счастье...

Разиат благодарно посмотрела на мужа. Не боялась она соединить с ним, безземельным, свою судьбу. Когда ранней весной он метался в поисках земли, она успокаивала его: «Я все перенесу, только бы ты любил меня».

Сейчас при взгляде на него, в ней воскресали тихие надежды...

— Мы найдем свою долю, а если нет, то силой возьмем, — любил говорить он. Теперь она еще крепче верила в эти слова, видя, что в такой момент, когда даже старики плачут, не плачет он, Темур, ее муж. Она взяла на руки сына и прижала его к груди.

Заходило солнце. Становилось холодно. Женщины укутывали детей, стонали больные. Опять раздался скрип колес. Блеяние, мычание, глухие рыдания, проклятия стояли в воздухе. Скорбный обоз двигался дальше.

Слух о том, что помещик Туганов выгнал дурдурских крестьян, облетел к вечеру ближайшие села. Люди выходили на дорогу, навстречу обездоленным. Женщины бледнели и с ужасом крестились.

— Даже каменную грудь разорвет их горе... — шептали они, глядя вслед.

Ночь застала их возле большого равнинного села Христиановского. Тяжелые, темные тучи низко висели над серой, влажной степью. Гневно рокотала река Урсдон, и с тихой рекой Црау сплеталось ее извилистое русло, образуя нечто вроде маленького островка. Трава на этом островке зеленела до поздней осени. Здесь и расположились дурдурцы, напоминая собой потревоженный муравейник. Лошади и коровы бродили в молодой зелени островка. Задымили костры. В сырой темноте почти громко кудахтали куры. Свер-

кая зелеными огоньками глаз и жалобно мяукая, бегала между подвод заблудившаяся кошка.

— О-о-ох... — истошно стонала какая-то женщина — ей пришла пора рожать.

— Не в добрый час пришел ты, человек, в этот мир, — проговорил дед со щетинистыми бровями, тревожно прислушиваясь к стонам роженицы.

Он снял шапку и перекрестился. Ярко вспыхнул костер и осветил нахмуренные лбы, горящие гневом глаза, подоткнутые подола черкесок, закатанные штаны.

— Послать бы в село кого-нибудь, — обратился к деду Темур, — может, кто захочет принять к себе хоть нескольких? Не кочевать же нам цыганским табором? Ведь холодно...

— Кто захочет пустить безземельных? — вмешался в разговор слабый старческий голос.

В это время двое всадников подъехали к костру.

— Счастье да будет в кругу вашем, — произнес один из них, слезая с коня.

— Да будешь ты вестником счастья, — ответили ему и пригласили к костру.

Один из прискакавших был казак Илья, друг Темура, а другой, — что первым слез с коня, — посланный селом пожилой крестьянин-осетин.

— Старшина в город уехал, — произнес он, — не может село без него ничего решать... Но если у кого из вас в селе родственники есть, — идите. На то добрая воля хозяина. Всякий гость — божий гость, никто мне запретить не может гостя принять, — проговорил он и низко поклонился.

— Пойдем ко мне, — зашептал Илья Темуру, — не ночевать же тебе в степи. У меня на мельнице переспешь...

— Не твоя мельница! А к хозяину твоему, Сафа Абаеву, почевать не пойду, — знаю я его, — ответил Темур.

— Я тебе место нашел, в селе богатая старуха есть, ей работники нужны...

— В работники я не пойду, у меня семья... — перебил его Темур.

— Она тебе десятину земли с сараем в аренду от-

даст на несколько лет. Я говорил с ней, пойдем, — настаивал Илья.

Долго еще в неровном свете костра мелькала фигура посланного селом. Кланяясь у каждого костра, он говорил:

— Сами знаете, земли у нас нет, а у кого родственники или знакомые в селе имеются — идите, таков обычай гор наших. Закон начальства бессилен против адата, гость — божий гость...

Скрипя колесами, ушло в село Христиановское несколько семейств и в том числе старик со щетинистыми бровями — отец семи дочерей — и Темур Савкуев с женой и сыном. К рассвету моросило. В густом белесом тумане, оставляя тлеющие костры, уходили люди навстречу неизвестности. Клубились туманы, рокотала река, земля расстилалась без конца и края, темнели леса, и уводила дорога в неведомую, скорбную даль...

4

Высоко в горах, у истоков вечных ледников, берет свое начало река Урсдон. Ее голодные волны грызут гранитные камни. Молочно-пенистая, она искрится на солнце рвется буйно через ущелье, а выбежала из ущелья — притаилась... Ровная, пугливо озираясь по сторонам, вошла она в узкое русло и притихла. К югу, на сотни десятин, зеленым ковром раскинулись кубатиевские леса, а на запад, до земель кабардинских князей, вширь и вглубь разметались, взобрались на холмы, уползли в глубокие овраги, заняли все низины тугановские земли. К северо-востоку жирным коричневым персегом лежат казачьи земли — целина. Реке Урсдон не прыгать теперь горной козой с высоких уступов. Стиснули ее со всех сторон земли богатеев, и, выйдя на равнину, течет Урсдон пугливо через село Христиановское.

По зеленому берегу реки, обсаженному от угла до угла стройными тополями, крепко врос в землю цементным фундаментом белый каменный дом, крытый жестью. На зеленых узорчатых желобах каждую вес-

ну стрекочут скворцы и ласточки. Владелец дома, Сафа Абаев, длинной хворостиной прогоняет птиц и, разрушая гнезда ласточек, говорит:

— Не для вас строили нарядный дом. Не дам паковать его всякой твари. Пши-пши-пши! — ворчит он и трясет серебристой бородой. — Летите, летите отсюда. Нет места вашим земляным домикам под зеленой крышей моего дома. Вон шалаши временнопроживающих, они, как ваши гнезда, — прошиты хворостом, смазаны коровьим пометом. Туда и летите... Пши-пши-пши!

Сгоняет Сафа птиц с крыш паличников окон. Он одет в чесучовый бешмет, в черные тиковые шаровары, обшитые шелковой тесьмой. И на равнине и в горах известны богатства Сафа. Ждет он к концу лета сыновей в гости. Один — артиллерист, капитан, служит в Ростове, другой — учится в кадетском корпусе во Владикавказе, третий — в Московском университете на медицинском факультете, скоро будет врачом. Только одного оставил Сафа при себе, чтобы помогал вести хозяйство.

Рядом с белым домом Сафа, занимая почти целый квартал, стоит красный кирпичный дом с широкими окнами. Высокий красный забор, густо утыканный гвоздями, делит на две части большой двор, не двор — сундук. Около дома — курчавый тутовник. Вдоль всего забора чисто подметена улица, нигде ни соринки. Стройна Саниат Гуларова — хозяйка этого дома. Мать двух сыновей, состязается она в богатстве с Сафа Абаевым.

На людях зовет его Саниат своим защитником, горемычной вдовы защитником, а про себя называет хищным шакалом, пауком. Хорошо знают друг друга Сафа и Саниат...

Рядом с домом Саниат, на церковной земле, стоит дом с мезонином. Наверху, в четырех комнатах, красной глазурью поблескивают полы, а внизу, в подвале, хранит священник Харитон гладко вмазанные в глину бочки кизлярского вина, даже арака¹ хранится у него в дубовых бочках.

¹ Арака — самогон из кукурузы.

Абаев Сафа, Саниат Гуларова и священник Харитон — соседи. Все село завидует их сытой жизни. Бедняки, желая детям счастья, говорят: «Да посетит тебя удача Сафа». А когда пророчат девушкам женихов — «Да падет на тебя выбор сыновей Саниат».

Хозяйка большого кирпичного дома, юркая, вездесущая Саниат, встала сегодня раньше обычного. За опрятным двором — хлев, накрытый черепицей. Ленивые буйволицы важно поводят влажными мордами.

Глядя на сонное лицо и припухшие глаза работницы Мерет, слушая, как она сладко зевает, хочется спать. Ей двадцать восемь лет, и кажется, что за эти годы ни разу не выпалась она. Ноги у нее грубые, в подтеках, красные, а на пятках — трещины. Стоя у двери открытого хлева, она медленно вдыхает знакомый запах теплого навоза, парного молока. Мерет толкает ногой буйволицу в широкий зад, но животное остается лежать. Буйволица, медленно поводя белками глаз, равнодушно поворачивает назад голову и ждет, когда ей пощекочут шею. Мерет всегда хочется спать, и потому ей холодно. Даже в знойные летние дни она ознобно вздрагивает. Не знает Мерет теплоты отдохнувшего тела, не знает теплоты материнской ласки. С восьми лет, круглая сирота, попала она в этот каменный ящик. Никто ее здесь не любит, да и она не любит никого. Только поздняя ночь приносит ей радость, когда сделаны все дела, и в доме все уснет. Тогда, растянувшись на сером войлоке, — ей некогда думать, — она быстро засыпает, улыбаясь от ощущения тепла и покоя. Но улыбка не долго держится на ее сером лице. Во сне она вздрагивает и выкрикивает полуоткрытыми губами: «Ой, не надо, не надо, пожалуйста, я устала, я целый день работала». На ее лице страдальческая гримаса. Ей снятся два хозяйских сына. По очереди приходят они к ней и тиранят ее усталое тело. Ей было четырнадцать лет, когда холодной декабрьской ночью, больно избив казачьей нагайкой, изнасиловал ее старший сын. Потом она привыкла к этому и не стала разбирать — кто старший, кто младший.

Безразличное, сморщенное лицо ее напоминает преждевременно созревшее яблоко. Хозяйка каждое утро заставляла ее обливаться холодной водой, говоря:

— У-у, распутница! У, грязная! Тебя к корыту хлебному противно подпускать, опять вся измятая, как кутенок паршивый.

А про себя думает:

«Хорошо, что сыновья на сторону не ходят, и расходов меньше, и опасности нет заболеть... Сама им устроила... пускай в свое удовольствие поживут, а женятся — все это забудется...»

Мерет стоит в хлеву, глядя на буйволицу. В одной руке ведро, в другой — серое полотенце.

— Уй, негодная тварь! Жаба черная, что стоишь? Смотри, дура, скоро солнце взойдет, а ты еще не доила! — кричала у самого ее уха Саниат.

Мерет пугливо отскочила и уронила ведро. Растерянная жалкая улыбка бродит на ее лице.

— Уа-анассына¹ — еще улыбаться смеешь, безродная нищая. Призрела я тебя, неблагодарная!.. — кричит Саниат, стараясь ударить ее пустым ведром.

Мерет прячет лицо и поворачивается спиной к хозяйке. Цинковое ведро при каждом ударе по худым лопаткам девушки подскакивает в руках Саниат.

Три буйволицы с тупым равнодушием поводят влажными глазами. Одна из них попыталась встать, и тогда Саниат переносит удар со спины Мерет на голову буйволицы. Ведро жалобно дзинькает по черным рогам животного. Воспользовавшись этим, Мерет выскакивает из хлева.

Вернувшись с теплой водой, Мерет обмыла, обтерла вымя буйволицы и стала доить. А Саниат усеялась во дворе на перевернутый ящик из-под кормушки. Губ ее почти не видно: в том месте, где они должны быть, — две тонкие розоватые полоски. Брови, как два вороньих крыла, надвинулись на острый нос. Из-под черной шелковой повязки выбилась у левой щеки седая прядь волос. Черная юбка прячет ее длинные худые ноги в мягких сафьяновых чува-

¹ У а - а н а с с ы н а — неперсводимый упрек.

ках. Тонкая, она напоминает упруго сплетенную плетъ из телячьей кожи. Сжав острые колени, она сидит на ящике, словно приросла ко дну кормушки.

Вдруг она вздрогнула: луч солнца тоненькой желтой струей просочился сквозь крошечные щели крашеного забора и упал у ее ног. Саниат отодвинула ногу, переставила ящик и тупо посмотрела на золотую цепочку, трепещущую на земле. Если долго смотреть на нее, то видно, что идет она дальше, скользя по пыльной земле. Высоко над головой Саниат, купаясь в розоватом утреннем тумане, будто перепуганные носятся ласточки. Солнечная золотистая цепь опять подползла ей под ноги.

— Тоба астаафраллах!¹ — произносит она. — До чего это похоже на мой сегодняшний сон. Что бы это значило?

В это время Мерет вышла из хлева и подала хозяйке в расписной деревянной чашке пенистое ароматное молоко.

— Не хочу я, Мерет, сегодня молока, беспокойно мое сердце. Что-то недоброе должно случиться в нашем доме. Послушай-ка, я расскажу тебе свой сон, — сказала Саниат работнице так, словно ничего не произошло между ними. — Хотя ты и блажененькая, не тебе разгадывать сны, но очень уж тяжело мне... Снится мне, будто сижу я под липой, что во дворе, подрубаю сыновьям черкески, подрезаю подолаы, а сама думаю: «Коротки ведь будут». А потом подходит ко мне отец мой, сгорбившийся, седой, берет их у меня и говорит: «Не подрезай больше, у нас в Кабарде не носят таких коротких черкесок», а сам веселый. Я радуюсь, что отец со мной заговорил. Ты ведь не знаешь, как я попала сюда: меня покойник мой украл из Кабарды, и не видела я с тех пор никого из родных... Не простили они мне моего православного мужа, проклинали меня. Родила я двух сыновей, потом осталась вдовой. Но в достатке,—продолжала она, гордо закинув голову.—Никому не завидую, благодарна я богу — не оставил он меня. Были бы сыновья живы, здоровы, вернулись бы домой, а там

¹ Тоба астаафраллах — вроде русского «О боже мой».

старшего жено, тогда и тебе по дому справляться легче станет, — закончила повеселевшая Саниат.

Разошлись брови ее, в глазах забежали ласковые искорки. Видя, что у хозяйки хорошее настроение, Мерет решила сказать ей то, что давно ее мучает. Вот уже больше трех месяцев ее каждое утро тошнит, в глазах фиолетовые колечки. И поесть хочется чего-то необыкновенного: то мел поскоблит на стенке, то уголька кусочек втихомолку съест, но уголек не с кукурузного кочана, а только дубовый. А больше всего ей хочется спать. Спать... эх, как бы она поспала... Робкая, забитая, опустилась она прямо на землю, рада, что можно посидеть. Нервно дергая ручку цинкового ведра, сказала хозяйке:

— Вот и хорошо, что сына жените. Не потому говорю, что мне легче по хозяйству справляться будет, — я работать рада. Молодая придет — лучше в доме будет... складнее... Я угождать ей буду еще больше...

Мерет взглянула на хозяйку и умолкла. У Саниат брови с высокого лба прыгнули на переносицу.

«Не так сказала, разозлила ее», — подумала Мерет и попыталась встать.

— Почему это ты говоришь, что молодой угождать будешь лучше? Чем это она заслужила?

Саниат в душе давно ревновала сына к будущей снохе.

«Отберет у меня пришлая сына, забудет он меня. А сколько горя перенесла я из-за них».

— Неблагодарная ты, недаром в тебе кровь холопская течет. У-у, жаба! Говоришь, что будешь угождать — угождай, коли такая она для тебя будет, как я.

Вся съежившись в комочек, сидела Мерет, прислушиваясь не то к ворчанию хозяйки, не то к тому, что маленькими, мягкими молоточками бьется у нее под сердцем. Она любит эти теплые толчки в животе. Ей от них всегда тепло, и потому визгливое ворчание хозяйки отдается у нее в ушах: «жу-жу-жу-жу!» Она прислушивается, заботливо положив шершавую ладонь на живот.

— Не так я сказать хотела, — перебила она, на-

конец, разбушевавшуюся хозяйку.—Чтобы тебе угодить, я и молодой угождать буду. А то не знаю я разве, кто ты для меня?.. От нищеты спасла... Вот... Вот, хозяйка, я давно тебе сказать хотела... у меня... опять... опять у меня ребенок, — не сказала, а выдохнула Мерет и вскочила.

Саниат улыбнулась и шепотом произнесла:

— Дура, запустишь всегда, пока он у тебя в целого всадника не вырастет! Хорошо, приготовлю тебе зелье это. Только вот беда — сыновья приезжают, а ты после этого целый день работать не сможешь. Одна изведусь, гостей много будет. Сегодня все сделай, а ночью примешь...

— Что это за секреты у тебя с убогонькой? О чем беседуешь,—послышался веселый голос жены священника, глядевшей в щель забора.

— А ты что, матушка, так рано поднялась? Я ведь знаю, что любишь поспать... — ответила Саниат.

— Я к заутрене иду, хочу тебя с собой позвать. Отец Харитон говорит, мало мы с тобой в церковь ходим, плохой пример народу подаем.

Примяв траву, матушка Анна вплотную под села к забору. Глядя в узкую щель деревянного забора, соседки приветствовали друг друга, желая счастливого дня и удачи в жизни.

— Хорошо в церковь ходить, матушка, да вот я сон такой тревожный видела, что даже с убогой в разговоры пустилась.

— Ничего, Саниат, она хоть и блаженненькая, а все божье творенье. Даже и собака может настроение человека понимать. На всем живом крест его божий лежит, все ему известно, все им наперед начертано.

Саниат перебила матушку, зная, что если не остановит, она долго будет говорить о боге. Саниат вслух молится этому богу, но про себя просит Магомета простить, что поневоле перешла в чужую, непонятную ей веру. В закрытом большом сундуке у нее есть даже ламазды¹, на котором она втихомолку

¹ Л а м а з д ы к — шкура горной козы. На такой шкуре магометанин молится богу.

молится, прося Магомета не отвергать ее, грешницу, и принять в свой рай. Конечно, она давно перестала мечтать о том, чтобы стать на том свете одной из гурий в голубом его шатре, но попасть в рай она не теряла надежды.

Только жаль ей было, что, может, не будет с ней там мужа... сыновей...

— Так послушай, матушка, сон я тебе свой расскажу, — сказала Саниат. — Будто я сыновьям подрубая подола черкесок, под липой сижу во дворе. Отец-покойник пришел, отобрал черкески и говорит, что у них в Кабарде коротких черкесок не носят. Боюсь, матушка, плохо во сне покойника видеть, а давать им вещь какую-нибудь—вдвойне плохо. Передала я отцу черкески сыновей.

— Волноваться из-за снов нельзя, — сказала матушка серьезно, морща брови.—Отец Харитон мне всегда говорит, что сны — божьи думы, которые он дает понять нам во сне. А что отца видела — так разве ты для него чужая? Кровь родная, хоть и проклял, а все же душа его за тебя неспокойна. Вот иказывается он тебе. Отцу Харитону скажи, чтобы отслужил по нему панихиду, да подороже, и не будет душа твоя томиться. Мы с отцом Харитоном по утрам сны разгадываем, я уж весь сонник наизусть помню, хоть меня самое не сподобил господь понимать чтение.

— Нет, матушка, — сказала Саниат, вставая. — Боюсь я этого сна, нехороший сон, соседка...

Матушка сделала покорное лицо, положила ладони на живот, потом перекрестилась и сказала:

— Пойдем в церковь, помолимся, легче на душе станет. После службы к нам пойдешь, разгадает батюшка твой сон по соннику. Что богу угодно, того не переделаешь, нельзя, а роптать на него не велено.

И соседки разошлись, сговорившись встретиться в церкви.

Солнце вынырнуло из-за каменного белого дома, и горячее око его осветило липу на середине опрятного двора.

Саниат с заднего двора, где помещалась скотина, прошла в передний и оглянулась. Двор ее, освещен-

ный солнцем, уютен и чист. Амбары полны муки и пшеницы, чердаки завалены трехлетней кукурузой, копченой бараниной. Но тревожное волнение не покидало ее. Сон не давал ей покоя, и перед глазами вставали оба сына. Уже больше двух недель прошло, как уехали они в Тифлис. Дорога туда нелегкая: перевал, кручи — страшно. Но сыновья ее осторожны: в мать пошли характером. Знает она: привезут сыновья сафьяну разноцветного, персидских платков с синими, желтыми, белыми каймами, рису, янтарного кишмишу.

«Женить буду старшего, — думает она, — непременно женить». Имена сыновей ласково звучат в ее ушах, но обычай не велит называть детей по имени. Поэтому она называет их просто: старшего — хисдар¹, а младшего — касдар².

Под сараем, над очагом, гладко обмазанным глиной, качается надочажная цепь, а на ней черный котел, полный баранины. От копоти котел пушистый, как дорогой каракуль.

У очага Мерет с полузакрытыми глазами собирает буйволиный сыр в большом оцинкованном котле. Саниат, застегивая пуговицы коричневого шерстяного платья, говорит:

— На мельницу пшена снесешь, хлеб пшеничный сделаешь, кефир процедишь, чесноку натолчешь. Барашка Атарбек с отары привезет — не режьте, меня подождите. С вешалки снимешь их белые черкески, бешметы чесучовые — встрясешь. Вода чтобы горячая была. Медный таз большой из кунацкой вынеси — сама знаешь, как они любят. Или утром, или вечером сегодня должны они быть. А сама жди меня, помогу тебе оправиться.

Отдав распоряжения, Саниат ушла. По улице шла молчаливая, строгая, глядя перед собой. Коричневый шелковый платок с тяжелой бахромой облегал ее узкие стройные плечи. В зрачках больших глаз играли синеватые огоньки; никто бы не дал ей пятидесяти лет.

¹ Хисдар — старший.

² Касдар — младший.

Сосед Сафа, встретив ее, поздоровался и усмехнулся в бороду: «Ну и красавица, педаром я сделал тебя богатой. Умная.»

Оставшись двадцатилетней вдовой, Саниат растерялась: табуи коней, отары овец, пятьдесят десятин земли, деньги в банке, дом кирпичный, двое маленьких детей. А кругом — чужбина, ни родных, ни друзей. Часто в лунные ночи боялась она оставаться в своем большом доме. Запрется в самой маленькой комнате, зажжет лампу и громко разговаривает с детьми.

Подолгу смотрела она тогда в щели забора на соседний двор. Все ей нравилось в том дворе. А особенно он, рослый тридцатилетний мужчина, хозяин дома, с черными насупленными бровями и высоким морщинистым лбом, властный окрик его, грудной голос.

Рабочая половина двора, где у Сафа помещались скотина, птица, кладовые, амбары, сараи и работники его, была отгорожена от другого, «парадного двора», где все было утрамбовано, выложено кирпичом, посыпано щебнем. Цветочные клумбы были разделаны в строгом порядке. Дикий виноград затянул стеклянную галерею кирпичного дома. От дома к покатому берегу реки сбегал большой фруктовый сад, между рядами деревьев стояли улыи.

В первый же год своего вдовства Саниат встретила с Сафа на сенокосе.

Молодая вдова неуверенно и робко торговалась с косарями.

Сафа отозвал ее тогда в сторону и, хотя, по обычаю, не имел права разговаривать с ней, сказал:

— Не под силу тебе этот труд, не женское дело. Да простит меня бог, не позволено нам с тобой так разговаривать, но по его желанию ты вдовый крест нести осуждена. — С этими словами Сафа снял шапку и перекрестился.

Саниат расплакалась.

— На чужбине я... без родных, заступись,— сказала она и сквозь слезы, одними глазами, улыбнулась ему.

— Рука тебе крепкая нужна, иначе просеется твое богатство, как мука сквозь сито. — Сказав это, он

подошел к косцам и тем же ровным, властным голосом, каким разговаривал у себя во дворе с женой, детьми и работниками, договорился с косарями.

Дальше все пошло само собой. Летнее солнце ушло за лес. Они сели отдохнуть у реки, под стогом сена. Запах полыни, мяты кружил голову. Вечернее дымчатое небо висело над ними. Туман поднимался с реки розовый, легкий, окутывая поля.

И только когда утренний туман сменился свежим ветерком, она увидела на сене рядом с собой большое тело Сафа. Он тепло ровно дышал. На горле его выдавался большой синеватый кадык, обросший черными жесткими волосами.

Саниат не заплакала и не почувствовала себя оскорбленной. Она провела маленькой сухощавой ладонью по небритой его щеке, прикрыла его буркой и улыбнулась...

Много времени прошло с тех пор. Из робкой, неопытной вдовы Саниат превратилась во властную распорядительную хозяйку. Не один мужчина завидовал ее умению вести хозяйство.

— Тебе бы приставом быть, — говорил ей Сафа, когда злился на ее упорство.

Сейчас, глядя вслед Саниат, Сафа, как всегда, ощутил в груди знакомую дрожь, которую вызывало присутствие этой женщины.

Саниат медленно, плавно вошла на церковный двор. На паперти остановилась. Больше тридцати лет старается она понять этого бога и не может. От запаха ладана кружится голова. После яркого солнечного утра — холодный полумрак церкви, трепетные огни свечей, позолота икон. Апостол Петр со связкой ключей, святая дева с печальным ликом и младенцем на коленях — все чуждо. Непонятно ей, как православный бог мирится с тем, что в его святое логово пускают женщину, которая каждый месяц отдает часть «нечистой крови» черту? Как пускают женщину в его обитель, да еще в обуви?

В мечеть женщину совсем не пускают. И в душе своей Саниат считает Магомета настоящим богом, а Христа — не настоящим. Она знает — и в Христовом законе сказано, что жена должна быть во всем по-

корна мужу, что женщина — сосуд дьявола, искусительница. Но, не будучи в душе согласна с тем, что женщина во всем должна быть покорна мужчине, она с удовлетворением подумала о том, что, не покаясь мужу, владеет большими богатствами. Она вошла во внутрь церкви, стала с левой стороны и застыла, сосредоточенная, красивая. Саниат не крестилась.

«Не умею, и страшно», — говорила она всегда отцу Харитону.

— Господу богу помолимся, — тянул тошнотным голосом отец Харитон, длинный, сухой, похожий на Христа. Хор подхватывал: «Господу богу помолимся». Саниат на миг остановилась на круглых маленьких глазках батюшки и вспомнила другие глаза. Вспомнился ей мулла Мирзо — дородный старик с янтарными четками, в светло-серой черкеске, с белой чалмой на голове.

Не спуская глаз, она глядела на батюшку. Он поднимал кадило, и казалось ей, что видит она муллу Мирзо. Когда кадило опускалось, снова видела она Харитона.

Отец Харитон, видимо, был в хорошем настроении. Обращаясь к народу, он говорил торжественным тенорком:

— Бог во благо вам испытание шлет. Сатана прелестью лица вас соблазнить жаждет, дары в жизни земной сулит, в пекло вас заманить хочет. А бог-то всеблагий, ангелов смерти и горестей на землю шлет. Да пострадает греховная плоть и станет душа светла, яко агнец...

Саниат, не моргая, глядела в лицо батюшки, желая вникнуть в смысл этих непонятных, запутанных слов.

Со стены, в раме из золотой оправы, смотрел на нее Христос. Светлый от красноватого огонька лампы лик Христа на иконе казался живым, глаза спасителя смотрели ласково и грустно. Саниат первая подошла к попу и приложилась к распятию, ощутив на губах острый холодок металла.

— Мне плохо, я упаду, выведи меня, — шепнула она стоящей рядом женщине. На церковной паперти она увидела свою работницу.

— Зачем пришла? — хотела спросить Саниат, но вместо этого схватила Мерет за ворот и рванула ее к себе.

Кривя губы, вся морщась, Мерет заплакала, выговаривая:

— Горе тебе, хозяйка, иди домой!.. Иди! Сыны твои!.. Их привезли!..

Побелевшая, рванулась Саниат, оставив на ручке двери ниточки крученой бахромы от шелкового платка.

Сорвала она платок с головы, ударила себя в грудь кулаком и вырвала седой клочок волос. Кровавые следы от ногтей остались на тонких ее щеках.

Забыв все обычаи, она побежала через площадь и, свернув на свою улицу, остановилась, увидя у настежь раскрытых ворот своего дома толпу мужчин.

— У-у!.. Расплескала я счастье свое, расплескала, — не заплакала, а завывала Саниат, снова ударяя себя в грудь и царапая лицо.

Женщины окружили ее. Застонали разногласно, нестройно. Соседки, подражая ей, били себя кулаками в грудь, в бока и, складывая руки на груди, плакали в такт ударам:

— Да-дай, да-дай, да-дай!

По дороге из Тифлиса домой, на станции Казбек, в одну ночь умерли от холеры оба сына Саниат, и привезли товарищи к матери два трупа, завернутые в бурки, двух лошадей, сумки переметные и дорогие покупки.

Широкий двор Саниат огласился воплями. Два ее сына, со страшными, открытыми глазами, скорченные, черные, лежали рядом на дорогах мохнатых бурках.

Оплакивали покойников. Каждому хотелось посмотреть и дотронуться до них. Поплакал народ, постонал, и встали люди полукругом во дворе. Для стариков положили на сложенные кирпичи длинные доски. Закололи огромного серого быка и десять баранов — на поминки братьям. В настежь открытые красные ворота входили соболезнующие, оставляя за воротами палки, и становились лицом к старикам. Старики, привставая, принимали соболезнование. По-

том соболезнающий отходил в угол сарая, где на мятом сером листе бумаги сельский писарь Николай четким красивым почерком записывал фамилию, имя и сумму денег, которую жертвует соболезнающий по случаю несчастья. Близкие, знакомые, громко плача, шли в комнату, где на двух пружинных койках, бок о бок, нарядные, в белых черкесках, лежали наследники большого кирпичного дома. Женщины; встав в ряд, били себя в грудь и стонали:

— Да-дай, да-дай, да-дай!

Саниат, вся исцарапанная, опухшая от слез и горя, сидела у изголовья сыновей. Качаясь, словно маятник, и сжимая бока, она скулила, как больное животное, и потихоньку выла, потом лицо ее содрогалось, и, передергиваясь всем телом, она начинала голосить:

— У-у-у! Закатились звезды мои, закатились... Расплескала я счастье свое, расплескала. Столбы мои дубовые, негнущиеся, что буду делать я после вас на чужбине? Где преклоню голову свою одинокую, родней своей проклятая, отцом вашим покинутая?.. Столбы вы мои дубовые, свалила вас в один час холера черноротая, унесла в царство далекое. Погасили вы огонь в очаге моем. Вместо пояса шелкового опояшусь я цепью надочажной,¹ пойду я греметь дорогами необъезженными, тропами неприглаженными. Седые космы свои развею я по ветру... Только ветер да ворон черный откликнутся на горе мое. Столбы вы мои дубовые, старые кости мои не вам хоронить, схоронит их пришелец чужой. Столбы вы мои дубовые, обвенчала я вас с чинаровым гробом, поженила я вас на сырой земле...

Качается Саниат, сжимая обеими руками бока, обильные слезы бороздят ее исцарапанные щеки, разъедая солью раны. Плачет она, доносится плач ее во двор, и тогда ей оттуда отвечают густые мужские голоса...

Спустилось солнце над большим степным селом Июльские дни на равнине не то, что в горах — жар-

¹ В доме, где погибли мужчины, в знак гибели всего рода снимали надочажную цепь.

ко. Вечер пришел сухой, жаждущий росы. В доме Саниат стих плач. Сидя безмолвно, женщины едят жирную баранину и разговаривают вполголоса. Жую беззубым ртом, сказала одна:

— Что с таким богатством будет теперь делать Саниат? Куда девать станет? Помрет Саниат, кому все это достанется, к кому перейдет все ее добро? Вот горе какое... Ой, горе ей!..

Сытно наевшись на поминках, разошлись знакомые.

Свернувшись на тахте, задремала Саниат, измаялось тело, измаялся мозг. Не верится ей, что лежат ее соколы в земле — отрада и надежда ее старческих лет. Сейчас не чувствует она одиночества, но потом придет злая тоска, что она будет делать со своим хозяйством? Шепот женщин вывел ее из забытья...

Она вскочила. Прямая, как натянутая струна, Саниат опустила ноги на пол и, видимо, вспомнив о чем-то очень важном, быстро прошла в коридор. Подставила лестницу к чердаку и вскарабкалась наверх... Не говорит Саниат, не зовет, а стонет:

— Мерет, Мерет, не убивай ребенка!.. Не души!.. Не расплескай мою последнюю кровь... Родишь сына... станешь хозяйкой моего большого двора,—шепчет Саниат, подползая на коленях к Мерет.—Не убивай, не убивай сына, безродная,—сына роди, богатство мое спаси, фамилию, род... Добру моему не дай в чужие руки перейти.

Саниат вплотную подползла к Мерет, подняла ее голову, ласково прижала к груди—горячую, потную. И незнакомым для Мерет ласковым шепотом произнесла:

— Не убивай кровь моего сына, не убивай, безродная...

Лежа на голом чердачном полу, с куском войлока под головой, разметав большое тело, Мерет еле шевелила бескровными губами.

Саниат подняла холодную, тяжелую голову работницы и уронила ее.

— Не сберегла, убила, следы мои водой смыла... Убила! — простонала Саниат.

Мерет пыталась подняться, но не смогла.

— Будь проклята! — глухо прошептала работница.

— Убила! Загубила весь мой род!.. О-о-о!.. — завывала Саниат, сползая с чердака.

Постонала Мерет и осталась лежать с широко открытыми глазами. В стеклянных глазах ее, нырнув через щели черепицы, замерцала вечерняя звезда. Казалось, что Мерет отдыхала — была рада, что за двадцать восемь лет она может, наконец, отдохнуть и выспаться... Крупная холодная слеза проползла к самому ее уху и повисла там, словно камень на обрыве...

5

К веранде обширного дома Сафа работник подвел гнедую кобылицу. Подхватив ее под уздцы, он терпеливо ждал выхода хозяина, чтоб поддержать ему стремя. За открытой дверью веранды, сидя на крашеной скамейке, невысокая полная женщина, жена Сафа, Кошер, завязывала ковровый хурджин¹ и наставительно говорила мужу:

— А по мне, твоя иноплеменная сноха пусть умрет хоть от отравленной иголки... Хотя она и жена любимого сына, но ты знаешь, не любя она мне... Какой в ней прок?.. Пустоцвет. Не ее дети станут опорой твоему очагу...

Жена второго сына Лидия Ивановна — дочь немца-колониста. Этот брак — женитьба сына-офицера на женщине инородной крови, как выражалась сама Кошер, подрубил ей колени.

— Мало, что чужих кровей, да еще и бездетная.

Сам же Сафа относился к своей иноплеменной снохе с нескрываемым уважением, подчеркивая это даже в отношениях к ее отцу — провизору, который имел во Владикавказе собственную аптеку. Бывая в городе, Сафа удостаивал провизора почтительным визитом и часто засылал ему с работником то тушу барана, то ящик меду. Кошер же полюбила старшую

¹ Х у р д ж и н — чересседельный мешок.

сноху, которая сейчас, стоя за дверью веранды, с любопытством подслушивала разговор свекра и свекрови, держа на руках годовалого сына. Услышав, что свекровь опять ругает бездетную невестку, она с торжествующим злорадством спустила с рук сына и подтолкнула его вперед. Ребенок пополз к бабушке.

Черноглазая, подвижная Сурат, — неугомонная работница. Она умела в доме сделать все: постирать, приготовить, убрать, вплоть до того, что шила свекру нарядные черкески и сафьяновые сапоги. Умрет ли в селе богатый человек, выходят ли замуж — не обходилось нигде без иголки Сурат. Свекровь гордилась ею и любила ее. А главное — Сурат подарила первого наследника несметным богатствам Сафа. Бабушка не чаяла души во внуке и, качая его на коленях, напевала: «Живи, пока катится камень в горах и журчит на равнине ручей». Она знала, что мальчик в доме — основа очагу, всему роду продолжение. Поэтому Кошер с предупредительной нежностью относилась к старшей снохе.

Сегодня Сурат, узнав рано утром от работника, что Сафа едет в город, пришла к свекрови в комнату и стряхивая с передника мучную пыль, попростила:

— Иана, старик, кажется, в город едет, пусть заедет к моим в Гизель, я пошлю маме подарок: кусок кашемиру, что подарил мне казак Макушев. Попроси его...

— А что его просить? Заедет и все,—одобрительно сказала свекровь и полезла в сундук. Достав кусок синего ситца, она проговорила: — И это прибавь, братья у тебя не на чистой работе, пригодится... А потом — полезь-ка на чердак да возьми матери копченого курдюка, а я пойду скажу старику.

Когда Кошер сказала мужу, что ему надо будет завернуть в Гизель к родственникам Сурат, старик нахмурился и заявил, что у него в городе и без ее поручений, слава богу, дел хватит — за неделю не сделать. Но старуха возмущенно сказала:

— Небось, к этому бурдюку кефирному, к твоему аптекарю найдешь время заехать, а мне от него польза, что бедняка от богатого соседа...

Не спрашивая больше его согласия, она упаковала гостинцы в хурджин, затем поправила вылезший из гнезда серебряный газырь на черкеске мужа и перекрестила его в дорогу.

Июньское солнце всходило навстречу, когда Сафа выехал за ворота. Просхав до конца улицы, он повернул лошадь назад и проскакал до дома. Не слезая с лошади, постучал плеткой в калитку. Кошер, выглянув на стук, упрекнула его:

— Чего вернулся? Перед деловой дорогой, не будет удачи...

Но Сафа оборвал жену:

— Сегодня придут временнопроживающие наниматься на полку кукурузы, забыл сказать сыну, передай ему, что дневная плата — двадцать копеек с их харчами, с моими — десять...

Еще утренние короткие тени лежали у заборов, когда Сафа въехал в Ардон. Здесь осетины и казаки живут вместе, деля село пополам: на казачью половину — станицу и осетинскую половину — село. Селение Ардон знаменательно тем, что имеет духовную семинарию, которая выпускает и священнослужителей и учителей для горцев. Эта семинария является гордостью для православной части осетинского населения. Если девушка просватана из другого села в Ардон, все село ее считает для себя честью породниться с таким селом, где учатся русской грамоте... Но Сафа не разделял общего мнения. Проезжая мимо ажурного кирпичного забора семинарии, за которым, готовясь к летним экзаменам, толпами слонялись семинаристы, Сафа подумал:

«Или уж совсем русскую грамоту не знать, как я, или уж знать ее, как мои сыновья»...

Он представил себе старшего сына Гамази, ловкого, расторопного коммерсанта, второго сына (любимого) — офицера-артиллериста, третьего сына — студента Московского университета, младшего — болезненного, худосочного подростка, кадета, к которому Сафа относился пока снисходительно, как к ребенку.

К полудню он был уже за казачьей станицей Архонской, решив завернуть в Гизель на обратном пути. Под городом, около казачьего полигона, он спешил

в тени дурманно пахнувших акаций, подсунул под голову седло и растянулся на мягкой, прохладной траве.

Родною своего старшего сына Сафа не любил. Он не прощал сыну этот неравный брак и ворчал:

— Нашел себе родню... Нечего сказать. Тестя его в Садоне на рудниках защемило где-то под землей, как в мышеловке, да и сыновья не лучше, дальше отца не ушли... Старший брат,—сетовал старик,—на дохлой кляче ежедневно из Садона до города руду для завода подвозит, младший —на заводе у цинковой печи, как шашлык, жарится... А спеси у них больше, чем у пристава.

Старик вздремнул было, но его разбудил грубый окрик часового:

— Эй, азиат, не знаешь разве, что на полигоне посторонним не положено...

В подвижные глубокие морщины собрался высокий худой лоб Сафа. На окрик часового он не ответил, торопливо оседлал лошадь, легко подбросил сухое тело на ее спину и выехал с полигона. Навстречу ему шел молодой казачий офицер с ярко-синими глазами и светлыми курчавыми волосами. Белоснежную кожу его лица не брал даже летний загар. Он издали улыбался Сафа, показывая ровные крепкие зубы. Сафа признал в нем капитана Белогорцева, сына ардонского станичного атамана, приятеля своего сына. Белогорцев, козырнув Сафа, погладил влажную морду лошади:

— Так это вот, оказывается, чья красавица! А я было чуть не присвоил ее.

Белогорцев протянул Сафа маленькую руку, а затем снова погладил трепещущую морду лошади.

Сафа, не слезая с лошади, притворно сердито проговорил:

— Нажалуюсь твоему другу, что ты выгнал его старого отца и не дал подремать...

Белогорцев беспечно расхохотался и, трепля губы лошади, проговорил:

— Прошу ко мне в палатку, а здесь—действительно нельзя. Извините — служба не дружба...

Сафа отказался от приглашения и шагом поехал к городу.

Кумачом плескалось солнце на стеклах окон, когда Сафа въехал на окраину Владимирской слободки. Проезжая мимо особняка князя Макаева, он подумал:

«Завернуть, но не с чем, неудобно к княгине без гостинцев, от такого кунака нельзя отказываться... Молодец князь! Амурхан с его помощью, наконец, окончательно отделался от дурдурских крестьян».

Он пришпорил лошадь, торопясь в Осетинскую слободку, к священнику Цораеву. Сафа и Цораев не родственники, но отец Цораева и Сафа были связаны крепкими узами дружбы. Покойный отец молодого священника совершил в свое время далекие путешествия — до Одессы, Астрахани, Баку, Тифлиса. А Сафа бывал его неразлучным спутником и компаньоном, удивляя всех удачной торговлей. С тех пор прошло много лет, но дружба между священником Цораевым и Сафа Абаевым продолжалась.

Молодой священник, помимо всего, был крестным отцом кадета Абаева.

В этот предвечерний час священник, приподняв полы светлой шелковой рясы, неторопливо проходил по зеленому двору, ища своего садовника, который позабыл сегодня утром принести попу в спальню жасмина, его любимых цветов. Он заглянул в сад, в пчельник, но садовника в обычном месте не оказалось, и он обратно поднялся на веранду. Носком шеврового штиблета он ткнул дверь веранды, раскрыл окно смуглой, плотной рукой. Ворвался рокот реки, повеяло желанной прохладой. Был тот час вечера, между светом и сумерками, когда на гребнях волн розоватым золотом скользит заходящее солнце. Священник Цораев был на замечании у самого владыки. Владыка не прощал ему коротенькой, кокетливо округленной бородки и пышной гривы курчавых волос. Летом он ходил в чесучовой рясе, чуть короче, чем у других попов. Если остричь его и переодеть, он выглядел бы и крепким коммерсантом и расторопным дельцом-адвокатом. Сан священника, казалось, смущал его, и с минуты на минуту он мог скинуть святые облачения. Упругие локоны черных волос лежали на

его широких плечах, а на смуглом продолговатом лице лукаво светились прищуренные карие глаза. В благоустроенном особняке священника Цораева все было ладно и опрятно, все выглядело плотно и жизнерадостно, как сам хозяин. В углу веранды — диван, обшитый красным плюшем, над диваном в позолоченной раме — Брюллов «Последний день Помпеи», а в маленькой раме из черного дерева — репродукция картины Бруни «Моление о чаше».

Если бы не сам хозяин в духовном облачении, трудно было бы догадаться по обстановке, что дом принадлежит священнику. Не было в доме икон, не горели по углам лампы. Только в углу гостиной в качестве иконы висела в раме из дорогой слоновой кости «Тайная вечеря»...

Цораев, лежа на диване, тихо позвал жену:

— Симочка, дай-ка мне вчерашнюю газету... И засвети лампу.

На его зов вышла молодая женщина, полная, высокая, с прямым мощным торсом. Она нежно любила мужа, гордилась его **образованием**, говоря:

— Мой муж образованный человек, не то, что эти приходские попы, которых выпускает ардонская семинария. Он окончил Тифлисскую Александровскую академию. При выпуске сам экзарх Грузии присутствовал и моего Степана особо отметил — де, за ратование смиренное быть тебе облеченным высоким саном... На челе, де, твоём огонь небесный горит...

Сама попадья принадлежала к поколению тех первых осетинок, которым Осетинский женский приют давал пятиклассное образование, выпуская их учительницами церковноприходских школ. Она считала себя предельно образованной женщиной, снисходительно относилась к родному осетинскому языку и гордилась, что чисто произносила русские слова. Трогательно-печально декламировала она целые страницы из карамзинской «Бедной Лизы», нараспев, в нос, тонким голосом пела лермонтовского — «Ангела», сама умиляясь звуками собственного голоса. Попадья была слезлива, сентиментальна, но не зла. В ее благоустроенной жизни уязвимым местом было отсут-

ствие детей. Считая детей то у одной, то у другой попадьи, она печально вопрошала мужа:

— За что такое наказание, чем мы бога прогневали? Нет ни одной попадьи, чтоб она имела меньше семи-девяти детей, а я что?.. Это бог наказывает тебя за непокорность, за светские повадки: вино пьешь, в карты играешь, куришь, — упрекала она мужа, — никакого смирения перед богом, не поп, а кавалерист...

Попадья начинала рыдать. Поп успокаивал ее:

— Ты не права, Симочка, обвиняя меня в непокорности. Сам экзарх Грузии отметил мое смирение... А насчет вина, карт и табака — ведь, кроме тебя, этого никто не знает... не видит... А вино, Симочка... Какой поп вина не пьет? Недаром у самого владыки нос лиловый.

Попадья делала большие глаза и крупной белой рукой закрывала ему рот.

Летом попадьи, боясь загореть, редко показывалась на солнце, белая кожа ее лица весной покрывалась яркой ржавчиной веснушек, что вполне гармонировало с цветом ее медно-рыжих волос. Она старательно втирала в кожу лица мазь, выписанную из Петербурга, и ходила по дому с блестящими жирными щеками.

На зов мужа она вышла с баночкой «метаморфозы» в руках и, втирая крем в щеки, сказала, подавая ему газету:

— Все про временнопроживающих пишут... Не понимаю, зачем писать в газетах о таких вещах, разве газета для того?

Поп углубился в чтение газет и спустя некоторое время досадливо проговорил:

— А ты знаешь, Симочка, кто это ратует за временнопроживающих? Это Коста неугомонный. Хотя он тяжело болен, слова его все еще мятежны. Его только могила может исправить... Жаль, когда поэт вмешивается в общественную жизнь — это гибель таланта... На что ему эти временнопроживающие?..

Поп замолчал, продолжая читать про себя. Читая статью, он встрепнулся от крика жены:

— Боже мой, Степан, Сафа во дворе, а у меня лицо, посмотри!.. Иди, прими его, выйди к нему!

Поп лениво поднялся с дивана и пошел навстречу Сафа.

До поздней ночи поп и Сафа беседовали за обильным столом. Сафа возмущенно говорил:

— Дались им всем эти временнопроживающие. Только потому, что о них без конца кричат, они возомнили, что и у самого царя только и дел, что они... И вообще, почему начальство позволяет писать такие вещи?.. Что, разве поэт Хетагуров умнее самого главноначальствующего?.. Ведь дурдурские крестьяне были выселены с ведома самого Голицына. Правда ли, что поэт болен чахоткой? — спросил Сафа.

— Болен, у него чахотка не в легких, а в костях — неизлечим...

И ночью снились Сафа временнопроживающие. Они копали землю в его огороде, ссыпая ее в мешки... Длинной вереницей шли они с мешками земли на плечах, шли без конца, не обращая внимания на крики Сафа.. Сафа плохо спал, проснулся по-деревенски рано и, не беспокоя своих городских друзей, поручив лошадь работнику, пошел к центру города. Дойдя до банка, Сафа, присел на скамью, дожидаясь, когда откроется банк. Сегодня у него было много дел. Сдать деньги на текущий счет помещика Туганова, которые он должен ему за землю. Туганов поторопился продать землю, которую занимали дурдурцы. Сафа же купил эту землю без страха, со спокойной совестью, так как князь Макаев уверил его, что покупка вполне законная. Договориться о продаже шерсти, запасы которой у него лежат еще с прошлогодней стрижки. Получить у крупного мясоторговца Мамаджана недополученные деньги за молодняк — месяц тому назад он поставил ему целую партию телят. Заехать к князю Макаеву — он никогда не объезжает его дом. Завернуть в селение Гизель к родственникам невестки — хоть неприятно, но необходимо.

Погруженный в свои хлопотливые думы, Сафа молча сидел на скамье. Было еще рано, город был безлюден, только сменившиеся с ночной работы, медленно шли рабочие. Проковыляла старуха к базару, молочница, сладко зевнув, постучала у парадных дверей; дворники, широко махая метлами, лениво пле-

тутся от одной кучки сора к другой. Резкий свисток полицейского заставил Сафа вздрогнуть. Он посмотрел вслед полицейскому, который торопливо удалялся, неистово свистя.

Из-за угла медленно и молча вышла на середину улицы хмурая толпа. Впереди всей толпы четверо замасленных людей несли на деревянных носилках завернутый в рогожу труп. Лицо его было открыто и пугало страшным уродством. Как обугленный столб, труп чернел на носилках. Деревянные сандалии на ногах, по-видимому, забыли снять, и, зловеще покачиваясь, ноги далеко торчали вперед. Сприлегающих улиц к шествовавшей толпе примыкали люди, обнажая головы и крестясь. Поблизости была типография, и наборщики, сменившиеся с ночной, тоже примкнули к безмолвному шествию. Конец его замыкало несколько арб рабочих-цинковозов. В толпу были вкраплены и рабочие из железнодорожного депо. Но серые брезентовые куртки рабочих цинкового завода бросались в глаза, и люди с суеверным страхом спрашивали друг друга:

— С цинкового или с типографии? Должно, с железной дороги...

— Преставился, родимый, может молодой? — шептала молочница.

На свист полицейского сбежалось еще несколько городских, но угрюмая толпа, не обращая внимания на свистки, продолжала нести свою страшную ношу. В одном из аробциков-цинковозов Сафа признал своего родственника, шуряна старшего сына, Тоха Цурова. По нему Сафа и догадался, что обугленный труп, по-видимому, несут с цинкового завода. Он стянул с головы каракулеву шапку, взглянул мельком на труп и брезгливо отвел глаза, подумав с неприязнью:

«Выставили напоказ, сколько их набралось, а никто не догадывается прикрыть покойнику лицо».

Под носилками в первой паре, касаясь друг друга, шли два гиганта. На одном из них — кожаный фартук, весь в прожженных дырах, лицо — в черных мелких пятнах, как от взорвавшегося пороха. Увидя, что

полицейский, беспрерывно свистя, бежит им навстречу, рабочий бросил товарищу:

— Не останавливайся... хотя б и стрелял.

— Стой!.. Не ходи!.. Здесь нельзя!.. — кричал полицейский, продолжая свистеть.

Но шествие не останавливалось. Процессия обростала, словно ком снега. Покойника вынесли на проспект. Завернув на Кизлярскую улицу, шествие направилось к деревянному мосту, на улицу «Сухое русло», где жила семья покойника.

За мостом, на окраине города, спускаясь к берегу Терека, втиснулась узенькая уллица «Сухое русло». Бурная река изменила в этом месте свое течение и образовала узкий полуостров, заваленный камнями и щебнем. Нетребовательный мелкий люд — бедные чиновники, кустари, парикмахеры, извозчики и рабочие строились на этом высохшем русле, подальше от центра, от назойливого глаза городского. Но городской не заставил себя долго ждать. Как только на русле выросло несколько хибарок, на углу улицы появился городской, уверенный в своей необходимости. Городской привык к высокой фигуре рабочего в серой брезентовой куртке, который каждое утро, в одни и те же часы, шагал с почной смены. В самом начале улицы, упираясь фасадом в огромный, гладкий, серый камень, стоит маленький домик рабочего Петрова. Невысокая, живая старуха, которую все соседи называют Сергеевной, живет в этом домике с самого «основания» русла. Муж ее — рабочий цинкового завода — еще мальчиком попал из России на Кавказ.

— Отец мой работал на тульском заводе, — рассказывал Сергеевн муж. — В ту пору рабочие против заводских порядков бунтовали. И в наказание главные из них были сосланы на кавказскую каторгу, навечно... Мать, — раскрывал он печальную повесть юности, — от лихорадки померла. Тосковала она в горах, недолго выжила. Мы с отцом очень горевали по матери. Отец руду копал в шахтах... Как-то раз засыпало шахту, и отец погиб под обвалом. С тех самых пор, Сергеевна, и жил я горемыкой, пока тебя, родную, мне не послала судьба. А теперь не ропщу на бога, хоть нелегко жизнь-то досталась, да кому же

она легче достается... Был я вскорости с рудника Садонского в город, на цинковый завод списан... Не каждый с этой работой справлялся, а я не боялся — секрет в руде знал... Теперь, слава богу, только жить нам с тобой — сыновей-молодцов вырастили, на старости лет по миру не пустят...

Сегодня городской Данилыч, увидя такое огромное стечение народа на своем тихом русле, вдруг сорвался с места, принялся свистеть, испуганно затоптался. Когда же носилки остановились около домика Петрова, Данилыч смущенно сунул свисток в карман, стянул с головы фуражку и, подойдя ближе, широко перекрестился. Сбежались соседи. У ворот носилки бережно опустили на землю. Навстречу страшным носилкам вышла Сергеевна. Толпа отступила от покойника и, потупив головы, все молчали. Не понимая, в чем дело, она испуганно подошла к носилкам и вдруг на ногах обугленного трупа увидела деревянные сандалии, какие носят только рабочие цинкового завода.

— Ле-е-ев-у-ш-к-а-а! — истошно заголосила старуха, падая на колени перед носилками. — Ле-е-ев-ушка! Горемычный ты мой, на кого ты нас покидаешь?..

Старуха забилась в глухих, тяжких рыданиях. Но из толпы вышел русоголовый, курчавый, невысокий молодой мужчина в форме железнодорожника. Это старший сын Сергеевны, машинист. Он подошел к матери и поднял ее маленькое тело с земли. Потом носилки внесли в дом. Рабочий в прожженном кожаном фартуке рассказывал, что в химическом цехе был взрыв и кислотой загубило сразу несколько человек...

Ночью, утомившись от слез, старая Сергеевна прилегла на сундук, а двое ее сыновей не спали, поправляя свечи у изголовья изуродованного трупа отца.

6

Высоко на мшистом скате, над пропастью, под навесом серой скалы, как гнездо домовитой ласточки, приютился аул Донифарс. Спинной друг к другу лепятся каменные сакли, жмутся они боязливо на бугор-

чатых лоскутках земли среди острых скал серого камня.

Над ними, как грозный часовой, — башня Кануковых — равнодушный свидетель кровавых набегов, неспокойных времен. Холодной чернотой зияют ночью ее квадратные бойницы, похожие на пустые глазницы черспа. Стоит она, большая, несокрушимая, охраняя крошечный аул в шестнадцать домов.

Июль в разгаре. Солнце упрямо держится над лесом, над серыми камнями крыш, и покуда не обойдет оно все небо — не прогонишь его пылающих лучей.

Сакля старика Токаева прижалась спиной к стене древней кануковской башни. Густая длинная тень от башни ложится во двор, на крышу сакли, а к вечеру перебрасывается на горный откос, где по отвесному обрыву горы узкой лентой сбегает холодная сверкающая вода. Вечернее солнце разноцветными нитями прошивает обомшелые скалы. Трепетно-свежее синет над лесом небо, а на скале покрывалом лежит облако. Причудливо-красивы вокруг родничка мох и травы. Хадизат—внучка старого Марза Токаева, ходит туда по воду. Дед Марза ругается, не пускает ее, но она упрямо продолжает ходить, говоря, что это очень интересно, когда рядом проплывают облака и птица не смеет шелохнуться.

— Там вода холоднее, вкуснее, и ходить ближе... К реке — боязно, надо мимо лесной стражи...—оправдывается Хадизат.

* * *

Сегодня Хадизат сидит на крыше своей сакли и починает деду бешмет. Она вчера играла с дедом и порвала ему рукав. Дед разозлился, но, увидев, что на глаза внучки выступили слезы, словно крупные росинки, — промолчал.

— Пхчи, пхчи! — чихнула Хадизат, сладко теребя ладонью кончик круглого носа.

— Сто лет тебе прожить, кудрявая,— бросил дед, подняв на внучку глаза. Он сидел у входа в башню.

— Нет, вертел мне в нос.

— Нет, Сагут¹, «вертел в нос» животным говорят, а не людям. Это — проклятье, а не пожелание.

Хадизат встала. Светлые ее волосы шевелит ветерок, длинная рубашка с медной пуговицей на шее скрывает детское, худенькое, еще не сформировавшееся тело. Свернув бешмет, она прицелилась им деду в голову.

— Лови, лови, дада², — крикнула она и вслед за бешметом соскочила с крыши.

Дедушка Марза — тщедушный старик. Борода его, как первый снег на скалах: кое-где темнеют не успевшие еще поседеть волосы. Сидит Марза, прислонившись к каменным ребрам башни, и стругает большую чашку. Чашка почти уже готова — круглая глубокая. Края чашки, как два ушка, хитро закручены бараньими головами с ветвистыми рожками.

Старик внимательно разглядывает чашку, молодо поблескивает его единственный глаз. Что-то сладко бормочет старик себе под нос, не обращая внимания на внуку.

— Дай мне твою большую палку, я качели хочу сделать, — просит Хадизат. — Ну, сделай мне качели, — теребит она дедушкино костлявое плечо, надувая губы.

— У-у, свалишь старого, — ласково щуря глаз, дед отстраняет ее рукой. — Тринадцать лет тебе, а ведешь себя, будто пятилетняя.

Хадизат взяла из рук дедушки чашку и, повертев в руках, сказала:

— Давай посмотрим, чья работа лучше?

— Конечно, твоя. Ты — женщина, ты все должна уметь делать. Скоро замуж пойдешь. Только плохая ты будешь жена, непокорная, своенравная, все по-своему любишь делать, недолго тебя такую продержат...

— Я замуж пойду? — засмеялась она, ласково теребя дедушку за бороду. — Я пойду, если ты со

¹ Сагут — по-осетински лань.

² Дада — дед, отец.

мною пойдешь, а без тебя — никуда. Пусть хоть сто баранов за меня дадут, и то не пойду...

Дед Марза тихо смеется, и от глаз его, словно горные тропки разбегаются ласковые морщинки. Ему приятно привязанность внуки.

— Кому и на что нужен твой одноглазый дед? Какой из меня работник? В месяц сапетку одну сплету да пару ложечек сделаю, и то уже сил нет. Да уж ладно, пойду, пойду с тобой, Сагут, — продолжая улыбаться, старик Марза надел бешмет и поудобнее уселся на камень у входа в башню.

Щурясь от яркого июльского солнца, он потянулся, подложил под голову ладонь и закрыл глаз. Губы его что-то шепчут. Несмотря на жаркий день, на нем брюки из овечьей шкуры шерстью вовнутрь. Бешмет, видно, когда-то был тонкий, но теперь от множества заплат он плотен, и трудно разобрать, где основа, а где латка.

Хадизат, увидев, что дед задремал, осторожно взяла его палку и, затаив дыхание, на цыпочках подошла к нему. В карих глазах прячется смешок. С минуту она думает о чем-то и над самым ухом его кричит:

— У-ау-а-а-у! Падает, рушится башня, дадá...

Голосок ее, по-детски звонкий, тоненький, докатывается до сверкающих вершин и пропадает в мягких холмах.

Дед молчит, не шелохнется: знает, что внучке хочется поиграть, пошалить. Сорвавшись горным камешком, Хадизат отскакивает в сторону и прячется за большой черный камень, за которым растет маленькая карликовая алыча. Очень любит Хадизат этот камень, каждый день обтирает, обмывает. Сторожевым постом от нападения абреков называет она его.

За сгорбившимся камнем у Хадизат целое хозяйство: сосновые шишки, яйца диких птиц, орешки, пушистый узорчатый мох, стрелы, сделанные дедом, острые мелкие камешки, которые она бросает в пролетающих птиц.

Лежа на животе, Хадизат следит за дедом, старик медленно открыл глаз, он знает, что башня креп-

ка, и потому спокойно ждет, когда придет сама проказница-внучка. Дедушка притворился обиженным и сердитым. Долго сидят они молча — два ребенка, старший и малый.

Долгие часы просиживали они у черного камня, примостившись на самом краю обрыва.

И у старика, и у ребенка одинаково сильна любовь к этим каменным громадам. Зимой они — осеребренные снегом, летом — пушистые от зелени, осенью — дымчатые, серые скалы, клочья тумана, цепляющиеся за кусты, голые унылые леса, а за лесом — желтый круг солнца. А весной — оглушительный птичий гомон над лесными озерами, пламенеющие закаты и звезды на синем небе, как дрожащие серебряные коврики. Молчит дед. Молчит внучка.

Тихо в ауле... Где-то высоко, в верхнем ряду саклей, поет петух, и доносится оттуда одинокий плач ребенка.

Дед широко открыл глаз и, не моргая, смотрит в одну точку.

— Сагут, уа, Сагут, — зовет он Хадизат. — Сходи, плачет ребенок вдовы Темирхановой. Она ушла на похороны. Сбегай, Сагут, принеси ребенка, ведь свалится он с кручи...

Хадизат рада, что дедушка заговорил с ней первый, что не пришлось ей в наказание расчесывать его белую свалывшуюся бороду, чесать спину, растирать угловатые, крупные плечи. Хадизат знает, что дедушка называет ее «Сагут» только тогда, когда у старого серьезная просьба. Притаилась, молчит.

Дед встал и, не найдя свою палку, пошел молодого, не горбясь. Глядя ему вслед, Хадизат улыбается.

Небо в горах кажется ниже, чем на равнине. Белой расчесанной шерстью плывут облака почти на уровне крыш, а внизу, ропща и биясь о скалы, глухо стонет Урух... Голенький мальчик с куском кукурузного чурека в руке сидит у самого обрыва серой скалы. Он не умеет еще как следует стоять. Протягивая худую ручонку вперед, все ближе подвигается к краю пропасти на своих кривых ножках и плачет жалобно и громко. На расстоянии сажени от него, на круче, колеблемый дыханием ветерка, растет в расщелинах

лом песке, красный мак с черными точечками на лепестках. Качаясь на тоненьком стебельке, он привлекает ребенка яркой своей окраской.

Дед торопливо хватается ребенка и подолом бешмета утирает ему смуглый носик. Младенец доверчиво жмется к худой старческой груди Марза и снова громко плачет, протягивая руку в сторону цветка.

Марза улыбается, поняв, наконец, причину детского горя. Опустившись на землю, он достает из кармана орешки и, подбрасывая их вверх, забавляет ребенка. Мальчик на время отвлекается, но вспомнив о цветке, снова заплакал. Тогда старик громко позвал Хадизат:

— Сагут, уа, Сагут! Беги ко мне, моя козочка, Обойди кручу с той стороны, сорви нам цветок.

Хадизат недалеко, она все время пробиралась за делом и теперь рада, что понадобилась старику. Стремглав обежала она кручу, встала на колени перед цветком и осторожно сорвала. Мелкий золотистый песок посыпался вниз.

Видя, что цветок сорвали, ребенок громко закричал. Вдруг Хадизат с разбегу прыгнула с одной кручи на другую. Дед открыл рот, хотел остановить ее, закрыл на мгновение глаз, но не успел еще встать, как Хадизат сунула ему в руку цветок.

— У-у, коза дикая, погоди, шею сломаешь, попрыгунья! — ругается Марза.

Одной рукой он держит ребенка, а другой притянул к себе голову внучки. Бородой своей щекочет ей лицо, шею и, ласково заглядывая в глаза, притворно-сердито упрекает.

Поймав на себе любящий взгляд, Хадизат просит:

— Сделай, дадá, качели, я качели хочу.— Не обращая внимания на его воркотню, она тормозит его бороду, плетет из нее косички, зная, что дедушка простит ей все.

Тихий полдень в ауле. Искрится согретый воздух, колышет дедушкину бороду и курчавые, цвета солнца, волосы Хадизат. Уснул мальчик на старческих коленях Марза. На земле, серой от пыли, лежит забытый

кусок кукурузного чурека. В левой руке ребенка — мак, свернувшийся от зноя, мокрый от слез.

Ближе подсаживаясь к деду, Хадизат говорит ему на ухо, чтобы не разбудить ребенка:

— Расскажи что-нибудь, пока мальчик спит...

— Слушай, Сагут, песню пастуха. Я расскажу тебе, о чем поется в этой песне, — говорит старик.

Это пастушонок Бици поет печальную, не по-детски заунывную песню. Поет он о том, как один отважный сын пастуха — табунщик Кола — стерег несчетные табуны коней богатого алдара.¹ Дерзнул он украсть у алдара лучшего скакуна и убежал на скакуне черной ночью, такой же черной, как сам скакун.

Поет Бици о том, как собрал алдар покорных холопов своих, снарядил их калеными стрелами в погоню, и поймали холопы табунщика, но не дали его на расправу алдару, а заманили самого алдара в пасть бездонной пещеры... Поет Бици о том, как завалили «покорные» холопы выход камнями, чтобы извести алдара голодной смертью. Поет Бици о том, как дежурили молодцы двенадцать ночей и двенадцать дней у черной пещеры, как ушли потом двенадцать холопов от неволи алдара в вольную абречью жизнь.

Молчит Хадизат, положив голову на плечо деду. Горячая удаль, злая тоска, горькое презрение к жадным слышны в песне пастуха.

— Ты слышишь, как стонет река? — Быть беде! — говорит старик, не глядя на внучку.

Не то стонет Урух перед грозой, не то ревет зверь в темном лесу, не то в страшной черной пещере стонет замурованный алдар. Люди говорят, что каждое лето, в черные июльские ночи, выходит алдар из пещеры, вызывая о мести, проклиная холопов...

Тянет пастух скорбную песню свою; дремлет дед на солнцепеке. Крепко спит смуглый малыш с пятнами грязи на лице.

Гордая, несокрушимая стоит кануковская башня. В полудреме чудится деду, что рушится башня и со страшным грохотом, от которого прячутся звери по норам, падает с обрыва, но живыми остаются улы-

¹ Алдар — феодал, помещик.

баюющаяся Хадизат и смуглый мальчик с красным маком в руке...

К вечеру, когда длинная тень от башни упала на двор старика Марза, внучка и дедушка возились в сакле.

Сакля старика Марза, прохладная, темная, сложена из серого камня. Оконце затянуто воловьим пузырем. Летом нет нужды в этом пузыре, а зимой свет все же просачивается в эту крошечную щель. У двери — очаг из плоских гладких камней, над очагом — черная цепь. Зола в очаге аккуратно собрана в маленький серый курганчик, на вершине которого нарисован крестик. «Да сохранит господь наш очаг от злых горных духов», — так говорит мать Хадизат, собирая золу, чтобы сберечь огонь — тлеющую голёвешку.

У правой стены в правильный квадрат сложены камни — это стол. Вместо скатерти—сплетенная дедом тонкая сетка из весенних дубовых веток. У левой стены — деревянный топчан. На нем войлок и козья шкура, края которой подшиты кумачом, и три маленьких подушечки в пестрых ситцевых наволочках. Наволочки на ночь снимаются. В середину низкого потолка вделан деревянный крючок, на нем висит бурдюк с кефирными грибками. Хадизат подошла к бурдюку и любовно погладила влажную шкуру.

— Кефир такой густой, какого дад́а, ты даже на свадьбе никогда не џл.

— Хорошо, хорошо, давай что-нибудь готовить, а то скоро мать придет, придет голодная. Ведь старшина не станет кормить ее, хоть и платит за работу гроши. Оттого он, жила бычьѧ, и разбогател. У них род такой... Все они умеют богатеть. А все оттого, что никакой жалости у них нет к бедному человеку. Да не только бедного, отца родного за копейку продаст, — ворчит дед, сидя у очага.

Хадизат, смешно надув губы, разгребла золу. В золе сверкнули красные угольки, осветив пухлые губы девочки.

На цепи в маленьком котелке — вода. Сидя на корточках, Хадизат месит в деревянной тарелке ячменное тесто. Марза то выходит из сакли, то снова

заходит, принося сосновые шишки, щепки или кизяк, и подкладывает их в огонь. На железных щипцах поджаривается ячменная пышка. Потом девочка прячет ее в горячую золу, мост в маленьком тазике руки и этой же водой поливает пол. Нельзя расходовать много воды. Тяжело взбираться на гору с деревянной кадункой на спине, еще труднее — миновать лесную стражу. И у Хадизат не пропадет даром ни одна капелька воды.

— Счастье в вашем доме! — раздался у дверей сакли хриплый мужской голос.

Хадизат вскинула золотистые от огня ресницы, подскочила к деду, который лежал на войлоке, и шепнула:

Мужчина чужой во дворе, выйди.

— Выйди в саклю, гость — божий гость, — сказал Марза, выходя навстречу незнакомцу.

У порога стоял мужчина среднего роста, плотный, с широкой талией. Он был одет в белый полотняный бешмет, мягкие русские сапоги, спущенные гармошкой, и черные атласные шаровары; на груди его была серебряная старшинская медаль.

Марза с уважением посмотрел ему на грудь и еще раз пригласил незнакомца в саклю. Но гость отказался. Тогда старик усадил его у подножья башни, где для сидения были сложены камни.

— Хадизат, уа, Хадизат, гостю воды принеси! — крикнул дед и добавил, извиняясь: — Брагой бы угостила тебя, но не обессудь — нет зерна, до марта и то не хватает. Сына жду сегодня домой — за зерном на равнину ушел. Рад бы угостить, да нечем.

Хадизат одернула широкую рубаху, провела рукой по кудрявым волосам и, зачерпнув деревянной чашкой из кадунки воды, вышла к гостю.

Гость поздоровался с ней за руку, и она почувствовала влажное, мягкое рукопожатие, увидела его жемчужные с черными крапинками глаза. Придя обратно в саклю, она беззвучно засмеялась:

— Какой смешной гость! Ну и смешной: толстый, красный, а глаза его, что божьи коровки, — шепотом разговаривала сама с собой девочка, переворачивая в золе ячменный чурек.

— Что ты делаешь? — спросила, входя в сакно, высокая сгорбленная женщина. Движения ее были вялые. — Устала я, дочь моя, так устала, что еле до сакли ног донесла. За два дня две бурки и два войлока сваляла, — произнесла она и, кряхтя, опустилась на войлок, разостланный в углу. — Ух-х-х-х, замучилась. Высосали эти войлоки из меня все соки...

— Я сейчас все сделаю, все, — заторопилась Хадизат. Подбежав к матери, она села на корточки и стащила с нее чуваки из самотканного сукна, залатанные у большого пальца, и грубошерстные чулки. Потом вскочила, быстро принесла воды в деревянном тазике, поставила к ногам матери. Сняв с ее головы ситцевую, серую с черными кружками, косынку, погладила мать по седым волосам и ласково сказала:

— Вот скоро я совсем большая стану, тогда я буду на работу ходить, а ты—дома отдыхать. Сядь, я тебе ноги помою. Чурек испекла, картошки, покушай и спи, а я все за тебя сделаю...

Мать улыбнулась. В глазах ее стояли слезы. Боясь, что дочь увидит их, она притворно закашлялась и сказала:

— Я сама ноги помою, а ты дай мне поесть... Да, посмотри, что я тебе принесла,—вот узелок на тахте...

Схватила Хадизат узелок, хотела скорее развязать, а сама еще крепче затянула узел. Долго возилась, наконец, развязала и увидела — кусок мыла, стеклянные бусы на красной ниточке, маленькое зеркальце в зеленой оправе, пять штук яиц, с фунт пшеничной муки и кусочек копченого курдюка.

Всплеснув руками, Хадизат схватила бусы и натянула их себе на лоб. Но ниточка порвалась, и бусы рассыпались по полу.

Хадизат посмотрела на мать и, когда убедилась, что та не собирается ее ругать, сама заворчала на себя и стала собирать бусы. Мать дала ей суровую, вдвое скрученную нитку и сказала:

— На вот, нанижи их на эту нитку, надень на шею, и посмотри в зеркало, увидишь, как тебе хорошо.

Собрала Хадизат бусы, взяла нитку и ушла на крышу, захватив с собой зеркальце. По дороге она

все время смотрела в зеркало, споткнулась и упала, ударившись о камень. Покраснела от боли и даже прослезилась. Но тут же вытерла глаза и оглянулась, боясь, чтобы кто-нибудь не увидел ее слез.

— У-у, чтоб тебе отвалиться,—ворчала она, влезая на крышу.

Усевшись, Хадизат стала нанизывать бусы, но вспомнила желтоглазого гостя, и ей опять стало смешно. Она подползла к краю крыши, легла на живот и посмотрела вниз. Дедушка, стругая палку большим острым ножом, внимательно слушал гостя. Гость говорил:

— На равнине у нас холера, люди мрут, как мухи. Хорошо, что я успел выбраться. А сейчас село оцепили, не впускают и не выпускают никого. Так будет, пока не наступят холода и не уймется холера. Вот я и уехал... Жизнь дороже всего. Со мной жена, мать. Мне месяца на три квартира нужна... переждать холеру...

Хадизат прислушалась и поняла, что гость их бежал с равнины от страшной болезни, от которой нет спасения. Она вспомнила могильные склепы у входа в ущелье, где целыми семьями похоронены давно умершие люди. Зная заранее что они умрут, люди уходили в приготовленный каменный склеп и ждали, когда посетит их жадная гостья — чума.

«А это называется холерой, — подумала Хадизат, — видно, тоже болезнь страшная, коли от нее убегают к нам в горы. А что, если она и сюда придет?».

От страха ей сделалось холодно на горячем камне крыши. Она встала, взяла прошлогоднего сена, которое тут же, на крыше, было сложено в маленький стожок, и легла на спину, подложив под голову сено. Желтая букашка с красными волосками на тельце проползла по сухому стебельку и остановилась. Она вспомнила, что руки у гостя волосатые, и с омерзением раздавила букашку. Непонятная тревога овладела ею. Хадизат увидела на самой бойнице башни маленькую серенькую птичку с белыми крыльями. «Эту птичку, — рассказывал дед, — когда-то послали мученики из ада в рай за водой. В раю ей от-

казали в воде. Тогда птичка, дерзнув, унесла во рту несколько капель райской воды. За это бог проклял ее. С тех пор весь этот птичий род не умеет петь, а только жалобным голосом просит воды: «Дон мин¹, дон-мин, дон-мин...»

После этого рассказа бог показался девочке жестоким. И бога, которого так любил дедушка, не стала любить Хадизат, но сказать об этом она боялась.

«Какой жестокий, жадный бог, — думала она про себя, — за несколько капель воды лишил птичку голоса. Я тоже боюсь бога».

Сидя на отвесном камне бойницы, птичка задонкала жалобно, будто хотела напомнить о том, что и сейчас есть люди, которые мучаются от жажды. Хадизат, боясь спугнуть птичку, проползла на животе, слезла с крыши, принесла чашку воды и поставила ее за стогом ближе к краю.

Она молча кивнула головой в сторону птички и таинственно, чуть слышно прошептала:

— На тебе, дурочка, пей, не бойся. Это моя вода и чашка моя. Хоть мне и трудно таскать ее, но мне не жалко, пей. — Она еще раз кивнула головой в сторону птички. В это время дед позвал ее. Хадизат спустилась с крыши, держа руку в кармане, где у нее лежали бусы и зеркальце.

— Сведи гостя к старшине Хамату. Покажи ему дом старшины с откоса, а дальше не ходи, я отсюда на тебя смотреть буду. Да ты не бойся—гость он дорогой, с равнины, старшина, — предупредил дед девочку.

— Не по чину я тебя принял, прости мне, бедняку-старiku. Но в долгу у тебя не останусь, еще увидимся. А если детки у тебя есть, так я игрушки делать умею, — говорил Марза, провожая гостя.

Старшина поклонился Марза и пошел за Хадизат.

Ловко ступая босыми маленькими ножками по острым камням, Хадизат бежала впереди. Светлые тугие косы били ее по икрам.

Старшина Дрис, стараясь не отстать от нее, запыхался. Он страдал одышкой.

¹ Дон мин — воды мне.

— Вот лавка, зайди туда, там тебе расскажут. Видишь, двери зеленые, прямо туда иди, — сказала Хадизат, круто повернувшись и не могла удержаться от смеха при виде его открытого рта. Она посмотрела ему в лицо, рассмеялась и скрылась за откосом.

«Хороша, — подумал старшина, — а волосы какие! Я таких никогда не видал. Шайтан настоящий, красавица!»

Дрне присел на камень, продолжая смотреть в сторону, где скрылась девочка с золотыми косами.

— Ну и гость у тебя, дад́а, — весело хохотала Хадизат, возвратившись к деду. — Посмеялась я над ним. Смешной и противный...

7

Как мошкара над вечерним стадом, зыбится раскаленный воздух. Рябит в глазах. Словно облитое медью, встает над горизонтом солнце. С тоскливой несправедливостью встречают его люди. К полудню оно поливает мир огненным дождем. Небо — голубая скатерть, без единой заплаточки, отглаженная, блестящая. Горы, будто нарисованные, безмолвно-холодные, а ночами в потемневшем безоблачном небе злое ще поблескивает звездная сыпь. Деревья и травы тощими пожелтевшими листьями слепо тянутся к небу. У травы и у букашки, у собаки и у человека одно желание: дождя бы немного.

Изнемогая от жары, вся потрескавшаяся, как губы больного, скорбно зовет земля к далекому небу, к звездам: дождя, дождя, или хотя бы росы...

Уже месяц, как в холерных судорогах корчится село. С утра заболевает человек, а к ночи умрет. Нескошенные, пожелтевшие, стоят клеверные луга. Осыпается тяжелый колос на полях. Не убирают. Все равно умирать. С обугленными ртами, в пьяных судорогах умирают все: старики и молодые, женщины и дети.

Умирают, не думая ни о старухе-матери, ни о жене, на кадым которой чабанил десять лет, ни о детях, малых и беспомощных. Молча, безропотно умирают люди, заранее оплакав самих себя.

Русский фельдшер Прокофий, с опухшими глазами, пахнувший аракой, черемшой и луком, обходит дворы. Некрепко стоя на ногах, машет он длинными, как жерди, руками и, жалко икая, вместо: «Пожалуйста, слабительного», говорит: «Сабитенно, пожатса, сабитенно».

Привез его в село священник Харитон с прохладенской ярмарки. Картавя, не выговаривая «л» и «р», Прокофий таинственно произносит: «Оеум ицини (вместо — олеум рицини) — не постое екаство, все может выечить, я им цсый пыход от чесотки выечил».

Толстой матушке Анне он выписал рецепты от сердечных припадков на крошечных лоскутках бумаги, в которых значилось, что срочно нужно лекарство, которое зовут «секали корнутум». А сбоку он делал приписку — «цитю», что по-латыни означает — «срочно».

Тогда отец Харитон просил у Сафа двухместный фаэтон, ездил во Владикавказ и привозил «секали корнутум». Прокофий, таинственно подымая глаза, как жрец перед жертвенником, говорил беленькой попадье Анне, что «секали корнутум» — не простое лекарство, что он этим лекарством целый приход от трахомы вылечил...

Страшное лето. Черная гостя — холера — неразборчива, она дружит и со старым, и с малым. У ворот, на ныхасах¹, молчаливые, пьющие но не пьянящие старики и дети. Закусывая чесноком и луком, они пьют араку и в этом ищут спасение от смерти.

Стройные, черноокие жены не прячут больше от стариков назойливых прядей волос.

Пьяное лето. Пьяная смерть. Обессиленные, обреченные, не думают они о похоронах близких. Умирает мать семи сыновей, и не режут ей быка, не посылают вестника на черной лошади с плеткой в левой руке в другие села, в горы к родственникам. Село замуровано в страшном черном ящике смерти — окружено солдатами. Так решило городское начальство: не выпускать жителей из страшного села, откуда не наступят холода и не исчезнет холера.

¹ Пыхас — место, где проводят досуг мужчины.

Знахарка Сали, что живет на окраине села, с утра завязывает в крепкие узлы толстые суровые нитки, вкладывая в узлы кусочки просяного хлеба. Эти нитки она вешает у двери и просит дочь подземного царя провести холеру мимо ее дверей. А если хочется есть страшной гостье, то пусть она берет хлеб в узелках, он висит и на воротах, и на дверях.

Вечер. Прячется солнце за горой. Дышать чуть легче. Спала жара. Плачет село. Стоном единым стонет. Стаями ходят собаки у свежих могильных бугров. И кажется — не человек плачет, а земля тянет скорбную песнь свою.

— Бо-ом-б-о-о-ом! Би-и-м-бим!.. Бо-ом-бим-бом!..

Это на высокой колокольне, спрятавшись от холеры, звонит отец Харитон, перебирая колокола от баса до дисканта.

Службу служить он перестал, сбежал дьякон.

Давно уже перестал молиться отец Харитон, отвечая недоумевающей матушке, что в этом деле бог беспомощен, что холера — болезнь земная. Матушка Анна носит ему трапезу в церковь, целует ему руку, садится с ним трапезничать и сообщает, который по ее счету умер человек.

— Тони, Тони, — печально глядя на мужа, говорит матушка Анна. — Чем же мы жить будем? Сколько народу умерло и сколько еще умрет? Приход тебе придется менять... какая теперь с них прибыль?

— Что богу угодно, того не переделать, душа моя, будет прибыль, — уверсно говорит батюшка.

Не жуя, он проглатывает кусочки ветчины и запивает их красным церковным вином.

— Погоди, отойдет холера, вернется с гор старшина Дрис, и все переменится, все опять будет. Бог роптать не велит... Старшина и писарь сельский все могут, — говорит отец Харитон, щелкая восковыми костяшками пальцев.

Холера пощадила большую семью Сафа Абаяева. «Береженого и бог бережет», — щеголял старик русской пословицей. Никого не подпускал он к воротам дома и никого не выпускал из него. А суеверной жене своей Кошер он строго-настрого наказал никаких

знахарок и гадалок во двор не пускать, а слушаться только ученую сноху Лидию Ивановну. Она знает больше всех колдунов и ворожей.

Лидия Ивановна — невысокая, полная блондинка. Второй сын Сафа, Георгий, артиллерист-капитан, познакомился с Лидисей Ивановной во Владикавказе, в собственной аптеке ее отца. Он женился на ней, когда та была еще студенткой. Ради нее он выхлопотал себе перевод в Ростов, где она училась на акушерку. И теперь еще капитан Абаев служит в Ростове в одном из артиллерийских полков. Лидия Ивановна поехала в гости к свекру, попала в карантин и теперь ждала, когда ей можно будет уехать обратно.

— Георгий — слава моей семье! — с гордостью говорил Сафа.

Ни ласки, ни денег не жалел он для сына. Долю отцовской любви суровый старик перенес и на золотоволосую, голубоглазую сноху. Холил, баловал ее, для нее отказался от многих условностей своего патриархального быта: разрешил ей разговаривать с ним и с другими мужчинами (а по адату невестка не имеет права разговаривать со свекром, пока у нее не будет взрослых детей). Ел с нею вместе за одним столом, разрешил ей ходить при мужчинах с непокрытой головой и в платьях с короткими рукавами. И, что удивительнее всего, ездил с ней кататься верхом и даже разрешал ей вместе с ним выходить на ныхас.

— Она — ученая, не может она по нашим азиатским обычаям жить, — возражал Сафа жене своей Кошер, когда та говорила мужу, что эта чужая, пришедшая, поправа все обычаи.

Невестка ходила при нем с распущенными волосами, курила, что, по нравственным понятиям Кошер, было для женщины уже пределом падения. Но он не мог ей отказать ни в чем.

Каждое лето невестка приезжала в гости к свекру и привозила ему подарки. В доме Сафа было пианино, стояли шкафы, полные книг, дорогая посуда. А в эту поездку невестка привезла в подарок свекру корову, рыжую породистую «Маньку».

— Бери мой подарок, — говорила Лидия Ивановна. — Увидишь, как будет доиться моя «немка». Она

десяти ваших горских коров стоит. В стадо не выгонять, доить три раза, но кормить крепко — она прожорливая. Как и я сама, — смеясь, говорила Лидия Ивановна свекру.

Попав в карантин, она не растерялась — приказала старику принести известки, карболки. Никого не впускать и не выпускать из дома.

В большом доме Сафа воцарилась тишина, будто полночь в степи. Старший сын его, Гамази, поехал на ярмарку в Святой Крест и из-за карантина не вернулся домой. Третий сын его, Володя, — в Москве. Отец гордился, что будет у него сын — доктор. Четвертый сын, Николай, — во Владикавказе в кадетском корпусе.

В доме Сафа закрыты ворота и ставни. Двор, хлев, конюшня, курятник — все засыпано известью.

Руки моют двойной аракой¹, карболкой. Скотину работник угнал на пашку, оставив дома одну рыжую «Маньку», которую держат в чистом деревянном хлеву. Ящик — кормушка ее — каждый день чистится. Не знает Сафа, что делается у него на мельнице. Но он спокоен — ведь его работник, однорукий казак Илья, вырос в его доме.

А вот лавка, что стоит рядом с домом, уже три месяца не открывалась. Все приуныло, притихло. На террасе большого дома пахнет карболкой и спиртом.

В одном углу веранды, в тени винограда, — диван, пружинные ребра которого кое-где торчат из-под старого зеленого плюша. Дубовый стол, выскобленный до желтизны, накрахмаленная скатерть, самовар, хлебница, полная пшеничного хлеба, овечий сыр, лук, редька, яйца, мед в сотах.

Лидия Ивановна в голубом шелковом халате, с салфеткой в руках, пробует ладонью самовар и выжидающе выглядывает в открытую дверь веранды — не идет ли старик завтракать. Сафа подошел к веранде и подал невестке полную корзину переспелой темной вишни.

— Кушай, немка, кушай! — (Так звали в семье Лидию Ивановну.) — Кушай, сына моего Георгия доля

¹ Двойная арака — самогон очищенный, двойнойгонки.

тебе. Тебе рвал, как Георгия тебя люблю,—говорит старик жестким гортанным голосом.

Принимая корзинку из рук свекра, Лидия Ивановна улыбулась.

— Знаю, что любишь, отец говорит, что я в вашем доме совсем азиаткой стала.

Попробовав ладонью самовар, Лидия Ивановна позвала денщика:

— Иннокентий!.. Кончай! Что ты так долго возишься?

Но денщик не отзывался. Тогда, усадив старика за стол, она сама пошла за денщиком.

Денщик Иннокентий—долговязый русский солдат с бесцветными рыбьими глазами, веснушчатый, как индюшечье яйцо, в полумраке прохладной комнаты смешно дергал ногами, как будто исполнял замысловатый танец. Он натирал пол, скользя по нему, как по льду, и взмахивая руками... По-видимому, получая от этих движений удовольствие, он бурчал себе под нос что-то вроде песни.

— Что ты стоя спишь? Не знаю, зачем капитан навязал мне тебя? Вези, дескать, послушный, а что толку в твоём послушании? За целое утро только с двумя комнатами справился. Что ты уставился на меня? Вздохни хоть, если ответить ничего не можешь, а то стал, как пень. Поди, самовар подогрей!—прикрикнула она, разозлившись.

Иннокентий внимательно выслушал ее, а уходя бросил:

— Кто к чему приставлен, барыня. Каждому в жизни свое назначено. Только не каждый свое исполняет, как надо... Я-то свое исполняю.

Иннокентий торжествующе посмотрел на хозяйку и, видя, что она не нашлась сразу, что ответить на его неожиданную тираду, вышел.

В то время, когда Лидия Ивановна и Сафа завтракали на всранде, жена старшего сына, Сурат, ругалась на кухне со свекровью.

— Чтобы подход он со своим выводком шакальным! — кричала она. — Хлеб ваш мне поперек горла стал! Провалитесь вы с вашим богатством, сгорите! Знали, что бедную брали, почему меня попрекать

вздумали моей бедной родней? О, аллах, у людей за ночь всю семью холера уносит, а волчья стая живет, проглатывая живых и мертвых. На что мне твое богатство? Что я у вас хорошего видела? В батрачках живу, хлеба пеку, покоя не знаю, а что взамен получаю? Пинки одни! — кричала Сурат, разбрасывая по полу грязное белье.

— Теперь опять его любимице белье стирать? Пусть сама стирает? Что ты меня каждый раз попрекаешь, что шестьсот рублей чистыми деньгами да двух быков за меня калым отдали? Не мне отдали! Зачем брали меня, если плохая была? Не бежала я за твоим сыном, сами в дом привели. За пять лет отработала я вам калым. Что ты каждый раз — калым да калым? Этой... снохе на одни наряды сколько черт твой денег дает, счету нет. А меня заели: «Дорого платили». Не платили бы, если не нужна была. Уйду я от вас, пусть позор падет на весь мой род. Пусть проклянут меня все. Лучше ходить просить у людей каждую ночь убежища, чем жить в волчьей норе твоей. Не показывай мне ее белья, не буду стирать! — продолжала кричать Сурат на старуху, поблескивая черными смородинками глаз и вплотную подступая к свекрови.

— Почему он к моим не заехал? Чтоб остаться ему трупом на чужой земле! Неужели ему было трудно из города завернуть в Гизель — всего пять верст. Привез обратно мои гостинцы... Не буду ничего делать!

Взглянув в окно, она задрожала от негодования:

— Посмотри, сидит он с этой рыжей... как на знатном пиру. А я чем ее хуже?.. Нет, ничего не буду делать, делай сама...

— Тише, замолчи, окайнная, взбесилась ты, что ли? — сказала Кошер, толкнув сноху в грудь, и побежала закрывать окно. — Тш-ш! Говорю тебе — замолчи! Выгонит нас обоих, если услышит он твой крик. У-у, бесстыжая, развязала язык. Три месяца мужа не видела, так уже и бунтовать вздумала. Сядь! Не вертись! — крикнула свекровь, схватила сноху за плечи и посадила ее на кучу грязного белья.

Сурат беззвучно рыдала, вздрагивая всем телом,

проклиная отца, братьев и всех тех, кто был и не был виновен в ее судьбе.

— Успокойся, молоко у тебя испортится, дитя свое пожалей, опомнись! — уже мягче говорит старуха, подсаживаясь к ней. — Я говорю тебе, чтобы ты показала работнице, присмотрела б за ней. Не самой же тебе стирать. Да и белье у немки чистое, чище нашего стираного.

С этими словами она подняла с кучи грязного белья кружевную дамскую сорочку с голубыми шелковыми плечиками:

— Вот смотри!

— Вижу я, что не грязная. А вы за пять лет мне хоть одну такую рубашку справили? Все копите деньги, все в банк, поджечь бы этот банк...

— Ну вот, Иннокентий пришел. Возьми белье, неси в сад, там стирать будем,—знаками показала старуха денщику.

Иннокентий собрал все белье в охапку и вышел.

Сурат снова села на пол, продолжая хныкать. Но свекровь знала, что маленькая, плотно сбитая сноха покричала, поплакала и теперь успокоится и будет делать все, что ей ни прикажут. Вынослива, работяща, как все горянки.

Сурат поднялась. На ходу расстегивая пуговицы, она ладонями рук дотронулась до груди и пошла в крайнюю комнату большого дома, рядом с лавкой, упрекая себя в душе, что так давно не кормила сына.

В прохладной нарядной комнате, в деревянной люльке, спеленатый по рукам и ногам, спал мальчик. Она подошла, села на пушистый ковер, взяла сына и, поцеловав черную головку, стала кормить.

Ребенок открыл такие же смородиновые, как и у матери, глаза и, встретившись с ней взглядом, улыбнулся глупой, хорошей детской улыбкой. На правом плече у ребенка — черная родинка с мягким пушком в середине. Это от отца. Мать посмотрела на родинку и прикрыла детское плечико. Родинка напоминала ей мужа. С каким удовольствием она соскребла бы с плеча ребенка это черное тавро! Печальная, она смотрела, как маленькие пальчики сына лежали на ее гру-

ди, как с хлюпаньем, жадно тянул ребенок коричневый сосок.

— У-у, жадный волчонок! Маленький, а весь в отца. От волка ягненок не родится. Того и гляди, что всю меня вместе с молоком всосет. Дедова ухватка. Ах ты, паршивец, не кусайся, говорю, — сказала она, морща лоб, и оторвала детскую головку от соска. Ребенок захныкал, снова потянулся к груди, тычась носом то в одну, то в другую сторону. Со складочками на ножках и животике, он блаженно, сыто улыбался, показывая розовые десны, из которых, словно кусочки льда, торчали маленькие зубки. Он подымал ножки к самому носу матери, и та целовала короткие пухлые пальчики. Малыш, словно икая, громко, смеялся. От детского смеха становилось теплей и радостней на душе. В этом большом доме ни в летние жаркие дни, ни зимой в натопленных комнатах она не знала теплоты. Ее всегда преследовала какая-то холодная тревога. Укачав ребенка, Сурат, мягко ступая по бархату ковра, вышла из комнаты, осторожно прикрыв дверь.



Лето подходило к концу.

Скованное властью холеры, молчаливое село постепенно оживало. На дорогах появлялись одинокие пешеходы. Поздние стога сена запестрели на холмах и в ложбинах.

Карантин сняли, но в страшное село не ездили и не ходили. Тонкий комариный звон висел в густом пыльном воздухе, и пугливая тишина плыла над полями, над пожелтевшим лесом.

Жаркое лето сменилось безветренной осенью. Сентябрьское солнце жгло спину, голову, и в помутневших глазах качались оранжевая степь и зеленое небо. Все ждало дождя. Острая тоска охватывала людей, потом наступало равнодушное молчаливо-пустое, как небо над степью.

И однажды, в один сентябрьский вечер, над селом стремительно пронесся ветер. Заскрипели и до земли

склонились деревья, взволнованно и радостно зашуршали пожелтевшие травы, столбы пыли вихрем завертелись над зияющими трещинами земли, рска потемнела, и мутные вздувшиеся волны с глухим рокотом ударились о крутые берега. Из-за гор вынырнули всклокоченные черные тучи, быстро и низко пронеслись над лесом. Отдаленно и гулко где-то прогрехотал запоздалый гром — отрадный вестник близкого желанного дождя. Серсбристо-фиолетовые молнии, как лезвием кинжала, прорезали небо. Тяжело упали на землю чистые, крупные капли: разразилась гроза.

Ветер погнал над селом крутящиеся водяные столбы, обрушивая их на огороды, сады, неистово кидая на дома и людей.

Люди не прятались от дождя. Они выбегали на улицу, подставляя под холодные струи измученные горячие тела.

Дождь шел всю ночь, шурша по крышам сараев, просачиваясь в дома.

К утру ветер затих. Над селом занялся серый осенний день.

Заклубился туман над холмами, медленно пополз он по-над лесом, сливаясь с низкими тучами. Повеселевшие люди торопливо ходили по улицам, меся липкую грязь, здороваясь друг с другом, словно они были где-то далеко и только теперь возвратились в родное село. В этот день вернулся с гор старшина Дрис, сбежавший с семьей от холеры.

Не заходя к себе, он пошел к Саниат с соболезнованием.

Дрис встретил ее у ворот, опустил руки по швам, наклонив голову в знак скорби и минуты две молчал, потом сказал:

— Царство им небесное... На все божья воля, так суждено тебе было, не ропщи... Возьми себя в руки, врагам твоим радоваться не давай, подумай о богатствах своих...

— Что богатство, для кого теперь жить мне? Для кого богатеть?

— А род твой? А фамилия? Подумай, Саннат,— сказал он.

— Зайди, ты нужен мне очень по важному делу,— попросила Саниат. — Вечером зайди... жду тебя.

Старшина ушел.

Пройдя в канцелярию, старшина застал там писаря. Писарь подал Дрису прошение от временнопроживающих о разрешении жить в селе.

«Опять они... Что с ними делать?»—подумал Дрис, а вслух сказал:

— Сейчас не до них. Разорила нас холера. Не убран урожай, не скошены луга, а им землю подавай. Не до них...

Хлопнул дверью и ушел.

* * *

Не переставала горевать вдова Саниат. Мысль о том, что огромные богатства остаются без наследника, мучила ее. Близких родственников у мужа, таких, чтобы могли наследовать богатства, не было. Правда, Сафа доводился мужу родственником, но только по материнской линии. Но ведь род, фамилия не может держаться по линии матери. Корни очага должны исходить только от мужской линии. И Саниат беспомощно металась в поисках выхода, но не видела его. Она знала, что в горах, в ауле Лезгор, у родственников — однофамильцев ее мужа, были мальчики, но...

«О, ужас, — думала она,—вместо родных сыновей на их место должен прийти другой... чужой. Если я его усыновлю, то адат обяжет меня называть его сыном. Нет, нет, это сверх моих сил... О, аллах, за что такие муки, всдь я еще не в аду?»

Заламывая руки, Саниат глухо рыдала наедине. На людях же она появлялась величественно-спокойная, и люди, глядя ей вслед, шептали:

— О-о-о, не человек она, даже гибель очага не сломила ее воли...

Сама же Саниат, глядя на сытых, здоровых сыновей Сафа, думала:

«Нет, ничего кровожадным тигрятам твоим не оставляю, лучше предам все огню, пусть горит и надочажная цепь...»

После смерти сыновей благоустроенная семья Сафа вызывала у нее смертельную ненависть, и она молила аллаха:

«О, аллах, пошли на них кару небесную, задуши их в объятиях чумы...»

Назло Сафа и другим, она пуще прежнего металась в хлопотливых заботах, бегая от зари до зари, обогащая свой дом. Она подпоясалась туже, подол подоткнула, рукава засучила и появлялась на кутане, на пасеке, на пашне. Где прикрикнет, где нужно — улыбнется, где пригрозит, а где пообещает. И не оставалось времени плакать.

«Нет, не дам я недругу моему торжествовать, все испытания человеку аллахом справедливо дадены, не упаду я под этой пошей, нет... Не дам богатству моему рухнуть, по ветру развеяться...»

Сегодня Саниат особенно устала. Должны были погнать в Кизляр баранту, и она поехала в отару.

«Надо самой посмотреть, пусть видят мои работники, что жива я еще... жива!»

Она потребовала от старшего пастуха полного отчета: какой приплод? Сколько шерсти прошлогодней стрижки и этого года? Пастухи изумленно глядели на нее, жестоко-требовательную, и думали:

«Даже бог не в силах придумать ей наказание, чтобы убить в ней жадность».

— Ох-ох-ох, как я устала, — проговорила Саниат, возвращаясь домой. Сощуренным холодным взглядом окинула большой, молчаливый двор, спустила платок на плечи, толкнула валявшися посредине двора грабли и, не мигая, глядя работнику в глаза, прошипела:

— Порядка во дворе не вижу. Не правится тебе у меня? Работы много?.. Уходи! К Саниат Гуларовой не только ты, а и сыновья Сафа Абаева в работники пойдут... Стоит мне захотеть — и пойдут.

Работник ее Мухар, коренастый рябой парень из Южной Осетии, молча стоял около нее, не смея возразить. А про себя думал:

«Как бы не так, пойдут к тебе в работники образованные сыновья Сафа. Как бы сама к нему в работницы не пошла».

— Не стой, чтоб тебе в каменный столб превратиться! Иди в хлев, разве там нет работы?.. — крикнула она на работника и прошла в комнату.

Устало вздохнув, швырнула на скамейку шелковую косынку и присела на край тахты. Медленно расстегивая пуговицы на черном сатиновом платье, она вспомнила, что просила Дриса прийти, и надо б ему приготовить повкуснее поесть. Но, разморенная усталостью, растянулась на тахте.

Со дня смерти сыновей она затянула эту комнату во все черное. Молодые женщины боялись заходить сюда: потолок и стены, оконные занавеси, жесткая тахта — все было черным (она не спала больше на мягкой постели). На темном войлоке, в черном платье, в черном белье, в черных чулках, бледная, худая, Саниат напоминала привидение. Прямая, высохшая, она положила голову на черную мутаку, закинула бледные, тонкие руки за голову и устала в высокий черный потолок.

— Ох-ох-о-о! — вздохнула она, повернулась на правый бок и задремала.

Последнее время она не спала, а дремала. Сухой въедливый кашель колотился в груди. Саниат просила знахарку Сали, чтоб та заговорила ее от бессонницы и злого кашля. Знахарка принесла Саниат двенадцать фарфоровых блюдец, еще не бывших в употреблении, с надписями на арабском языке.

— Сам мулла Мирзо заговаривал их в Кабарде, — шептала Сали. — Помогут, крепись! Передавал тебе мулла: коран не забывай. Хоть, говорит, и попутал тебя нечистый смешать кровь с православным, а помни веру свою мусульманскую.

Каждую ночь Саниат наливала в блюдце воды, ждала, когда вода станет оранжевой и пила. Но сон не приходил, и Саниат продолжала худеть. В сырую погоду она кашляла, болели плечи, к вечеру знобило и тянуло в постель. Ночью потела, а на утро снова поднималась, говоря:

— Не доставлю я радости тому, кто ждет моей погибели, не слягу, пройдет...

В дверь постучали. Саниат приподнялась, натянула платье.

— Радостен да будет твой вечер, Саниат,—проговорил Дрис, проходя в комнату.

— Нет, нет больше моих вестников радости! Не перешагнуть им отцовского порога, не порадовать старую мать!—ответила Саниат на приветствие старшины и провела его в другую комнату.

— Что вернуть невозможно, то и вспоминать не следует, — наставительно проговорил старшина. Он относился к ней с предупредительным вниманием, тем более теперь, когда сама Саниат, по-видимому, в чем-то нуждаясь, позвала его. Долгие годы он оспаривал у Сафа эту близость и то доверие, которое она питала к Сафа, но Саниат относилась к Дрису с презрительной иронией, никогда не устаивала его делового разговора.

— Мужчины уму твоему завидуют, в пример тебя ставят, твою мужскую расторопность, настойчивость и упорство... Сыновей тебе не вернуть, на то воля всевышнего... Богу ведь тоже хорошие нужны, а как же иначе, — говорил старшина, как бы убеждая самого себя в правильности собственных слов.

Саниат сидела у стола, не сводя с него глаз, сомкнув сероватые тонкие губы. Ему было неловко под ее пытливым, умным взглядом, и он смущенно отводил от нее глаза.

— Не ты первая, не ты последняя, много в жизни испытаний человеку дано... Вспомни вдову Салбисву — не счесть было богатств ее, а когда овдовела— не растерялась... От работника своего родила, но мужем его не сделала, а теперь у ее сына — сын... Никто ее не осудил, всякий ей с почтением дорогу уступает. Мимо ныхаса пройдет — встают перед ней с уважением старики, богатством своим почет себе купила, а ты плачешь...

Саниат нетерпеливо повела плечами, сказав:

— Не за тем я тебя позвала, Дрис, — да простит вдове Салбиевой аллах ее тяжкий грех, — я позвала, да стану я жертвой твоей, Дрис, чтоб обдумать, как поправить мои непоправимые дела...

— Чего б ты от меня ни потребовала, буду рад услужить, — подобострастно говорил старшина.

— Не буду я тебя водить вокруг да около,—перебила она его,—скажу прямо, что враги мои, мои недруги, тая улыбку злорадства, ждут моего окончательного падения... но, — задохнувшись, сказала она, — не дам я им торжествовать! Ну, хотя б вот дети Сафа, — я верю тебе, не боюсь, что ты передашь Сафа мои мысли (а сама думала: «Передашь, передашь, я знаю, что передашь, не вытерпит твоя мелкая душа, чтоб не польстить ему, не заверить Сафа в своей преданности, знаю это, потому и говорю тебе...») — знаю, что желаешь мне полного благополучия, — открыто льстила она ему.

На это Дрис, опустив желтые с крапинками глаза, притворно-сочувственно говорил:

— Видит бог, Саниат, пусть будет и моему дому то, что я твоему дому желаю...

— Верю, — перебила она его, — ты знаешь, что здесь, на равнине, к моему очагу ближе Сафа нет никого... Но он — родственник по линии матери... Сам понимаешь, что это не очаг... Лучше пусть я останусь еще в худшем положении, чем я есть, но увидеть детей Сафа хозяевами моих богатств...

Дрис, пораженный, слушал ее, не понимая ненависти к Сафа, с которым она была так близка и столько лет не меняла привязанности. Дрис сочувственно кивал головой, терпеливо дожидаясь, что она скажет дальше.

— Так вот, Дрис, — продолжала она,—как только чуть освободишься от общественных дел, поезжай в горы, в аул Лезгор, там живут дальние родственники моего мужа. Что ни говори, а все-таки Гуларов будет посетителем моего рода, а не Абаев... Не простил бы мне покойник на том свете, если б я передала его родовую надочажную цепь в другую фамилию. Пусть, какой он ни будет, а все же — Гуларов.

— Понимаю и одобряю твое поведение, мудрое решение, как и всегда, — сказал Дрис.

— У них вдовушка была с сыном. Помню, если не ошибаюсь, он был моему младшему ровесник, сейчас ему как раз двадцать лет... Поезжай и скажи, что на закате моих лет постигло меня горе, которое я не хочу удваивать тем, чтоб ввести в дом чужого... Пусть

на собственном корню держится род Гуларова. Объясни как следует, не мне, женщине, тебя учить. Возьмешь его сейчас же с собой, не оставляй там. Пусть мои недруги успокоятся, обретут прежний покой, а то сон потеряли, гадая, кому останутся богатства Саниат. А там — женю его и все, будут дети...

При упоминании о женитьбе Дрис оживился и, поморгав густыми белесыми ресницами, весело сказал:

— Хорошо, умно, одобряют старики твое решение. А что касается женитьбы его, так надейся на меня... Все налажу...

Вспомнилась Дрису бедная сакля старика и светловолосая девочка с молочной кожей лица. Дрис вспомнил ее, как опьяняющий сон, и теперь мечтал увидеть этот сон наяву...

8

Быстро, как весенние грозы, прошумели обильные осенние дожди. Наступила яркая, сверкающая осень. Белые паутинки плавали в воздухе, цепляясь за дома и деревья. С тихим шорохом, печально осыпались сады и рощи. Днем над аулами, над далекими степными просторами белели стаи гусей. В полдень они блестяли будто вылепленные из снега, на закате — пламенели. Их курлыканье и гогот висели в холодном, темнеющем небе. Вечерами в полнеба полыхали яркие зори, и в порозовевшем воздухе, издалека, со степи, доносился скрип немазаных колес. То крестьяне возили кукурузу в двухколесных арбах, с плетеными корзинами, торопились до наступления холодов свезти урожай в чердаки и закрома.

Только временнопроживающие, без кола, без двора, с тоскливой завистью следили за чужой устроенной жизнью — без сожаления о прошлом и без надежд на завтра. Их дети до поздних сумерек охотились на больших степных дорогах за кочанами кукурузы, случайно оброненными с повозок. Матери с тупым равнодушьем смотрели на повзрослевших детей, говоря:

— Ой, детушки, невиданное дело, никогда мы не ходили с пищенской сумой, имея руки. Пусть сгорит мачеха-земля, не умеющая прокормить своих папшников.

Темными безветренными ночами тихо шуршали ссохшимися листьями поля кукурузы. Безднажность у одних, решимость бороться у других рождало это сытое шуршание полей.

Временнопроживающие, боясь еще одной такой голодной осени, теперь же начали говорить о земле, о разрешении арендовать с новой весны хотя бы по десятине земли.

Темур, благодаря хлопотам Ильи, с несколькими семьями прибилс к селу Христиановскому. Здорового, молодого мужчину томила доля бесправного временнопроживающего, часто на ныхасе он доказывал коренным жителям их несправедливость. Незначительная часть коренных поддерживала его, советовала обратиться к старшине, но Темур, не будучи уверенным в положительном исходе дела, откладывал.

Сад тонул в призрачной мгле осенней ночи. Разиат, не зажигая лампы, сидела у порога хижины, дожидаясь мужа. Она всегда была полна тревожных мыслей за него. Если Темур с вечера опаздывал домой, она уже не заходила в лачугу...

«В чужом селе, без родных, без друзей,—думала она. — Кто защитит его, кто станет около него плечом к плечу, если ему понадобится помощь друга?.. Илья? Но Илья и сам такой же бесправный, как Темур».

— Охраняй мой сад, огороды, кукурузу, — сказала Темуру Саниат. — За это будешь жить бесплатно под моим сараем, а землю за пять лет отработашь.

Как временнопроживающий, Темур ни на что не имел права в селе, кроме этой хижины. Это мучило его. Разиат видела, что муж подолгу смотрит в одну точку. В такие минуты она старалась тихонько уйти, чтобы «не спугнуть его думы».

Хрустнула плетеная калитка, и Разиат побежала навстречу мужу.

— Ну, что? — бросилась она к нему.

— Все то же, — ответил он и шагнул в комнату. Бросил шапку на тахту, развязал пояс, потом снова завязал, да так и остался стоять. Разиат присела на край тахты и, не сводя глаз, внимательно смотрела на него. Холщовый бешмет, холщовые шаровары, обувь из сыромятной кожи — все казалось ей красивым на нем. Щеки его обросли густой черной щетиной. А когда он разговаривал, зубы сверкали из-под черных усов. Разиат разгребла золу в очаге, подкинула в огонь несколько щепок и повесила на цепь котелок с водой.

— Всего-то нас в этом селе десять семей, — проговорил Темур, садясь на тахту. — Значит, всего десять земельных наделов. Но и этого не могут сделать...

Он уткнулся головой в ладони и продолжал:

— Говорят, тем, кто под Моздок попал, — землю дали...

— Так уж и дали, — произнесла Разиат. — Охотник считает переполненным дичью лес, в котором он еще не охотился. Не унывай, выплатим арендные платежи, и будет у нас земля...

— Земля — это еще не все, — перебил он ее, — мы в этом селе — временнопроживающие, не разрешат нам тут остаться.

— Как же другие сделались коренными?.. — с тихой грустью в глазах спросила она и сняла с огня котелок с горячей водой. Подойдя к мужу, она положила ему руку на голову и тихо сказала:

— Не печалься, мы найдем еще нашу долю...

Он взял ее руку, привлек к себе и, тихо засмеявшись, проговорил:

— Ну, какой я мужчина, если женщина меня мужеству учит?

Аслан уже спал, но, услышав голос отца, проснулся и молча глядел на родителей.

— Моя, моя нанá, не трогай! — закричал он вдруг и сполз на пол. Обнял мать, ревниво отталкивая отца. Отец засмеялся, взял его на руки, погладил по голове и сказал:

— И твоя она и моя — мне тоже пана нужна.

— Моя она, — настаивал мальчик и тянулся к матери.

Разнат уложила сына в постель, палила в таз теплой воды и поставила его около тахты. Темур привычным движением придвинулся к тазу, и жена, стянув с него чужаки, стала мыть ему ноги. Все замужние женщины выполняли этот обряд — мыли на ночь мужу ноги. Одни делали это с отвращением, другие — с ненавистью, третьи — с немым укором, четвертые — равнодушно, привыкнув к этому за долгие годы жизни. Но для некоторых в этом было что-то большее, чем выполнение обряда. Помыть мужу ноги, постелить постель, укрыть его на ночь, а если поздно придет с улицы, не сомкнув глаз, прождать до зари — в этом заключалось для них высшее доказательство любви.

Разнат с глубокой нежностью и молчаливой любовью заботилась о муже. Много нежных слов сказала бы она ему, но разве это можно? Разве может женщина говорить о своей любви? И вся ее невысказанная любовь выливалась в повседневные мелкие заботы о нем: чтобы бешмет был выстиран и прокатан, чтобы чужаки были смазаны и не распороты, чтобы кипжал был начищен, газыри натерты, чтобы скудный обед не остыл, чтобы вещи его были на месте, а главное — чтобы он всегда видел ее лицо улыбающимся.

И хотя мужа ее называли «временнопроживающий Савкуев», Разнат была счастлива.

— Да размножится род твой, красавица, и разольется в поколениях, как всенная вода,—проговорил Темур, смеясь и подражая старикам.

Он отобрал у нее полотенце и стал сам вытирать ноги.

Посмотрев в сторону детской постельки, он улыбнулся.

— Ты должна теперь делить свою любовь между мной и сыном... А я не хочу! Все, что принадлежало мне в жизни, я никогда ни с кем не делил...

Усадив ее рядом с собой, он спросил по привычке:

— Почему ты всегда молчишь, ты меня мало любишь?..

Ласковое недоумение засветилось в ее глазах. Она не понимала, как можно еще больше любить?

— Погоди, вот поработаем немного, потом уедем в Моздок, купим там землю, — сжимая в ладони ее руку, проговорил Темур... — Не устала б ты только ждать...

— Мне тебя жаль, за тебя обидно... — проронила она, и глаза ее наполнились слезами. — Чем ты хуже тех, кого считают коренными жителями?

Он выпустил ее руку, посмотрел в большие печальные глаза и привлек к себе со словами:

— Знаю, что виноват перед тобой, счастья со мной не познала... потерпи... Говорят, завтра из города по нашему вопросу начальство приедет. Нужно на сходе суметь доказать, что нам без земли — все равно, что без воздуха.

Подняв с пола таз, она посмотрела на мужа долгим, рассеянным взглядом, потом, подумав, проговорила:

— А если опять ничего... Скажи, что будут люди делать?..

Он удивился ее настойчивым вопросам, испытующе на нее посмотрел и спросил:

— Ты что-нибудь новое слышала? Ты что-то скрываешь от меня?..

— Не скрываю... Никогда не скрывала, не умею...

Я хочу сказать тебе, что заезжал сегодня стрелянный помещика, Габо...

— А зачем ты его приняла? Почему не выгнала? Эх, гиаур, норовит прийти, когда меня нет дома. Достойно ли это мужчины?.. Если застану его когда-нибудь не только здесь, но даже около плетня моего, — он заречется ходить...

— Зная это, я и не хотела тебе о нем говорить...

Темур возмущенно поднялся с сидения, подошел к жене и проговорил:

— Так ты хочешь, чтоб мне посторонние говорили, что помещичий стрелянный бывает, когда меня нет дома?..

Разиат побледнела, отошла от него и, поглядев на него через плечо, с дрожью в голосе сказала:

— Допустим, умирал бы ты от голода... Ты, до-

роже которого у меня нет никого на свете! И тогда я не прибегла бы к его помощи... Пусть бы лучше ты умер... Ты знаешь... Ты все знаешь, я ведь имела возможность выбрать его, а не тебя...

Темур удивился ее словам: «Если б даже ты умер от голода, и то б не прибегла к его помощи». Он смутился от холодного, нового выражения ее глаз. Не выдержав, подошел к ней и сказал:

— Прости, я хотел спросить только, зачем он заехал?

— Помещик прощает тебе всю дерзость и просит быть его конюшенным... Не хотела говорить... не хотела, ведь нужда... вдруг бы ты согласился... Я не стерпела б такого унижения. Лучше в этом чужом селе, я, женщина, пойду в пастухи общественные, чего еще никогда не было в жизни осетин, но я не могу... Не хочу, чтобы ты...

Не выдержав его молчания, считая, что он молчит от того, что ему нравится предложение помещика, она истерически закричала:

— ...Не хочу видеть тебя, моего Темура, рядом с Габо!.. — Голос ее сорвался, она повалилась на тахту и разрыдалась.

Темур стоял посредине комнаты, не зная, что сказать и как подойти к ней. Он только сейчас увидел всю силу этой молчаливой женщины, которая, боясь, чтобы нужда не победила мужа, скрывала от него визиты Габо. Он шагнул к кровати, повернул ее лицо к себе и, заглядывая в заплаканные глаза, произнес:

— Спасибо... А за подозрение — прости! — И прижался обветренными губами к ее мокрому от слез щекам.

* * *

— Сходка. Идите на сходку!

— Сходка на церковной площади. Сходка!

— «Временным» будут отрезать землю!

--- Идите на сходку!

--- Дают «временным» землю,

— Идите на сходку, приехало с го-ро-да на-чаль-ство!

— Идите слушать го-род-ских начальников!

— На сходку...

— На сходку! — обегая улицы, кричал глашатай Хазби.

Хромой на правую ногу, в полинявшей коричневой черкеске, маленький, юркий, он был горд своей службой. Голос у него чистый, звонкий, как у юноши, глаза прищурены, губы толстые, усы редкие, пепельные. Глашатай Хазби первый узнает все новости. Он особенно уважаем молодыми женщинами, мужа которых отбывают воинскую повинность. Письма, и хорошие, и плохие, привозят в сельскую канцелярию. Там их, при помощи сельского писаря, старшина тщательно проверяет. В некоторых письмах он изменяет текст, снова запечатывает их, а Хазби вручает их благодарным родственникам.

Подскакивая на хромой ноге, он обходит длинные улицы села. Разносит письма, оповещает народ о сходках, о приезде и отъезде начальства. Он знает наизусть все постановления местной власти.

И дети, и старики, и женщины с тревогой прислушиваются к его звонкому голосу. Выбегая за ворота, они смотрят ему вслед и, покачивая головами, говорят:

— У, хромой шайтан, что-то он опять каркает.

— Иди на сходку, Темур, землю вам будут давать, — сказал Хазби, подходя к хижине Темура Савкуева.

У маленькой глиняной мазанки Темура Хазби любил останавливаться подольше.

Хозяйка крошечной лачуги, стройная чернобровая Разнат, с первого дня приезда не давала покоя Хазби. Природа наградила его шупленьким нескладным телом, поселив в это тело нежную и страстную душу.

Оставаясь наедине со своими мечтами, он наряжал Разнат в такие наряды, какие видел только у жены старшины, когда чистил им ковры. Он заплетал и расплетал ее тугие косы, обещал ей день и ночь оповещать село, чтобы заработать много денег и устроить богатую жизнь.

Неразделенная страсть томила его, и он все чаще и чаще стал появляться на окраинах села, оповещая «временных» даже о таких событиях, в разрешении которых они, как «временные», не имели права принимать участия.

На крик глашатая выбежала Разиат. Остановившись около мужа, она ласково сказала:

— На сходке не забывай, что у нас — у меня и твоего сына — никого нет, кроме тебя. Веди себя спокойно. Если что с тобой случится, то и нам не жить...

Хазби с ненавистью посмотрел на красивое суховатое лицо Темура и с завистью подумал о том, что никогда Разиат не поменяет Темура на самые богатые наряды.

— Водой меня напои, Разиат,—обратился он к ней, боясь, что она уйдет.

Когда Разиат вернулась с водой, он сказал:

— Такие, как ты, приходят в жизнь, чтоб принести другим страдания...

Возвращая пустую чашку Разиат, он придерживал ее пальцы в своей ладони и еле слышно проговорил:

— Разве ты так жить должна, такая красавица... Бр-бр-бр, — он затряс головой, как будто ему стало холодно.

Разиат засмеялась, выдернула свои пальцы из его руки и сказала:

— Мужа я люблю, умрет он или нет, но любить больше никого не буду. Нет красивее и лучше его в вашем большом селении. Посмотрела я на ваших мужчин: кто хромой, кто слепой, кто худой, кто толстый, кто рыжий, кто седой... Ха-ха-ха! Нет красивее моего мужа и за ущельем, за горами.

Хазби смотрел на нее и завидовал чужой жизни. Его собственная жизнь показалась ему ничтожной, безрадостной, никому не нужной. Он встал, поблагодарил за воду, печально оглядел Разиат и заковылял вдоль улицы.

— Идите на сходку.

— На площади церковной сходка! — Кричал Хазби, показываясь то на одной, то на другой улице.

На церковной площади, на берегу реки Урсдон, собирались люди. Народ стекался со всех сторон.

Громко разговаривая и возмущаясь, подошла к площади группа крестьян и разместилась на бревнах.

— Верно ли Хазби кричал, что «временным» землю дают?

— От каких это земель им отрезать думают? Кто это с ума сошел? Где земля? Откуда ее взяли, эту землю?

Громче всех кричал крестьянин высокого роста, со смоляными черными усами и злыми темными глазами.

Площадь наполнилась народом.

— Дают землю «временным»!

Кто смог бы остаться дома, услышав этот крик глашатая?

Временнопроживающие шли в надежде получить землю, коренные жители — боясь потерять ее.

На каменной церковной ограде, спустив ноги вниз, уселись оборванные босые ребятишки. Они заранее снимали шапки и, затолкав за пазухи, приготовились слушать.

— Ты видишь шашку, — сказал Тамби с черными, как маслины, глазами своему товарищу, указывая на шашку пристава. — Этой шашкой сразу можно даже буйвола разрубить. Такую шашку только самым храбрым дарят, ее не покупают.

— Врешь, Тамби, клянусь Уастырджи¹, врешь! — закричало сразу несколько ребят. — В прошлом году в Чикола² этот самый — начальником был. Если бы он был самым храбрым, так не бежал бы без сапог...

Все засмеялись.

— Отец рассказывал, когда порубили в Чикола казенный участок, он приехал, а его оттуда ка-а-к погонят.

Ребята дружно захохотали.

— Он и теперь двух вооруженных с собой привел, да еще какой-то важный начальник с ним.

— Вот они, идут, идут. Смотри — сейчас начнут.

¹ У а с т ы р д ж и — в осетинской мифологии покровитель мужчин. Соответствует Георгию Победоносцу в христианской мифологии.

² Ч и к о л а — село в Западной Осетии.

— Начинают, не толкай, уйди...

Квадратная церковная площадь была полна народом. Посредине, на специально устроенном возвышении, стоял стол.

За столом сидели сельский старшина Дрис, пристав Антонов, князь Макаев. Сзади стояли два полицейских, сельский писарь и глашатай Хазби.

Народ плотней придвинулся к столу. Люди поснимали шапки и стали слушать. Старшина Дрис с розовым круглым лицом, в черкеске цвета стали и в чесучовом бешмете, со старшинской медалью на груди, ворочая маленькими желтыми глазами, взял колокольчик и позвонил.

— Кто хочет говорить? Какие претензии имеете? Говорите, князь Макаев от начальника области послан, ему лично и расскажите.

Все молчали. О чем могли говорить они? О чем могли просить эти люди, не имеющие права даже на кусок земли?

Старик Сафа поднялся на возвышение, снял шапку, прислонил палку к столу и сказал:

— Толмач¹ пусть расскажет приезжему начальнику, что временнопроживающим жить без надела земли никак невозможно: скотину завести в чужом дворе нельзя, также и птицу. Женить сыновей не могут, дочерей замуж выдавать тоже. Пусть начальство подумает и даст им землю.

Он окончил и сошел с помоста.

— Рассказал, старая пиявка. И чего он лезет? Что ему надо? — возмутился Темур и, протолкавшись вперед, громко сказал:

— Не умею я по-русски говорить, пусть толмач передаст. От слов, которые сказал здесь Сафа, наши матери и дети сыты не будут. И у Сафа, и у других таких, как он, есть земля. Пусть отрежут нам часть земли у тех, у кого ее много, или поселят нас на каком-нибудь казенном участке. Сколько сходов уже было, а толку все нет.

— А какой ты хочешь толк? На чужой кусок рот не разевай, подавишься! — бросил ему кто-то.

¹ Толмач — переводчик.

— Рот на чужое не разеваю, но каждый хочет жить. Пусть дадут нам землю.

— Что это такое? Земля да земля! Вы, собачьи сыны, еще спасибо скажите, что вам жить под нашими крышами разрешено. А вам еще землю подай! — крикнул рыжеусый Дабе. — С тех пор, как вас в село пустили, — кур ни у кого не осталось. Телят перерезали, разбойники вы, а не крестьяне.

— С больной головы на здоровую не сваливай — сам ты разбойник, вся твоя фамилия разбойники, — ответил ему Темур, побледнев.

— Ах ты, собачий сын, бродяга бездомный, в моем же селе, при моем народе! — закричал Дабе и, схватившись за рукоятку кинжала, ринулся вперед.

— С одного места выгнали, выгонят и с другого — не торопитесь, — поддержали Дабе родичи.

Старшина вскочил, зазвонил в колокольчик, но его никто не слушал. Народ разбился на группы: с одной стороны временнопроживающие, с другой — коренные жители. Повсюду раздавались гневные выкрики, слова возмущения.

Пристав и князь Макаев пошептались, и два полицейских вошли в гущу толпы.

Когда шум немного стих, на возвышение поднялся Налык Корнаев — один из крупных землевладельцев села. Бедняки привыкли к его сладким речам: он умел всем услужить, все пообещать, никого не обидеть и ничего не сделать.

Поэтому они хмуро и недоверчиво оглядывали его, заранее зная, что от его слов толку не будет.

— Департамент правительственного сената, на основании решения Владикавказского съезда мировых судей, постановил: выселить дурдурских крестьян с земель помещика Туганова, но он не указал, что жители села Христиановского обязаны дать им землю.

Слова эти были обращены к князю Макаеву, который, сидя у края стола, водил карандашом по бумаге и крутил свой короткий черный ус.

— А потому, — продолжал Корнаев, — мы, жители села Христиановского, имеем право не давать им земельного надела, не пускать их скот на наш выгон,

не позволять им строиться на нашей земле, так как земли у нас самих мало...

— Это у тебя-то мало? От всех нас не говори, мы тебя не просили! — перебил его невысокий черноголовый крестьянин, протискиваясь вперед.

Все головы повернулись в его сторону.

— Не горячись! Упадешь—встать не помогут... Выслушай, а потом спокойно скажешь,—придержав его за рукав рваного бешмета, сказал старик со щетинистыми бровями. Опираясь ладонями на толстый сук, заменяющий ему палку, он полуобернулся к говорящему и слушал его левым ухом (на правое он был глух).

— А потому, — еще громче продолжал Корнаев, — просим князя передать начальнику области от имени жителей села Христиановского, чтобы убрали от нас временнопроживающих и тем самым избавили бы нас от многих неприятностей.

— От каких неприятностей? Говори, знаем мы твой лисий язык! — перекричав оратора и проталкиваясь вперед, выпалил молодой крестьянин.

Снова заволновались, зашумели. Никто никого не слушал. Толпа глухо шумела.

Напрасно старшина звонил в колокольчик, просил успокоиться, послушать, что скажут старики и что скажет князь Макаев. Но все было тщетно.

Вечерело.

Старшина, князь и пристав покинули сход.

Площадь опустела. На том месте, где сидело начальство, ребята играли в сходку. С поднятыми хвостинками они гонялись друг за другом: это — коренные «наступали» на «временных».

Темур и Илья вместе шли со сходки. Они молча курили.

Проходя мимо ныхаса, они слышали возбужденные мужские голоса и остановились.

В сумерках вечера поблескивал в трубках огонек, освещающая прокурские усы, обветренные губы, выпуклые жилы на жестких больших руках, горбатые носы, бритые лбы.

— Земли у нас, конечно, мало. У меня вот семь человек семьи, сам восьмой, а земельный надел имсю

только на себя, на свою мужскую душу. На жену и на шесть моих дочерей надела нет. А женщине тоже кушать полагается. Да, такой уж порядок, что поделать, — рассказывал долговязый худой старик.

— Тяжело мне и свою семью кормить, но что-то и с вами нужно делать. Щенята в доме заведутся — привыкнешь, не выгонишь. Если выгоним мы вас, другие тоже не примут... Жалко, а что делать — не придумаешь.

— К цыганам в табор пойдем, там земля не нужна, — бросил Темур, горько усмехнувшись.

— Пошел бы я воевать, чтоб землю добыть, — сказал черноголовый юноша.

— От войны земли не прибавится, не ждите, — сказал Илья, перестав курить.

— Почему? — горячо спросил юноша.

— Потому, — спокойно ответил Илья, — что всю землю богатые все равно себе возьмут, тебе в подарок ее не поднесут, не надейся...

— Почему только себе, а не нам? Ведь воевать мы будем? — снова спросил юноша.

— Так в жизни заведено... Вот вырастет у тебя борода, тогда и поймешь, почему от войны бедному человеку земли не прибавляется...

— Зачем нам чужая земля? Разве мало у нас своей земли, — вмешался в разговор Темур. — Разве нас потому из Дурдура выгнали, что там земли не хватает?..

— От войны земли не прибавится, только сыновей убавится. Стар я, знаю это — добавил старик.

— Что же делать тогда? — возбужденно бросил юноша в молчаливую толпу. — Почему мы ничего придумать не можем?

Сильнее задымили трубки, кое-кто кашлянул, но юноше никто не ответил.

— Землю здесь, у себя, требовать надо, — сказал Илья, подходя к горячившемуся юноше, — а не на войну ходить... Землю имеет тот, кто за нее борется...

— Разве твой хозяин, Сафа, потому землю имеет, что он за нее кровь проливал? — спросил юноша.

— А ты как думал? Все было — и кровь проли-

вал... день и ночь не спал, врал, обманывал... Земля ему тоже не даром досталась. Я за двадцать лет жизни у него многое видел... Вот и убедился, что земля крови требует. Пока за нее кровь не прольешь, она не придет... Мне кажется, — продолжал казак, — землю от края до края перетряхнуть надо. Почему она одним, как мать родная, а другим — мачеха? Чтоб взять ее — сила нужна, — задумчиво произнес он. — А все, что силой берешь, без крови не бывает... Ее вырвать надо. Значит, без крови не обойтись...

— Ты объясни, — подсаживаясь к нему, сказал старик со щетинистыми бровями, оборвав Илью, так как он увидел подходившего к ним помощника старшины Омара Дзагурова.

— Так вот... когда умирал отец, он завещал трем сыновьям старую свою лошадь, — громко начал дед.

Все поняли хитрость старика и дружно захохотали. Юноша спросил:

— А как же делили одну лошадь три брата?

— Загадал им отец загадку — кто отгадал, тому и лошадь досталась, — засмеялся старик.

Застав только конец сказки, помощник старшины, оглядывая крестьян, сказал:

— Так, может, и начальству надо коренным и «временным» загадку загадать — кто отгадает, тому и земля...

— От этого положение не изменится, опять кто-то без земли будет...

Помощник старшины, обернувшись, увидел Темура и укоряюще произнес:

— Ты, Савкуев, подобно прорвавшейся плотине, везде просочишься. Ведь ты такой же «временный», как и остальные ваши, а говоришь больше всех... Я слышал, что Амурхан тебе землю предлагал, а ты, говорят, отказался.

— Отказался, — подтвердил Темур.

— Так что же тебе надо тогда? — возмущенно спросил его помощник старшины.

— Мы не нищие, подачек нам не нужно, требуем законной земли... Должен человек на земле пристанище иметь или нет? Почему начальство об этом не подумает?..

— Ты еще не дорос, чтоб учить начальство думать. Ишь ты как!.. — разозлился он.

— Их бы действительно не мешало поучить думать, — многозначительно проговорил Темур.

— Что?.. Что ты сказал? Как ты смеешь?

— Ты хорошо слышал, что я сказал, иначе б не разозлился. Не переспрашивай, а то, смотри, — повторю... — огрызнулся Темур.

— Вы слышали? Вы все слышали? — обратился помощник старшины к крестьянам. — Вы слышали, что сказал бездомный бродяга?.. Вы будете свидетелями!

— Ничего не слышали, ничего, ничего! — проговорил старик, который загадывал загадку. — Ты народ не зли, не придирайся. Голодный человек всегда зол, а то, что ты их, «временных», бродягами величаешь — это неразумно. Не оскорбляй человека незаслуженно! Такая обида в душе человека огнем горит, никогда не забывается... Ты — молод, я — стар, и скажу тебе, — продолжал он, — вот я — коренной, чем от них отличаюсь?.. Ничем, такая же нищета, только и разница, что из села не гонят. Что «временные», что коренные — без земли не люди. Так вот, послушай, начальник, не дослушал ты мою сказку, дослушай и отгадай, — глянув на Темура хитрыми глазами, говорил старик:

— Жил-был человек один — не богатый и не бедный, не молодой, не старый. Весной, как пришла пора пахать, вышел на пахоту. Работал, работал, обработал одно поле, обработал другое, третье, устал и решил отдохнуть. Постелил он куцую, порыжевшую бурку на землю, лег и заснул. Проснулся и видит, что третьего поля его нет. Пахарь и так, и этак, нет земли — и конец... Очень он огорчился и решил, что это шайтан сыграл над ним злую шутку, украв у него третье поле. Решил он идти домой. Что же ему оставалось делать, раз нет третьего поля... Поднял он с земли бурку, чтоб надеть, и вдруг увидел под буркой свое поле!.. Вот и все! — сказал старик.

— Иди, начальник, иди и расскажи князю Макаеву, загадай ему загадку, куда третье поле девалось? Может, отгадает, поймет... Поймешь и ты, по-

чему злится временнопроживающий Савкуев и я, коренной!.. Иди!..

Молчали. Слишком понятна и зла была сказка, чтоб к ней прибавлять еще что-нибудь. Помощник старшины, сделав вид, что не понял сказки, поднялся и ушел.

Был уже поздний вечер. Мерцали крупные одинокие звезды. Синее небо было высоко и безмолвно. Погасли в окнах огни. Наступила ночь, тревожным сном уснуло село. Забылись сном и те, кто имел землю, и те, кто ее не имел.

9

Жужжат жернова. Из горла огромной деревянной воронки в ненасытную каменную пасть, шурша, сыплется зерно. Перемятое, перетисканное, оно превращается в муку и бесшумно скользит по узенькому настилу, ложится на дно глубокого, длинного корыта.

Растет и растет маленький мучной курган и превращается в белый рассыпчатый холм. Мирошник Илья своей единственной рукой любовно пропускает сквозь пальцы белую пыль, пробует на язык и кричит:

— Эй, гололобый, давай ишачью шкуру, неси мешок!

Высовывая голову в дверь, он обращается к старику:

— Давай мешок! Скрипишь, как деревянная ось!

Но старик плохо слышит. Он молча стоит у двери мельницы и глядит на мельника слезящимися глазами, не смея войти.

Маленькое, с кулак, сморщенное лицо старика хочет улыбнуться, но улыбка не получается, и он часто моргает припухшими от трахомы голыми веками.

Два дня шел он из далекого горного аула, чтобы смолоть себе зерна. Шел долго, козьими тропами, и жаль ему своего ишака, такого же старого, как он сам.

— Иди возьми свою муку, богатей. Пока до гор дойдешь — всю сожрешь, а потом опять на равнину... Эх, не жизнь у вас — масленица...

Видя, что старик по-прежнему не двигается с места, мирошник припоминает весь запас осетинских ругательств. Наконец, услышав, старик долго тискает в руках засохший кожаный мешок и единственным зубом, который колом торчит в его шамкающем рту, пытается развязать узелок, но, так и не развязав, входит на мельницу.

Старику очень нравится, как пахнет на мельнице. Он смотрит на сытые, побелевшие паутинки по углам. Вот большой паук важно раскачивается на ажурной ткани паутины. И старик вспоминает хозяина мельницы, белого красивого старика. Эх, смести бы со стенок всю мучную пыль, он собрал бы к своему пудику еще пудик.

Илья берет из рук старика мешок, долго развязывает его, сердится и, хотя привык уже работать одной рукой, не может развязать. Он злится, вспомнив, как жернов проглотил его руку.

Илья нечаянно толкнул старика, тот крикнул и шлепнулся задом в полную сапетку муки.

— Держи-ка, ну, старая арба. Трещишь, как прошлогодний плетень. Жить думаешь... за мукой приехал... Косу бы тебе в руки — настоящая ты смерть...

Мирошник, продолжая ворчать, сгребал муку деревянной лопатой, отшлифованной, как слоновая кость. Старик виновато молчал. Завязывая неполный мешок муки, он подумал:

«У-у, шайтан, как много взял у меня за помол».

— Подожди, не завязывай, — улыбнулся Илья, словно угадав его мысли, — на тебе еще...

Илья сыпал в мешок муку до тех пор, пока мешок не наполнился.

— Иди, скорес! Иди, да не говори никому, что за помол с тебя не взял, а то Сафа узнает, будет мне.

За деревянной перегородкой мальчик-весовщик корявым детским почерком выписывает крестьянам квитанции.

Держа квитанцию вверх ногами, крестьяне рассматривают непонятные черные кляксы, а затем бережно прячут ее, кто в карман стеганого бешмета, кто в ноговицу, кто в папаху. Одни, узнав, что им не

успеют смолоть сегодня, уезжают, а другие, не торопясь, распрягают коней и стреноженных пускают пастись.

Двухместная бидарка на мягких резиновых рессорах легко подкатила к мельнице. Из нее важно вылез Сафа. Он быстро прошел за деревянную перегородку, оглядел мешки с мукой, сложенные в клетку, обшарил глазами все углы и, в упор глядя на мальчика, спросил:

— Это все? Вся мука за три месяца? Живодеры, сожрать меня готовы...

Он вырвал из рук мальчика квитанционную книжку и стал торопливо перебрасывать звонкие костяшки на счетах. Глаза посерели, веки вспухли, тонкие белые губы задрожали.

— Пятнадцать!.. Пять!.. Восемь!.. Сорок, двенадцать, сто двадцать!.. И всего — сто шестьдесят пудов. Илья, Илья, — сюда!.. — орал Сафа, бегая из угла в угол.

Мальчик-весовщик робко выглядывал из-за мешков. Сафа подбежал к нему и вдруг наотмашь ударил по лицу. Мальчик пискнул и присел.

— Илья! — громко позвал Сафа, ругаясь на чистом русском языке.—Убью! Давай мою муку!..

Илья не показывался. Старик шмыгнул за перегородку.

Илья сидел на краю огромного корыта, куда шурша падала мука. Он курил трубку, задумчиво следя за густым махорочным дымом. Старик подбежал к корыту, присел на другой его край, не моргая посмотрел Илье в глаза. Но мирошник, будто не замечая его, продолжал наблюдать за дымом. Старик насторожился и, словно кот, который собирается прыгнуть на свою жертву, начал:

— Дай мою...

Не успел он договорить, как Илья той же лопатой, которой недавно сгребал муку старику, размахнулся и ударил Сафа по голове. Потом подскочил к двери и запер ее на крючок. От неожиданного удара старик свалился в ящик с мукой и барахтался там, силясь подняться.

Илья подбежал к нему с налитыми кровью глаза-

ми, стал перед ящиком на колени и, двинув хозяина глубоко в ящик, глухо прошептал:

— Что тебе надо от меня? Зачем мать мою ругаешь? Какую муку просишь? Давай мои пальцы, мою кисть! — злобно хрипел он, стараясь попасть Сафа в рот изуродованным обрубком руки.

Старик не шевелился. Молча, изумленно смотрел он на своего батрака и не узнавал его.

— Какая тебе от меня мука нужна? Твоего мне не нужно! Двадцать лет на тебя работаю, руку ты мою пожрал... Мать моя всю жизнь на твоих пашнях батрачила, все мое богатство — вот оно... — злобно рванул он воротник полинявшего, белого от муки, старого бешмета и разорвал его от ворота до подола. — На, на, твое богатство!.. Живоглот, жри! — кричал Илья, скинув с себя бешмет и пытаясь заткнуть им рот Сафа.

— Не надо, не надо так! Дядя Илюша, оставь! — пропищал у самого носа Илья мальчик-весовщик.

Слабый голосок мальчика привел мирошника в себя. Плюнув на пол, он сказал:

— Добре, пусть будет по-твоему, — и подал Сафа руку, помогая вылезти из ящика.

Илья отряхнул с него муку и сурово сказал:

— Давай расчет, ухожу я от тебя.

— Зачем? Я тебя не гоню, мы ведь с тобой дружно жили, никогда я тебя не обижал...

— Не обижал, не обижал! — передразнил Илья старика. — Теперь все равно от тебя жизни не будет...

— Нет, Илья, нет, клянусь Уастырджи. Клянусь тебе пророком Ильей, что я на тебя злобы не имею... Могу тебе даже помочь, если строиться хочешь. Помогу тебе, но ты человек нехозяйственный, богатства не любишь. На твоём бы месте другой давно богачом стал...

— Да, — произнес Илья, — не научился... Неправильная, видно, правда моя. Недаром сказывается — от трудов праведных не наживешь палат каменных...

Илья открыл дверь. У коновязи, хитро улыбаясь карими глазами, стоял Амурхан Туганов. Серую кобылицу держал под уздцы его любимый стремянный Габо. Низкорослый, коренастый, с широкой спиной и

короткими руками, стремянный напоминал дерево, корни которого, ползя по обнаженной поверхности земли, натужно обхватили камни и всеми силами стараются укрепиться именно в этом месте.

Амурхан любил брать с собой стремянного, ценя его за бесшумные кошачьи движения и собачью преданность. Передавая ему поводья, Амурхан сказал:

— Что-то нас никто не встречает, где же Сафа?

В это время в дверях мельницы показался сам хозяин.

— День твой да будет счастлив, — приветствовал его Амурхан.

Отстраняя стремянного и услужливо поддерживая стремя, Сафа ответил на приветствие Амурхана.

— Работаю, в муке, как в снегу. Рад тебя видеть! День мой не может быть плохим, если эти слова произнесли твои уста!

Они поздоровались и присели поодаль на траве...

— Вот и народ к нам опять ездить стал. Стало быть холера ушла. Ты не поверишь, Амурхан, благодарение богу, семья моя цела... Три месяца никуда не выезжал. Октябрь на исходе, а у меня еще пшеница не обмолочена — одно разорение. Я все жду, когда ты молотилку к нам перекинешь.

— Моя молотилка, Сафа, в твоём распоряжении. Завтра же прикажу работникам, чтобы сюда привезли. Нельзя было, сам знаешь, никого к вам не пускали. Мы уж думали, что не осталось у вас никого в живых.

— Что же это я такого дорогого гостя здесь держу? Домой, ко мне, Амурхан, — вдруг спохватился Сафа.

— Нет, нет, берекет берсып¹, Сафа, некогда. Сын у меня школу офицерскую кончил. К этому дню я пять лет выкармливал быка. Ты не откажешь, конечно, осчастливить меня — попировать со мной.

— Радость в твоём доме — радость для всех нас.

¹ Берекет берсып — пусть будешь богат в веках (по-кабардински).

Горе твое — мое горе. А сейчас ты все-таки пойдешь ко мне.

— Не смю отказываться, — поклонился Амурхан.

Сафа подозвал молодого крестьянина, который на животе лежал под тутовником, и приказал отвести лошаадь помещика в дом, а сам предложил Амурхану сесть в бидарку. Габо поехал за ними.

Они проезжали по длинной улице села. Завидев Сафа, крестьяне снимали шапки, женщины останавливались, чтобы не перейти ему дорогу, и старались ниже опустить темные платки, зная повадку старика заглядывать в глаза молодым.

У красных ворот лавки, обитых железом, стояла куча крестьян: здесь были и молодые, и старые. Оборванные, грязные ребятишки играли около лавки в альчики. Ребят толкали в спину, но они назойливо лезли под ноги взрослым.

— Я говорю — разрубит!

— Нет, не разрубит! — спорили двое мальчиков. Одному — лет двенадцать, другому — девять.

— Я спорю, вот пять альчиков, на, — и он передал альчики большому рыжему мальчишке, который, видно, пользовался доверием этой босой команды. Другой тоже передал свои альчики рыжему мальчику и, задержав в руке выкрашенный в зеленый цвет крупный альчик, сказал:

— На, возьми, я говорю, что не разрубит.

Рыжий собрал альчики, и вся ватага протискалась в лавку. Сгрудившись, вставая на цыпочки, они старались увидеть, что происходит у прилавка.

У прилавка стоит Темур и держит в руках большую шашку. Перед ним лежат шесть кусков мыла, аккуратно уложенные прямоугольником. Подняв тяжелую шашку, Темур целится в самую середину прямоугольника. Все затаили дыхание, в лавке стало так тихо, что слышно, как из крана керосиновой бочки падают в цинковый тазик капли.

— У-ух! — взлетела и опустилась шашка. Темур осторожно, сам не веря тому, что разрубил, поднял шашку. На прилавке вместо шести больших кусков лежало двенадцать маленьких.

Зашумели, загалдели. Молодежь вплотную притиснулась к прилавку. Старики и дети с завистью глядели на черноголового силача.

Старший сын Сафа, Гамази, молча взглянул на мыло, потом на Темура и сказал:

— Бери, мыло твое. При твоей бы силе, да еще умную голову...

— Ум есть, нахальства не хватает, — грубо ответил Темур.

— Давай табак...

Получив выигрыш, Темур роздал его старикам, сидящим на лавке у стены. Задымили трубки. А на улице рыжий мальчик передал девятилстнему спорщику выигранные им пять альчиков.

Положив мыло в подол своего холщового бешмета, Темур направился домой. Лавочник Гамази, раздав ребятишкам по розовому прянику, приказал таскать в лавку ящики с мылом, гвоздями, тюки разноцветного ситца, спички, сахар, веревки, сита...

Сегодня со станции Дарг-Кох он получил товар. Три брички, нагруженные доверху, ждали, когда их разгрузят.

Не успел Темур отойти, как его окликнули ребятишки и сказали ему, что его зовут обратно в лавку.

В те дни, когда в лавку Сафа прибывал новый товар, в ней царил оживление. Два кисета — в одном махорка, в другом — нюхательный табак висели на гвоздиках у дверей. Сегодня Гамази угощал всех. Молодежь, не смея курить при стариках, выходила из лавки и, прячась друг за друга, курила махорку.

Когда Темур подошел к дверям лавки, ему закричали:

— Эй, «временный». Ты сегодня удачлив. Попробуй еще раз счастье.

В дверях, ведущих из комнаты в лавку, показался Габо. Он подошел к Гамази и, сощурившись, что-то прошептал ему на ухо. Гамази утвердительно кивнул головой.

— Темур, а, Темур! — позвал Габо. — Как живешь на новом месте? Вижу, не оброс, все такой же тощий...

— Вижу, что и ты не изменился... как свинья, жи-

вот по земле волочишь, — сказал Темур и через плечо глянул на него.

Взрыв хохота покрыл слова Темура. Габо ринулся на Темура, но Гамази удержал его.

— Что ты, что ты, Габо... Охота тебе обращать на него внимание, — успокаивая его, проговорил Гамази. — Он, как осенняя колючка, ему б к чему-нибудь прицепиться.

— Впрочем, собака лает, а ветер носит. Что значат твои слова! — весь бледный, стараясь казаться спокойным, снова проговорил Габо.

— Что тебе от меня надо? — повернувшись к нему лицом, спросил Темур.

— Ты пьян, иди выпись, а то нагайка Амурхана пройдет по твоей спине. Впрочем, тебе не привыкать подставлять спину...

— Что-нибудь одно: или полный желудок и согбенная спина, или пустой желудок, зато во весь рост человеческий стоять, не на коленях жить...

— Придержал бы язык, «временный», — тихо промолвил Гамази, хмурия рыжие брови. — Габо мой гость, не позволю его в моем доме оскорблять.

— Зачем позвали, что надо? — угрюмо спросил Темур, придерживая в подоле бешмета выигранное мыло.

— Я позвал, Темур, хочу облагодетельствовать тебя... помочь, — проговорил Габо, улыбаясь. — Амурхан, солнце Дигории, у друга своего Сафа Абаева в гостях. Должно быть, это тебе известно, мой любезный?

— Не интересуюсь, где твоё солнце находится. Пусть его замечают те, кого оно греет, — сурово молвил Темур.

В лавке наступило молчание.

Габо, откинув одну руку назад, а другую держа в кармане, подошел к Темуру.

— Счастья своего не знаешь, гормон! Ты все равно, что огонь из щепок—до тех пор горишь, пока последняя щепка не сгорит.

— Что от меня хочешь? — не пазывая его по имени, снова спросил Темур.

— Счастья твоего, — икнув и вытерев губы, отве-

тил Габо. — Амурхан бы простил тебе твою дерзость, попроси у него прощения. Работать ты мастак — вернись на прежнее место, смири в себе гордость.

— Достаточно того, что ты лижешь ему пятки, остальных не соблазнишь, дьявол... Я к нему не пойду, и мои друзья к нему не пойдут...

— Ха-ха-ха-ха! — захохотал Габо, и заколыхался его широкий рыхлый живот. — Какие же у тебя друзья? Где они? Сколько их?

Темур вплотную подошел к нему, и, глянув на него сверху вниз, сказал:

— Моих друзей гораздо больше, чем ты думаешь, хотя думать ты не способен...

— Зато жить способен, что без толку думать... Не остроумно, Темур, любезный! На-ко вот, чем ссориться, лучше повесели нас, — проговорил Габо, вытаскивая из кармана рубль.

Серебряный рубль с профилем Николая II тяжело лег на большой ладони Габо.

— Вот тебе рубль, — протянул он короткую руку, — возьми, не брезгуй, когда тебе еще придется заработать?.. Возьми, повесели Амурхана, пробеги отсюда до канцелярии без брюк... Что тебе стоит, ты женат, твоя черноокая Разиат тебя все равно не разлюбит... На-ко...

Темур побелел, шагнул в угол и опустил подол бешмета. Куски мыла, мягко шлепаясь, попадали на пол. Повернувшись к Габо, он прохрипел:

— Ах, ты, собака, холоп, потерявший и совесть и честь! За кого ты меня считаешь? Как ты смеешь произносить имя моей жены?

Размахнувшись, Темур рассчитанно нанес Габо звонкую пощечину, Габо отскочил. Тревожно поднялись старики и окружили их, разводя в стороны. Старик со щетинистыми бровями, бывший сосед Темура, сказал Темуру с упреком:

— Безумный, честь забывают, когда голодают дети... Что ты сделал? Нас выгонят и отсюда...

Темур, бледный, с дрожащими руками, отошел в угол лавки, хотя старик просил его уйти.

Габо, держась за рукоять кинжала, кричал:

— Пустите меня! Я рассчитаюсь с этим бездомным бродягой! Я покажу ему, что я значу...

— Уходи, уходи, прошу тебя, уйди!—умолял Темура старик со щетинистыми бровями.

Габо продолжал кричать:

— Посмей только уйти, собака, бродяга...

Гамази придерживал его за руки и просил:

— Не связывайся с ним, не забывай своего положения, Габо! Амурхан будет вдвойне оскорблен, если узнает, что ты сам ввязался...

— Как не ввязаться? Как? Он оскорбил меня... Ну погоди же, ты встретишься со мной. Будешь мышиную норку за целый туман¹ покупать, чтобы спрятаться от моей мести. Тебе проезжая дорога покажется тропинкой, чтоб разойтись со мной...

— Не грозись, лучше покажи, как я буду от тебя прятаться. Ты учился у баделят² наносить удар в спину... Это их привычка — в открытый бой они не вступают, трусы... Амурхан на нас целый полк нагнал, чтоб выгнать, а сам спрятался...

— Не смей, поганый холоп, произносить имя моего господина! Я не прошу тебе этого!..

Габо вырывался из рук, но теперь его крепко держали. Темур, как назло, не уходил, говоря:

— Почему я должен уйти первый? Пусть он уйдет...

— Ты не забудь! — кричал Габо, желая привлечь внимание Амурхана, который сидел у Сафа. — Не забудь, что в Амурхане течет голубая кровь, не то, что твоя — поганая...

— Тем лучше, — зло засмеялся Темур, — отлично, что в жилах твоего господина течет не красная человеческая кровь, а голубая водичка. Убить его будет вовсе не грех...

— Кого это ты убиваешь, Савкуев?.. Я слышал все, молчи, недостойный! Как ты посмел в доме Сафа Абоева оскорблять его лучшего друга? Что это за сборище? Что такое? Горе мне, старшине, с таким народом.

¹ Туман — десять рублей.

² Баделята — привилегированное сословие.

Увидев Дриса, Габо охрипшим голосом закричал:

— Будешь ты сам свидетелем, Дрис, что временнопроживающий Савкуев грозился убить Амурхана...

— Неправда это, — раздалась возгласы в защиту Темура, — неправда! Стремянный сам виноват, сам начал! За дело его «временный» ударил... правильно!..

В дверях лавки показался Сафа. Глянув на сына, потом на старшину, он произнес:

— Уа, гормон, Дрис, если ты, как старшина, не можешь применить власть, данную тебе начальством, так имей уважение хоть к моему возрасту. Что за шум в моем доме? Кто здесь виноват?

Он обратился к сыну:

— А ты здесь кто — хозяин или случайный прохожий? Почему в твоей лавке при тебе народ смеет так кричать?

— Да это вот Савкуев, — смущенно проговорил Гамази.

Сафа медленно повернулся в сторону Темура, бросил на него долгий, неопределенный взгляд и на ходу произнес:

— Безрогий бык ушел в поисках рогов, а дорогой потерял и уши. Не забудь, «временный», эту поговорку...

Темур стремительно вышел из лавки за Сафа. Кто-то прокричал ему вслед, что он позабыл выигранное мыло, но он даже не оглянулся.

10

С тех пор, как умерли сыновья Саниат, редко кто появлялся около ее массивных заборов. Матери обходили этот дом с суеверным страхом за детей, старики, оглядывая высокие заборы, утыканные гвоздями, сочувственно качали головами, упрекая ее в том, что она ничего не может придумать в своем безвыходном положении; девушки с печальными глазами заглядывались на яркие стекла окон, вспоминая ее сыновей. Однако чужое горе не старит, и Саниат стали забывать.

Как-то утром, выгнав со двора коров, две соседки, стоя поодаль от забора Саннат, шепотом переговаривались:

— О, создатель всевышний, она не смирится, она и богу докажет, что сильнее его... Видишь, что придумала... Небось, Сафа, как родственник ее мужа, надеялся, рассчитывал, а она — вот тебе и на...

— А то как же, конечно, рассчитывал... Да не только из-за того, что он родственник дома, а еще...

— Тш-ш! — предупредила первая соседка.

— Впрочем, чего там... от людей и то не скроешь, а уж от бога — попробуй! Прости, господи, за большие грехи, должно, бог ее сделал свидетелем гибели собственных детей... Да, говорят, наследник-то убогонький, еле выжил от «головной чумы»¹. Какой же с него толк после такой болезни?

— Посмотрим, как это полевая мышь будет выживать домашнюю! — злорадно засмеялась вторая, подразумевая под домашней мышью Сафа.

— Если действительно он, как говорят, убогонький, так ему что ни оставь — все прахом пойдет. Недаром говорят: «Не сделай дурака наследником, а умного оставь и без наследства».

Вдруг в воротах Гуларовых показалась высокая, худая фигура юноши. Обе женщины разом глянули на него и вместе выпалили:

— Не он ли?..

В светло-серой черкеске, долговязый, прыщавый юноша с любопытством разглядывал длинную, прямую улицу, ровные ряды домов. Изумление и растерянность лежали на его продолговатом темном лице. Он часто похлопывал короткой, упругой плеткой по вышитым сафьяновым ноговицам, закидывая голову вверх, глядя на дерево; подпрыгивал и срывал с липы блеклые листья, прикладывая их к губам и издавал тонкие звуки, как будто водили ножом по стеклу. Чем громче получался звук, тем он яростнее свистел, привлекая внимание прохожих. Две женщины, наблюдавшие за ним, прыснули от приглушенного смеха. За спиной юноши показалась мрачная фигура Саннат.

¹ Головная чума — так называли в народе менингит.

— Ты что? — спросила она.

Юноша не обращал на нее внимания и продолжал свистеть. Саниат побледнела и строго сказала:

— Слышишь, Дзобек? Здесь юноши твоего возраста уже детей имеют, а ты стоишь и на виду у всех в свистульку играешь... Иди во двор! Что скажут люди, увидев тебя, наследника гуларовских богатств, со свистулкой? О, горе мне с тобой...

Она взяла его за руку, как берут детей, и насильно ввела во двор. Лениво, будто устав, он сел на скамью под липой и проговорил:

— Не останусь я в твоём доме. Если я наследник твоих богатств, то почему я не имею права делать все, что хочу? Богатые всегда делают то, что им хочется...

Саниат, сомкнув серые, в тонких морщинках губы и полужакрыв глаза, шепотом произнесла:

— Если ты хочешь быть богатым, если хочешь, чтоб тебя уважали и боялись, то никогда не показывай людям своих слабостей и недостатков, иначе как же ты станешь их властелином?

Она тяжело перевела дыхание, со стоном опустилась рядом с ним на скамью и произнесла:

— Слушай и запомни: мои земли, стада мои, деньги в банке, что и не снилось никогда всей вашей фамилии, всему гуларовскому роду, дома и сарай — все твоё... Но только веди себя так, как подобает хозяину больших богатств... Пойдем, я тебе покажу, — торопливо сказала она, будто вспомнив что-то такое, увидев которое ее приемыш мог бы сразу поумнеть.

Она схватила его за руку и поволокла за собой к забору, отделявшему ее двор от двора Абаевых.

— Смотри и учись, смотри, как живут умные богачи... Сын Сафа не станет на улице играть в свистульку...

Она вырвала из его худых пальцев пучок пожелтевших липовых листьев и швырнула их. Дзобек растерянно смотрел то на Саниат, то в щелку забора, не понимая, чего она от него хочет и какой грех в том, что он немного посвистел, как свистел дома у матери в горах.

Вдруг Дзобек отошел от забора, мучительно скор-

чил худое лицо, будто от зубной боли, и, чуть не плача, произнес:

— Скучно у вас здесь, домой хочу, к нана. Она все разрешала мне делать, а тебе жалко для меня даже опавших листьев... Не останусь я здесь, не хочу, — капризно, по-детски произнес он. — На... возьми, не хочу, жадная ты, скупая... — Он стал расстегивать на черкеске крючки, пытаясь стащить ее с худых плеч.

— О, горе мне с тобой, за что мне эти испытания, о, аллах! — Она схватила его за руку и потащила в комнату.

— О-о-о-ох-х-о-о-о!.. — застонала она, поспешно подошла к большому окованному железом сундуку и со звоном повернула торчавший в нем ключ.

— На... бери, все твое! Бери, безумный! Разве мне жаль их, только повремени... подожди! — с этими словами она неистово раскидывала содержимое сундука: белые, коричневые, фиолетовые черкески, чесучовые бешметы, вышитые золотом полубешметы и рубашки, синие суконные брюки, ярко-вишневые стеганные зимние бешметы, башлыки, окаймленные золотым и серебряным шитьем, бурки белые и черные, каракулевые папахи разных цветов, сапоги русские, сафьяновые ноговицы и чупяки, вышитые кобуры от разного оружия — все это разлеталось по комнате.

— На... Бери! Бери все, но только не уходи! Мать не пустит тебя домой, помни, она велела быть тебе хозяином гуларовских богатств.

Дзобек — тщедушный, болезненный юноша, проживший до двадцати лет в горах, в беспросветной нищете, перенесший в детстве, по словам матери, страшную болезнь — «головную чуму», — был от природы добр и незлобив, прожорлив, тих и незаметен. Весь его маленький мир умещался в неогороженном куске их двора, где в серой скале горы была выдолблена мрачная каменная сакля без окон, куда солнце заглядывало только перед заходом.

Отец Дзобека, рассказывала ему мать, свалился с кручи, стаскивая вниз сено, которое накопил за лето. Смерть отца никого не поразила, это было обычным явлением. Все безземельные крестьяне целое лето охотились за пучком соломы. Самые отважные

заходили так высоко, что облака плавали рядом с их крохотными стожками сена. Потом эти стожки, увязанные веревкой, скатывались вниз, теряя по пути половину.

Мать Дзобека, овдовев, больше не вышла замуж, так как по адату вдову с детьми никто не берет, а бросать ребенка на родственников покойного мужа решалась не каждая женщина. Потому это никого не удивило. «Сидзаргас» — значит «стерегущая сирот» — бывала обречена на тяжкую долю, на вечную нужду и нищету. И вдруг, как в волшебной сказке, в одну сентябрьскую ночь в саклю к Дзобеку пришел, как добрый джин, старшина Дрис. Он объявил матери, что Дзобек, по желанию Саниат, делается наследником ее несметных богатств. Мать — «сидзаргас» — растерялась. Казалось невероятным, что ее Дзобек, выросший в лохмотьях, не поевший за двадцать лет вдоволь сладкого куска, вдруг станет наследником неисчислимых богатств.

«Нет, здесь что-то не так. Как могла Саниат, которая никогда не удостоила ее даже приветом, сделать Дзобека, ее больного, немощного сына наследником своего добра»...

Сердце матери тревожно забилося — как отпустить от себя, да еще на равнину, где, говорят, нравы суровы, единственного сына, ради которого она вот уже семнадцать лет влачила жалкую нищенскую судьбу «сидзаргас». Теперь, когда она могла б его женить, и начать жить по-человечески, с женщиной в доме, с маленькими детьми...

— Нет, не могу!

Она забегала по родственникам и знакомым, прося у старших совета и помощи. Но все смотрели на нее, как на помешанную, когда она высказывала мысль отказать в просьбе знатной родственнице. А старики, укоризненно покачав головами, сказали:

— Если исполнилось мужчине двадцать лет, то мать ему больше не советчица.

Самый старый мужчина помолился над тремя ячменными пирсгами, которые испекла мать, и Дзобека отправили в дальний путь, на равнину. Дорогой Дзо-

бек был весел и беспечен, но въехав в большое степное село и попав в дом Гуларовых, был потрясен. Целыми днями он молчал, а ночами плакал, вспоминая мать.

Сегодня он решил сказать Саниат, что уйдет от нее, если мать не будет с ним жить. Но Саниат и слышать не хотела о том.

«Нет, мать не позову, при ней он совсем будет меня чуждаться. Мать и сын будут с нетерпением ждать моей смерти, чтоб стать хозяевами моего добра. Нет, мать не позову. В качестве кого я буду ее держать? Уравнять с собой — невозможно, а работницу я предпочитаю — чужую».

Поэтому Саниат сейчас, дрожа над вещами умерших сыновей, вывернула весь сундук, чтоб видом этих нарядов заставить своего приемыша забыть мать, родные горы, по которым он скучал.

Дзобек, увидя такой ворох разноцветных нарядов, изумленно раскрыл рот, потянул вышитую кобур, примеряя ее к бедру и призывая Саниат в свидетели, хорошо ли ему это.

Саниат, будучи не в силах видеть, как вещи ее сыновей примеряются чужим, ненавистным ей человеком, вся побелела. Но, пересилив наплыв горького отчаяния, произнесла:

— Все это твое, только слушайся меня во всем и я сделаю, чтоб ты был богат, умен и красив...

Подойдя к нему близко, она прошептала:

— Я женю тебя скоро, женю обязательно, и ты будешь всеми уважаем... Женю на самой лучшей красавице, все будут тебе завидовать.

— Ты мне лучше на охоту разреши, я на охоту хочу, — попросил он, примеряя к плечу длинное охотничье ружье.

— И на охоту пойдешь, разрешу. Только слушай, что я тебе скажу: с работниками в разговоры и пререкания не вступай. Если тебе что надо — прикажи, чтоб сделали. Мимо соседей проходи молча, будто ты их не видишь. Прежде чем что-либо предпринять, сделать — спроси меня, я научу... Понял? — спросила она его.

— Понял, — рассеянно ответил Дзобек, не спуская

круглых, довольно улыбающихся глаз с нарядного ружья.

То, что разговор о женитьбе прошел мимо его внимания, удивило Саниат, и она подумала:

«Говорил Дрис, что хороша девушка, увидит — полюбит, сердце юноши все равно, что вода в тарелке, куда крен, туда и вода»...

В дверь постучали, Саниат вздрогнула, будто ее застали за кражей. Обернувшись, она увидела в окне работника Мухара и знахарку Сали.

«А-а, — подумала Саниат, — пришла Сали»...

Саниат вышла навстречу знахарке, закрыв Дзобека на ключ. Холодно-почтительно она пригласила знахарку, но, не усаживая, сказала:

— Ты, конечно, знаешь, зачем я тебя позвала. Я просила Дриса, чтобы он рассказал тебе... Повторять не буду, не легко мне.

Знахарка сочувствующе замотала головой, вся превратившись во внимание.

— Приневоленная лошадь и двух седоков на спине таскает... Так и я, — проговорила Саниат. — Пусть избавит бог и недруга от моей участи. Все, что я делаю, — принуждена делать... Так вот, ты знай, что традиционную свадьбу не затеваю, не до радостей мне, необходимость требует.

Знахарка понимающе кивала головой.

— Поезжай, скажи им, что выбор мой пал на нее не потому, что здесь, на равнине, найдется хоть одна невеста, которая могла б мне отказать. А потому, что жених девушку знает, давно приметил. И я, передай, не хочу неволить моего наследника... Да скажи, что и старшине девушка нравится...

— Начальственное лицо, понимаю. Без подпорки и дерево не растет...—проговорила знахарка.— Не беспокойся, все будет, как хочешь. Не одну красавицу я за долгий век просватала...

— А я и не беспокоюсь, — оборвала ее Саниат. — Кто мне посмеет отказать? Захочу я сейчас, и посватаю дочь самого князя Наурузова, самого его куплю... Но мне не белоручка нужна, не княжна. О, чтоб мне превратиться в столб каменный! Были б живы мои дети, я не постеснялась бы посвататься даже к доче-

ри султана... Но сейчас, — она задумалась, — Дрис говорит, что хороша, работающая, не горда, бедна — это то, что мне нужно... Поезжай сегодня ж. Учить тебя не хочу, ты знаешь меня не один год. Помни: ошибок, непродуманностей тебе не прощу и быстро найду тебе замену, если не сумеешь повести дело... О смерти сыновей, о том, что он мне приемыш, — не упоминай... Иди!

Сали молча пошла через большой двор, думая: «Аа-а-а, старая ворона, лучше тебе было умереть от удара грома, чем дожить до этого. Но мне все равно, мне, старой знахарке, от всего польза: сломает корова шею — мясо, рассыплется арба — дрова... Ха-ха!»

II

Наступила осень, богатая, сырая пора. Но урожай, собранный в доме Марза, уместился в трехпудовой ивовой сапетке¹, обмазанной глиной.

Часами сидела вокруг очага в сырой, дымной сакле маленькая семья, и никто не говорил ни слова, только дед рассказывал свои бесконечные сказки.

Хадизат, прижавшись к плечу деда, с затаенным страхом в глазах жадно слушала сказки про трех арапчат, которые жили в заколдованном кинжале ханского пастуха и могли улетать в поднебесье или опускаться в подземелье; об одноглазом великане, который держит у себя в подземелье доброго человека — носителя счастья и обилия. Слушая деда, Хадизат мечтала о заколдованном кинжале. Она бы заставила арапчат принести столько муки, чтоб отец не сидел хмурый, а молчаливая мать не подавала на стол маленькие куски какурузного чурека.

— Что же, Хадизат, придется тебе замуж идти. И сама от нищеты избавишься и нас от голода спасешь, — не глядя на нее, сказал отец.

— Нет, ни за что! Не отдам я ее на равнину...

¹ Сапетка — корзина из ивовых прутьев.

Этой ведьме хромой, попомни, перебью вторую ногу, если она еще раз придет в мой дом! — разъяренной орлицей накинулась на отца мать.

— Тогда сама корми дочь, старика и себя. Я хлеба достать больше не могу, — сурово ответил отец, хлопнул дверью и вышел из сакли.

В дверях он столкнулся со знахаркой Сали.

Уже несколько дней Сали находилась в горах, выполняя наказ Саниат.

Хромая старуха, знахарка Сали, сведуща во всех делах. Замуж ли выходят, женятся ли, рожают ли, наследство ли завешают, мирятся ли кровники — везде она поспевает. Везде ей хлопот по горло, рукава засучит, а работает только языком. Ненавидят ее все, презируют, а зовут повсюду. Боятся ее, но знают, если взялась старуха Сали за дело, то хоть за черта, а посватает, хоть на ведьме, а женит.

— Нет, нет, благодарю, дорогой. Некогда мне, не могу зайти, да неласково меня приняла и хозяйка твоя, — говорила Сали отцу Хадизат, Асаху, в ответ на его приглашение зайти в саклю.

— Получишь калым большой, не забудь отблагодарить меня, старуху... Сам старшина у них в гостях бывает... Все богачи с ее дома пример берут. А сам жених еще с заработков не вернулся, — запнулась Сали, — да еще успеете посмотреть его. То-то времена настали, — сокрушенно вздохнула она. — Раньше жених в дом и не покажется, пока двух-трех детей не будет. Родителям жены на глаза попасть — боже упаси, срам...

— Дом кирпичный, сарай каменные, крыши жестяные. А что баранты у них, что табунов!.. Арбы на железных осях. Тазы медные, из Дагестана привезенные. Ковры, циновки, войлоки — в мечети султана не лучше.

— Думай, не упускай... Плох тот охотник, который не успел поднять курок, когда бежал олень мимо него. Я к откосу спущусь, а ты пошли ко мне дочь, — шепотом прибавила Сали, — она меня послушает. Уж я знаю, что сердцу девичьему нужно...

Поджала, облизнула губы и стала спускаться.

Когда Хадизат подошла к ней, она ласково и за-

искивающе заглядывая ей в глаза, быстро заговорила:

— Садись, милая, поговорим. Послушай-ка меня. Не одну я красавицу просватала с гор на равнину. Ах, по лицу твоему вижу, счастливая будешь... Дай-ка руку, — и она ласково потянула к себе тонкую руку Хадизат. — У-у, какая тебе жизнь большая... Богатая будешь, власть будешь в руках держать. А что девичья любовь? Одуванчик — подуй и рассыплется. Что девичье сердце? Роса — взойдет солнце и испарится... Нельзя тебе женихами швыряться. В нищей семье родилась, старый мул да коза, моей прабабушки ровесница, — вот и все добро ваше. Ударить чурбан, если треснет — значит руби, не треснет — оставь. Первый удар отцу твоему судьбу определил — быть ему нищим... Кто до пятидесяти лет добра не нажил — тот и не наживет. А годов тебе немало — скоро четырнадцать. А как семнадцать станет, кому ты нужна будешь? Это богатая — и косая за красавицу сойдет, а с нищей красотой, кому ты нужна? Только решай скорее, девушек и в горах, и на равнине немало...

— Я замуж не пойду, мне дедушку жалко, — сказала вдруг Хадизат.

— Дедушку жалко? — засмеялась знахарка. — Да какой же он тебе дедушка? Безродная ты, сирота брошенная. Ты от холопки кануковской родилась, маленькой девочкой от матери осталась, когда Кануковы, от кровной мести спасаясь, в Стамбул бежали. Не ихняя ты, они тебе чужие. Какой он тебе дедушка? Ха-ха-ха! — громко смеялась Сали.

Хадизат вспыхнула. Исчезла ее робость. Она широко открыла глаза, вплотную подошла к старухе, посмотрела ей в лицо и упавшим голосом прошептала:

— У-у, старая подошва, змея! Если еще хоть одно слово проронишь, что они мне чужие и что я им чужая, — столкну тебя в бездну!

Задохнулась от гнева девочка и вцепилась своими крепкими руками в костлявое тело свахи, потом оттолкнула ее от себя и отскочила в сторону.

— Вот ты какая... — вытирая широкой ладонью вспотевшее лицо и сверкнув глазами, протянула Са-

ли. — Хорошо, попомнишь ты, холопский последыш, знахарку... Тьфу, тьфу, тьфу! Не найти тебе счастья в жизни, — три раза плюнула ей вслед сваха.

— Уходи, старая колдунья, — крикнула Хадизат. Старуха ушла.

Оставшись одна, Хадизат присела у обрыва, поджала под себя ноги и огляделась. На голубом вечернем небе огромным чудовищем чернела старая кануковская башня.

«Ты от холопки кануковской родилась... чужая ты им, чужие они тебе», — звучали в ее ушах слова знахарки. И вдруг ей стало очень жаль и себя, и дедушку и впервые жизнь ей показалась несправедливой и злой. Горько зарыдала она, уткнувшись лицом в холодный камень.

— Тю-тю-тю! — засвистел вдруг над ее головой дедушка Марза. — Видно, не малое горе у тебя, если ты так плачешь.

Он отложил в сторону свою палку и попытался поднять голову девочки, ласково приговаривая:

— Ну, коза моя горная, золотая моя! Старый козел будет плакать, если козочка не прыгнет к нему на колени. Ну встань, кудрявая, ну встань, Сагут!

Они сели рядом. На темно-синем небе одна за другой вспыхивали звездочки. Хадизат понемногу успокоилась.

Но страшно ей было сказать деду то, что узнала она сегодня от знахарки. Боялась оскорбить дедушку и, близко подсев к нему, обняла его, спрятала на его жесткой, сухой груди свои упрямые кудри и, всхлипывая, произнесла:

— Чужая я вам, чужие вы мне, от кануковской я холопки родилась...

Она задрожала всем телом и зарыдала, сжавшись в маленький упругий комочек.

Дед молчал, ждал, когда наплачется Хадизат, когда переживет она первое горе взрослого человека.

Стемнело. В синем мраке предметы принимали причудливые фантастические формы. Из ущелья дул холодный ветер, внизу шумел Урух, — возмущенно бились стиснутые между скал волны...

— Так рассказала она тебе, жаба черная? Не стерпела, боялась, что типун у нее на языке выскочит, если промолчит? Сам я хотел тебе все рассказать: ждал, когда подрастешь, когда начнешь жизнь понимать, не хотел сердечко твое тревожить... Так заказал я и матери твоей, и отцу — не говорить ничего. Но раз вышло так, то слушай... Было это давно, моя кудрявая, но не легче, чем сейчас, было и тогда жить бедняку. Впервые у нас в горах церковь построили. Добром просили народ и били, чтобы начали ходить в церковь. По три рубля серебром платили тому, кто начнет в церковь ходить. А жить было тяжело, налоги душили. Земли нет, — сама видишь. Из голода, из нужды не вылезали. Была у меня внучка Фаризат, красивая, румяная, как снег на закате. В этом году сердитая зима в горах была, злая, как мачеха, не помню я ни одной такой зимы. Ветер скрипучий столетние дубы да чинары ломал пополам. Сакли от мороза инеем, как каракулем белым, покрылись. Дым низко стлался по сакле, лез в ноздри, в глаза... Ветер разносил его далеко, и на запах стаями приходили шакалы. Нелегко мне было прожить восемьдесят лет, моя кудрявая. Что-то тебя ждет в жизни?.. Не знаю — вздохнул дед. — Хлеба не хватало. Земли мало, и не родит она, удобрять надо. А если пойдешь у кого навозу просить, так сперва надо на его пашню навоз натаскать, потом только он тебе даст. Две мерки ячменя соберешь, а столько же крови и пота прольешь. Ждали мы, — вырастет Фаризат, получим за нее много денег, овец. Купим тогда на равнине землю. Фаризат и сама знала, что красива, что дорого стоит будет, и потому ходила среди подруг гордая, словно богаче всех была.

— Какая она была? Ты Расскажи про нее, а не про землю, — перебила Хадизат разговарившего деда.

— Ловкая она была, ладная. Деревянную кадушечку бывало на спину взвалит, крест-накрест ее косами своими перетянет, концы кос на кисти рук наматывает, да так и несет... Приехал однажды с равнины важный большой начальник — искали они какого-то человека, который бежал в горы. Говорили, будто хо-

тел он справедливую жизнь устроить, был он не нашего племени.

Тут дедушка, понизив голос, добавил:

— Людей наставлял, чтобы царя прогнать, чтобы без старшин и приставов люди жили. Сам видел его, только молодой я тогда был, слов его не понимал. Так вот, большой начальник, который приехал ловить этого справедливого человека, увидел Фаризат и стал за нее нам деньги давать.

Сын мой ходил молчаливый, черный: деньги нужны, а продать русскому дочь — позор из поколения в поколение. Все-таки отказал. Ходил к нему старшина, говорил: «Отдай дочь, честь тебе какая будет, дочь твоя женой начальника станет. Отдай, пока он деньги предлагает, а то ведь и без денег возьмет». Говорит начальник: «Дайте девушку, все налоги вам прощу, в городе скажу, что вы ничего не знаете об этом беглом человеке. Простят вам все. Не дадите девушку — пришлют солдат в горы, разорят ваш аул, камня на камне не оставят». Рассердился сын мой, закипела в нем злоба: «Как так, говорит, без денег возьмет? Дочь моя, я растил ее, хочу отдам, хочу нет».

Упрямый, должно, был начальник, но упрямый был и сын мой. Раз не было сына дома, Фаризат сидела и пряла мне на черкеску. Вдруг вижу я, народ повалил к нам во двор, весь аул собрался: и дети, и старики, и женщины, и мужчины. Все плачут, просят: «Отдай, говорят, дочь, не дай разорить наши гнезда».

Побелела Фаризат, спряталась под тахту. Но где уж там?.. Женщины голосят, бьют себя в грудь. Вошли они в саклю, связали Фаризат по рукам и ногам. С громким плачем повезли ее связанную в дом старшины. На утро ни русского начальства, ни старшины в ауле уже не было. Ходил потом сын на равнину правду искать, так и не нашел — вернулся домой без дочери и без правды. Осень в том году дождливая была, плаксивая, смыли дожди все дороги и тропки. До самого Георгиева дня, не переставая, лили дожди. С Донифарса в Лезгор родственники друг к другу на похороны ходить перестали. Потом за одну ночь липкая, мягкая земля стала упругой, блестящей. Как

нерасчесанные косы, перепуталась и заледенела подножная трава. Много корму пропало. В одну из таких блестящих, безветренных ночей пришла Фаризат домой... — Дед помолчал. — ...Пришла она оборванная, молчаливая, чужая... Долго смотрела то на мать, то на меня. Косы были отрезаны, в глазах — искры, как у затравленного волка. Подошел я к ней, заплакала она. Протянул руку, чтобы обнять ее, она вдруг завyla шакалом, застонала, заскулила и, выбежав из сакли, стала кричать: «Эй, собирайся, народ! Собирайтесь! Посмотрите, какая я стала!»

Бегала она так от сакли к сакле и кричала, сзывая народ. Добежав до сакли старшины, стала стучать камнем в ворота: «Выходи, выходи!»

Народ бежал на ее зов, женщины кричали, девушки плакали, думали, что Фаризат с ума сошла. Когда окружили ее люди, страшная, черная, с блестящими глазами, она сказала всем: «Смотрите, смотрите, что сделали со мной... Смотрите, какая я стала, что сделали со мной начальники!..»

Молчал народ. Никто не смел ее остановить.

«Убьем старшину, убьем его, змея. До каких пор он будет нас мучить?» — кидала она горячие, как уголь слова.

И вдруг толпа колыхнулась. Как лавина весеннего снега, напозла она на дом старшины. Старшину и жену его убили камнями. Уцелел только его сын, Хамат, ты знаешь его, он теперь старшина.

— А что с Фаризат? — робко спросила Хадизат.

— А Фаризат, — продолжал дедушка, — стала за зиму тонкая, прозрачная, кашляла и плевала кровью. А весной, когда снег на вершинах розовел от солнца, попросилась она однажды, чтобы вынесли ее на крышу. Сел я с ней рядом, обняла она меня, ласковая, как бывало раньше, сказала: «Как хорошо, как хорошо! Только жалко мне себя. Поверни меня на левый бок», — попросила она и умерла, будто заснула.

Дед замолчал. Хадизат ближе прижалась к нему, касаясь его лохматой щеки. Она провела пальцем по глазу деда — дедушка плакал.

— Дадá, а куда делся твой другой глаз?

— В ту ночь... когда убили старшину, вышибли мне камнем глаз, — ответил он.

— Дадá, что же ты про меня не скажешь, откуда я взялась, чья я?

— Моя ты — наша ты. Вон видишь — башня Кануковых? Когда-то ихний прадед был могучий алдар. А сыновья его оскудели. Последний Кануков украл с равнины беременную женщину в холопки — не в жены. От этой холопки и родилась ты. Когда Кануковы уезжали в Турцию, скрываясь от кровной мести, мать забрали с собой, а тебя взять не разрешили — грудная была, мешала матери работать. Передавали мне, что померла дорогой мать, тосковала по тебе. Осталась ты маленькая, только три месяца было. Я сам тебя выкормил козым молоком. Коза у нас была. И сейчас шкура ее цела, на тахте лежит, кумачом обшита.

Ближе прижалась Хадизат к деду и еле слышно произнесла:

— Знаю я теперь все, но от этого и тебя, и нана не меньше люблю. Только жаль мне Фаризат. Почему в жизни так все плохо?

— Жадные да богатые портят всем жизнь — ответил он. — Прислушайся, Сагут, слышишь, какая земля сильная? Разозлится она когда-нибудь и убьет своей силой тех, кто портит жизнь. Прислушайся, Сагут...

Молча, прижавшись друг к другу, сидели дедушка и внучка. Необычными, полными значения казались сегодня Хадизат ночные шорохи в горах. Где-то далеко плакала сова, плач ее эхом отзывался за горами. На холмах, как большие красные звезды, мерцали пастушьи огоньки, перекликались табунщики. Ночь была черная, и во мраке ночи вставала перед Хадизат страшная, замученная сестра Фаризат, с кровавой пеной на губах.

Желтыми лоскутками, словно куски рваного бешмета раскидались по косогору сжатые ячменные колоски. И так же, как созрел колос ячменный и налился звонким золотом, зреют девичьи думы, звонкой радостью наливается тело. Утрами, в прозрачных сле-

зах росы, кувыркаясь, купается солнце. А вечерами как хорошо лежать на крыше! Сквозь жесткий войлок сочится тепло. Это накалившийся за день камень греет спину, а луна-проказница щурит желтый глаз: «Погоди, дай выйду из-за леса, нажурчу таких сказок...»

Не спится Хадизат. Вчера просватали ее. У них — сарай, амбары, розовый кирпичный дом... Широко открыты ее глаза — две маленьких золотых луны лежат в темных озерах ее глаз.

Уговорила все-таки знахарка Сали отца Хадизат и тут же отдала ему часть калыма.

В семье все молчат. Марза не разговаривает с сыном. Мать все время плачет, причитая:

— Не могу я ее на равнину отпустить, жестoki там нравы. Нет у них жалости ни к кому. Той же дорогой пойдет, что и Фаризат ушла... О, аллах, за какие грехи ты рассудил так?!

Плачет мать, бьет себя по груди и коленям.

Легла Хадизат на один бок, перевернувшись на другой, потом на живот, на спину, поболтала ногами, жесткими пятками уперлась в теплый камень. Хочется ей знать имя, ласковое имя того, кому понесет она с гор на равнину девичьи мечты. Ахмет, Сосланбек, Инал, Царай... — скользят в памяти имена молодых аульных ребят. Нет, не такое у него должно быть имя — ласковое, нежное, как полуденный ветерок в ущелье. И, закрыв глаза, мечтает Хадизат: серая черкеска на нем, белый бешмет, такой белый, как зубы Хадизат, папаха курчавая, как волосы ее. И руки его видит Хадизат, и ноги, и походку его... Даже шапку его видит она, только лица нет под шапкой. Никак не может Хадизат увидеть его лица. Вереницей проходят перед ней знакомые лица ребят: от одного нос, от другого глаза, от третьего волосы, от четвертого голос... Нет, не видит она его. Страшно ей, губы сжаты, глаза закрыты, пальцы ее теребят пыльный войлок. Ух, как глубоко упало сердце! Так падает с горы камень. Катится, катится и — бух в воду. Брызжет Урух холодной волной, а слезы Хадизат не холодные — теплые, соленые, бегут, бегут они по щекам, терясь у подбородка.

— Чего мечешься, не спишь почему? — спросила мать, поднявшись на крышу. — Холодно, накройся, на!

Набросив на дочь старый отцовский бешмет, она с тоскливой лаской в глазах провела шершавой ладонью по угловатым плечам Хадизат, сказав:

— В будущий четверг повезут тебя... Спать ты мастерица, смотри, коров не проспи. У соседских ворот подмести с утра надо — на равнине такой обычай. Соседке старухе до света воды заревой нанесешь. За свекровью убери, деверю угоди, золовкин секрет крепко держи. Ребята грязные попадутся — свои ли, чужие — перемой, приласкай. Дверью не стучи. Дрова принесешь — осторожно клади, не бросай, побьют — улыбнись. Мужу больше всех угождай, не перечь ему ни в чем. Ноги на ночь ему мой, первая никогда в постель не ложись, хоть до зари не придет — все равно дожидайся...

Ближе подвинулась мать к дочери, просунула под рваный бешмет руку, провела по ее курчавой голове и сказала:

— Слушай свекровь, она научит тебя. Мать мою учили, меня учили и тебя научат...

Села Хадизат, обняла коричневыми руками круглые колени свои и робко произнесла:

— Скажи, нана, фамилия как у них? Фамилия?..

— Гуларовы, — вздохнула мать. — Фамилия эта на равнине небольшая, но говорят, что богатые они. Все у тебя будет: и рубашка, и чуваки разноцветные сафьяновые, и платок шелковый, и хлеба вдоволь пшеничного. У них работники есть, на пашню ходить не придется. Станешь белая, как дочь старшины, загар с тебя сойдет. Имя, говоришь? Не знаю, как имя. Не посмела я отца твоего спросить, — говорила мать, чувствуя на себе взгляд горячих дочерних глаз.

— Спи, спи, отец сегодня серп твой точил, хочет, видно, и тебя завтра в поле брать. Утром рано тебе вставать, спи...

Поднялась мать и бесшумной серой тенью уползла с крыши.

С головой укрылась Хадизат в старый отцовский бешмет. Душно под ним: пахнет потом, салом и навозом. Жалко оставить неласкового отца. Ведь уже

восемь лет помогает она ему. Села, прижалась губами к коленям, стараясь заглушить рыдания.

Еще совсем маленькой собирала она с ячменной полоски камни, относила их к меже и складывала кучками. Выберет все камни, очистит полосу, а новой весной пробегут с шумом по полоске горные потоки, нанесут опять камней и — так из года в год... В маленькой плетеной сапетке таскала она осенью на полосу навоз, а теперь — кто вместо нее будет помогать отцу? И вдруг вспомнила она, что есть теперь у отца вместо нее два быка, десять баранов, сто рублей серебряными полтишниками. Купит отец новый бешмет, дедушке — пару белья, матери — большой теплый платок. Купит на зиму кукурузы, а весной два жирных вола вспашут полосу без нее. Улыбнулась, закрыла глаза...

В необъятном голубом океане плыла луна в оранжевом кольце, и казалось ей, что участливо смотрит на землю светлое ее лицо. А в том месте, куда недавно ушло усталое солнце, еще видны разноцветные зарницы...

— Я знал, что ты не спишь, давно хотел приползти к тебе, ждал, когда забудутся сном несчастные отец и мать... Не терзай им душу, не плачь, Сагут, — просил дед внучку, садясь рядом с ней. Дрожащей холодной рукой закрывает дедушка спину Хадизат.

— Дадá, ты поедешь со мной? Поедешь? Тогда не страшно, а без тебя как я буду? Чужие, боюсь я их...

— Да, я тоже боюсь их. Как услышал, что они богатые — испугался. Заклюют они тебя, мою курочку, — говорит Марза и, ближе садясь к внучке, шепчет:

— Не бойся, я к тебе приду, приду. Если увижу, что тебе плохо, уведу тебя, мою Сагут, и уйдем мы с тобой вдвоем...

— А если со мной поступят, как с Фаризат?

Дедушка вздрагивает и дрожащей рукой закрывает ей рот.

— Дадá — шепчет Хадизат. — Ты мне тогда не досказал... Знатный Кануков откуда украл мою родную маму?

— С равнины, там село большое есть — Эльхото-

во. Женщины там красивые и земля богатая, хлеба много, богатства не сосчитать. Но все это добро принадлежит богатым. Бедный человек и на равнине беден, да, Сагут. Не знаю, кто рассудил в жизни так, чтобы одному всю жизнь будто в петле висеть, а другому жизнь — непрерывный пир.

12

— Желаю твоему делу успеха, — сказал Сафа, проходя в комнату впереди Саниат.

— Пожалуйста, — проговорила Саниат, приглашая его сесть на тахту, покрытую пушистым ковром. Сама же присела на стул поодаль от него.

— Не хочу скрывать, не привык я иметь от тебя секретов. Да простит мне бог — жена, с которой я венчался в божьем доме, знает меня меньше, чем ты... Обижен я тобой, не скрываю... Не ожидал, что можешь обойти меня, пренебречь моим советом... На твоей памяти нет такого воспоминания, которое могла бы проклясть из-за меня... Прошлое наше...

Саниат передернуло, как от острой боли, и она оборвала его:

— Прошное? Что прошное? Что остается от него, кроме стыда?.. Не будем вспоминать прошное, Сафа!

Она произнесла его имя подчеркнуто официально, говоря этим, что прошное умерло вместе со смертью сыновей, что он сейчас только пожилой родственник мужа, а ее возраст и горе уравнили их, и она имеет право называть его по имени и в глаза, и за глаза...

Сафа понял, что перестал для нее быть тем, кем был всю жизнь. И странно, он вдруг почувствовал где-то глубоко под сердцем острую, сосущую боль. Тридцать лет он имел над этой женщиной неотразимую власть. Но и сам, находясь под ее влиянием, он никогда не подумал, что она нужна ему не меньше, чем он ей. Сейчас ему стало ясно, что он теряет над нею эту власть. И так же, как Саниат, он почтительно произнес ее имя, проговорив:

— Я, Саниат, считаю, что в прошлом такая женщина, как ты, могла обойтись и без меня. Но теперь я нужен тебе больше, чем когда бы то ни было...

— Нет, нет, в прошлом я не могла обойтись без тебя, а сейчас...

— А сейчас, — перехватил он ее фразу, — чем я тебя прогневал? Почему Дрис, этот ограниченный человек, стал твоим необходимым советником? Разве я был бы против того, чтобы ты усыновила гуларовского сироту? Ты поступила мудро, как всегда, но обойти меня и советоваться с Дрисом... Сама знаешь, — развел он педоуменно руками, усмехнувшись.

Саниат хорошо знала эту ироническую усмешку и потому, желая отплатить ему тем же, ответила:

— Считала слишком не солидным посылать тебя в этот нищенский дом за усыновленным юношей или же сватом в еще более нищенскую семью... Подобаешь ли тебе это по положению?

Сафа снова усмехнулся.

— Позвала, чтоб поручить тебе достойное дело: будешь в городе, прошу тебя, узнай у нотариуса, как оформить мне завещание?..

Сафа и Саниат одновременно глянули друг на друга. Помолчав, Сафа произнес:

— Опять же умно поступаешь, не вечна жизнь. Если бы живы были дети, кто б мог посягнуть на твои богатства? А сейчас без того нельзя, чтоб какая-то форма не была у тебя в руках. Правильно, но прошу тебя: поручи это дело Дрису. Человек он начальственный, эти дела ему более доступны... Я думал, ты хотела шерсть прошлогоднюю продать, потому и позвала...

Брови Саниат сошлись на переносице.

— Я считала, что завещание должно тебя интересовать больше, чем Дриса.

— Да простит мне создатель все прегрешения мои! Мне б как-нибудь на своих богатствах прожить. Что же касается до чужого добра — пусть владеет каждый своим достатком в добре и счастье... А узнать, почему б и нет, побываю у нотариуса в первую же поездку... А хлопоты поручи Дрису... Говоря по сове-

сти, опасаясь — скажут люди то, чего не следует, сама знаешь — избегал я всю жизнь злой молвы, она хуже потопа...

Саниат встала, давая знать гостю, что разговаривать больше не о чем.

— Прошу, — говорила она, провожая Сафа до ворот, — не поленись со стариками посетить мой дом, отведать моих пирогов, помолиться богу. Свадьбу я не справила, до этого ли мне? Но бога не забыла, хотя благодарить мне его не за что...

— Все под богом ходим, а горе и радость — неразлучны, — торжественно молвил Сафа, поглядывая на Дзобека, который стоял у сарая и стругал палку длинным пожом.

Критически оглядев его худую, долговязую фигуру, он подумал:

«Не жилец ее наследник на этом свете».

— Дзобек, а Дзобек! — позвала Саниат приемыша, закрывая за Сафа калитку.

Лениво передвигая ноги и разглядывая добела обструганную палку, Дзобек направился к Саниат.

«О горе мне с ним, опять чем-то ненужным занялся», — думала Саниат, неприязненно рассматривая его несуразную фигуру. — О гормон, Дзобек, слоняешься ты целыми днями по большому двору, не находя себе дела.

Она холодно потрепала его по худому плечу и вдруг увидела работника Мухара, который с нескрываемым любопытством смотрел на эту сцену. Серые в хитром прищуре глаза Мухара нагло смотрели на Саниат и будто говорили: «Не лучше ли тебе было сжечь богатства, чем видеть такого наследника?» Саниат поджала губы и бросила работнику:

— Сколько у тебя времени? Стоишь, ловишь ртом воробьев, а дела сами будут делаться?..

Мухар, не пряча улыбки, прошел под сарай и оттуда снова посмотрел им вслед, ухмыляясь: «Где она его выкопала? Разума у него все равно, что у младенца. Только, что на хворостинке верхом не скачет. Да его можно и на это сбить, была б охота. Вот приедет Атарбек с отары — подшутим... Да еще и женила она его! Ну и дела!..»

— Пойдем-ка, пойдем! — сказала Саниат, оглянувшись еще раз на Мухара. Как всегда, взяла Дзобека за руку и повела за собой. В комнате, усадив около себя, она стала его поучать:

— Почему без конца по конюшням да по хлевам бегаешь? Нечего тебе там делать, у тебя работники есть, они сделают, что надо...

— Почему так редко заходишь в комнату молодой жены? Разве ей не обидно?

Дзобек нахмурил редкие, темные брови и резким голосом, каким никогда не разговаривал с Саниат, сказал:

— Какая она мне жена? Что ты мне за жену привела? Разве такие жены бывают: маленькая, злая, а сама царапается, даже ног мне никогда не помыла, как полагается жене... Тьфу! — сплюнул он на пол и сердито заходил по комнате.

Саниат нетерпеливо оборвала его:

— Ног тебе никогда не помыла?.. В том не ее вина, а твоя! Сам не сумел себя поставить. Не должна же я вместо тебя говорить жене, чтоб она согрела тебе воду для ног? Что ты за муж?..

— Не хочу я ее, противная она, как мышонок... Ты мне небось, такую, как Разиат, в жены не взяла? — вскричал Дзобек, весь зардевшись.

Саниат медленно, будто прислушиваясь к отдаленным звукам, поднялась с тахты и, подойдя к нему, прошептала:

— Тоба астаафраллах! Подобаает ли мужчине произносить такие вещи?.. Разиат... ишь ты чего захотел! Ты об этом и в мыслях не помысли, в думах не подумай! Слыханное ли дело — при живом муже, да при таком, как Темур! Как ты посмел даже произнести ее имя? Да муж тебе шею свернет, как птенчику. Говорят, в лавке у Сафа стремянный Амурхана Туганова неосторожно задел имя его жены, так Темур его чуть не прикончил. Подавай Разиат тебе... Разиат — золотые руки: и постирать, и пошить, и убрать, не говоря уже о том, что лучше ее никто бурку не свалает, войлока не скатает... Смотри, не спугни мне ее, вторую такую не сыскать, не прощу тебе, помни...

— А я все равно ее люблю, не нужна мне Хади-

зат. Смотри, вот она! — воскликнул Дзобек и подско-
чил к окну.

В калитку входила Разиат с полными ведрами во-
ды. Из-под короткого платка, как упругие плети, ви-
сели черные жгуты ее кос. Саниат поразило лицо Дзо-
бека: всегда меланхолично-равнодушное, оно при виде
Разиат озарилось яркой счастливой улыбкой. На блед-
ных щеках заиграл румянец, безжизненные кругло-
черные глаза его на миг затрепетали и сверкнули
искорками...

— Пойду, помогу... — бросил он на ходу и ринул-
ся, как на пожар.

Дзобек выхватил из рук Разиат оба ведра и исчез
за дверями кухни. Подняв метлу, Разиат неторопливо,
хозяйственно мела двор, собирая опавшие листья в
кучки. Саниат смотрела на нее в окно и думала:

«Мне б вот такую, как она. Но лучше кормить свое-
го ишака, чем чужую лошадь. Нельзя, чтоб Дзобек
смел даже думать о Разиат. Дойдут слухи до ее му-
жа... уйдет Разиат от меня. Да нет мне смысла их
упускать: что жена, что муж — лучших работников не
сыщешь... А что не любя ему молодая, так это не
главное, придет время, полюбится. Неважно, любят
они друг друга или нет. Они — муж и жена, у них
должен быть ребенок... мой наследник. Для этого сов-
сем не нужно, чтоб он любил жену или она любила
мужа».

Саниат не видела еще молодую. Ей по адату не
полагалось в первые дни видаться с невесткой. Поэто-
му она с нетерпеливым любопытством ждала, когда
ей можно будет посмотреть невестку... От Разиат она
знала, что молодая мила, очень молода, по-детски
крохотна, но невесела, часто плачет и говорит, что хо-
чет домой, к деду.

— Свыкнется, какая же молодая в первые дни не
плачет? — говорила Саниат.

На это Разиат однажды ответила:

— Я не плакала, простите, что смею при вас го-
ворить о муже, не дозволено мне говорить о таких
вещах. Про меня говорили в первые дни свадьбы, что
я была слишком смела, потому что я очень, очень
люблю мужа...

Саниат ничего не ответила молодой женщине на ее откровенность, сама хорошо знала это нетерпеливое чувство любви, когда в одном Сафа для нее заключался весь мир...

В сгустившихся сумерках осеннего вечера к дому Саниат один за другим подходили старики. Одета в гладкое черное платье, с черной косышкой на голове, хозяйка приветливо встречала у порога гостей, принимая из их рук кряжистые палки.

— Заходите, заходите, — приглашала она гостей.

— Да будет хорош вечер твой, — приветствовали ее гости.

— Пусть добро сопутствует вам всегда. — Саниат усаживала их на тахту, покрытую расписной камышовой циновкой.

На длинном столе, на самом почетном месте лежали в деревянной тарелке вареная баранья голова и сердце. А на маленький деревянный вертел были надеты кусочки легкого, обернутые тонким слоем жира. Рядом стояла деревянная чаша, полная пива.

Мухар прислуживал, стоя у края стола. Он держал в одной руке большой бычий рог в серебряной оправе, наполненный аракой, а в другой — глиняный кувшин араки. Все ждали, когда возьмет чашу самый старый из собравшихся и произнесет тост. До этого никто не имел права притрагиваться к еде.

И вот заговорил Сафа:

— О бог богов, создатель вселенной! Ниспошли свою благодать на эту семью. Табу¹ им, нашим покровителям, светлому Уастырджи² — покровителю мужчин! Сегодня его день, да одарит он дом этот мужским потомством. Уацилла³ — податель плодородия — пусть никогда не обходит обилием этот дом. Храбрый Афсати⁴ — повелитель благородной дичи — пусть умножает табуны и стада этого дома.

Так говорил Сафа и, передавая чашу с пивом рядом сидящему, он продолжал:

¹ Табу — почет и поклонение.

² Уастырджи

³ Уацилла

⁴ Афсати

} в осетинской мифологии небожители.

— Тебе, сидящему справа, полагается отпить из этой чаши. Наши предки — нарты, говорят, разносили в турьих рогах алутон — напиток, дающий бессмертье. Выпей! Да живут в веках адаты наши! А тебе, самому младшему, — на-ка вот, возьми! — обратился он к Мухару, подавая ему румяный пирог с сыром.

Опустив кувшин на пол, Мухар откусил край пирога и передал его обратно Сафа. Так полагалось по адату: бокал — старшему, пирог — младшему. Сафа отрезал баранье ухо сверкающим перочинным ножом, который висел у него на бедре, давая тем самым знать, что можно начинать кушать и пить.

Рог вкруговую обошел стол, побывал у каждого в руках и напоил каждого подперченной аракой и ячменным пивом. А когда снова очередь дошла до Сафа, он взял в руки бокал и начал так:

— Не бойся смерти, бойся нищеты — гласит мудрое изречение наших предков, и не согласиться с ним нельзя... Слово «огонь» уста не обожжет, но если б случилось со мной такое, богом начертанное испытание, я не придумал бы умнее, чем Саниат, — произнес он ее имя публично, подчеркнув для Саниат еще раз, что она в своем большом горе, по свосму возрасту, вполне уравнена с мужчинами.

— Да вот не вижу я Дзобека, где он? Почему не удостоил нас своим вниманием? Да проживет он сто лет, да разрастется один этот дом в широкое потомство, в десять домов, — усердно молился Сафа. — Если будет угодно создателю, то через год уважаемая нами всеми Саниат соберет нас сюда на крестины наследника. Не от нашего желания зависит счастье, — закончил Сафа, бросив на Саниат короткий взгляд.

— Простите, — проговорила Саниат, после того, как Сафа закончил, — что сам Дзобек не смог вам прислуживать. Старшина уезжал в Дур-Дур по делу службы и уговорил его разделить с ним охоту. Дрис, вы все знаете, охотиться любит. Не смогла отказать я ему в таком полезном развлечении...

— Верно, — проговорил один из стариков, — охота мужеству учит. Пусть учится, на то и мужчина, а то как же... Прав Сафа, — продолжал старик, при-

соединяясь к его тосту. — Да разольется род его, как вода в половодье, да разрастутся его корни в гуларовском роду крепче дуба столетнего... Все от бога, все по воле бога. Бог все видит, все направляет, да попадет дом твой под его благословение.

Саниат, стоя около печи, внимательно, с опущенными ресницами слушала лстивые речи гостей, которых она позвала сегодня на праздник Джиоргуба. Выслушав их, она сказала:

— Благодарю соседей своих, не оставивших меня, одинокую, в тяжком горе моем на чужбине. Благодарна вам всем за внимание, за участие, за заботу, — отвечала она им взаимной лестью. — И все-таки, все-таки, — печально продолжала она, — тот, у кого нет в этом мире ни брата, ни родных (сыновей она не упомянула, мать не имеет права при стариках говорить о детях), человек тот, даже при богатствах, одинок и беден. И даже среди птиц лесных нет более одинокого, чем человек без родни в этом мире лживом и недолговечном, — подчеркнула она последние слова.

Гости почтительно слушали, не перебивая ее ладную речь, согласно кивали головами.

Была глубокая ночь, когда Саниат проводила гостей. В молчание погрузился ее большой мрачный дом. Только слышно было, как осенний ветер печально шелестит листьями липы под окном кунацкой да скребутся мыши в подполье.

Жирным переваренным мясом пахнет в комнатах. Не спится Саниат, хочется посмотреть невестку. Адат не велит пройти к молодой. Но что ей адат?.. Быстро поднялась, пошла. Постояв с минуту у дверей, она медленно потянула дверную ручку и остановилась у порога. В комнате ярко горела лампа, постель была разобрана. А в углу тахты, положив голову на вышитую бархатную мутаку, по-детски подвернув под себя ноги, спала одетая Хадизат. На скрип двери она не проснулась. Саниат бесшумными кошачьими шагами подошла и остановилась у изголовья спящей девочки. Щеки Хадизат алели, резко подчеркивая белизну кожи. В свадебном традиционном наряде она напоминала большую, яркую куклу. Рука была су-

нута под щеку, светлые курчавые косы свисали с тахты.

Саниат низко наклонилась над спящей девочкой и, пораженная, подумала:

«О гиаур, гиаур, Дрис, где это он выглядел такую? Недаром он так старался ее просватать. Боже мой, она еще совсем дитя... Тем лучше, — отойдя от тахты и садясь у стола, думала Саниат, — чем моложе, тем и лучше. Осеннюю хворостину не согнешь, а сломаешь. О-о-о, она, как ивовый весенний пруттик, а этот дурак, Дзобек, называл ее мышонком... В возрасте Разиат она будет куда краше и лучше, — удовлетворенно вздохнула Саниат. Осмотрелась, заметила, что специальный ужин, который она готовила для нее, стоял на столе нетронутый.

Глядя на такого мужа, как Дзобек, не мудрено потерять аппетит, — злобно подумала она. — Но Разиат поругаю, разве так угощают молодую? Надо было заставить насильно покушать, как же иначе!» — сердилась она.

Саниат сняла с кровати шерстяное одеяло и прикрыла ей спину, затем прикрутила фитиль в лампе и вышла так же бесшумно, как вошла.

13

Золотом, яркими красками переливались фруктовые сады. Поздние сорта яблок, густо облепляя ветви, подпертые длинными жердями, тяжело никнут к земле. Раннее утро, солнце только что окрасило верхушки деревьев, отчего воздух в саду кажется оранжевым, а застланная густой листвой земля — затянутой в пушистый цветной войлок. Разиат торопливо распахнула крошечную ставню, ворча на себя:

— Проспала, будет теперь Саниат целый день дуться. Не люблю я ее молчания — зловеще...

— Ты что ворчишь? — спросил Темур, появляясь на пороге хижины и сладко зевая, далеко в стороны разбрасывая могучие руки.

— Проспала коров, как не ворчать, еле догнала стадо. Саниат таких вещей не прощает... Набегалась

я вчера с ее гостями, не заметила, как ночь прошла... Ах, чтоб мне память отшибло, — оборвала она себя, — забыла тебе с вечера сказать, — подходя к нему, проговорила Разиат, — Саниат просила, чтоб ты съездил в Дур-Дур посмотреть, как работают ес лесорубы. Просила зайти к ней. Я понимаю, что тебе неприятно появляться в тех местах, — проходя за ним в комнату, продолжала она, — но все равно ехать надо.

Темур нахмурился и молча опустил на сундук. Разиат под села к нему. Оба молчали. В очаге, аккуратно собранная в маленький курганчик, теплилась зола. Аслан еще спал.

— Дай ружье, — проговорил он, — вдруг что-нибудь попадется. Как это ехать в лес без ружья? Неудобно к тебе с пустыми руками возвращаться.

— В помещичьем лесу охотиться, — перебила она его, — смотри, вчера старшина вместе с Дзобеком уехали туда, не попадайся им, на копейку возьмешь, а на рубль припишут. Ну их... не надо, — махнула она рукой.

— А что с пальцем? — спросил Темур, разглядывая перевязанный тряпкой палец жены.

— Ничего. Мясо рубила, пустяк, царапина...

Он потянул ее руку к себе, развязал тряпку и разглядывая ранку, промолвил:

— Был бы кусок земли. Никуда я сейчас не ходил бы, никому не кланялся... Ты б дома сидела, и палец... — Темур не договорил, погладил руку и задумался.

— Обо мне меньше всего думай, — проговорила Разиат, улыбнулась, положила руку ему на плечо. — Не обидишься? Расскажу тебе смешное...

— Смотря что расскажешь. Всегда придумаешь какую-нибудь сказку, если я начинаю жалеть тебя...

— Я же никогда не говорю, что мне трудно, молчи и ты... — улыбаясь, остановила она его, стараясь отвлечь от горьких дум. — Только дай слово, что не рассердишься?

— Если ты где-то порочила мое имя, если при тебе поносили мужа, а ты не сумела защитить его честь, если, упрекнув злой кличкой «временная», кто-то оскорбил тебя, как же я могу не рассердиться?..

— Нет, нет, — лукаво улыбнулась Разнат. — Ты говоришь, была б своя земля, ты б никому не кланялся, а я бы сидела дома... Конечно, хорошо, чего же лучше желать?.. Но с тех пор, как я работаю у Саниат, убедилась, что я не самая несчастная... Клянусь тобой, — горячо проговорила она, и оба засмеялись, потому что клясться мужем не полагается по адату, и это их рассмешило. — Ни за что своего счастья не поменяла б ни на чье...

Он взял ее за косу, притянул к себе и, заглядывая в глаза, попросил:

— Говори, ты сейчас такая хорошая... Ишь, расхрабрилась, говори...

Зардевшись от ласки, она продолжала:

— Гуларовская молодая богата: имеет и земли, и дом, и хлеб, а скотины у них — не счесть. У нее есть все, что она хочет... Но как она несчастна! Плачет, а глядя на нее, плачу и я. Она такая тоненькая, так молода, пуглива... Благодарю тебя, создатель, что не послал мне такого счастья, когда кусок хлеба запиивается слезами. А ты говоришь...

— Я ничего не говорю про нее. Я хочу только, чтобы мы никому ничем не были обязаны, чтоб ты ни на кого не работала, — вставил он.

Но она не обратила внимания на его слова и продолжала:

— Сидит она одна в комнате, никто к ней не заходит, — ведь к Саниат, кто хочет и когда хочет не придет. Зайду, уберу, кушать подам. Молчит. Сколько раз я пыталась с ней заговорить — молчит, и мне кажется, — приглушив голос, говорила Разнат, нагнувшись к его уху, — даже муж к ней не ходит. Я не замечала. Все бегают по двору, палочки стругают...

Темур засмеялся и, оглядываясь назад на детскую постель заметил:

— Ничего удивительного, что она плачет. Он приходит вот сюда в сад за воробьями с рогаткой бегать... Так что же ты хотела сказать? Почему я должен рассердиться?

— Подожди, ты меня не дослушал...

Разиат замолчала, потом, смущенно улыбнувшись, продолжала:

— Дурачок, дурачок, а вчера я иду с полными ведрами воды, он выбежал навстречу, как сумасшедший, выхватил ведра, потащил в кухню, стал в дверях и поманил к себе таинственно. Подошла, думаю, может, молодоженам какая услуга нужна, а он и говорит:

— Знаешь, Разиат, уговори ты ее, этого мышонка, чтоб уехала домой. Не хочу на нее даже смотреть, я тебя люблю. Давай убежим отсюда в горы к нам, к моей нана...

Темур не скрывая удивления, заторопил:

— Ну, ну...

— Я, говорит, все буду за тебя делать: и воду носить, и дрова колоть, и двор подметать, и коров доить, и стирать, варить...

Темур раскатисто засмеялся, обнял ее, и сквозь смех проговорил:

— Ах, крыса ошпаренная, так он тебя любит?..

А что же ты ему сказала?

— Пригрозила, что Саниат расскажу...

— Надо было посоветовать послать ко мне сватов.

— Да ну тебя, буду еще при нем твое имя упоминать, нужен он мне, — обиделась Разиат.

— Ты что? — удивился Темур. — Боялась меня разозлить, а сама рассердилась. Хочешь, я сделаю из него мокрый бурдюк? Нет, я пощажу его, чтоб тебе было немного веселее в этом мрачном доме, будет над чем смеяться...

— А хочешь, убью, — снова засмеялся он.

— Ты все шутишь, — упрекнула она. — Никому не говори. Унижаться перед дурачком...

Аслан завозился в кровати, и оба разом обернулись назад.

— Уже проснулся, мальчик мой, — ласково сказала Разиат и, подойдя к нему, взяла на руки. — Папа тебе из леса зайчика привезет, — глядя то на сына, то на отца, говорила она. Мальчик потянулся к отцу, но тот, вскинув ружье на плечо и взяв хурджин, сказал:

— Некогда, мальчик, сиди у нана, мне пора. Если

вдруг не вернусь, то не беспокойся, заночую у лесорубов, я у них уже бывал, знаю.

— Ты лошадь возьми. Скажи Саниат, что приду сейчас, пусть не дуется... — бросила она ему вслед.

Мальчик заплакал, она спустила его на пол, и он, семеня ножками, быстро побежал за отцом. Темур сорвал с дерева яблоко, присел на корточки перед сыном и, взяв его на руки, возвратился к жене:

— Вернула ты меня назад...

— Прошу тебя, — сказала она, — на обратном пути или когда будет удобнее — заверни в Дур-Дур на старое кладбище, постой... посиди у могилы стариков, бурьян летний посрывай...

Темур, не оглядываясь, пошел. У дома Гуларовых его встретил Мухар и сказал, что Саниат ждет его давно.

Услышав голоса мужчин, Саниат вышла на улицу. При виде Темура сухо проронила.

— Что так долго Разнат не идет?

— Задержалась с ребенком, сейчас должна быть, — коротко ответил Темур и сразу же переменил разговор: — Простите, Саниат, в Дур-Дур ни по каким вашим делам... и даже по своим делам не езжу... В другое место, куда хотите, сделаю все возможное.

— Дорог много, можешь объехать Дур-Дур, — недовольно произнесла она, с любопытством оглядывая этого молчаливого человека, к которому относилась с первых же дней знакомства с подчеркнутым почтением.

Подумав немного, она понимающе кивнула, а потом, улыбнувшись тонкими серыми губами, сказала:

— У Амурхана цепных псов много. Но это не значит, что все будут в их пасти совать головы... Понимаю... говорят, что ты столкнулся с его стремянным? — не скрывая любопытства, говорила Саниат.

— В моем положении временнопроживающего, подумайте сами, могу ли я первый задеть кого-нибудь?.. Я ответил ему на дерзкий вызов.

Саниат одобряюще кивнула головой и строго бросила Мухару:

— Выведи лошадь, чего стоишь?..

Бросив на плечо Темура короткий взгляд, наставительно произнесла:

— Ружье, которое я тебе подарила, умей держать, без крайней надобности не взводи курка... Что ж, поезжай, ты уже был там, знаешь, где работают лесорубы. Посмотри, и если увидишь, что половина участка уже срублена, прикажи прекратить работы. Скажи им, как только начнется санный путь, пусть подкинут лес на лесопилку. Пока этого не сделают — расплачиваться не буду. Осмотри все, верю тебе, в долгу у тебя не останусь. Не верь людской молве, что Саниат — скряга... Иди! — махнула она рукой.

Темур легко и мягко вскинул в седло большое тело и шагом поехал от ворот. С такой же завистью, с какой Саниат следила за проворными движениями Разнат, она посмотрела вслед Темуру и сравнила его со своим приемышем. На повороте улицы Темур увидел жену с сыном, но, не желая их задерживать, проскакал мимо, дважды оглянувшись назад. За селом он пустил лошадь рысью, глубоко вдохнул напоенный прелыми запахами осенний воздух, окинул взглядом пожелтевшие дали убранных полей.

Подъезжая к Дур-Дуру, Темур свернул налево, чтоб не столкнуться с тугановскими объездчиками. Въехал в лес. На поляне он увидел трех стреноженных лошадей под седлами. В одной из них признал серую кобылу старшины Дриса. Мальчик-подросток с длинным хлыстом стоял поодаль от лошадей, следя за ними. Темур подъехал к нему и узнал сына тугановского табунщика. Мальчик в свою очередь тоже узнал Темура и радостно приветствовал его:

— Темур, да будут дела твои прямые...

— Да прожить тебе, мое солнце, сто лет, — ответил он на приветствие.

Мальчик подскочил к нему. Думая, что Темур хочет сойти с коня, услужливо-привычно схватился за стремя.

— Нет, нет, не схожу, спасибо, молодец, — поблагодарил он его за расторопность. — Это чьи? — кивнул Темур на лошадей.

— Та, в серых яблоках, — старшины села Христиановского, гнедая — стремяного Габо. А эта вот,

бурая, их третьего товарища. Не знаю, кто он, длинный, темный, как зимняя осина...

Мальчик словоохотливо рассказывал Темуру все маленькие новости, которые знал. Он хорошо помнил Темура, знал, что не было такой лошади, которую бы не объездил и не укротил Темура, и относился к нему с ревнивой детской любовью. Наверное, в Дур-Дуре не было второго человека, который бы так жалел о том, что Темура выгнали из села.

— Я забыл, малый, как тебя зовут, — проговорил Темура, увидя в блестящих глазах мальчика нескрываемое восхищение.

— Ципу, — назвался мальчик, польщенный вниманием Темура.

— А где ж сами хозяева?

— Шашлык жарят, — ответил мальчик, — вон там, за ложбиной, в дубняке.

— Не тура ль подстрелили? Кто ж из них отличился?

Мальчик, не отпуская стремя, вскинул на Темура мохнатые ресницы, засмеялся и проговорил:

— Нет, какой там тур!.. Габо взял у пастухов барашка, прирезали и жарят, а ты — тур... — и мальчик снова засмеялся, не отводя от Темура восторженных глаз.

— Ну, что ж, Ципу, желаю тебе доброго дня, отцу мой салам передай, — проговорил он, тронув ногами плотные бока лошади.

— Передам, все передам, что видел: что и лошадь у тебя хорошая, что ружье твоё отличное... Передам... отец часто вспоминает, сожалеет...

— Скажи, пусть не жалеет меня, — прервал он мальчика и, хлестнув лошадь, проскакал вправо от дубняка, чтоб не встретиться с охотниками.

Оставив поляну далеко за собой, Темура опустил поводья и шагом поехал по узкой тропе, ведущей к просеке Саниат.

Печальна увядающая краса осеннего леса. Развернутыми бурками свисают с деревьев куски пожелтевшего мха. Мягким густым покровом обтянул мох и камни-валуны. Поздняя бледная гвоздика качается слабой головкой рядом с темно-зелеными твердыми

листьями черники. И лошадь, всхрапнув, тянется в сторону, шлепая влажной отвислой губой, хватая желтыми зубами плотные листья брусники. Кизил и орешник раньше всех теряют свой кокетливый наряд. Через их оголенные ветви робко сочатся теплые лучи солнца. Лиловый пар держится в гуще леса, затрудняя дыхание. Пахнет иодом и прелой листвой. Плотным покрывалом лежит под деревьями «дичка» — груши и яблоки.

Осенними лунными ночами, крестьяне, чтоб заглушить предательское скрипение деревянных осей, густо мажут их дегтем и пробираются звериными тропами в помещичий лес за дичкой. Много арб, лошадей и топоров поотбирали объездчики.

Темур остановил лошадь под низким грушевым деревом, согнул ветку и сорвал несколько мягких потемневших груш. Сзади него сухо хрустнуло, Темур оглянулся и увидел Дзобек с ружьем в руках.

— А-а-а-а, Дзобек, желаю богатой охоты... медвежьей, — проговорил Темур, не слезая с коня, повернувшись к нему в седле.

— Ты мне тут охоту не перебивай, это мой загон, — неприветливо ответил Дзобек.

— Я по делу, не на охоту, — ответил Темур, с любопытством глядя на его нахмуренное, важное лицо. Вспомнив утренний разговор жены, улыбнулся.

Темур скрылся в чаще леса, а Дзобек неподвижно стоял, глядя ему вслед. Из-за дерева вышел стреманный Габо и, кивая большой головой, проговорил:

— Не видать тебе Разиат... Что же ты не стрелял? Ты же грозился вчера убить его. Иди, ищи теперь синицу в небе...

— А ружье у него ты видел? — проговорил Дзобек.

— Ну и что ж, что ружье? А ты б стрелял в спину... Как я тебя учил, забыл?.. Пока будет жив Темур, не видать тебе Разиат...

Дзобек повертел ружье в руках, потом приложил его к плечу и спросил Габо:

— Так?

— Нет, не так, закрой один глаз... Вот так, руку — прямо, немного согни, видишь там маленький бугорочек? Смотри на него... Та-а-к, — старался Габо.

Дзобек спустил курок, — во влажном, густом воздухе раздался глухой, короткий звук. Дзобек выронил ружье, отскочил, схватился за уши и, поглядев на Габо, спросил:

— Ну-у-у-у?

Габо обдал его злым огнем зеленовато-желтых глаз, хихикнув, сказал:

— О-о-о, хоть на медвежью охоту пускай...

— Убью я его, — поднимая ружье, просто сказал Дзобек, будто говорил не о человеке, а о воробье, которых из рогатки убивал каждый день. — Разиат моя будет, а ту, другую, Саниат пусть куда хочет, туда и деваает. Не хочу я ее...

Стремянный отошел под дерево, привалился на мягкий мох и, глядя в узкую спину Дзобека, думал: «Погоди, Темур, погоди... И ты, Разиат, погоди, хоть на том свете, но будешь моей, никуда не уйдешь от меня...»

Стремянный Габо дни и ночи думал о Разиат. Он увидел ее впервые, когда Разиат было пятнадцать лет. Габо не был еще женат и был уверен, что ему, любимому стремянному помещика, не откажет дочь безземельного временнопроживающего. Но, когда Габо сделал предложение, она отказала ему, сказав, что не вышел ростом, чтоб жениться на высокой девушке. Разиат с лукавым смешком в глазах посоветовала ему выбрать другую и указала на девушку карликового роста. Стремянный, оскорбленный, тотчас же, назло сделал этой девушке предложение и женился на ненавистой. С тех пор прошло десять лет. Он бил жену, истязал, дважды выгонял, но она упорно возвращалась к нему, люто ненавидя Разиат, пускающая слухи, что муж близок с нею. Когда же Разиат стала женой Темура, Габо часть ненависти перенес на Темура, не упуская случая задеть его самолюбие. Узнав, что дурдурских крестьян выселят, он мучительно затосковал от сознания, что Разиат навсегда уйдет из села и он никогда больше не увидит ее. Это Габо подсказал помещику, что Темура надо уговорить остаться в Дур-Дуре. Амурхан согласился. Габо был уверен, что Темур, безземельный бедняк, сочтет это лучшим выходом из положения, которое создалось

в Дур-Дуре. Он не мог себе представить, что Разиат может уйти из села и что он не будет видеть ее даже изредка у водопоя. Разлученный обстоятельствами с Разиат, пожираемый ненавистью к Темуру, стремянный думал о мести, особенно после недавней ссоры в лавке Сафа. При каждом удобном случае он доказывал Дрису, что, не будь Темура, временнопроживающие были бы гораздо спокойнее, что его, бунтаря, надо убрать, а остальные притихнут, и что никто другой, кроме Дриса, не имеет на это права, ибо он облечен властью, правами...

А сегодня ночью, сидя у костра за вертелами шашлыков, охмелевший старшина говорил в присутствии Дзобека, делая при этом серьезное выражение лица и подмаргивая стремянному, что Дзобек, хоть и женился, но не любит молодую жену, а любя ему другая. Но, как известно, женщина при живом муже замуж не выходит. Дрис подчеркнул, что Дзобек потому молчалив и печален, что красавица Разиат сожгла ему душу. Дрис не знал о неудачном сватовстве Габо, не догадывался, что этот коротконогий, с большой головой человек только и думал о Разиат. Сам же Дрис ревновал Хадизат к Дзобеку. Он не забыл холерное лето, горы, убогую лачугу старика Марза, девочку с лицом молочного цвета, с золотистыми волосами, с глазами темными, как омут. Будучи женат, он мог лишь мечтать о ней. И вдруг Дзобек—мост к претворению мечты.

Еще не зная, на что надеяться, услышав от Дзобека о его любви к Разиат, Дрис стал упорно поддерживать в нем мысль, что Разиат лучше Хадизат. Ему представлялась Хадизат полновластной хозяйкой в доме Саниат. А придурковатого мужа всегда можно приручить...

«Хадизат, Хадизат, ты бледна, трепетна, как та вечерняя звезда, что выходит на небо еще при дневном свете и гаснет, не дожив до полуночи. Волосы твои — пушок на весенней иве. Что понимает Дзобек, эта деревянная подпорка к воротам, в твоей красоте?..» — думал Дрис о Хадизат, подогревая в Дзобеке мальчишечью буйную страсть к Разиат.

В эту ночь у костра, подшучивая над Дзобеком,

старшина не знал, что этим разговором он укрепил в душе стремянного злые семена давнишнего замысла. Сидя у яркого ночного костра, переворачивая вертела жирного шашлыка, стремянный, пряча злой блеск зеленовато-желтых глаз, ухмыляясь, говорил:

— Дзобек должен бросить надежду сделать Разиат своей до тех пор, пока жив ее муж. А умрет он не раньше, чем через сто лет. Он, как старый дуб, — удары грома не ломают его.

Старшина и стремянный переглянулись.

— Если его убить, кто узнает? — спросил Дзобек.

— То-о-оба, то-о-оба — пусть живет! Что ты?.. — смутился стремянный и поглядел на старшину.

— Как же тогда Разиат? — спросил Дзобек.

— Разиат будет женой Темура, а ты мужем Хадизат, — смеясь, сказал Дрис, подкладывая валежник в костер.

— Не хочу так, я Разиат люблю, — упрямо говорил Дзобек, напоминая молодого быка, упершегося рогами в забор.

Дрис и Габо снова переглянулись.

Этой ночью стремянный обдумал свой замысел, а утром, оставив спящего Дриса у костра, увел Дзобек в гущу леса. Неожиданно встретив Темура в лесу, Габо, притянув худое, темное лицо Дзобека к своему лицу, прошептал:

— Убей его...

— А Разиат будет моей? — спросил Дзобек, не спуская со стремянного темных глаз. Стремянный молча кивнул ему кудлатой головой и скрылся. Посасывая яркие кисловатые гроздья калины, стремянный смотрел в ненавистное ему лицо Темура, надеясь, что или Дзобек убьет Темура или Темур, защищаясь, убьет Дзобека... В первом случае Разиат останется вдовой, во втором случае — Темур, сделавшись кровником, принужден будет скрыться, бросив семью.

Темур ушел, а Дзобек растеряннo-виновато смотрел в глаза стремянного.

— Упустил... Теперь жди вечера, жди, когда он проедет обратно... Вот здесь, сюда садись.

Взяв Дзобека за локоть, он толкнул его в заросшую кустарником ложбину. Дзобек молча повиновался и уткнулся лицом в мягкий, иодом пахнувший мох. Но Габо хорошо знал, что Дзобек не сможет убить и ему надо помочь...

Короткий осенний день клонился к вечеру. В лесных прогалинах, оголившихся в дни листопада, широкими окнами обнажились просветы между деревьями и оранжевыми тропками пробежали длинные предвечерние тени. Темур той же дорогой, которой ехал утром, возвращался домой. По бокам лошади тяжело висел хурджин, а сзади к седлу были привязаны две рыжеватые лисицы. Выхав на дорогу, он свернул лошадь под низкорослую раскидистую грушу, которую заметил еще с утра. Придержав лошадь, потянулся к ветке... И в этот момент, из своей засады, прищурив змеинный глаз, Габо взял Темура на мушку... Но, заслонив собой цель, перед Габо мелькнула долговязая фигура Дзобека, который выбросил вперед руки с поднятым ружьем... Раздалось одновременно два выстрела: Дзобек смешно взмахнул руками, резко повернулся назад, качнулся и мягко, будто на молитве, присел на колени, уткнувшись лицом в шуршавшую листву. Лошадь под Темуром резко шарахнулась в сторону, всхрапнула, вскинув передние ноги на уровне головы. Раздался еще выстрел, и лошадь вся содрогнулась, взвихрилась, громко и протяжно заржала, потом тяжело рухнула, скинув при падении седока.

— Эй, гиаур, гиаур! Чтоб тебе напиться крови родного дитяти! Что ты сделал? Холоп! — закричал вдруг Габо, подбрасывая ружье к плечу, хоронясь за деревья.

Ничего не понимая, Темур выкарабкался из-под убитой лошади и в нескольких шагах от себя увидел искаженное злобой и ненавистью лицо стремянного Габо, громко и хрипло кричащего:

— Эй, эй! Люди добрые! Сюда, сюда!.. Ау, ау!

На выстрелы и крики сбежались объездчики, два стражника в сопровождении Дриса бежали на место убийства. И вдруг притихший вечерний лес наполнился протяжным улюлюканьем и ружейными выстрелами.

— Убил... подстрелил! Сам видел... вот он, ловите его, ловите его!.. — хрипел стремянный, призывая всех в свидетели.

Темур, услышав страшное обвинение, рванулся, чтоб сказать, что он не сделал ни одного выстрела. Но навстречу ему, хватаясь за голову и крича, бежал Дрис:

— О ты, нечестивый, пусть его кровь невинная пройдет за тобой тенью до гроба, что ты сделал? Бейте его, ловите!..

И у самого уха Темура, свистнув, одна за другой пролетели пули, сбив грушевую ветку. Темур подался за дерево, стащил ружье с плеча и шагнул назад в лес... Хоронясь за деревьями и отстреливаясь, он поднялся на высокий холм и оттуда кинулся в глубокую ложбину, обманув своих преследователей.

Скоро выстрелы прекратились. Густые, липкие сумерки окутали лес и поглотили беглеца. И только мальчик-подросток, маленький друг Темура, сын старого табунщика, ночью, греясь у костра, рассказал старому отцу, что в лесу, в том месте, где убили перед вечером охотника, у него, у Ципу, был поставлен капкан. Перед вечерней зарей, чтоб проверить свой капкан, он зашел в лесную чащу и...

— Сам слышал, нет, видел собственными глазами, как стремянный Габо стрелял и попал в того, в длинного... Я видел, сам видел, что Темур не стрелял... Я хотел к нему подойти, но в это время выстрелил Габо... — шептал мальчик, прижавшись к отцу.

Внимательно выслушав его, старый табунщик протянул маленькое лицо сына к себе, и, касаясь обветренными губами его горячего детского уха, прошептал:

— Запомни, сын мой, слова старого отца. Я много жил и много знаю. Ты ничего не слышал, понимаешь? Ничего не видел, ты не был даже в лесу... Понимаешь? Ты слишком беден и немогущ, чтобы богатые поверили в твою правду... Кто б его ни убил — Габо ли, Темур ли, его больше нельзя воскресить... Он отдал земле ту дань, которую платит богу

каждое смертное существо... Я верю тебе и сам знаю, что Темур не убивал...

Старый табунщик долго молчал, потом вздохнув, продолжал:

— А Темур, дитя мое, как придорожный камень, который мешает. Вот его и убрали, как камень на проезжей дороге, чтобы не загораживал путь... Ты смотри, вслушайся, как молчит темная ночь, поучись у ночи молчанию... А не то, помни — убьет тебя Габо, как убил он нерадивого наследника Саниат... Но, — продолжал он, — если встретишь когда-нибудь Темура, — а ты встретишь его непременно, потому что у него нет теперь более надежных друзей, чем молчаливая ночь, темный лес и немые горы, — тогда расскажи ему все...

Горе, горе им теперь, этим двум фамилиям! Из рода в род, из поколения в поколение будут они ненавидеть и убивать друг друга, пока останется хоть один мужчина и в той, и в другой фамилии...

Женщину за кровную месть не убивают, адат говорит: «Пощади женщину за слабость, ребенка — за детство».

14

Золотыми крыльями машет октябрь. Осень поет сытую песню свою, но не всегда сыт пастух Атарбек. Восьмилетним неловким подпаском пришел он в большой гуларовский кутан. Помогая старшим пастухам, научился виртуозно исполнять роль акушера. Длинными, слабыми руками подростка он заботливо гладил влажный, скользкий каракуль на беспомощном, маленьком тельце ягненка и внимательно следил, чтоб голодная после отела овца не съела послед.

Пахнет в кутане навозом, овчинами, кукурузными лепешками, прокисшим молоком и тем неуловимым запахом, который стоит в отаре.

Призрачными, нарисованными кажутся дали, полные холодным, ярким сиянием луны. Дремлет кутан; дремлют пастухи, набегавшись за день за барантой. Словно покрытые серым войлоком, тлеют под пеплом

головешки. Свернувшись под буркой, покрытый с ног до головы, дремлет Атарбек у потухшего костра. Сладок сон юности, чудесны грезы в полусне. Не дремлют лишь собаки — чуткие сторожа, они лежат около баранты, прислушиваясь к каждому шороху.

Атарбек ежится от осенней сырости, садится на корточки и дует на огонь.

— Пфу, пфу, пфу.

На миг освещаются юношеские припухлые губы, а в глазах от вспыхнувшего огня прыгают красные и синие чертики. Семнадцать лет Атарбеку. Старая коричневая черкеска с чужого плеча не вмещает его упругого тела. Молодость — песня жаворонка на заре. Отшумело детство Атарбека на чужом кутане, под чужими сараями, в чужих отарах. Отца он не помнит, смутно вспоминает мать. Руки матери, только руки — мягкие, нежно-осторожные; и каждый раз, когда он берет в руки ягненка, еще совсем крохотного, пахнувшего кислыми овчинами, он вспоминает руки... руки матери. Но лица вспомнить не может.

Летними, грозowymi вечерами, когда он лежит у двери шалаша и следит за черными тучами, быстро мчащимися и меняющими формы, иногда кажется, что в них, распустив волосы, в широком темном одеянии несется вместе с ветром женщина, руки которой нежно протянуты вперед. Но лица не видит Атарбек.

Пастухи, заметив застывшее от напряжения его лицо, в шутку говорили:

— Эй, малый, невесту, что ль, высмотрел?

Тогда Атарбек, очнувшись, пугливо прятал лицо в бурку и подолгу дышал в жаркий ворс войлока.

Восемнадцатая осень Атарбеку — «Восемнадцать чуреков за спиной», как говорят старики. Дурманно пахнет осенняя трава, волнует кровь, шуршит засыхающая листва, и сладкий запах кукурузного солода щекочет ноздри. Ночи холодны, в высоком, темном небе тоскливо держится гогот улетающих птиц.

— Подкинь-ка, подкинь в огонь хворосту, — говорит Атарбеку старший пастух Инал, а сам, не повернув к нему головы, промолвил:

— С утра, вместе с зарей, иди-ка ты, парень, в село и привези нам соли. Да раздобудь обязательно

кусоч мыла, попроси у хозяйки, скажи ей, что обовшивели... Ну, а если не даст Саниат, тогда все равно... На вот, купи на мои деньги, — подавая ему двадцать копеек, сказал пастух.

Атарбек проворно подкинул в костер валежник и снова лег под бурку, а потом, высунув голову, буркнул:

— Жди, даст она тебе мыло, скажет: «Что, мыло? А золу куда деваете? А на что вам мыло, если есть зола? Что, разве и деды ваши, и отцы на кутанах мылом мылись?» И из-за соли опять будет недовольна, скажет: «Куда столько соли?..» Баранту развела, а лишний фунт соли ей жалко дать. Не хотел бы ехать, все ворчит и ворчит, сто дел опять найдет, скажет: «Подмети двор, вывези навоз, наруби дров, натаскай воды, вытруси войлоки, пересыпь муку, смажь оси...»

— Смерть родных детей перенесла, а по этой деревянной подпорке все плачет, — ворчливо говорил Атарбек, бросив бурку к ногам и сядя на корточки по-турецки.

— Грех, грех так говорить, — промолвил старший пастух Инал. — Да сохранит бог твою сиротскую жизнь от такой участи. Разве можно Саниат сейчас упрекать? Нет горше ее судьбы. Говоришь — ворчит, а как же, с каким ей сердцем смеяться? Что же ей делать, как не ворчать?.. В одном не права Саниат, да и то ей можно простить, страшно ей оставаться в пустом доме одной. Нужно было после смерти Дзобека сразу же эту сиротку-девочку, как велит адат, отпустить домой прямо с кладбища...

Инал знал, что по адату полагалось молодую вдову, прожившую в доме меньше года, тем более без детей, отправить сейчас же после похорон мужа домой. Но Саниат этого не сделала. В день похорон Дзобека Хадизат одели в длинное черное платье, туго повязав ей голову черным шелком. В густой толпе провожающих она медленно, пугливо шагала, путаясь маленькими ногами в тяжелых фалдах платья. За гробом покойника, как полагалось по адату, шла лошадь, покрытая траурной буркой. В тесной группе женщин за лошадью следовала Хадизат, как ответственность Дзобека. У могилы седовласый старик

Бибо с красными, трахомными веками долго и странно рассказывал о той столь трудной дороге, которую предстоит преодолеть покойнику, чтоб попасть из этого призрачного мира в вечный мир.

— Путь тебе будут преграждать непроходимые горы и леса, — говорил старик Бибо, шамкая беззубым ртом. — Перекидные мосты, тонкие, как волос, будут висеть над бушующими потоками. Края черных бездн, которые тебе нужно пройти, будут острее, чем кинжал. Но ты не бойся, — обращался Бибо к Дзобеку. — Ты будешь не одинок, — твой верный конь посвящен тебе от чистого сердца. Обуздай его, садись на него и лети быстrokрылой птицей вперед в вечность...

А в знак того, что и Хадизат в вечном мире, так же, как и лошадь, будет его собственностью, самая старшая из женщин поднесла к ее тонкому, бледному виску ножницы и отрезала кудрявый локон. Так велит адат: была женой в этом мире, останешься ею и там...

Солнце не должно зайти раньше, чем покойника опустят в могилу, иначе закроются врата загробного мира и осуждена тогда душа покойника на мытарства и скитания. Поэтому, не дожидаясь родственников Хадизат с гор — да едва ли вестник смерти успел бы предупредить их о постигшем несчастье, — Дзобека опустили перед закатом солнца в могилу. Хадизат же после похорои мужа обратно увели в дом к Саниат. В эту же ночь Саниат, вся зловеще-черная, держась за бока, прошла в комнату Хадизат. Обняв ее хрупкое тело, вся дрожа от приглушенного рыдания, шептала:

— О, несчастная, кто мог проклясть твою невинную душу? Или человек, перешагнувший порог моего жилища, уже одним этим виновен и грешен?

Испуганная Хадизат молча смотрела на Саниат, но не плакала. Потом, собравшись с силами, проговорила:

— Прошу вас, отошлите меня домой, мне страшно...

Саниат перестала плакать, сжала тонкие губы, свела брови и, стиснув ее руки жесткими, холодными пальцами, прошептала, закашлявшись:

— Куда я тебя отпускаю? Раз не ушла с кладбища, так изволь теперь выполнять адат: поминки... сорок дней, семь суббот, скачки в честь усопшего, — что я нищая, что ль? Почему мне перед народом свою немощь показывать? Сиди, води себя, как вдова моего сына... Считай себя тем, кем считают тебя люди. Моя невестка, по-моему и живи, а придет время — уйдешь, успеешь поголодать...

Хадизат вскинула на нее темные, окаймленные пушистыми ресницами глаза и промолвила прерывающимся голосом:

— Не хочу я... Уйду!

Но Саниат, не дослушав ее, не оглядываясь, оставила плачущую девочку, хлопнув дверью.

Прошел месяц, а Хадизат все еще ходила в черном, возмущаясь тем, что ее не отпускают домой. Редко вечерами она показывалась во дворе в надежде встретить Разиат. Но с того дня, как убили Дзобека, Разиат исчезла из дома, и на ее вопрос, где ж Разиат, Саниат ответила ей:

— Почему ты спрашиваешь о ней, неразумная? Ее муж убил твоего мужа, так ты хочешь, чтоб я на удивление и позор всему миру держала своего кровника у себя?

В доме Саниат стало еще глуше и мрачнее. К ним никто не ходил, и они ни к кому не ходили.

«Смешно! Какое мне дело, что убили ее приемыша. Почему он называется моим мужем? Я видела его только один раз» — думала Хадизат о Дзобеке совершенно равнодушно, ничуть не жалея его, решив во что бы то ни стало уйти из этого дома.

В один лунный вечер, не зажигая в комнате света, Хадизат печально смотрела в большой, озаренный бледным светом луны, молчаливый двор Саниат. В завороченной тишине дома вдруг раздался резкий голос Саниат:

— Мыла?.. Что придумали? Деды росой умывались, а вы — мыла, где я вам его достану? Соли?.. Невероятно, чтобы баранта столько соли уничтожала! Куда вы ее девааете?..

Это Саниат разговаривала с пастухом Атарбеком. Он молча слушал ее, смущенно переступая ногами.

В траурной комнате Саниат было так мрачно, как не бывает даже в дождливый день в пещере, куда от ненастья загоняют баранту. Саниат полулежала на жесткой тахте, сухо, отрывисто покашливая. Покричав на него, она вдруг смолкла и, будто вспомнив что-то очень важное, смягчившимся, изменившимся голосом проговорила:

— Ах, Атарбек, да стану я жертвой твоей, да станешь ты свидетелем моей смерти! Прости, что раскричалась — горе никого не красит...

Атарбек изумленно посмотрел на нее, услышав свое имя. Кроме старшего пастуха, она называла всех своих работников не по имени, а кличками: Например, работника Мухара она презрительно называла «Куыдайраг»¹, Атарбека — «Хохаг»,² табунщика — «Туаллаг»³, а русского пасечника — «Уырыссаг»⁴. За десять лет работы Атарбек впервые услышал от нее свое имя, как же ему было не удивиться?

Она, кряхтя, слезла с тахты, подошла к сундуку и достала оттуда три куска мыла. Подавая их пастуху, Саниат притихшим голосом произнесла:

— На, бери, на что мне теперь все это? Бери, мойтись. Хоть добрым словом меня, грешницу, после смерти помянете. — Атарбек протянул руку за мылом.

Вдруг Саниат, всплеснув руками, потянула его за оборванный рукав черкески и проговорила:

— А-а-а, тоба астаафраллах, Атарбек, что ты меня срамишь? В чем ты ходишь? Разве пастухи Саниат Гуларовой в таком виде должны ходить?

Атарбек, пораженный, смотрел на хозяйку и, смутившись, затянул узкий сыромятный ремень на рваной черкеске.

— На-ко вот, возьми, — сказала она и достала из сундука небольшой плотный сверток. — Иди на кухню и там переоденься. Да смотри, чтоб никто тебя не

¹ Куыдайраг — выходец кударского ущелья (Юго-Осетия), в прошлом презрительная кличка осетин-южан.

² Хохаг — горец.

³ Туаллаг — выходец из Туалетни. (Туалетия — один из горных районов Осетии).

⁴ Уырыссаг — русский.

видел. Где Мухар? Запри дверь! — приказала она, и, как от зубной боли, сморщилось ее худое лицо. Пошатнувшись, она присела на тахту. Атарбек машинально взял сверток, не зная, что там есть и что надо делать. Он повернулся, чтоб уйти, но Саниат еле слышным прерывающимся голосом прошептала:

— Будет у тебя ум в голове — будешь легко жить... Иди, переоденься и сейчас же вернись. Гость у меня, надо прислуживать. Нельзя тебе в таком виде появиться, понял?..

Атарбек машинально кивнул головой и вышел.

Саниат проводила работника долгим, испытующим взглядом и удивилась тому, что никогда не замечала, что у него были синие глаза и цвета спелого ореха волосы.

«Что ты еще более страшного можешь придумать, создатель? — упрекая бога, думала Саниат. — Не боюсь я тебя! Муки ада я перенесла здесь. Что твой ад, если человек и без того живет в муках. Будет у меня наследник! Будет!» — говорила она, вся дрожа, шатаясь, и кошачьей походкой подошла к дверям.

В комнате Хадизат царило мертвое молчание.

«Нет, не уйдешь, дашь ты мне наследника моему большому богатству. Я приручу тебя. Если Дзобек вызывал отвращение у каждого, кто смотрел на него, то этот безродный кутанщик слишком красив, чтоб ты не почувствовала покоряющую силу красоты».

Саниат улыбнулась, но худое белое лицо ее вместо улыбки изобразило гримасу.

«Будет у меня наследник, будет. Не все ли равно людям чей он, от кого? У меня осталась молодая вдова, почему она не могла понести за четыре месяца ребенка? Кто в этом усомнится?»

Саниат потянула дверную ручку и шагнула в комнату. В нарядной комнате Хадизат, покрытой коврами, голубыми тенями разливается лунный свет. В длинном черном платье Хадизат неподвижно стояла у окна, глядя во двор. Когда скрипнула дверь, она повернулась, но, увидев Саниат, осталась на месте. Обе женщины молча разглядывали друг друга. Сделав в сторону Хадизат два неуверенных шага, Саниат остановилась, потом проговорила:

— Уа, гормон, гормон, девушка, что так мрачна, не по возрасту сурова? Если смущает тебя черный наряд, да стану я жертвой твоей, спиму его с тебя, хоть сейчас сниму. Ты не виновата перед богом и хорониться тебе в трауре тяжело. Так давай его снимем. Нужно будет — оденешь, когда на кладбище пойдешь, когда, может, придет кто... Сними! — повелительно сказала она и подошла к сундуку, где хранились наряды Хадизат.

При бледном свете луны Саниат была бела, как снег, а траурное платье делало ее еще хуже.

— Засвети лампу... Переоденься, не хочу, чтоб ты в черном была, хватит, молода еще... Живому человеку нельзя долго тосковать, иначе умрет у него душа раньше, чем тело... Иди, переоденься! — приказала она, подавая длинное белое платье из тяжелого шелка.

Хадизат с удовольствием взяла из рук свекрови свое подвенечное платье, которое ей очень нравилось. Саниат, не спуская с нее глаз, вышла, а потом опять просунула голову в дверь и шепотом произнесла:

— Оденься, приду, проверю — выполнила ль ты мое желание, желание свекрови?..

Как только Саниат ушла, Хадизат выкрутила в лампе фитиль и торопливо стала стягивать с себя траурный наряд, с наслаждением держа в руках любимое платье. И впервые за четыре месяца пребывания в этом доме ей хотелось громко кричать и смеяться, побегать, как бегала в горах у деда. Но она помнила, что она в чужом доме, из которого убежала б даже сейчас: и в ночь, и в дождь, и в пургу. Хадизат долго и тщательно паряжалась, но потом ей стало скучно и так, одетая, она прикорнула на тахте.

Была уже ночь, когда Атарбек вошел в комнату Саниат. На скрип двери она подняла голову, увидела Атарбека и зажмурилась... Перед ней в одежде сына стоял пастух. На черной черкеске блестели белые газыри из слоновой кости. Со стоном повернулась Саниат, дрожа, как в лихорадке, и, еле подбирая слова, промолвила:

— У нас гость, иди туда, на... возьми, — шептала

она, подавая ему тарелку с дымящимся мясом и толкая его в спину.

— Ох-х-х-о, иди, помоги... прислужи... и... там будь, я разбужу, сама разбужу... — не договаривала она слов.

Держа в руках тарелку с мясом, Атарбек перешагнул порог комнаты и услышал, как щелкнул за его спиной ключ в дверях. Квадратная высокая комната мягко освещена желтоватым светом лампы. На полу — цветастый ковер, ступать мягко, так мягко бывает ногам только весною на лугу. Он с минуту постоял, потом поставил мясо на стол и робко сказал:

— Иди, кушай, меня послали тебе прислуживать, пожалуйста, садись...

В тишине комнаты голос молодого пастуха прозвучал громко. Не привык Атарбек разговаривать тихо, бараны лучше понимают, когда он кричит на них. Атарбек, услышав свой голос, смутился. Никогда он не прислушивался к нему, хотя в темноте осенних ночей пастухи любили слушать его песни. Некоторое время Атарбек не двигался с места. Потом еще раз пригласил гостя. Ответа не последовало. И тогда, не думая о том, что поступает некрасиво, он подсел к столу и принялся жадно кушать баранину, торопливо запивая жирное мясо свежим пузырчатым квасом. Атарбек с утра ничего не ел, и ему было уже все равно, что подумает гость. Но по мере того, как наедался, он понимал, что оскандалился и Саниат будет его ругать. Наконец, подняв голову, он прямо посмотрел Хадизат в глаза. Она сидела в углу комнаты у края тахты, как загнанный в капкан звереныш, и с нескрываемым удивлением смотрела на него. А встретившись с ним глазами, быстро отвернулась и, улыбнувшись, уткнулась в платок. Это была первая ее улыбка за четыре месяца пребывания в этом доме. Атарбек не рад такому гостю, не знает, как ему прислужить. Да удобно ли ему вообще быть в этой комнате?.. В отаре ягнята его понимают и любят. А тут... что скажешь ей, хотя и сама она похожа на ягненка. Атарбек, не спуская с нее глаз, подошел молча, робея взял за руку и посадил на тахту. Непокорные кудри, спутанные яркими колечками, упали Хадизат

на глаза. Она совсем низко опустила голову и снова улыбнулась. Атарбек робко погладил по голове, поднял ей кудри на лоб... Ах, как упало его сердце! Так с высокого обрыва падает камень в воду... Он изумленно, долго смотрел на ее лицо, силясь что-то вспомнить... Глубокую нежность пробудила в нем Хадизат. Такую нежность и жалость он испытывал, когда на кутане грел под черкеской слабого осиротевшего ягненка, у которого ночью волки утащили мать. Ему хорошо с ней, радостно, хочется смеяться, взять ее на руки и улететь далеко за кутан, где весной розовой сеткой цветов покрываются луга. Забывшись, он говорит:

— Я тебя знаю... Ты спилась мне всегда... Весной, по утрам, когда розовые зори ласкают небосклон, я видел тебя... Ты была со мной... Но ты всегда молчалива... Ты не бойся меня, я знаю тебя давно, давно... Я помню твои руки, я не забывал их никогда. Ты не бойся меня, я не плохой... Не плачь, мне тебя жалко, не плачь, скажи, что ты хочешь, я сделаю все, я помогу, — ласково говорил Атарбек, глядя на нее с неизъяснимой нежностью.

— Летними вечерами, когда небо закрывают черные бурки туч, когда сладко перед грозой пахнет трава, в ожидании дождя замирает в тишине весь кутан — ты была со мной... Я тебя знаю, не плачь, мне тебя жалко.

Атарбек отодвигается от нее, с улыбкой смотрит в глаза и смеется. Хадизат поднимает темные глаза, смотрит на него и верит, что он ее знает. А разве она его не знает? На нем черная черкеска, белый бешмет, курчавая папаха... Вот оно лицо, которое столько дней и ночей пленяло ее воображение!

«Это он! Где ж он был так долго?»

Ей хочется так же, как и Атарбеку, засмеяться. Но она не смеет, лучше послушает его. Ей хочется, долго слушать его, узнать имя, ласковое имя того, кому с гор на равнину приехала рой неясных, девичьих мечтаний. Ей хочется знать имя, имя нежное, как полуденный вестерок в ущелье, но она стесняется и молчит.

Атарбек, взволнованный, поднялся с тахты и про-

шелся по комнате. Хадизат восторженно посмотрела ему вслед: широкие плечи его играли под натянутой черкесской, узкая талия обтянута черным поясом в серебряной оправе, ворот кремового чесучового бешмета ему узок и потому он часто вертит крепкой коричневой шеей, сафьяновые чуваки и ноговицы плотно облегают его большие ноги. Атарбек повернулся, и увидела Хадизат густые брови, сросшиеся у переносицы, продолговатые синие глаза, длинные ресницы, полинявшие на солнце.

Керосин выгорел в лампе. Ночь сверкала синими звездами. Атарбек подошел к тахте, взял девушку за руки и подвел к окну. Лунный свет разливался по двору. Кружевными разводами ложилась жидкая тень от липы на стены сарая, на влажную, черную землю. Положив руку на плечо Хадизат, пастих стоял, не двигаясь, и слушал, как стучит кровь в висках и неровно бьется сердце... Хадизат делалось так весело, как бывало только у деда в горах. Она радостно засмеялась и маленьким, хрупким телом доверчиво прижалась к нему, ощущая на щеке острый холодок от серебряной оправы его газырей. Атарбек вздрогнул, порывисто схватил ее за плечи, притянул ее оживленное, смеющееся лицо к своему лицу и изменившимся голосом прошептал:

— Не смеешься ты, а журчишь, как весенняя та-
лая вода... Сагут, ты маленькая Сагут...

— Кукареку!.. Ку-ка-ре-ку!.. — раздалось со двора.

Противный петух, не пой, подожди, пусть продлится ночь. Хадизат не посмотрелась еще на Атарбека. Ей хочется закрыть глаза и слушать его голос... Густой и ласковый, мягкий и сердечный. Но вдруг постучали в дверь, раздался голос Саниат. Они переглянулись, Атарбеку показалось, что это был сон. Если б не Хадизат в длинном белом одеянии рядом с ним, не ее горячая рука в его ладони, то он никогда б не поверил, что это явь...

Ночь пролетела незаметно. Наступило утро с мычанием коров, с блеянием овец.

— Приду... Непременно приду, — бросил он с порога и, не оглядываясь, выскочил в дверь.

Хадизат посмотрела ему вслед и подумала:

«Что ж это я так, не спросила имени... Как же его имя? Вечером спрошу, заговорю первая!» — засмеялась она, и томительно замерло сердце в груди.

15

К югу-востоку, в трех километрах от города, в лесу стояла полуразрушенная будка сторожа-лесника. Весной, когда зацветает май, владикавказские мешане устраивают здесь пикники. Все, начиная от детей и до старых, перезрелых дев, любят погулять у Сапицкой будки (так называется это место).

Армянин с зурной, соленым сыром и тархуном, грузин с шашлыком и кахетинским вином, осетин с вареной бараниной, черемшой и гармошкой — много собирается здесь разного народа. Ставят здесь самовар, пьют водку, запакоствовав нежную зелень пустыми банками, битой посудой, жирной бумагой.

За будкой, на расстоянии километра от этого излюбленного горожанами места, есть глубокий овраг. Частый дубняк, повалившиеся чинары, желтый мох, длиннопалые листья кленов мягко колеблет ветер, между ольхой и осиной краснеет орех. Редко заглядывает сюда солнце. Сырость от снега и дождей держится здесь до конца лета, и прелые запахи стоят над оврагом. В дуплах старых деревьев гнездятся белки.

— Там, — говорит старый лесник Мангай, — много ядовитых змей.

Мальчишки, хоть и боятся, но все же, храбрясь, собирают из-под оттаявшего снега подснежники, позднее — ландыш и фиалки. Навязав на шест разноцветные маленькие букетики, они, стараясь перекричать друг друга, с гортанным криком несутся по длинному Александровскому проспекту. Завидя офицерские погоны и женский шлейф, метущий бульвар, они наперебой предлагают:

— Господин офицер, купи цветок, твоя барышня красива, как цветок!

Весной в овраге коротким эхом отдается печальное ку-ку-ку-ку!

— То души невинных девушек и юношей тоскуют

по неизведанному земному счастью, — говорит лесник Мангай ребятам и вспоминает при этом свою жизнь.

Много лет тому назад, когда эта будка была сколочена из молодого дубняка, жил здесь лесник Заурбек, и была у него молодая красивая жена, которая родила ему сына. На утро, после родов, молодая женщина умерла, оставив на руках у Заурбека крошку сына, которому растерявшийся от горя лесник даже не дал имени. Он звал ребенка «Мангай» (что значит по-осетински — крошка). Нелюдимый и угрюмый, он нежно любил сына, холил и баловал его.

Бежали дни, сменяя друг друга, сплетаясь в недели и месяцы, собираясь в годы.

Вырос Мангай и превратился в стройного темноглазого юношу. Заурбек умер, оставив сыну ружье и двух охотничьих собак. Юноша прожил некоторое время в лесной сторожке, потом заскучал один, ушел в город и нанялся в работники к торговцу Цораеву. Со своим хозяином ездил Мангай в далекие города, помогая ему богатеть. Побывал в Одессе, в Астрахани, в Киеве. В Южной Осетии была у Мангая любимая, которая родила ему дочку. Он мечтал перевезти их во Владикавказ, зажить счастливо. Но когда приехал за ними, узнал, что жена умерла...

— Занозила палец, кисть руки опухла, опухоль пошла дальше по руке, по груди, и она умерла, содрогаясь от ознобного жара — рассказали Мангаю.

И вот привез он во Владикавказ маленькую дочку и отдал на воспитание кухарке. Сиротку в доме хозяйна любили и баловали. Сын хозяина, молодой поп, крестил девочку, назвал ее Залиной, а по отчеству Александровной, так как отец ее до конца жизни так и остался «Мангаем» и не имел крещеного имени. Девочка в доме священника росла тихо, никому не мешая. Поповская кухарка в первый же вечер взяла к себе девочку и, расплакавшись, прижалась к ней.

— Сизокрылая ты пташечка, горемычная сиротинушка, — шептала Анна. Она нежно полюбила девочку, ухаживала за нею. Долгими зимними вечерами кухарка рассказывала ей бесконечные сказки. Девочка сама привязалась к кухарке и часто подолгу ходила за ней, просясь на руки...

Кухарка не уставала от нежной привязанности девочки. Услышав однажды от попадьи, что девочку отдадут учиться, кухарка всплакнула и сказала:

— Кому она, сиротка, нужна, обижать ее будут, оставили б при мне?..

Но попадья из чувства ревности и зависти ответила кухарке:

— Не в кухарки ее готовим, в учительницы, потому знай свое место, не суйся не в свое дело!

Когда девочке исполнилось восемь лет, молодая попадья стала учить ее грамоте и даже музыке. Десяти лет ее определили в осетинский женский приют, где служил молодой священник Цораев.

«Если у тамошних народов (осетин) малолетние обучены будут божественным писаниям, то они нам в крещении своего народа великое вспомоществование окажут и своему народу божественное писание совершенно вершить могут... И егда показанные школьники действительно российской грамоте обучатся и в совершенные лета войдут, то уж не уповательно, чтобы паки в свою сторону возымели намерение».

Помнил батюшка наставление епископа Владикавказского. Помнил и старался...

Отец Залины, Мангай, жил в доме священника Цораева и ревниво охранял поповский дом и его добро. Но с тех пор, как отдали дочку в приют, тоскливо стало ему. Когда бывала возможность, он уходил в лес, в сторожку, где родился и провел детство. Летом иногда целые дни проводил в лесу. Знал здесь каждый куст, каждое дерево, где какая водится птица.

Через пять лет Залина кончила обучение в приюте и была выпущена учительницей, с правом преподавания в двухклассной церковноприходской школе. Назначение на работу она получила в село Христиановское.

— Там очень хорошо. Это культурное село, — говорил священник Цораев отцу Залины, который сначала не соглашался отпустить от себя дочь.

— Две школы, фельдшер есть, лавок несколько, и железная дорога в семнадцати верстах от села. Культурных людей в этом селе много. И знакомый священник, батюшка Харитон, — ласковый пастырь, напрас-

но человека не обидит, — убеждал Цораев взволнованного отца. — Надо, чтобы молодая учительница в деревне детей поучила, а то сразу в городе места не дадут.

Старик верил попу и надеялся на него. Он с тоскливым волнением следил за дорожными приготовлениями дочери.

— Сегодня князь Макаев в Христиановское едет, я попрошу, он довезет Залину в своем фаэтоне, — продолжал поп. — Письмо к батюшке Харитону с ней передам. Поручу ее, чтобы приголубили, помогли устроиться, приглядели за ней. Не волнуйся, Мангай, будет дочь твоя жить, как у Христа за пазухой. Никто не обидит, все знают, что моя воспитанница, что я наставник ее, — убеждал батюшка старика. — А ехать тебе с ней незачем. Дом без твоего присмотра, и сад, и пчелы — все пропадет. Служил ты отцу, послужи и сыну.

Старик поклонился попу, поцеловал его руку и сказал:

— Прости меня, старика, благодетель ты наш, не забыл сироту, в люди вывел... Да не оставит бог твой дом своими благодеяниями.

Поп умилился от сознания собственной доброты, трижды перекрестил Залину и погладив ее по голове, сказал:

— Божье благословение на твою голову, дитя мое, служи честно, верой и правдой богу и царю. Вразумляй перазумных. Сей доброе, накорми алчущего, напои жаждущего и сторицей тебе воздастся.

Попадья, слушая мужа, всплакнула и подарила Залине серую пуховую шаль.

Провожая дочку, Мангай прижал к груди ее голову. Маленькая, с гладко причесанными блестящими, как лак, волосами, Залина напоминала мать. Он приник щекой к волосам дочери. Она подняла на отца глаза. Печально, молчаливо улыбнулась ему своими карими глазами и сказала:

— Устроюсь — приедешь ко мне в гости, папа. Мне пятнадцать лет, я уже большая. А летом, на каникулы, приеду к тебе, будем жить в дедушкиной сторожке в лесу — успокаивала Залина взволнованного отца,

и от жалости с непривычным трепетом билось ее сердце.

Она побежала на кухню и увидела, что кухарка, уронив голову на стол, плакала, вздрагивая плотной спиной. Залина обняла ее голову, расплакалась и сказала:

— Аннушка, мама хорошая моя, не плачь... Мне тоже очень жалко расставаться с тобой. Я очень, очень люблю тебя, даже больше папы. Но я теперь учительница и должна ехать... Ты же сама говорила мне... рассказывала... Ты же сама хотела, чтобы я стала учительницей, учила бедных, говорила б им правду, которую не говорят им... Ты же сама хотела...

Кухарка подняла заплаканное лицо, встала и прижала к полной груди маленькую черную голову воспитанницы.

Старая кухарка, суровая, хмурая на вид, таила в душе нерастратченную материнскую нежность. У нее не было детей. Молодая солдатка рано овдовела. Все ждала и не дождалась мужа с турецкого фронта. В наивных рассказах она говорила Залине, путая Скобелева с царем, что придет царь-Скобелев и спросит ее, чего она хочет от него за те муки, которые терпит всю жизнь. «Царь-Скобелев» не приходил. Солдатка старела, постепенно теряла веру в «царя-Скобелева» и в людскую справедливость. Она жаловалась Залине, как всю жизнь трудилась, не покладая рук, молилась, стараясь жить по закону Христа. Но ни Христов закон, ни людской не помогли ей.

Последние годы, когда воспитанница стала взрослее, кухарка часто, приглушив голос, говорила ей:

— Нет правды в жизни, дитя мое... Кто богат и силен, старается обидеть слабого. Бог на стороне сильных, богу не видны с его небесного ложа земные страдания.... Нужно видеть страдания человека на земле, чтоб стать справедливым... Богу ничего не видно... ничего, доченька. Выучись, стань человеком и расскажи людям правду...

Залина расцеловала свою Аннушку-маму в обе щеки, прижалась к ней.

— Даю тебе честное слово, что всегда буду рассказывать людям правду. Только правду! — с загорев-

шимися глазами шептала она, обнимая кухарку. Кухарка опять заплакала и на прощанье подарила Залине старую потрепанную книжку.

— В этой книжке сказки мои любимые, дитя мое... Справедливые сказки. Люби их... Как Илья Муромец бедным помогал. Как Добрыня Никитич неправды не прощал...

Кухарка сняла с груди маленький серебряный крест, вложила его в ладонь девушки.

— Возьми, хоть бог и не видит наших страданий, а все-таки возьми, без бога-то вроде будто нескладно...

И Залина уехала...

* * *

Стоял конец ноября, время теплых безоблачных дней и ярких звездных ночей. Роса серебром отливала на сочной озими. Вечерами над сытым стадом в золотистых столбах пыли висел дрожащий звон мошкеры, стоял пряный запах мяты, полыни, парного молока.

Церковноприходская школа в селе Христиановском, куда была назначена Залина, стояла на берегу реки Урсдон. Каменное здание было огорожено с двух сторон деревянным забором, а со стороны крутого берега — живой ивовой изгородью. Здесь во время летних разливов желтые волны с шумом ударялись о берег и часто заполняли школьный двор мутной пенистой водой. Радостно визжа, носились по двору ребята. Закатав выше колен кумачовые штаны, они ловили дрова, доски, солому, ветки деревьев — все, что несла разбушевавшаяся река.

Но в тот осенний день, когда Залина приехала в школу, притихшая река отражала на зеленоватой поверхности грустную неподвижность деревьев. Перекрученные желтые корни далеко с берега свисали в воду, как толстые жгуты веревок.

Школьный сторож Михайла, отставной русский солдат, неизвестно откуда пришедший, уже несколько лет жил при школе. Он убирал классы. Хмурый, мол-

чаливый, ни зимой, ни летом не покидал он школу, оберегая школьное имущество, как свою собственность.

Когда Залина вошла во двор, Михайла широко размахивал большой пушистой метлой, сметая в кучки желтые, опавшие листья. Обернувшись на скрип калитки и увидев незнакомую женщину, сторож насупил брови и пошел ей навстречу.

— Что угодно молодой барышне? — не глядя на нее, спросил он, и густые брови его зашевелились, как мохнатые гусеницы.

Залина приветливо улыбнулась и несмело протянула ему руку, которую сторож смущенно пожал. Рука была маленькая и холодная.

— Я — учительница. Из Владикавказа приехала. В эту школу назначена.

Сторож поглядел на нее и подумал:

«Ну и времена, ей бы еще в куклы играть, а ее послали детей учить».

Он провел ее по длинному школьному коридору.

— Не учатся еще дети, — сказал он, — учителя ждем. Холеры испугались, живьем нас чуть было не схоронили... А теперь, слава богу...

Залина остановилась в конце длинного, темного коридора. Стены были свежевыбелены, пахло краской. Сырой неприятный холод царил здесь. Она молчаливо глядела то на стены, то на свежeweымытый пол, то на хмурого сторожа. И вдруг непонятное чувство тоски и одиночества охватило ее. Она растерянно оглянулась и встретилась с взглядом сторожа. Рыжие гусеницы бровей снова шевельнулись, но большие серые глаза вдруг неожиданно ласково улыбнулись ей. И, будто поняв ее, старик подошел к ней и сказал:

— Ничего, дочка, не бойся. Школа хорошая. Насчет чистоты — тоже не беспокойся: за всем присмотр будет, и дети хорошие, — продолжал старик. — Только им никак учителя не найдут... А вот — погляди их... — С этими словами Михайла толкнул одну из дверей, почтительно пропустив в нее молодую учительницу.

В просторном чистом классе стояло двенадцать парт, а на партах аккуратно были сложены учениче-

ские пожитки. В противоположном углу класса, в самом светлом месте, против окна, по-турецки подвернув под себя ноги, сидели ученики. В четырех больших ситах около них лежали перья. Дети сдирали пух с перьев, осторожно опуская его в другое сито.

— Что это? — удивленно спросила Залина.

— Перины попадья обожает, гусей много у ней. Пока у детей учителя нет, помогают попадье... Всякая помощь ближнему, — говорит отец Харитон, — богом, как большое благодаяние, засчитывается. Да и родители не против, пусть, дескать, помогают, чем по улицам бегать.

Дети, не бросая работы, с интересом слушали разговор.

— Кончайте! — буркнул Михайла и забрал у них сита с пухом.

Ученики послушно поднялись и расселись по партам.

Пододвинув стол ближе к партам, молодая учительница кашлянула и, пересилив смущение, неестественным, слишком торжественным голосом произнесла:

— Я ваша учительница... Зовут меня Залина Александровна, — и, не останавливаясь, продолжала: — Покажите ваши книжки, тетради... что вы знаете?

Дети рылись в сумках и узелках, выкладывая на парты свои пожитки. Залина торопливо ходила между партами и слишком быстро, переходя от одного ученика к другому, спрашивала фамилии, записывала их в маленькую голубую тетрадь. Потом ей стало не о чем говорить. Она волновалась, разглядывая тетради с ученическими фамилиями. Выручил звонок. Михайла старательно и ровно зазвонил в маленький медный колокольчик. Учительница вышла, дети высыпали за ней в коридор, с любопытством разглядывая ее шерстяное платье городского покроя, щупая подол ее рипсового жакета. В восхищение привела девочек ее маленькая черная шляпа с белой лентой. Дети толкали друг друга, стараясь стать к ней поближе, заглядывали в ее раздумавшееся лицо. Попрошавшись, Залина вышла из школы, но дети гурьбой двинулись за ней и проводили до поповского дома.

Попадья помня слова мужа: «Эту девочку послал инспектор народных училищ Беляев, а в письме священника Цораева написано, что она его воспитанница... А что такое Цораев, ты сама должна понимать, ты не маленькая...», угостила Залину вкусным обедом. После обеда рыхлая, белая матушка Анна водила Залину по церковному саду и показывала разные сорта яблок. От вежливого предложения попадьи остаться у нее в нахлебницах, Залина отказалась. Она сослалась на то, что ей удобнее жить при школе.

Вечером при помощи Михайлы, Залина перенесла в школу свою корзину с вещами и ящик с книгами.

Кровать, стол и два стула ей услужливо предложила попадья.

Комната при школе очень понравилась Залине — маленькая, светлая, с сенями и кухонькой. Одним окном она выходила в школьный сад, а другим — во двор.

Весной под окном ровными грядами росла мята, а между ними — в аккуратных маленьких горшочках — герань — любимые цветы Михайлы. Во дворе к большому деревянному сараю с одного бока была пристроена каморка, в которой жил сторож. Весной и летом, до поздних осенних холодов, он топил под сараем маленькую глиняную печку, и вечером допоздна в его печурке светился огонек.

В первое же утро Михайла принес Залине в комнату чайник с кипятком и тарелку вареных яиц.

Нахмутив брови, он, как показалось Залине, строго сказал:

— Ты, Александровна, не стесняйся, когда что надо... И печку тебе истоплю и сготовлю... У меня куры есть, картошка в огороде растет... Много ли мне надо... живу... — и он, смутившись, не договорил и торопливо вышел из комнаты.

Так у Михайлы появилась новая забота. Внучка лесника, пятнадцатилетняя учительница, вошла в дремотную жизнь старого солдата. Слабой и беспомощной показалась ему Залина. Вечерами он долго сидел под сараем и, пока не угасал в ее окошке свет, не ложился спать. «Она еще дитя, — думал он, — долго

ли ее обидеть... Им девушку похитить, что теленка украсть».

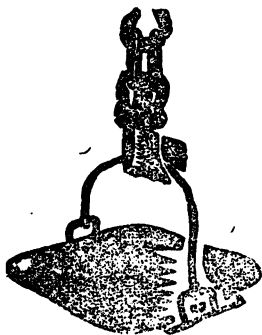
Залина тоже привязалась к старику. Она чувствовала, что под внешней угрюмостью в нем скрыто доброе сердце.

И однажды Михайла с горькой усмешкой сказал Залине:

— Ты вот людей учишь, значит, ты умна, а главного в жизни не знаешь. Ответь мне: отчего одни в достатке живут, в бесконечном блаженстве, а другие — в нищете и даже не замечают, что нищие... — Тяжело вздохнув, старик продолжал: — Ох, доченька, это самое страшное, когда человек нищеты уже не чувствует... Что все ваши книжки, коли человек хуже зверя живет?.. Эх, доченька... темный я, а знаю, что не для грязи человек в жизнь пришел...

Залина молча слушала старика, поражаясь, как одинаково думают и Аннушка, и отец, и Михайла.

И от этих мыслей она не спала по ночам, читала и искала ответ на мучивший ее вопрос. «Где дорога правды, как найти ее?»



Часть вторая



I

Сурат, сноха Сафа, давно просилась в гости к родным. Еще летом, когда Сафа, не заехав к ее родным, обратно привез подарки, Сурат надулась на свекра и первый раз за три года не выгладила ему бешмета (Сафа любил хорошо отутюженные вещи). Старик, увидев мятый бешмет, разозлился и, натягивая его на плечи, громче обычного закричал на жену:

— Эй, хайуан!¹ Если я, занятый делами, не сумел выполнить вашего бабьего поручения, так я за это должен ходить, как мои батраки?..

¹ Хайуан — скотина.

Целый день, назло жене и снохе, старик ходил в мятом бешмете, чтобы все видели нерадивость хозяек.

Зима оттрещала сухими морозами. Весна пришла с легкими ночными заморозками и яркими солнечными днями.

Как только установилась дорога, Сурат снова напомнила свекрови, что этой весной непременно поедет к матери, ведь она больше года не видела родных. Старая Кошер хотела было сказать снохе, что не время весной разъезжать по гостям, когда в каждом доме столько работы, но воздержалась. Сурат уже давно, с первым стаявшим снегом, успела сделать всю весеннюю работу: обмазала очаг и сарай глиной, побелила стены кухни, смазала под коридорами, до сверкающего блеска протерла стекла веранды и встрясла ковры. Соседи со злобной завистью смотрели на работающую, крепко сбитую сноху Сафа и говорили:

«Где они ее взяли такую, за что ни возьмется — все в руках горит».

Старая Кошер хлопотливо готовила сноху в дорогу, но беспокоилась, зная, что у матери Сурат нет коровы.

— Смотри, чтоб ребенок без ухода, без настоящего присмотра не остался. Коровы-то у вас нет.

Сурат, понимая опасения свекрови и обижаясь за своих бедных родных, оскорбленно ответила:

— Ладно, найдем ему все и без молока его не оставим... Вы уж и заметались. Мои братья на одном чуреке да сыворотке росли, а не слабее, не хуже ваших сыновей выросли.

— Ну, ну... пошла опять, будто лучше твоих братьев и не сыщешь. Разве я хаю твоих родных? За тебя, милая, как за горящую головешку, и схватиться негде...

— Потому что не в богатстве, не в довольстве росла, бедняк всегда обидчив, — проворчала Сурат, не давая свекрови договорить.

Кошер заботливо укладывала в хурджины и копченые курдюки, и бараньи бока, и жареных гусей, и сырные пироги. Наливала в бурдюки ячменное пиво

и кукурузную араку — всего наготовила в дорогу, думая:

«Очагу моему опора, не то, что та (она никогда не называла жену Георгия по имени, а просто «та» или же «немка»). Какой с нее прок? Даром, что семь лет в доме живет (Георгий, второй ее сын, женился раньше, чем старший), а семью мою не удвоила... Что поздний цвет на деревьях — ярка, но бесплодна».

Старуха и от себя вложила подарки: матери снохи — большой теплый плед, братьям — по бешмету. Все это отнесла в крытый фаэтон и накрыла чистой парусиной. Сноху нарядила в шелковое платье, — «пусть слух о моем достатке просочится далеко за село» — и, посадив к ней на колени сына, благословила в путь.

Ранним утром черный лакированный фаэтон Сафа выехал из ворот Абаевых и мягко покатился по весенней влажной земле. Родная деревня Сурат — в тридцати верстах от Христиановского и в шести от Владикавказа. Горная река Гизельдон протекает через село, которое по реке зовется Гизель. Гизель славится гостеприимством. Оно расположено на юго-западе от Владикавказа, как маленькая корчма на перепутье нескольких дорог. Через Гизель, сокращая тяжелый путь, от Садонских рудников к городу круглый год ползут по-над лесом бесконечные вереницы подвод аробщиков-цинковозов. В город можно попасть, конечно, и иными путями, но каждый предпочитает ехать через Гизель. Здесь поблизости нет ингушских аулов, значит нет опасения, что ингуш отберет лошадь. Нет многочисленных казачьих постов, где из-за того, кто должен уступить дорогу — казак или осетин, — часто разыгрываются кровопролитные драки. Дорога на Гизель идет через осетинские селения. Зимой, в стужу, село одевается в синий скрипучий снег. Маленькие домики издали мигают желтыми глазами огоньков, курятся теплым дымком, маня путника на отдых. И богач гонит тучные стада свои на продажу в город через это село, и бедняк, на чахлой лошади трясется через Гизель, чтоб передохнуть, перекусить и плестись дальше.

Гамази Абаев в холодный зимний день впервые

увидел здесь Сурат. Он гнал стадо быков в город на продажу. От реки шла девушка: она несла два ведра воды на коромысле, а два ведра держала в руках. Гамази удивился ловкости девушки — вода в ведрах даже не колыхалась. Остановив ее, он попросил напиться.

— Не в обычае моего села потчевать путника холодной водой. Войди в дом и напейся браги, — ответила ему невысокая, черноглазая девушка.

Ее ответ пришелся Гамази по душе. На обратном пути он разыскал ее дом и посватался. Гамази не понравился ей. Однако родные, узнав о богатствах жениха, не дали Сурат даже заикнуться. И стала она женой Гамази, не любя его, тоскуя по другому. Сурат знала, что любима мужем, а свекровь дорожит ею, хотя Сафа недолго любил ее из-за нищих родных.

Было уже за полдень, когда крытый фаэтон Сафа подъехал к дому Цуровых. Старая мать со слезами встретила дочь у ворот и, обнимая, с радостью ощутила на дочери легкую ткань шелка. Войдя в низенькую, закопченную комнату, Сурат увидела на стене у двери рабочую куртку брата. Два брата ее—Тох и Таймураз — не занимались хлебопашеством. Покойный отец с детства водил сыновей по горам, показывая, какие горные породы полезны человеку. Потом приехал в горы богатый бельгиец Дюкени. Он построил шахты. Одним из первых нанялся к бельгийцу отец Сурат. Работая на шахте крепильщиком, он вскоре попал под обвал. На его место пришли сыновья. Через три года старший, Тох, ушел с шахты на работу аробщика-цинковоза. День и ночь, зимой и летом скрипучей, медленно тянувшейся вереницей ползли арбы от Мизура до Владикавказа, доставляя заводу руду. Младший был переведен в город на серебросвинцовоцинковый завод в качестве печного второй руки. Работа была тяжелая и не каждый выдерживал ее. Надо было за день перекидать лопатой до пятисот пудов руды с земли вверх на площадку, а потом с площадки возить ее в тачках по узкому мосту к цинковым печам. Тачки весили до двадцати пудов, и возить их приходилось беспрерывно, так как печь все время требовала пищи. На обратном пути

в этих тачках вывозили раскаленный докрасна шлак, который выгребали из печей. Горячая печь, ледяные сквозняки, ядовитые газы.

Младший брат Сурат, Таймураз, черноглазый невысокий крепыш — любимец сестры, с редкими крупными рябинками на лице — был расторопен и вынослив. Вместе со старыми рабочими он подолгу выстаивал у раскаленных цинковых печей, весь багровый. Услужливо-почтительно относился к старикам, помогая им, когда они уставали в непосильной работе.

Этим летом Таймураз был потрясен смертью товарища. На глазах у него сгорел старый рабочий Петров, печной первой руки, с которым он проработал три года у одной печи.

С тех пор Таймураз часто работал у печи один, не имея возможности даже передохнуть. Еще при жизни Петрова был такой случай: Петров два дня заменял больного товарища. Цуров один справлялся за двоих. Мастер, увидя это, хмуρο оглядел его и сказал:

— Ишь ты, богатырь, скажу директору, что нагрузка-то мала, коли один за двоих успеваешь.

— Не успеваю, а товарищ болен, — зло проговорил Таймураз, вытирая вздувшееся от жары багровое лицо, и плюнул мастеру вслед.

Теперь на жалобы Таймураза, что ему трудно работать одному, мастер неизменно отвечал:

— Попроси товарища, ты ж помогал, пусть поможет и он.

Печально оглядев убогое убранство родной каморки, где она родилась и прожила до восемнадцати лет, Сурат расплакалась. Несмотря на яркий солнечный день, в помещении было полутемно, стены не побелены, глиняный пол не смазан. Старуха совсем одряхлела, потому по углам висели паутинки, потолок закопчен, стекла на окнах сероватые от грязи. Зная, что братьев никогда не бывает дома, она удивилась: у передней стены висело на гвоздике мужское пальто русского покроя. Утирая слезы, она вопрошающе посмотрела на мать, которая с радостным восхищением обнимала внука.

— Чье это? — коротко бросила Сурат.

— Это... Это учителя тут одного, Уртаева, у нас живет, при школе нет у него квартиры, знакомый брата, привел его, вот и живет, — проговорила мать с недовольством.

В дверь протиснулся высокий мужчина, сутулясь и моргая глазами. Сурат, как полагалось по обычаю, встала навстречу незнакомому, догадываясь, что это и есть, наверное, тот учитель, который живет у матери.

Сурат посмотрела на учителя и поразились его худобе. Лицо было сухое. На плоских щеках пролегли глубокие впадины. Судя по полным губам, на месте впадин были когда-то ямочки. Большие темные глаза, казалось, вот-вот вспыхнут синим пламенем, так они были выразительны. Он чуть горбился, и угловатые плечи резко подчеркивали его худобу. Вместе с тем, вся его фигура выражала страстное нетерпение и порывистость. Глядя на него, хотелось сказать: «Ну, говорите же!»

Улыбка поразительно меняла все его лицо. Даже при слабой улыбке лицо его сияло, словно от радостной вести. На миг исчезала угловатость и хотелось сказать уже другое: «Прости, я не узнал тебя, дружище».

Этот человек сразу располагал к себе, вызывая на откровенный и сердечный разговор.

— Дочь моя... одна она у меня, смотри какая, — горделиво сказала старуха, знакомя учителя с дочкой.

Учитель за руку поздоровался с Сурат, улыбнулся, показав два ряда плотных мелких зубов.

— Вижу, что дочь, хороша! Ну, как справляетесь? В доме Сафа Абаева не каждая женщина к месту...

— Видно, к месту, уже три года как она у них. Не справлялась — не держали б, — ответила мать вместо дочери.

Сурат почтительно, молча подала учителю стул и, засучив рукава, стала раскладывать вещи по местам.

— Ну, теперь выскребет, вымоет, отдохнула б с дороги, успеешь, — ласково проговорила мать, не спуская с дочери влюбленно-нежных глаз. — Тебе, Алак-си (так называла она учителя), придется сегодня помочь мне. Сам знаешь, дочь гостинцев привезла, не будем же мы их сами есть, надо угостить народ, как

велит адат. Почет дому Абаева — честь моей дочери... Так прошу тебя, Алакш, будь мне сегодня за сына, прислужи моим гостям, — обращаясь к учителю, озабоченно говорила мать.

Учитель утвердительно кивнул головой и прошел в низенькие двери крохотной каморки, которую он занимал. Деревянный топчан, стол с книгами, две табуретки. Узенькое окошко, прикрытое газетой, на столе — недописанный лист бумаги. Учитель подсел к столу, облокотился щекой на сухую ладонь и в раздумье медленно водил карандашом по бумаге, будто затушевывал рисунок. Потом порвал лист, смял его и, взяв чистый, торопливо набросал: «Назначал подводы под эшелон Апшеронского полка свыше установленных 25 подвод. Получал жалованье за время, когда не состоял в должности старшины. Не принимал мер к разрешению споров и недоразумений в вопросах пользования землей. Бил учителя, заключал в карцер. Нанял школьного сторожа за общественные деньги, но запрещал ему убирать школу и использовал его для правления...»

Учитель Уртаев пришел в Гизельскую школу из Мизурской школы. Три года тому назад он был «освобожден» от должности учителя Мизурской церковно-приходской школы после ревизии окружного наблюдателя осетинских школ Кодзаева. Копию этой ревизионной записи он держал при себе: «Копия ревизионной записи наблюдателя осетинских школ о состоянии Мизурской церковноприходской школы». Она гласила: «Мизурская церковноприходская школа фактически не существует. Ни здания, ни учебных принадлежностей, ни наглядных пособий, ни учебников не оказалось. Здание совершенно непригодно для школы: тесно, мрачно, холодно, не достроено (потолка и ступенек нет). В школе не оказалось даже иконы, хотя она в приемочном акте и числится. Учитель Уртаев совершил акт кощунства, обменяв икону на глобус. Общество сделало существование школы невозможным: нет попечителя, сторожа тоже, нет квартиры для учителя. Посему освободить учителя Уртаева, впредь до выполнения обществом своих обязанностей в школе».

Когда мизурцы, стремясь сохранить школу, запротестовали, ссылаясь на то, что учитель соглашается работать в таких условиях, наблюдатель Кодзаев возмущенно сказал Уртаеву: «Не умрешь, друг, своей смертью... Не мутит народ!.. Пугачев был куда сильнее, чем ты...»

После этого Уртаев долгое время не мог устроиться на работу. Потом служил в качестве писаря в селе Даргавс, но не поладил со старшиной и ушел. Подал прошение епископу Владикавказскому и Моздокскому Гедонеу о том, чтобы ему разрешили преподавать осетинский язык в Осетинском женском приюте. На это ему было дано епископом разрешение, но Кодзаев воспрепятствовал, говоря, что приют вполне справится без него.

На этот отказ Уртаев писал в газету: «У нас в Осетии есть свой епископ во фраке, который издается над народными деятелями. Этот ренегат, продав вместе со своим человеческим достоинством и свой народ за лишнюю звездочку на петлице, готов до конца изменять программе... Можно ли еще дальше идти в нахальстве? Можно ли этому иезуиту служить в Осетии? Пора, пора избавить Осетию от этого вредного человека!.. Народ осетинский! Взгляни еще раз, кого ты терпишь в своей среде в качестве народного деятеля? Он готов вырвать и затоптать в тебе все святое, даже родной язык...»

После такого конфликта учитель Уртаев долгое время ходил без работы, а последний год был назначен в Гизель в качестве второго учителя в церковно-приходскую школу (вторые учителя содержание получали не от государства, а от общества, заключая с ним договор). К приходу Уртаева в Гизель отношения общества со старшиной были крайне натянутые. Гизельский старшина Кундухов, окружив себя родственниками и знакомыми, стал в Гизели полным диктатором. Крестьяне жаловались на него и начальнику участка, и приставу, но все было тщетно. Учитель Уртаев вызвал у родителей своих учеников полную симпатию и вскоре занял в деревне такое положение, что старшина стал жаловаться начальству на «крамольника учителя».

В последнее время отношения жителей со старшиной до того обострились, что старшина боялся по ночам показываться на улице, а днем грозил учителю карцером. Но, глядя на нахмуренные, сурово-сосредоточенные лица крестьян, боялся привести в исполнение свою угрозу. Школьному сторожу категорически запретил убирать школу, ссылаясь на то, что сторож нанят не на общественные деньги, а на государственные, хотя плату для сторожа он взимал с жителей. Кундухов подал прошение на имя начальника области, ссылаясь на «неукротимый дух» гизельцев. Гизельцы со своей стороны тоже подали жалобу начальнику области, прося убрать старшину и разрешить им самим выбрать себе старшину по вкусу. Для разбора жалоб из города должен был прибыть начальник участка капитан Степанов. Жители, несмотря на то, что была самая горячая пора пахоты, не уходили в поле, высматривая за околицей деревни «начальническую оказию».

Сурат заметила, что улицы деревни многолюдны. На ее вопрос: «Неужели народ еще не пашет?» — мать ответила, что ждут из города начальство, чтоб убрать старшину.

— Это не менее важно, — серьезно промолвила мать и вышла во двор. Во дворе старуха увидела распряженную лошадь сына и обрадовалась. Сын никогда не заезжал домой в будни. Лошадь, мотая торбой, старательно с хрустом жевала корм. Старуха оглянулась по углам двора, но сына нигде не было.

«Когда он приехал? И зачем?» — подумала она и вышла на улицу.

Позвав соседского мальчика, она попросила его обойти соседей и знакомых и оповестить их о том, что к Цуровым приехала в гости сестра и что их просят прийти на ужин отведать гостинцев.

Вечером в опрятно убранном домике цинковоза Цурова чинно восседали седобородые старики, вознося богу молитвы за дом Цурова, Абаева, за того, кто собрал их на ужин, за того, кто послал подарки, за того, кому пришло это на ум. Молодежь сидела отдельно в маленькой каморке учителя. Гостям прислуживал сам хозяин дома, старший брат Сурат Тох.

На минуту оторвавшись от стола стариков, он забежал в каморку учителя, чтоб посмотреть, не стесняются ли его молодые гости. Но в каморке царило напряженное внимание, молодежь сидела вокруг стола, ловя каждое слово учителя:

— По первому удару набатного колокола собратся всем у правления. Не буянить, не кричать на начальство, не выбегать вперед тех, кому поручено передать нашу просьбу, иначе нас всех перехватывают, как бунтарей. Будет грозить выселением, дескать, выселим, как дурдурцев, — не бойтесь. Первое требование: убрать старшину Кундухова. Второе — требовать выборного старшину. Третье — разрешить временнопроживающим арендовать земли у местных землевладельцев. Не ограничивать их в праве выбора места жительства — так писал, вы помните, Коста, о дурдурцах. Требовать освободить временнопроживающих, не имеющих земельного надела, от подводной повинности и ряда других повинностей. Трусость и неорганизованность могут погубить наше дело. Все село не арестуют и не расстреляют. Начальник участка, увидит, что требования исходят от всего народа, и примет меры. Потребуйте, чтоб старшина никакого отношения не имел к школе и не вмешивался в работу учителя. Потребуйте для школы участок земли, чтобы можно было его сделать показательным, чтобы дети, покидая школу, выносили из нее практические знания.

Лица собравшихся выражали решимость. На бледном же сухом лице учителя горящими искорками вспыхивали подвижные глаза.

— Дадим клятву, как давали ее наши предки перед опасным сражением, — пусть на того, кто струсит, лягут гнев и презрение народа...

— Пусть — тихо и грустно произнесли все, став полукругом у стола, давая клятву на молоке, как давали ее в старину. — Пусть позор и изгнание постигнут мой род, если струшу, если вольно или невольно стану помехой общему делу! Пусть!.. Пусть!.. Пусть!.. — торжественно и проникновенно звучали слова старинной клятвы.

Допоздна светилось маленькое оконце в домике

цинковоза Цурова, прорезая мягкую мглу весенней ночи. Несколько раз стражник из правления по приказу старшины проходил мимо дома, прислушиваясь к голосам. Но в доме все было чинно, как полагалось по адату, раздавались голоса стариков, которые возносили богу молитвы. За полночь стражник доложил обо всех, кто был на ужине у рабочего Цурова.

Уже второй раз прокричали петухи, а Сурад все еще возилась у стола, убирая после стариков остатки ужина, складывая их в сито, чтобы утром разнести по соседям. Старуха-мать давно легла спать, и в чутком, старческом сне ей грезились пиры, которые она задавала всему селу. Только в каморке, занавесив окно, не спали учитель и рабочий-цинковоз.

— Не знаю, — говорил учитель, — виновен я или нет, но при первой же возможности гнев и месть старшины обрушатся на меня. Поэтому хочу поручить тебе одно дело, слушай меня внимательно. Я знаю тебя больше пяти лет. Ты не побоялся пустить меня к себе даже тогда, когда другие сторонились. Я верю тебе и поручаю выполнить мою просьбу, выполнить так же точно, как выполнял все до сих пор.

Учитель встал, подошел к кровати, распорол край шерстяного одеяла и вытащил оттуда несколько мелко исписанных листов бумаги. Подсев к Тоху ближе и передавая ему листы, он сказал:

— В случае, если со мной что-нибудь случится, ты эти листы передашь в Садоне рудничному лекарю Светлову. Ты как-то говорил, что знаешь его в лицо.

— Знаю, лечил он меня, мы все его знаем, — проговорил Цуров шепотом. — Кто его не знает, спроси о нем у последнего человека — всякий назовет...

— Скажешь Светлову так: «Доктор, ваш пациент чувствует себя плохо и просит обещанного лекарства...» Запоминай. На это он должен будет тебе ответить: «Лекарство готово, получите его». Только тогда ты передашь ему это. Без этих слов лекарь Светлов не примет от тебя ничего и скажет, что ты ошибся адресом и что он ничего никому не обещал.

Цуров утвердительно кивнул головой и протянул руку за листками, свернул их в трубку и сунул за пазуху.

Большими потемневшими глазами он смотрел учителю в лицо и, преисполненный гордостью и счастливый доверием учителя, проговорил:

— Все сделаю, Алексей! Все! Не подведу, поручи, что хочешь, хоть в горящую избу войду...

Учитель молча пожал ему руку. Перед рассветом они расстались.

На заре Цуров выбрался за Алагир, догоняя арбы.

Над деревней Гизель занялось сыроватое, в густом тумане, весеннее утро. Сонные ребята, в помятых рубашонках, непричесанные, гнали к выгону телят.



С первыми лучами восходящего солнца, позванивая колокольчиком, подъехала к Гизели линейка, покрытая красным ковром. Ребята с любопытством глядели из-под длинных непокорных кудрей на дружную пару лошадей, впряженных в линейку, и продолжали пасти телят. Начальник участка Степанов подъехал к сельскому правлению и вызвал стражника. Сотнику Ермолаеву были вручены списки «неблагонадежных» гизельцев. Степанов дал ему в сопровождение трех казаков и приказал приводить к нему в правление всех «крамольников».

Утро было обычное: девушки подметали у ворот, молодые снохи, которым адат впервые разрешил выйти на улицу после года замужества, опустив на глаза ажурные платки, в длинных нарядах, степенно шествовали с реки с полными ведрами воды. Седобородые старики в теплых бешметах, оголив бритые головы, сидели на солнцепеке, грея кости. Кое-где у домовитых хозяек ранним дымом теплятся очаги. Вон босоногая девочка, держа на черепке дымящуюся головешку, перебежала улицу, торопясь разжечь печь. Кое-где у ворот появляются женщины в запорошенных мукой фартуках.

К школьному зданию подошли казаки, прервали урок, повели учителя по улицам деревни: первым в списках «неблагонадежных» значился учитель Уртаев.

— Казаки повели учителя! Арестовали учителя! — разнеслась по деревне тревожная весть.

Вдруг раздался набатный звон. Толпы людей заполнили улицы. Так схороненная на ночь головешка вспыхивает утром, когда хозяйка разгребает ее из-под золы, чтобы развести огонь. Мелкие искорки с треском летят во все стороны. Одна минута — и горит костер... С кольями, топорами и дубинками в руках толпа поползла к правлению и окружила его.

Капитан Степанов, стараясь не ронять достоинства, вышел навстречу толпе и поднял руку.

— Господа, господа!.. Не воевать же я к вам пришел, что вы, одумайтесь!..

— Ты пришел нас разорять! Ты — защитник старшины! Где он? Где он, старшина — кровопийца? Давай старшину! — раздавались в толпе гневные выкрики. Толпа неудержимо хлынула к правлению, требуя освобождения учителя.

— Ермолаев! Лови крикунов! — закричал Степанов, но в этот момент удар кулака свалил его с ног.

Молодой крестьянин, потрясая над толпой дубиной, звал покончить со всеми сразу:

— Бейте их всех! Двух смертей не бывает, бейте!

— ...Где учитель? Давай нам нашего учителя — редела толпа, наступая на начальника.

Удары один за другим падали на него, его силой втащили в правление. Сотник Ермолаев приказал дать залп в воздух, и толпа, как вкопанная, остановилась. Казаки в плотное кольцо сжали восставших, не выпуская их. Присмиревшая толпа угрюмо стояла в кольце окружения. Старшины в деревне не оказалось. Зная заранее о приезде начальства, он скрылся, будучи уверенным, что ему не миновать гнева своих односельчан. Вместо себя он подставил разъяренным жителям начальника участка.

Солнце клонилось к западу, вечер был тих, воздух быстро охлаждался. Матери, жены и сестры умоляли стражу принять для арестованных вещи, но передача была запрещена. Поздним вечером, когда через Гизель потянулись арбы цинковозов, сотник Ермолаев приказал остановить их.

Арестованных сельчан со связанными руками и но-

гами покидали в арбы и увезли в город. В первой арбе лежал учитель Уртаев, которого вез цинковоз Цуров. Два казака сопровождали его арбу, и возчику не разрешалось даже оглядываться назад.

— Эй, гололобый, не оглядывайся! Абрек, плетей захотел? — тыкал его казак в спину.

* * *

Рабочий поселок Садон находится в самой сердцевине рудников. Поселок как бы с разбегу упал с высокого холма, частью зацепился за его скат, а частью прилепился к ложбине. Рабочие бараки в беспорядке раскинулись на небольшой площадке. Только два кирпичных дома стоят в стороне от барачных, поодаль от шахт. Это — квартиры рудничной администрации и технического персонала.

Цинковоз Цуров несколько раз прошел по узенькой улице поселка, потом, подойдя к одноэтажному кирпичному дому, прочитал надпись на парадных дверях: «Лекарь Светлов».

Цуров постучал концом плетки, держа забинтованную руку перед собой. Дверь открыл пожилой мужчина среднего роста в белоснежном халате и, увидев перевязанную руку Цурова, привычно сказал:

— Ко мне, прошу, — и пропустил пациента впереди себя.

Когда дверь на улицу захлопнулась, Цуров, оглянувшись по сторонам, приостановился и сказал:

— Доктор, ваш пациент чувствует себя плохо и просит обещанного лекарства.

Светлов вскинул на Цурова большие серые глаза с массой мелких морщинок у висков и просто ответил:

— Лекарство готово, получите его.

Он шагнул вперед, открыл перед Цуровым дверь и пропустил его в комнату, которая заменяла Светлову кабинет.

— Я вас, кажется, лечил от малярии, помню ваше лицо, цинковоз!.. — проговорил лекарь, оглядев его с ног до головы.

— Лечился я у вас. Кто вас на рудниках не знает. Никанор Петрович? Кого вы только не лечили!.. — тепло промолвил рабочий, не спуская с него глаз. — От учителя я, от Алексея Уртаева, — добавил он, вытаскивая из-за пазухи небольшой сверток бумаги.

— Из Гизели? Как там дела? — коротко спросил Светлов, беря из рук Цурова сверток.

— Посадили... Увезли всех в тюрьму, более сорока человек... — Сообщил Цуров, выжидательно глядя на Светлова. Светлов быстро развернул бумагу и торопливо пробежал глазами записку: «Никанор Петрович, возвращаю «Манифест». Переписал в двадцати экземплярах. Отдал в надежные руки. Подателю записки доверяйте, как доверяли мне, ручаюсь. За меня никаких хлопот не затевайте, выживу, потому что хочу жить. Алексей».

— Руду сегодня повезете или завтра? — спросил Светлов, пряча бумаги в ящик стола.

— Сегодня же, сейчас... забежал вот на минутку. Арбы за поселком, только с Мизура. Сказал товарищам, что руку перевязать, к лекарю...

— Давай перевяжу, — предложил Светлов, беря его руку.

— Рука здоровая... я только так... для товарищей, чтобы не дивились моему отсутствию... — пояснил он, смущенно развязывая грязную тряпку на руке.

— Хорошо придумал, — заметил Светлов, перевязывая здоровую руку рабочего. — Давно с учителем знаком?

— Давно... Еще с Мизурской школы. Мы, несколько цинковозов, ходили к нему на квартиру. Он русской грамоте нас обучал по воскресеньям. А потом вот с иконой у него пеладно вышло...

— Да... — протянул Светлов, улыбнувшись. — Как же, помню эту историю с глобусом... Поменял Уртаев икону на глобус, и за это его тогда с работы сняли. А вот теперь, пожалуй, похуже глобуса будет... Вы — переходя сразу на другой тон, промолвил Светлов, — сделайте мне одолжение, передайте в городе моему зятю письмо. Вы его должны знать. Он на заводе, инженер Сергеев, не слыхали?

— Слыхал, — подумав немного, ответил Цуров, —

сам не видал его, но от брата слышал. Брат мой на заводе печным работает. В прошлом году у них в цинковом цехе рабочий Петров сгорел. Так, говорят, инженер Сергеев выхлопотал ему денег на похороны и жене пособие... Найду через брата...

— Нет, вы уж лучше сами его найдите. А о том, что он вам нужен, никому не говорите. Брат у вас моложе или старше? — спросил Светлов.

— Моложе, — ответил Цуров.

— Так вот, пойдете на улицу Мещанскую, дом № 18, квартира инженера Сергеева. Если кто из любопытства спросит, так просто и говорите: «С рудников, по поручению, велено ему письмо передать» — и все, понятно? — спросил Светлов, забинтовав ему руку.

На маленьком клочке бумаги он торопливо набросал: «Тихон! Очень прошу тебя, положи мою шубу в сундук, да посыпь ее получше нафталином. Весна, жаркие дни наступают, как бы мошь не повредила, смотри... Шуба-то ведь дорогая, испортится — не прощу. Наведался бы сам, давно и Верочку не видел, скупаю. Как Сашенька? Поцелуй ее за деда. Н. Светлов».

— Счастливо, поправляйтесь, — сказал Светлов, закрывая дверь за своим «пациентом».

Пройдя к себе, он беспокойно забегал по маленькому кабинету.

Студент Петербургской медицинской академии Светлов попал на Кавказ во время «каракозовского дела». После казни Каракозова прошло не так много времени, только улеглись первые волнения. Страшная расправа с «цареубийцей» была еще так свежа в памяти студентов-современников, что не проходило дня, чтобы в участок не приводили студентов по «делу Каракозова».

Однажды Светлов с двумя товарищами пошли за Васильевскую заставу, разыскивать могилу Каракозова. Один из студентов говорил, что он точно знает, где похоронен Каракозов, что могилу ему показывал якобы сам могильщик, засыпавший его тело. Розыски завели их далеко, на свалку, где среди самоубийц, нищих и бродяг была, сравнивавшаяся с землей, могила Каракозова. Бог лишал своего помилования это

кладбище-свалку даже и на том свете. Даже муки, которые перенес Каракозов на виселице, не сыскали ему прощения. Поэтому могила желтеньким невысоким бугорком, без креста, без особых примет, расплюснутая, прижалась к земле.

В тот момент, когда Светлов завязывал в носовой платок куски желтой глины, взятой с могилы, перед студентами выросли фигуры полицейских, и их повели в участок. Через месяц студента Светлова приписали к этапу политических и отправили на Кавказ, на вечную каторгу. Попал Светлов на Садонские рудники с кандалами на руках и ногах.

Через год по «высочайшему разрешению» к Светлову приехала жена, которая поселилась в доме местного пастуха Дреева. Светлов катал под землей тачки с рудой и оказывал медицинскую помощь пострадавшим рабочим и всем, кто нуждался в его услугах. Через некоторое время слава о лекаре-колоннике просочилась через стены его заточения. Часто сама администрация рудников пользовалась его услугами, особенно в срочных случаях, когда заболели дети. Один случай в жизни ссыльного студента сыграл особенно большую роль. Заболел трехлетний сын старшего инженера шахт, и обеспокоенные родители обратились к лекарю, который оказал ребенку своевременную помощь. Через год, по ходатайству рудничной администрации, с него сняли кандалы. А через пять лет ему было разрешено жить в отдельном бараке, но с непременным условием оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался. И потекли к нему из далеких селений, как на паломничество, горцы со всеми своими страданиями. Приводили трахомных стариков, рахитичных детей с кривыми, как колеса, ногами. Приходили к нему молодые пастухи с изжелта-шафрановыми лицами, с малярийным ознобом, прося помощи от «трясучки лихой». Появлялись стройные, как тополи, молодые девушки с прозрачной кожей лица, с яркими пятнами на щеках, с глухим кашлем и смущенно молили лекаря вылечить их от «кашляющей болезни». Туберкулезная молодежь вызывала у него жгучую боль и бессильную злобу. Тогда долгими ночами каторжник-лекарь

неустанно ходил по маленькой каморке своей и думал: «Нет, ты был неправ, Каракозов. Но большим страданием искупил ты вину перед последующими поколениями. Был ты неправ, бросая бомбу в царя. Разве смерть царя могла убить трахому, чахотку, малярию и все бесчисленные страдания, которые несет народ?»

Укутав голову в одеяло, он горячо дышал в жарком мраке ночи, уносясь в Петербург и вспоминая время, когда он был молодым цветущим человеком с густой шевелюрой светлых рассыпчатых волос. А утром на него глядело из зеркала сморщенное, усталое лицо с горящими, воспаленными глазами, с седыми прядями волос и застывшим страданием на сморщенных тонких губах. Только теперь, когда прошли годы и у него—уже замужняя дочь, лекарь Светлов, сосланный на Кавказ на вечную каторгу, знал, что нужно делать, чтоб торжествовала справедливость...

— Моя маленькая каторжница, — так называл он свою дочь Веру, которая родилась у него здесь, на рудниках. Жена Светлова, учительница музыки, добровольно разделила с мужем ссылку и воспитала дочь. Девочка росла на рудниках, общаясь с детьми рабочих и местных крестьян-горцев, хорошо понимала осетинский язык и часто ходила с матерью в ближайшие села, служа матери хорошим переводчиком. Когда Вере исполнилось семнадцать лет, она познакомилась с рудничным инженером Сергеевым, который часто бывал в семье ссыльного лекаря. А когда инженер Сергеев сделал Вере предложение, отец был тронут таким вниманием молодого инженера и, взволнованный, сказал:

— Не знаю, Тихон Васильевич, как мне вас благодарить за такую любовь. Но дать вам свое согласие на брак не могу, вы молодой, вся карьера у вас еще впереди. Верочка моя, знаю я, была б вам достойной женой, но боюсь, что дочь каторжника помешает вашей карьере...

— Если у вас нет других причин отказать мне, Никанор Петрович, так могу вам сказать, я испрашивал разрешения у самого епископа, и он ответил, что

дети не несут ответственности за ошибки родителей. Епископ дал разрешение венчаться с Верой...

Так дочь ссыльного лекаря Светлова стала женой инженера Сергеева. Через год Сергеева перевели на свинцовоцинковый завод во Владикавказ. Молодые поселились на улице Мещанской, № 18.

Сейчас у Верочки была уже дочь Сашенька, в которой дедушка души не чаял.

В то утро, когда цинковоз Цуров стоял у дверей Сергеева, в городе шел крупный процесс по делу гизельских крестьян, покушавшихся на жизнь начальника участка.

Самого Сергеева дома не оказалось, на звонок вышла молодая женщина со светлыми волосами и очень темными глазами. Обрадовавшись письму отца, она попросила Цурова зайти к вечеру, когда сам Сергеев придет с завода.

2

Над степью стояла желтая теплая пыль, чернели холмы и низины. Жирный коричневый перегной ложился ровными пластами под блестящим лемехом плуга. Задрав хвосты, ходили галки по вспаханным полям — искали червяков. Дергая головами, тащили лошади тяжелые плуги. Босоногие ребятишки, сидя верхом на лошадях, мечтали о том, как бы вволю побегать.

В эту весну земли, арендованные осетинами у Архонского станичного управления, острым клином вошли в казачьи владения. Те из крестьян, кто были побогаче, имели свои участки. А тот, кто не имел собственной земли, волновался, как бы земля его не оказалась рядом с пашней казака.

— Неприятностей не миновать, — предсказывали они.

Макушев, сороколетний казак, с умными холодными глазами, длинными русыми усами, вместе с Сафа Абаевым приехал сегодня посмотреть на пахоту.

Макушев имел сто десятин собственной земли,

мельницу на Черной реке у станции Дарг-Кох. С Сафа они были дружны и сегодня вместе выехали посмотреть на работу пахарей. Сафа давно завидовал Макушеву, чья мельница стояла на незамерзающей реке. Он предлагал Макушеву объединить мельницы, а на станции Дарг-Кох открыть скупочный пункт кукурузы. Сафа доказывал выгодность этого предприятия, уверяя, что вся кукуруза Осетии будет проходить через их руки. Крестьяне сами подвезут кукурузу к станции, где ее будут грузить в готовые вагоны.

Макушев знал: на кукурузе можно разбогатеть, покупая ее у крестьян по десять копеек за пуд, а весной им же продавая дороже. Однако оттягивал окончательное решение этого вопроса, говоря, что его мельница на незамерзающей Черной реке и, хотя у Сафа мельница больше, все-таки тот должен внести в пользу Макушева деньги. Сафа не соглашался.

Подъехав к макушевским пахарям, они расстались: Сафа пошел через вспаханное поле на свою землю, Макушев остался на своем участке.

За наемными работниками Макушева следил его горбатый сын, единственный наследник макушевского богатства.

Подойдя к отцу, горбун пожаловался, что пахари-осетины дразнили его, называя горбатым верблюдом, а казаки, работники отца, не заступились, наоборот, смеялись вместе с осетинами.

Макушев болезненно любил сына. Оскорбленный за него, он подошел к одному из пахарей и наотмашь ударил его по лицу. Казак выругался и, выплевывая окровавленный зуб, схватил с земли плетъ, которой он погонял лошадей, и хлестнул ею Макушева по лицу.

Завязалась драка. На помощь казакам прибежали пахари-осетины. Но тут один из казаков, схватив дубину, которая служила для подпорки шалаша, огрел осетина по голове, крича:

— Ах ты, антихрист гололобый, не смей вмешиваться! Мы своего бьем, ты не лезь... Не имеешь права казака бить!

Осетин скорчился, свалился у межи. Макушев

обрадовался, видя, что работники его набросились на осетин, схватил сына и утащил его. А казаки и осетины, колотя друг друга, катались по земле.

Вдруг их окружили всадники, вынырнувшие из-за леса.

— Освобождай коней! — властно крикнул один из них. Лицо его было укутано в светлый башлык, а из-под складок башлыка темнела густая борода. Одну руку он держал в кармане, а другой придерживал тонконогую нервную кабардинку.

Остальные всадники, тоже укутанные в башлыки и все хорошо одетые, молча окружали пахарей.

— Давай, освобождай коней! — приказывал тот же всадник. — Повезете покойников в село и скажете, что убиты во время налета абреков... Дураки! За что друг друга порезали?! Лучше уж на нас свалите...

Он ловко соскочил с коня и, показывая на подъехавшую подводу, сказал:

— Вот кого бить надо. Вот кто ваш кровник, а вы, друг друга режете.

В кузове арбы, связанный по рукам и ногам, лежал Сафа. Нарядная черкеска и дорогие сапоги были сняты с него.

Сюда же подвезли связанного Макушева и его горбатого сына и уложили рядом с Сафа.

— До вечера не отпускать, — приказал все тот же всадник.

Согнав в кучу лошадей, всадники погнали табун в сторону Черного леса, на границу с Кабардой.

Из-за холма показалось стадо коров. В то время, как одни абреки отбирали лошадей, другие — гнали к назначенному месту коров.

Коровы мычали, густыми голосами вторили им племенные быки.

Трое вооруженных остались караулить связанных, остальные погнали дальше богатую добычу.

— До вечера никого не отпускать в село! — крикнул все тот же всадник оставшимся товарищам.

Придерживая лошадь, он на ходу поправил подол новой коричневой черкески и галопом поскакал на запад, догоняя товарищей. Впереди темной стеной

стоял Черный лес — пристанище всех абреков и изгнанников. Спускались сумерки, пахло пылью.

* * *

В то время, как абреки угоняли стадо к Черному лесу, в нарядном доме Сафа два его сына сидели на веранде и играли в шахматы. Георгий по делам службы приехал во Владикавказ и на несколько дней заглянул к родителям в село.

Старший брат, лавочник Гамази, проигрывал младшему одну партию за другой и заметно нервничал.

— Тебе, впрочем, во всем везет. И погоны тебе, и образование тебе, и красивая жена тебе, — раздраженно говорил он.

Георгий расхохотался и, стукнув брата по плечу, сказал:

— Тебе больше дано, чем всем нам. У тебя — деньги, а деньгами все достать можно: и почет, и славу, и дома, и любовь. Не ропщи, ты из всех братьев самый богатый...

В это время жена Гамази, Сурат, прошла в кладовую, неся полную корзину яиц.

Гамази посмотрел ей вслед и горько усмехнулся.

— Любовь, говоришь... Нет, любовь за деньги купить нельзя... Смотри, вот, — кивнул он головою в сторону жены, — что ей ни купи — ничему не рада, ни за что не благодарит. Не греет ее моя любовь... А ты говоришь, за деньги все купить можно...

Жалобы брата напомнили Георгию ревнивые письма жены. Находясь в командировке, он ни разу не написал ей. Ему вдруг захотелось увидеть жену.

Отложив в сторону шахматы, он громко позвал денщика, но на зов никто не явился.

Капитан встал и хотел уже пройти в комнату, но в это время на пороге появился Иннокентий. Длинный, как минарет, Иннокентий в нерешительности остановился, ожидая приказаний.

— Где пропадал, скотина? Сколько раз зову, те-терев глухой!

— Так что чистил посуду, ваше благородие, руки измазанные, желал помыть.

— Покажи руки...

Грязь от кастрюль налипла на руках почти до самых локтей.

— Мажь рожу и стой, пока не скажу «вольно».

Иннокентий поглядел на свои черные пальцы, потом на своего господина — не смягчит ли он наказание. Но, увидя злую поперечную складку между его бровями, понял, что капитан в настоящем своем «естестве», а потому помилования ждать бессмысленно.

Закрыв глаза, он спокойными движениями аккуратно мазал лицо, будто втирал в кожу ароматную мазь.

Капитан следил за «работой» и, когда денщик кончил мазать, спросил его:

— А теперь, верзила, скажи, где тот розовый конверт, что я дал тебе вчера?

— Так что, ваше благородие, бумага-то у вас под матрасом спрятана, боялся, може, кто польстится...

Розовые листки почтовой бумаги пахли духами жены. Георгий писал:

«Ругаешься, моя златокудрая, что долго не писал — был занят. Чем? Расскажу потом. Ты же — умница. А тут вдруг заныла и прислала письмо из одних глаголов: «забыл, разлюбил, не вспоминаешь, не тоскуешь, не любишь, гуляешь»... Завтра упаковываюсь, дня через три жди меня.

Во Владикавказе был у княгини Макаевой. Князь и княгиня тебе кланяются и в один голос называют тебя обаятельной женщиной. Княгиня говорит, что встретила в тебе первую женщину, в которой так умели бы ужиться злость и доброта, коварство и наивность, красота и ум, непринужденность и дерзость. Но для меня все это не новость. Что ты умна и красива (что в женщине редко сочетается), что я с тобой счастлив — это ты знаешь. Недаром меня в полку дразнят: «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой».

Письма твои получил. Желания выполнил: ни за кем не ухаживаю, не толстею. Дамское общество, ко-

торое окружает меня, для тебя не опасно: бездетная попадья, толстая, как взбитая перина, да пятнадцатилетняя учительница в сатиновом платье, наглухо застегнутом до подбородка, синий чулок.

Всего, всего тебе желаю. Встречай меня в голубом халате.

Твой абрек Зелим-хан».

Запечатав письмо, он закинул руки за голову, сладко зевнул и потянулся.

— Инно... Иннокентушка, дурачок ты мой, да какой же ты смешной! Ты все еще стоишь? — удивленно спросил он. — Не умылся?

— Так что, ваше благородие, было велено в таком образе держаться.

— Фу-у! Кто старое помянет — тому глаз вон, — говорил подобревший капитан. — Изыде, сатана! — хохотал он, подозвав к себе денщика. — Завтра упаковывай вещи, послезавтра едем. День, два проживем еще в городе. Не хочешь? Что молчишь? Я с тобой советуюсь, а ты молчишь. Или ты обиделся? Ничего, Инка, на том свете ты будешь в раю, а я — в геенне. Блаженны пищие духом, ибо узрят они царствие небесное... Кажется, так в писании говорится?

— Так что, ваше благородие, не изволили сказать «вольно», чтобы мне дозволено было грязь с лица снять...

— Сними, сними. Разве я тебе мешаю? Поедем во Владикавказ, у княгини Макаевой проживем... Как тебе кажется, Инка? Ты что молчишь? — весело говорил Георгий.

— Оно, конечно, что для вас приятно, то для меня правильно должно казаться. Княгиня женщина самостоятельная, да паша-то барыня ее не хуже, — ответил он.

— Вот как? То паша! Наша нам останется, не сбегит, а ворованное — вкуснее. Как думаешь, а?

— Так что, ваше благородие, оно, конечно, как вы человек ученый, что вам правильно кажется, то и в моем рассудке должно так быть, чтобы мне супротив не идти. А что ворованное вкуснее, — продолжал денщик, — так оно не каждому одинаково под сласть.

Полковой-то казначей, что в прошлом году, на третий день пасхи, самолично из нагана себя покончил, ему, ваше благородие, должно, ворованное не казалось вкуснее...

Капитан был мечтательно настроен, поэтому улыбаясь, посмотрел на веснушчатое лицо денщика и благодушно сказал:

— Ты философ, Иннокентий.

Он снова потянулся, зевнул и вполголоса запел.

Густые весенние сумерки заполнили веранду. Было тепло и тихо.

* * *

А в большом дворе Гуларовой в этот теплый весенний вечер было сумрачно и безлюдно. Осень, зиму и весну прожила Хадизат в доме Саниат. Вытянулась, повзрослела. На ее похудевшем детском лице с недетской суровостью блестели большие карие глаза. А из-под бордовой шелковой шали по-прежнему непокорно выбивались светлые кудряшки, падая на темные, выгнутые брови.

Светло-синее шерстяное платье плотно облегалo ее плечи, а узенькие ноги в ярко-красных сафьяновых чужаках бесшумно, мелкими шажками ступали по хрустящим песчаным дорожкам двора.

Высокая, тонкая, она казалась старше своих пятнадцати лет.

Все распоряжения по хозяйству, которые делала свекровь, она выполняла точно, но без дела никогда не говорила со старухой. Ни шутками, ни лаской, ни дорогими подарками нельзя было заставить ее разговариваться.

Саниат иногда старалась улыбнуться ей, трогая ее то за плечо, то за руку, старалась приласкаться к ней, надеясь получить в ответ ласковый взгляд или улыбку, но Хадизат нервно дергала плечами, отводила руку свекрови и с чувством нескрываемой злобы говорила:

— И чего вы улыбаетесь? На вашем месте другая давно удушилась бы...

Саниат искала пути к сердцу Хадизат, она ни в чем не отказывала ей, но равнодушна была Хадизат к предупредительному вниманию старухи.

Поджидая стадо, Саниат присела под сладко пахнущей липой. Раскидав пушистый ковер ветвей, дерево покрывало весь двор ароматным желтым пухом. Хадизат с ведром в руках стояла у хлева, прислушиваясь к нетерпеливому мычанию телят.

Саниат любовалась ее высокой, гибкой фигурой. Завороженная теплотой вечера, она вспоминала себя в молодости:

«Так же была высока и статна... Нет, не может она не родить. Она должна... должна родить...» — думала Саниат, мучительно ища выхода из этого положения.

В то осеннее утро, когда Атарбек вышел от Хадизат, сам не понимая, зачем Саниат послала его в комнату молодежи, он предстал перед Саниат со счастливой улыбкой на лице. Саниат, увидя своего брата в костюме младшего сына, вся задрожала от ненависти, задохнулась, зашла в долгом, судорожном кашле, прошептав:

— Несчастный, разве прислуживать гостю — значит проспать всю ночь в комнате? Уйди и не показывайся сюда, пока не позову...

В этот же вечер она послала за старшиной, думая: «Недаром Дрис приметил ее. Уверена, что она ему мила, иначе зачем старался, чтобы именно Хадизат поклонилась моему очагу, а не другая? А мне не все ли равно, от кого родит эта безродная девушка, раз не от моих родных сыновей. Пусть Дрис разделит мой позор. Он силой власти сумеет защититься не то, что мой пастух...»

С присущей Саниат откровенной резкостью, она прямо сказала Дрису, что не отпустит сноху до тех пор, пока та не подарит наследника ее сокрушенному очагу, что молодая венчана с Дзобеком в божьем храме, перед всем миром. А что ребенок у нее родится неделей позже — до этого нет никому никакого дела. Хорошо известно: что не прощается нищете, то прощается богатству.

— Проверила я лживый человеческий род... — закончила Саниат.

Старшина, не поднимая глаз на Саниат, молча слушал, потрясенный ее упорством и злым нахальством. Он не мог, даже при лучшем исходе этого дела, ожидать со стороны Саниат такого прямого предложения. Дрис становился у грани своей возделенной мечты и в этот же вечер, одетый в белую черкеску, которую не надевал уже лет десять, появился в комнате Хадизат.

Когда старшина вошел, Хадизат не обернулась. Опершись загорелой щекой на маленькую теплую ладонь, низко опустив на глаза белую бахромую шелкового платка, она сидела у стола, улыбалась и ждала, когда подойдет к ней Атарбек и горячо прошепчет:

«Сагут, моя маленькая Сагут...». «Журчишь, как талая вода...» — целый день вспоминала она его слова и нетерпеливо дожидалась вечера, зная, что адат не позволяет ему войти к ней в комнату днем.

Она почувствовала, что он уже в комнате, и нетерпеливое волнение охватило ее. Еле удерживалась, чтобы не засмеяться, не закружиться по комнате. Она слышала шорох его одежды, его дыхание и, не утерпев, вскочила со стула, скинула с головы платок, резко повернулась к двери лицом, чтобы прыгнуть ему навстречу, повиснуть на его руках и покачаться, как бывало, качалась у деда в горах...

Но... вместо желанного увидела на пороге Дриса... Старшина снимал с плеч белый башлык, сверкая позолотой газырей, молча и внимательно разглядывал девушку.

Бесшумно ступая по бархату ковра, он блестящим носком лакированного сапога толкнул дверь. Не торопясь, привычным движением, словно был в своей спальне, дважды повернул в двери ключ.

Хадизат испуганно отшатнулась, отбежала в угол и, ничего не понимая, побледневшая от страха, смотрела старшине прямо в глаза.

Она вспомнила, как часто в то лето он ходил к ним и долгими вечерами угощал отца вином, а уезжая, подарил отцу кинжал и бурку.

В то холерное лето, когда Дрис гостил в горах, Хадизат никогда не оставалась с ним наедине, хотя он был с ней ласков и приносил в дом гостинцы.

— Не смотри на него, Сагут, он богат — значит, не добр, без жалости в душе, — говорил ей дед, не разрешая находиться в комнате, когда старшина бывал в гостях.

Уезжая с гор на равнину, старшина на прощание сказал ей:

— Лучшие женихи на равнине не пожалеют своих табунов, чтобы взять тебя в жены...

Хадизат прижалась в угол, на белом ее лице губы, как две темные полоски, пальцы собраны в кулачки.

— Не подходите, уйдите! Я позову Саниат! — вскричала девушка.

Но старшина, переступая с ноги на ногу, подсел к столу и, ухмыльнувшись, сказал:

— Ты плохо знаешь, мое солнце, свою свекровь. Бог бессилен с ней бороться, а ты хочешь ее побороть? Без желания Саниат в этом доме ничего не делается, дверь не скрипнет, если она запретит. Другая на твоём месте могла бы стать богаче ее самой, запомни это и не противься ее воле... Подойди ко мне, я не враг тебе, ты знаешь меня давно, не раз бывал принят в доме твоего отца...

Старшина встал и, ступая сперва на пятку, потом на носок, гарцующей походкой приблизился к девушке.

— Не подходите ко мне! Уходите! — воскликнула Хадизат, вся дрожа от страха и омерзения, и, беспомощно оглянувшись по сторонам, потянулась за медной тарелкой, висевшей на стене в качестве украшения. Сорвав тарелку, она замахнулась ею и пустила в старшину. Старшина схватился за висок рукой, пошатнулся и присел на тахту. Хадизат увидела на растопыренных его пальцах кровь.

— Ну погоди ж, — прохрипел старшина, — погоди-и!

Он поднял с пола белый платок Хадизат и вытер им рассеченный висок. Затем толкнул стол поском сапога и, проходя по комнате, проговорил:

— Я не тороплюсь, подожду... Привыкнешь... ко

мне. На этом или на том свете, а все равно — будешь моей, — сказал он, лег на тахту, подsunул мутаку под голову и проспал до утра.

С той ночи прошли месяцы, а старшина все не терял надежду, что Хадизат привыкнет к нему и станет желанной тайной его жизни... Приходя к ней вечерами, он приносил массу сладостей, но в следующий вечер все находил нетронутым. Хадизат не брала их, боясь и его, и подарков, как заразной болезни. Она прятала в узкий рукав шелкового платья тонкий, острый нож, думая:

«Убью, если он приблизится ко мне. А если не сумею, покончу с собой. Пусть дада перенесет и мою смерть, как перенес он смерть Фаризат, раз не сумел меня уберечь».

Но, когда она думала о смерти, ей делалось мучительно жалко себя. Она рыдала, вспоминая короткое свидание с Атарбеком. Хотелось дожидаться его прихода, как бы долго ни пришлось ждать. Она никогда не заговаривала о нем с Саниат. Ради него она выносила присутствие ненавистного ей Дриса, общество злой своенравной Саниат, весь ее страшный, мрачный дом, окруженный какой-то злой колдовской тайной.

Саниат изо дня в день искала в тонкой девичьей фигуре снохи признаки беременности, ненавидела и ее, и Дриса, зная, что отступать уже нельзя. Ненависть к старшине, злость на Хадизат, страх за свой очаг, которому она не может пайти опору, сделали Саниат не в меру жестокой и требовательно-властной ко всем людям, которые хоть каким-либо образом соприкасались с ней. Больше всего старуху злило молчание Хадизат, ее упорное нежелание подарить наследника.

— Родишь ребенка и будешь жить, как сама захочешь, — говорила ей Саниат, намекая, что богатство и молодость принесут ей в жизни все удовольствия, которые при других условиях не доступны женщине...

Саниат хотела видеть Хадизат, которой оставляла свои несчитанные богатства, такой, как она сама. Увидеть в ней долю своего ума, страсти и беспокой-

ства; ту жадность и неутомимую энергию, которым в свое время завидовали даже мужчины; все то, что ей, бесправной женщине, дало возможность разбогатеть и добиться самостоятельности и относительной свободы. Но Хадизат была равнодушна к ее пушистым коврам, к блестящей медной посуде, к шелковым одеялам, к пуховым платкам. Часто она накидывала на голову полнившую ситцевую повязку, которую привезла с собой с гор. Тогда Саниат, нервно подергивая острыми плечами, укоряла ее:

— О гормон, гормон, разве моей единственной снохе нечего надеть на голову? Двенадцать шелковых платков с аршинной бахромой лежат у тебя в сундуке... Носи их, а если мало — куплю тебе еще...

— Что-то стадо запаздывает, девушка, выпусти телят, пусть порезвятся, — сказала Саниат, оглядывая сноху немигающим взглядом зорких поблекших глаз.

Хадизат вообще не выносила этого пристреливающего взгляда свекрови и сейчас грубо спросила ее:

— Что вы, первый раз меня видите? Что вам надо? Я боюсь вас, не смотрите на меня так!

Саниат оскорбилась и, задрожав от злости, еле сдерживаясь, ответила ей приглушенным голосом:

— Никто меня никогда не боялся, а тебе тем более не следует. Я не враг тебе... Своего счастья ногой не отталкивай, толкнешь — не вернешь. Счастье все равно, что тяжелая ноша. Ее удержит только тот, кто поднимает ее, — зло добавила она и прошла под сарай.

И вдруг теплую тишину весеннего вечера разорвал набатный звон церковного колокола:

— Бом-бом, бом-бом, бом-бом! — заливались в тревожном перезвоне колокола на церковной вышке.

Уже в домах зажглись лампы, дремали на жердочках куры и только голодные телята мычали неистово-протяжно.

Не спали дети. Видя тревогу родителей, маленькие хватались за подола матерей, большие, перегоняя друг друга мчались к выгону.

Женщины с грудными детьми на руках, просто-волосые, перепуганные, старики и дети бежали на церковную площадь.

Общественный пастух Ибрагим, запыхавшись, сообщил, что абреки угнали стадо Сафа и Саниат, а общественное стадо цело, оно пасется за лесом и скоро его пригонят.

Вздых облегчения пронесся над толпой, но волнение не улеглось.

— Бим-бом, бим-бом, бим-бом!—разрывались колокола, и тревогой наполнялись материнские сердца...

Давно уже поднялась луна, а погоня, налаженная за абреками, не возвращалась. Уснули дети.

Женщины не смыкали глаз. Матери тревожились за сыновей, сестры за братьев, жены за мужей.

У ворот на бревнах, на камнях, стыдась своей слабости, сидели больные мужчины.

Разговор был один: угнали табун, угнали стадо Сафа. Как ему теперь, в разгар весенних работ, без коней?

— Живем же мы, «временные», без коня, без коров, без хаты и без земли, — сказал один из «временных». — Пусть и Сафа как-нибудь поживет, не равняться ему со мной...

Погоня вернулась. Она привезла в арбе убитого, укутанного в черную бурку.

В ночной тиши слышался плач. Со всех концов села бежали матери и жены. Забыв обо всем, бежали туда, откуда слышались горестные мужские голоса.

И долго еще в тишине весенней ночи висела тревога и печальный, протяжный, как песня, плач женщин, испуганные крики, завывание и лай встревоженных собак.

3

С того времени, как Темур покинул село, обвиненный в убийстве Дзобека, Разиат ушла от Саниат и перебралась в маленькую каморку Кадаевых.

Старая мать Кадаевых, хотя сыновья имели всего три десятины земли, горделиво шествовала по улицам села, зная, что все смотрят на нее, как на мать двух

красавиц и двух сыновей, молодых и здоровых. Два брата Кадаевы только недавно «стали на ноги», построив за селом сарай и под ним две комнаты.

В тот день, когда по селу разнеслась весть о том, что Темур убил приемыша Саниат, старший Кадаев первый предложил Разиат переселиться к ним в свободную каморку, которая находилась поодаль от нового дома, в саду. Не жить же ей в доме своего кровника...

Сестры с почтительным вниманием относились к Разиат, восхищались ее рукоделием. Сафьяновые чужаки, которые вышивала Разиат золотом, славились далеко, ажурные платки, сплетенные ее руками, отличались среди остальных платков особой тонкостью и вкусом. Приезжали из соседних сел, чтобы Разиат сваяла бурку. Башлыки, вышитые ее руками, носили даже знатные русские начальники.

В этот летний вечер Разиат, сидя у порога чужой каморки, тоскливо следила за потухающими зарницами заката. Синеватые белки ее глаз порозовели, а похудевшее лицо оживилось под нежными красками вечера. В больших глазах — постоянное беспокойство и тоска. Она тяжело переносила разлуку с мужем, не говоря уже о том, что не разгибая спины, сидела над вышиванием, над бурками и башлыками, помогала старухе Кадаевой по дому, так как иначе ничем не могла отблагодарить за внимательный прием.

Все сильнее было желание увидеть мужа. Тихими безмолвными ночами Разиат не спала, чутко ловя каждый шорох и движение около своей каморки.

«Если только у него осталась хоть одна нога, чтоб приползти — он придет. Если нет даже глаз, он найдет дорогу ощупью... найдет».

Она вспоминала первые дни их брака, когда Разиат, завязав ему глаза, говорила:

— Ищи...

Сидя у порога, Разиат с печальной лаской в глазах следила, как Аслан мастерил из двух ниточных катушек повозку, просовывая в них топенькую хворостинку — «ось» и прилаживая к ним дощечку — «кузов». Мать до самозабвения любила сына. Малень-

кий Аслан повторил в себе всю внешность отца: черные волосы, широкую крутую спину, гибкие, не по-детски крепкие ноги и прищур отцовских глаз, когда смеялся. Тяжело вздохнув, Разиат подозвала сына. Он неохотно подошел, держа повозочку перед собой, боясь, как бы мать неосторожным движением не испортила ему «работу». Разиат прижала его к груди, поцеловала в смуглые щеки, и спазмы сдавили ей горло.

«Несчастный ты мой, обездоленный», — подумала она, отпуская ребенка.

Мальчик не ответил на ласку, сел и, углубившись в «работу», не обращал на мать внимания.

Как временнопроживающая, да еще жена человека, обвиненного в убийстве, Разиат ни на что не имела права в этом большом селе, не ждала ничего покровительства. Она никуда не выходила, боялась за сына. Хотя он и мал, а все-таки вырастет в мужчину и с него можно «требовать» кровь убитого.

Разиат была уверена, что Темур убил Дзобека из ревности, не простив ему любви к Разиат. Она упрекала себя в легкомыслии. Зачем нужно было говорить мужу в то роковое утро о том, что Дзобек предлагал ей свою любовь.

Сегодня младшая из сестер Кадаевых рассказала, что на нихасе мужчины поссорились из-за Разиат со старшиной. Дрис обещал им «гизельское дело», если они не будут вести себя как полагается.

— Дрис говорил, якобы Сафа, взятый абреками в плен, видел среди них Темура. Сафа утверждал, что табуи и стадо угнаны им. А два дня тому назад у Амурхана Туганова из-под замков и мимо сторожевых псов уведен его знаменитый скакун. Будто бы стреманный помещика в тот момент, как уводили коня, проснулся, но был оглушен ударом, однако успел признать в этом человеке Темура... Надо взять Разиат, чтобы волк вышел на поиски своей волчицы, — торопливо, сбиваясь, рассказывала младшая Кадаева. — Старший брат пристыдил Дриса (она дословно передала слова брата): «Слыханное ли дело, чтоб мстить женщине за кровную месть или преследовать женщину за мужа, который угнал табуи? Или мы не

осетины, или мы позабыли обычай предков: «Пощади женщину за слабость, ребенка — за детство». Ты хочешь осрамить нас? Сделать известными позорной славой... Не дадим тебе бесчинствовать... помни!» — гордо произнесла Кадаева, счастливая смелостью брата.

Тревожно сжалось сердце Разнат. Она не боялась за себя, но Темура!.. Она не перенесет его смерти. Лишь одно успокаивало ее — весть о том, что Темура увел тугановского скакуна.

«Пусть теперь ищут его, тучи небесные не угоятся за ним. Он знает этого коня еще жеребенком, и конь хорошо знает плетку Темура... Пусть Уастырджид будет ему другом в пути, а я проживу, он не оставит нас, нет!»

Вечерело. Две курочки — все хозяйство Разнат — примостились тут же на дереве. Разнат зашла в каморку и зажгла лампу, разгребла золу, развела огонь в очаге. Стены побелены, пол смазан глиной, отчего в комнате пахнет сыростью. От треска горячих сучьев и запаха дыма в каморке стало уютнее. Разнат схоронила в золе несколько картошек, присела у очага да так и застыла. Ей хотелось тепла, ласки, счастья, а в мазаной каморке сыро, одиноко, холодно. Из темных углов глядели нужда и голод. Скрипнула дверь, вошел Аслан, неся готовую повозочку. Подойдя к матери, он прижался к ее коленям и сказал:

— Кушать хочу, нана.

Мальчик уже хорошо говорил, не картавил. Мать гордилась его чистым произношением, говоря, что ее кормилец вырастет так же скоро, как падает вечером звезда.

— Сейчас картошка испечется, погоди немного, мальчик мой. О-о-о, очаг мой, да стану я белым ягненком для тебя, потерпи, — проговорила Разнат, не пожалев для сына самых ласковых слов.

Накормив Аслана, она уложила его спать, теплее прикрыв своим платком, а сама под села к большому дубовому столу, подняла фитиль в лампе и склонилась над серым пухом дорогого башлыка, протаскивая по краям золотистые и посеребренные нити. Башлык заказали ей из села Ольгинского для адвоката

Баева, видимо, знатного, если сам Сафа, не доверив даже жене, приходил к Разиат и просил вышить башлык самым красивым узором. Было уже, наверное, не рано, потому что в соседнем курятнике голосисто и резко кричал петух.

Разиат, разогнув спину, сладко зевнула и потянулась, собираясь уже лечь спать, как вдруг под ее окном явственно раздались осторожные шаги. Кровь прилила ей в голову, на какую-то долю секунды остановилось сердце.

«А вдруг... а вдруг Темур?» — подумала она, сорвалась с места и одним рывком скинула щеколду. И тотчас же будто толкаемая кем-то извне, около нее оказалась короткая фигура стремянного Габо. Разиат отшатнулась. Вслед за Габо вошел старшина Дрис. Сердце Разиат забилося от страшного предчувствия беды. Она шагнула назад к постели ребенка, приготовившись к самому худшему, что ее могло ожидать.

— Не гостеприимна, красавица Разиат, — промолвил Дрис, подходя к столу и разглядывая башлык, — не приглашаешь садиться... или ждешь кого? Кому без стука открыла дверь? Кто тот счастливец, для которого так поздно светится окно твоей каморки?

Стремянный Габо, не сводя с Разиат глаз, проговорил:

— Тот счастливец, для которого она вышивает башлык, дожидаясь его дни и ночи, не смыкая глаз, подвел ее... Темур во время облавы на абреков попался в капкан начальства... Велел передать тебе, чтоб ты не поленилась последовать за ним в Сибирь...

Разиат, растерявшаяся в первые минуты, вдруг после слов Габо почувствовала в себе необычайный прилив злого презрения, быстро овладела собой, выступила вперед и сказала:

— Мой муж и мертвый будет храбрее тебя, тугановского холопа! И в каторжных кандалах он будет тебе страшен! Ты не посмеешь подойти к нему мертвому, не то что к живому... Наглец, позабывший и честь мужчины, и адат почтения к женщине!

Как ты посмел в такую пору перешагнуть мой порог?

Большие ее глаза, всегда подернутые дымкой тоски, сейчас сверкали искрами, преображая ее всегда мягкое лицо.

— А тебе, старшина, — продолжала она, — хозяину села, разве к лицу тревожить покой подвластных людей? Кому, как не тебе, должна я пожаловаться на этого нечестивца, посмевшего бесчинствовать в подвластном тебе селе?.. Не ты ли должен являться защитником сирот и обездоленных вдов? Как старшине села, мой привет тебе. Но, как компаньона тугановского стремянного, прости, я не могу приветствовать. — Разиат отвернулась и укутала сына теплее.

— Ваши слова, Разиат, разумны. Я потому и сопровождаю Габо, что обязан беречь покой моего села. Габо должен говорить по важному вопросу, и он сам просил меня сопровождать его. Я пришел сюда в ваших же интересах...

— Так почему стремянный по важному делу не пришел ко мне днем, а темной ночью, как вор, крадется под моими окнами?

— Простите, не буду мешать, дождусь за дверью, — проговорил Дрис и ныряющей походкой, ступая сперва на пятку, а потом на носок, вышел во двор.

Габо сел на табуретку, с которой встал Дрис, и, прищутив глаза, проговорил:

— Вот и пришел день моего торжества. Спасибо Темуру, что убил Дзобека, лишив себя свободы, а тебя защиты...

— Не торжествуй, пусть я лишусь права называться женой Темура Савкуева, — что я считаю для себя честью даже сейчас, когда его заклеили кличкой абрека, если разрешу тебе тронуть меня даже пальцем. Ты умрешь, поверь... Смерть не страшнее, чем близость с тобой. Уйди... — сказала Разиат.

— Я подожду, когда тебя выгонят из села, как «временную», как жену абрека, который угнал табун самого почтенного человека.

— Пусть земля откажется принять мой труп, если я когда-нибудь обращусь к тебе за помощью.

— Сама видишь, что жаловаться тебе некому. Старшина не станет портить из-за тебя отношения с Амурханом Тугановым. Тем более теперь, когда всем известно, что скакун Амурхана уведен Темуром.

Вдруг раскатистый смех Разиат оборвал стремянного. Разиат, глядя ему в глаза, будто дразня его, сквозь смех говорила:

— Герой, что ж ты не убил своего соперника, когда он перешагнул через тебя и из-под пудовых замков да псов увел славу тугановского табуна? Где ты был, хвастун?

Стремянный быстро поднялся, подскочил к ней и, схватив ее за руку, закружил по комнате.

— Будешь ты помнить меня, змея! — задыхаясь, прошептал Габо, стараясь зажать рот Разиат.

От шума проснулся ребенок.

Увидав мать вырывающейся из объятий незнакомого ему человека, он пронзительно закричал. Крик испуганного ребенка был слышен сквозь тоненькие стены. Дрис приоткрыл дверь и прошептал:

— Брось, светает.

Брезжил розоватый теплый рассвет, когда Дрис и Габо, пристыженные Разиат, воровским, осторожным шагом выбрались из сада Кадаевых.

Разиат целый день ходила по двору рассеянно-хмурая, к вечеру же попросила младшую сестру Кадаеву дать ей кинжал, который висел в комнате братьев.

— Одна я, без защитника нужно быть готовой ко всякой случайности...

И опять настал вечер. Опять, как вчера, таяли зарницы за окном. Где-то далеко в горах, как обвал, глухо грохотал отдаленный гром. С легким шелестом, тревожа листву, проносился летний ветерок, принося запахи мяты, отцветающей липы и акации. К Разиат постучали. Она подскочила к сыну, оттащила его кровать в дальний угол, затем поправила на голове платок и открыла дверь. Увидев на пороге комнаты гуларовского пастуха, она молча отступила назад, ожидая услышать только неприятное. Атарбек, войдя в комнату, нерешительно переступил с ноги на

ногу и смущенно проговорил, оглядываясь назад на дверь:

— Да посетит твой дом счастье, Разиат! Прости, что беспокою... Поздно, в доме нет мужчины, не предполагается в отсутствие хозяина посещать женщину, но я к вам...

Атарбек шагнул к Разиат и проговорил шепотом:

— Темур просил передать, что он здоров и чтоб не беспокоилась... К концу месяца, как состарится луна и начнутся темные ночи, жди его, придет...

Разиат зарделась от этой вестн. Не зная, как и благодарить его, подтолкнула к нему единственную табуретку в доме. Но Атарбек отказался присесть, а прошел обратно к двери, поднял с пола небольшой сверток и подал Разиат, говоря:

— Это просил передать Темур... Говорил, чтоб была осторожна...

Приняв из рук Атарбека сверток, Разиат еще раз пригласила его сесть, но он отказался и, оглядев убогое убранство каморки, спросил:

— И больше ничего нет у вас, с Дур-Дура ничего не взяли?

— Нет, — ответила Разиат, — постройки Амурхан удержал за долги, а остальное проели. Лошади у нас не было, корову продали, ведь «временным» на чужом выгоне пасти не разрешают, что с коровой делать?

Аслан все время с детским любопытством прислушивался к разговору, стараясь понять, о чем говорит Атарбек, которого он хорошо помнил. Ему страшно хотелось увидеть, что находится в свертке.

— Ну, доброй ночи, Разиат. Жди его...

Пересилив смущение, она произнесла:

— Прости, может, спрашиваю о том, о чем не следует... Где он? Далеко ль? Почему не найдет в себе мужества посетить меня и научить, как быть? Без его совета не могу... Работы у меня много, да все у таких, кого он не любит. А друзья его, такие же богачи, как он, живут без вышитых башлыков и пушистых бурок... Увидишь — передай: пусть возьмет нас отсюда, тяжело мне... Скажи ему, если рядом с ним будет место,

чтобы уместились две мои ноги, то не попрошу места для сидения, выживу с ним даже в аду, — сквозь слезы произнесла Разиат и, смутившись непрошенных слез, отвернулась.

Не зная, как успокоить расстроенную женщину, Атарбек смущенно шагнул к двери и, закрывая ее за собой, на ходу выронил:

— В Кабарде он, скоро увидишь его...

Состарилась луна. Только перед рассветом золотым сломанным колечком она всходила над селом, а утром в посветлевшем летнем небе высоко висела над землей, полинявшая и невыспавшаяся. Наступили черные ночи, огромные редкие звезды золотым шитьем, как на башлыках Разиат, усыпали небо, маня Разиат далекой, трепетной жизнью. Она не засыпала до тех пор, пока над яблоневым деревом, что росло у ее окна, не всходила большая искрящаяся звезда — предвестница рассвета. Тогда, не раздеваясь, она ложилась рядом с сыном и в полусне прислушивалась к звукам извне.

И вот в одну дождливую ночь к ней постучали. Стоя посреди каморки, она замерла, не имея сил вымолвить ни слова и не смея подойти к двери.

— Кто? Кто? — не узнавая собственного голоса, спросила Разиат.

— Открой... это... я... Темур... Открой.

Разиат не столько голосу, сколько сердцу доверилась и взялась за щеколду.

Споткнувшись в темноте о табуретку, она секунду постояла, не двигаясь и прислушиваясь. Но ничего не слыша, кроме биения собственного сердца, дрожащими руками открыла дверь и, не помня себя, обняла мужа у порога.

— Дверь заложи! — шепнул ей Темур, сбрасывая с плеч что-то тяжелое.

— Свет не нужен...не надо!

Темур нагнулся к жене и притянул ее к себе. Она прижалась к нему, мелко дрожа не то от волнения, не то от холода.

Торопливо сбросив мокрую бурку, он обнял ее и

поцеловал в волосы. Разиат нащупала на его груди газыри, на поясе—кинжал, на боку—револьвер. Проводя рукой по его плечам и спине, она ощутила мягкую ткань черкески. И, снова прильнув к нему, шепнула:

— Как хорошо ты одет. Я хочу видеть твое лицо...

Только сейчас они вспомнили о том, что стояли посредине комнаты. Безмолвно прижавшись друг к другу, они неудобно примостились на краю жесткой тахты. Первым заговорил Темур:

— Увезу тебя на днях, потерпи немного. Но отдать им свою жизнь на утеху? Нет, я им дешево не сдамся, я еще повоюю с ними, я попорчу им их голубую кровь...

При словах «голубая кровь» Разиат подняла голову с его груди, близко присматриваясь к его лицу, прошептала:

— Скажи мне правду — ты угнал тугановского скакуна?

— Я, — ответил Темур. — Если не веришь — пойдем покажу, как покорно этот красавец дожидается меня...

Разиат снова прильнула к нему, сказав:

— Надежный друг он тебе, не подведет... но, — продолжала она, не поднимая головы с его груди, — на что понадобилась тебе жизнь этого убогого человека? Как посмел ты, мой Темур, поднять руку на человека во много раз тебя слабее и моложе? Я не могу тебе простить смерть этого несчастного.

Темур заключил ее щеки в ладони и, притянув лицо к себе так близко, что ей стало трудно дышать, промолвил:

— Как ты могла допустить, что я убил Дзобека, этого богом обиженного бедняка, из которого Саниат сделала еще более несчастного, чем он был? Не думай... Верь мне. Я никогда не лгал тебе. Если б я умел врать, мне было б в жизни гораздо легче...

— Тогда... зачем же ты бежал? Зачем заставил людей думать, что ты убил его?

— Они сами его убили...

— Кто они? — переспросила Разиат.

— Габо или Дрис... Больше в лесу никого не было в тот момент... Я не знаю, но мне кажется, что пуля,

от которой пала моя лошадь, была предназначена мне, и она принадлежала Габо... Да... И мне кажется, что Дрис и Габо сговорились убить Дзобека и меня... Мое присутствие в лесу послужило для них счастливой случайностью. Но у меня нет свидетелей... Дрис и Габо уверяют, что они сами видели, как я убил Дзобека. Сама подумай, мне или Дрису поверят на суде?.. «А-а-а-а,— скажут, — Савкуев, бунтарь... мятежник...» Смерть Дзобека послужит им поводом, чтобы упрятать меня в тюрьму... А я жить хочу, хочу жить назло им всем, и буду жить! — страстно произнес Темур, заключив жену в могучие объятия...

В дверь каморки стукнули. Разиат вздрогнула, вскочила, заслонив мужа собой.

— Не бойся, сядь... Это за мной. Значит, пора ехать, — проговорил Темур, сажая жену рядом.

Стук в дверь повторился, тихий, двоекратный.

— Как скоро! Посиди... подожди, — прошептала она, прижавшись к нему, боясь за его жизнь больше, чем за свою. — Увези меня скорее, куда хочешь увези, травой буду питаться, только с тобой...

Она ничего не сказала ему о посещении Дриса и Габо.

— Всего неделю, одну неделю подожди. Придет к тебе Атарбек, и уйдешь с ним, ни о чем не спрашивая его... А теперь пора... Привез тебе немного мяса, денег, Аслану на бешмет. Знаю, ты давно хотела нарядить его в сатиновый бешмет. Но смотри, одевайся и кушай так, чтобы злые языки не сказали: «На что, на какие деньги она так живет?»

Темур нагнулся к детской постели, потрогал голову ребенка и проговорил:

— Нездоров сын, головка потная, береги его, одного никуда не пускай...

Стук в дверь повторился. Темур обнял жену у порога и вышел, бесшумно прикрыв за собой дверь.

Долго прислушивалась Разиат к ночным звукам. Капало с деревьев, лениво шелестела тяжелая листва ветвей. Легкий ветер ворошил густые серые тучи и не мог их разогнать. Близился рассвет.

По мокрым улицам деревни, чмокая в лужах, проскакали два всадника.

И снится Разиат, что она выходит замуж, а жена старшины наряжает ее в красный бархат, расчесывает ей волосы, старшина одевает ей на шею ярко-красные кораллы. Все село провожает ее, а впереди свадебной арбы глашатай Хазби разворачивает тонкие материи, чтобы невеста не ступила на голую землю. Счастливая, радостная, она ищет Темура глазами и, не найдя его в толпе, волнуется. Потом подул вдруг желтый страшный вихрь, все провожающие исчезли, и она осталась одна в бескрайней желтой пустыне. Знахарка Сали бежит за нею с арканом и длинным ножом в руках, гонит ее к краю черной зияющей бездны, откуда, протягивая ей руки, смотрит на нее стремянный Габо, с волчьей головой на плечах, вместо своей...

Разиат подняла голову с подушки, оглянулась по углам каморки и, вздохнув, опустила ноги на пол.

«Какой сон противный, чтобы он значил? Не случилось бы с ним что», — подумала она о муже и стала одеваться. Она ждала прихода Атарбека изо дня в день и нетерпеливо готовилась к уходу.

— Как мы с тобой долго спим, смотри, вон солнышко повисло над нашим окошком. Пойди, поймай его! — обратилась она к сыну и, одев его в легкую рубашонку, выпустила в сад. — Поиграй, пока приготовлю тебе завтрак, далеко не ходи... — ласково сказала она, разгребая золу.

— Встречного куском одари, — произнесла знахарка Сали у самого уха Разиат.

Разиат вздрогнула и уронила на пол копченый бараний бок.

— Ух, как ты напугала меня, — сказала она, подымая мясо и глядя на Сали.

— А чего тебе пугаться, — оскалилась Сали беззубым ртом, присаживаясь на край очага, — ведь свое варишь, не краденое?.. Ай-ай-ай, какой жирный бок! — Знахарка взяла мясо в руки и обнюхала его. — Хоть в сыром виде ешь. Ай-ай-ай! Старую Сали не

обманешь. Хи-хи!.. Да и на что мне чужие дела знать? Не любопытна я, Разиат. Пусть пройдут по моему языку мельничные жернова, если я что-нибудь рассказываю кому, — сказала Сали, сжав синие сморщенные губы и перекрестив лоб.

Развязав кисет, она стала втягивать табак то в одну ноздрю, то в другую, чихала на всю каморку, вся вздрагивая, и с наслаждением вытирала слезы...

— Ох-хо-хо, — протянула она, сладко зевнув, и втянула в ноздрю табак. — Что-то тянет меня, должно быть, к новолунию потягивает... — безумолку болтала знахарка, с удовольствием вдыхая запах мяса.

Большая медная пуговица застегивала красную кумачевую рубаху. Сафьяновые чуваки, подшитые воловьей шкурой, ссохлись, отчего носки их крючком торчали вверх.

Поев мяса, которое Разиат к тому времени уже успела поджарить, Сали вытерла губы подолом своего черного платья и сказала:

— Ну, если добро делать, так делай его до конца. Накормила ты старую женщину, а теперь дала бы мне кусочек жиру — видишь, ссохлись совсем мои чуваки.

Разиат не любила знахарку, но боялась ее. Говорили, что она колдунья и, повалявшись в лунные ночи на мокром песке, оборачивается волчицей, только голова остается человеческой. В белой повязке на голове она бежит целыми ночами, нападает на стада и отгрызает у баранов курдюки.

Желая поскорее избавиться от неприятной гостии, Разиат отошла в угол комнаты, открыла деревянный ящик, служивший ей вместо буфета и, достав оттуда копченый курдюк, отрезала большой кусок.

Сали, сжав губы и не поворачивая головы, скосила глаза в сторону Разиат. Увидев курдюк, она высоко подняла брови, покачав головой, подумала: «Вот как!» — и стала дуть на огонь, укладывая головешки.

— Прожить тебе сто лет, дорогая, — сказала она, принимая из рук Разиат кусок курдюка.

Она тут же откусила кусочек и стала мазать чуваки.

Разиат, видя, что она все еще не собирается уходить, сказала:

— Да что это я, на́ мяса, на обед себе возьми.

— Благодарю, — сказала Сали, жадно следя за Разиат и боясь, что та отрежет не слишком жирный кусок.

— Вот, вот, этот кусочек отрежь. А то, видишь, зубов у меня нет, — просила она, открывая рот.

Взяв мясо, она завернула его в холщовый грязный фартук.

Разиат боялась, что придет сын и Сали может его сглазить. Про нее говорили, что она, хотя и может заговаривать от сглаза, но может и сама сглазить. Тогда она уже бессильна вылечить свою жертву.

Разиат проводила ее до порога, как вдруг увидела бежавшего им навстречу раздурявшегося Аслана. Сидя верхом на длинной хворостине, он маленьким хлыстиком подгонял своего скакуна.

— О зерно души моей, — вскричала Сали, хватая мальчика за плечи и глядя ему прямо в глаза. — Счастливый он у тебя будет, Разиат, по бровям вижу. Но береги его от сглаза, красивый он.

Мальчик вырывался из рук женщины, но она крепко держала его за плечи.

— Успокойся, дитя мое, — скрывая раздражение, просила Разиат, — успокойся. Она добрая женщина, она заговорит тебя от дурного глаза, стой смирно...

Сали, закатив глаза, широко открыла рот и стала громко зевать. Зевнув три раза подряд, она что-то пошептала над курчавой детской головкой и поплевала ребенку в лицо (три раза, как требовалось при заговоре дурного глаза).

Ребенок принял ее плевки за оскорбление, покраснел, рванулся и вдруг сам плюнул ей в лицо.

Старуха нахмурилась, выпустила ребенка и вышла, подобрав подол.

— Пожалуйста, Сали, прости мальчику, неразумный он, мал еще! — крикнула Разиат вдогонку знахарке.

— Бог ему простит, — ответила та и пошла, постукивая палкой.

Поравнявшись с домом Гуларовых, Сали было приостановилась, но вспомнив неласковый взгляд молодой снохи Саниат, быстро прошла мимо.

— Безродная, ублюдок несчастный, заважничала, — прошептала она.

Дойдя до церковной площади, Сали свернула влево и вошла в дом священника.

Навстречу ей, неся полное сито яиц, шла попадьа.

— Счастье дому твоему, матушка Анна. Мимо шла, дай, думаю, посмотрю, как матушка живет, не нужно ли ей чего достать?

— Хорошо сделала, что зашла, — ответила попадьа, прикрывая яйца фартуком.

— Хотела я больную Саниат проведать, да не посмела — молодая у них всегда такая хмурая...

— И чего, скажи, ей не хватает? Кушать — вдоволь. Одеваться? Она, говорят, одно платье два дня подряд не одевает.

— И-и, она у нее важная, а все чего-то злая ходит. С чего бы ей злиться? — ухмыляясь, продолжала Сали.

При этих словах, поглядев по сторонам, она моргнула попадье, приглашая ее сесть, и шепотом продолжала:

— Говорят, скоро принесет она Саниат наследника, только неизвестно, чьих кровей...

Сидя у порога двери, попадьа и Сали тихо беседовали. Сали говорила безумолку, а щеки у матушки Анны тряслись от смеха.

— Говорят, она родилась от седьмой жены муллы, а седьмая жена муллы — ведьма, — поносила Сали Хадизат.

Увлечшись разговором, матушка не заметила, как подувший ветерок сдул ее фартук с сита.

— У, какие крупные яйца, под наседку, небось, — похвалила Сали яйца, напрашиваясь на подарок. Но попадьа решительно сняла с себя фартук, тщательно прикрыв яйца, резко сказала:

— Ну, конечно, под наседку... Хватит, иди-ка, некогда мне, посплетничала — и хватит...

— Что ты, матушка, что ты, — обиделась Сали. —

Пусть пройдут по моим губам мельничные жернова, если я сказала тебе хоть каплю неправды.

— Твоим губам мельничные жернова ничего не сделают, они у тебя в небесной кузнице закалены,— сказала матушка, поднимаясь, и прошла в курятник.

Сали встала и проковыляла по широкой, длинной улице в сторону дома Сафа. Она злилась на попадью, но знала, что нельзя ссориться ни с женой попа, ни с женой старшины. С ними всегда надо быть ласковой. Другое дело с такими, как Разиат — нищими. Их надо держать в страхе.

Так размышляя, подошла она к калитке Абаевых, поправила платок и, стараясь улыбнуться, шагнула во двор. Громким хриплым лаем встретил ее старый пес.

На лай собаки выглянула из кухонной двери Сурат. Руки у нее были в белой мучной пыли, у ног вертелся ее сын — Ахмат.

Увидя Сали, она нахмурилась, заслонила подолом сына и крикнула в дверь свекрови:

— Иди-ка, выйди, ведьма эта, Сали, пришла. Да не пускай ее в дом, боюсь, ребенка сглазит.

— Нечего тебе бояться, она к нам хорошо относится, может заговорить мальчика от дурного глаза,— сказала свекровь, выходя навстречу Сали.

— Гость — божий гость. Заходи, Сали, заходи.

— Ух, устала, дальше не пойду, — ответила Сали, опускаясь под яблоней на маленькую крашеную скамейку.

— Шла мимо, дай, думаю, зайду, посмотрю, как живет женщина, уважаемая мной.

— Благодарю, что не забываешь меня. Да оградит твое присутствие мой дом от злого наваждения.

С этими словами обе старухи поздоровались за руки.

— О тебе, твоих детях, о твоем счастье, моя дорогая, особенно забочусь, — лъстиво говорила Сали старой Кошер. — То-то я рада, что дом твой — полная чаша. Будет у добрых людей достаток—буду и я сыта.

— Что-то плохо ты выглядишь, Сали, худая стала.

— Не до жиру — быть бы живу. Тяжелая моя

жизнь. Быть посредником между святыми и злыми духами не так-то легко. Тяжело мне отговаривать злую силу да стараться за людей, — со слезами на глазах говорила старая знахарка.

— Вынеси-ка нам сюда поесть, — громко обратилась Кошер к снохе.

Через пять минут обе старухи, дружно беседуя, пили араку, закусывая ее бараниной.

Подобревшая после первого стакана, Сали зашептала:

— Правду тебе говорю, любимая моя, уж я все у нее высмотрела. Откуда у нее, у временнопроживающей, копченые курдюки да бараньи бока? Не иначе, как муж у нее бывает да краденым мясом снабжает. Шепни-ка ты своему старику — жена мужу наговорит, что бритву наточит, а он старшине скажет. Уж Дрис все узнает. Ведь стадо угнали твое, а не общественное, думай...

— Как же, как же! — заохала Кошер. — Шесть быков племенных, что старик с Прохладной пригнал, четыре буйволицы тельных, пять коров. Самое ужасное, что «немку» угнали. Приедет скоро сноха моя, как я ей скажу? Не уберегла подарок. Никогда ее в табун не гоняла, а эти дни старик говорит: «Выгони, да выгони «немку», пусть порезвится на воле».

— Пусть-ка обыщут ее, — перебила Сали, опираживая третий стакан, — на сердце легче станет, как узнаешь врага, а отомстишь — совсем полегчает. Наточи-ка своего старика, а он уж без тебя все сделает.

Кошер дала Сали двадцать копеек, чтобы та поворожила и упросила подземных и горных духов не иметь зла на ее дом.

— А в первый понедельник поволунья, — тайношвенно шепнула Сали, — ты понеси черную курицу на перекресток двух дорог и брось там, только не оглядываясь ни в коем случае. А потом я приду и расскажу тебе, кто против твоей семьи замышляет.

Туго набив узелок мясом, пирогами и вареными яйцами, Кошер передала его знахарке. Та долго от-

казывалась, говоря, что не за этим пришла она в дом, но в конце концов взяла.

Яркое солнце было в зените, когда знахарка заканчивала свой «обход». Последний дом, который она должна была посетить, был дом старшины. Увидев, что жена старшины в черном муаровом платье прошла по переулку, неся большую тарелку с пирогами, Сали опередила ее и поспешила войти первой в этот же дом.

...Было яркое летнее утро. Наперебой кричали петухи. В низенькую дверь каморки постучали. Разиат вскочила и, торопливо натягивая юбку, ворчала:

— Мертвая я, что ли, солнце полнеба прорезало, а я сплю. — Приглаживая на ходу волосы, она отодвинула щеколду на двери...

Перед ней стояли сельский старшина Дрис, доверенные от жителей, двое полицейских и глашатай Хазби.

Растерянно поглядев на них, она прикрыла рукой грудь и пропустила старшину в хату.

— Обыск будем у тебя делать. Говорят, что муж твой Темур бывает у тебя и снабжает краденым мясом, — проговорил старшина, приглашая остальных следовать за собой.

Разиат прикрыла ладонью рот, прошла в угол комнаты и взяла сына на руки.

Гнедая кобылица, впряженная в арбу, медленно шествовала по широкой деревенской улице. Ее держал под уздцы маленький щупленький человечек с голыми трахомными веками. В кузове арбы лежала высушенная шкура коровы, а на шкуре — два бараньих копченых курдюка и бараний бок. Позади арбы шла Разиат.

Распущенные волосы ее цеплялись за сухое копченое мясо, одетое ей на шею, как ожерелье.

Бараньи ребра были пробиты и, как щиты, надеты на нее. Маленький Аслан, с мокрыми от слез щеками, держался за юбку матери. Вслед за ней шел Дрис, его помощник, два полицейских, сельский писарь, доверенные от жителей и глашатай Хазби.

— Ведут, ведут ее! — кричали дети, оповещая друг друга и подымая босыми ногами столбы пыли.

Отовсюду бежали женщины с грудными ребятами на руках. Старухи с палками, заслоняя от солнца старческие слезящиеся глаза, старались разглядеть опозоренную. Дети, подбегая к ней близко, осыпали ее пылью, издеваясь над ее маленьким сыном.

Когда они поравнялись с домом Саниат, Хадизат, глядевшая в щели забора, узнала Разиат и вскрикнула:

— За что ее так?

Переживая за нее, она разглядывала посеревшее от пыли лицо Разиат, дикие ввалившиеся глаза, черные распущенные волосы. Кофточка Разиат от воротника до пояса была разорвана, и видно было ее белое тело и худые лопатки.

Уже несколько раз сменялись сопровождающие, а ее все водили по улицам, показывая в назидание всем вора и абрекам.

В 900-х годах практиковался в Осетии подобный суд над ворами. Особенным почетом пользовался этот самосуд у начальника области Каханова. И хотя Каханова уже не было, но преемники его тоже не препятствовали подобному суду, говоря, что опозоренный подобным образом человек закается воровать.

Длинные тени легли от домов, от деревьев, от заборов. Солнце уходило на запад, а Разиат все еще водили и водили по улицам.

Аслан уже не плакал, а только скулил, держа мать за длинную, болтающуюся кисть руки. И когда на них налетала с гикашьем и свистом новая ватага ребят, он прятал свою головку в пыльных лохмотьях материнской юбки.

Привыкнув за день к своему позору, окаменев от унижения и ненависти, Разиат еле переставляла опухшие ноги. Теперь она боялась только за сына. Больше никаких чувств не осталось у нее.

Крик, свист, улюлюканье, унижительные оскорбления ее уже не трогали.

Дойдя до сельского правления, полицейский, наконец, снял с нее мясо, плюнул ей в лицо и, толкнув, сказал:

— Иди, опозоренная, иди, куда хочешь, воровка! Ты не здешняя, и мы не желаем иметь тебя в нашем селе. Уходи!..

С шумом, блеянием, мычанием, подымая столбы пыли, входило в село стадо и несло с собой запах молока и свежей травы. Дрожала над стадом вечерняя мошкара. Со свистом хлопали коровьи хвосты, отгоняя впившихся в бока слепней.

Румянился запад, розовой полоской окаймляли горизонт пушистые, как вата, облака. Мягкие летние сумерки, лаская и окутывая землю, осторожно ошускались на нее.

Подойдя к дверям своей мазанки, Разиат увидела, что окно ее хаты выбито, а на дверь крест-накрест прибиты толстые доски, густо политые дегтем. Измученная, она опустилась у двери, притянула к себе ребенка и сжала его в объятиях. Дрожа всем телом, сидела она на камне и глухо рыдала, склонив голову на грудь сына.

Мальчик, забывшись на время, снова захныкал и прижался к матери, жалуясь, что у него болят глаза. Он положил голову на колени матери и через минуту забылся сном.

Квакали в болоте лягушки, где-то неумолчно стрекотал кузнечик, а Разиат, прикрыв сына подолом юбки и дрожа от ночной свежести, все плакала и плакала...

Вдруг она услышала шорох и оглянулась. Придерживая хромую ногу, около нее остановился глашатай Хазби. Глашатай и Разиат долго смотрели друг другу в глаза.

— Уйди, дьявольское отродье! Что тебе надо? — сказала Разиат.

Хазби шагнул к ней ближе, упал на землю и забился в глухих судорожных рыданиях.

— Прости, — шептал он, — прости, просил я Дриса, долго униженно просил. Молил, как бога, чтобы пощадил он тебя... брал твою вину на себя... Вот, смотри, — поднял он искаженное от страдания и жалости лицо, показывая Разиат рассеченную арапником щеку. — Бил, арапником бил, как собаку, за то, что пощады тебе просил, защиты... Скажи, прикажи,

что надо, придумай мне лютую казнь, чтоб облегчить тебе участь... Сделаю все, что ты захочешь...

— Я хочу, чтоб ты ушел, — сказала Разиат, отворачиваясь от него и укутывая ребенка. — Уйди! — повторила она, — уйди, а не то уйду я...

— Уйду, уйду, только кто же тебе защитой станет? — плакал Хазби, оставляя одинокую женщину у заколоченных дверей каморки.

Соседская собака, подойдя к Разиат, повиляла хвостом, но, увидя, что ее не собираются кормить, отошла.

Ночью, когда уснул ее сын у заколоченных дверей мазанки, Разиат сняла с себя юбку и кофту, укрыла потеплее ребенка, вытащила из разбитого окна кусок стекла и перерезала себе горло.

Не снесла она позора. Не было жаль ей ни маленького сына, ни даже мужа, которого она так горячо любила.

Утром соседи, выгоняя коров, с ужасом увидели под забором страшную окровавленную грудь и открытые остекленевшие глаза Разиат. От дверей до забора багровыми сгустками тянулся кровавый след. Это собаки, собравшись на запах крови, оттащили тело Разиат под забор.

— Самоубийство — богопротивное дело, жизнь человеческая богом дана и никто, кроме бога, отнимать жизнь не имеет права. Грех хоронить самоубийцу вместе со всеми, — сказал батюшка и запретил хоронить Разиат на кладбище.

Сестры Кадаевы омыли ее труп, расчесали длинные косы, положили ее в гроб и схоронили поодаль от кладбища.

Никто не посещал маленький холмик, никто не справил поминок. В субботний вечер не оплакивали ее. Холмик ее зарос густым колючим репейником, и осенними вечерами тихо качал репейник пожелтевшими головками.

5

За садами и огородами протянулись влажные утренние тени. Крупная роса сверкала на сочной зелени

грядок. В доме Саниат в это веселое утро было мрачно. Саниат больна. Сухой, надрывный кашель день и ночь бьет ее грудь, не давая покоя. В стеганом ватном бешмете, согнувшись, опираясь на палку, она идет через двор. Работник Мухар, высунув голову в калитку, сощурился хитрые глаза в ласковой улыбке, машет кому-то рукой, чтоб тот подошел.

— Не мешок ли золота нашел, куыдайраг, чему радуешься? — раздражаясь здоровым видом работника, возмущенно сказала Саниат, бесшумно подойдя к нему. Работник вздрогнул от неожиданности, отскочил от калитки и растерянно пробормотал:

— Да это я так...

— Так... так... — передразнила она его, с силой захлопнув калитку. — Мой двор не ныхас, чего калитку раскрыл? Бродяги бездомные, привыкли жить без кола, без двора! Вас всех раздражает мой закрытый двор... Да, да, я знаю, по-вашему, мне нужно снять все заборы, чтоб люди ходили по моей голове.. Вон, на место, занимайся делом! Плохой ты слуга...

Саниат направились к огороду, работник почти-тельно открыл перед ней огородную калитку. Заржавленные петли резко взвизгнули.

— Чтоб стать мне свидетелем гибели твоего рода, не слышишь? Смажь петли!

Проходя дальше, она толкнула поском чувяка валявшиеся под ногами грабли и, глядя на Хадизат, которая шла ей навстречу с огорода, произнесла:

— Почему у тебя о собственном добре заботы нет? На работника не надейся, он чужой, по нему, хоть все в пепел превратись — чужое несчастье только радует... Вон грабли вверх зубьями валяются, наступит теленок — пропадет...

Хадизат молчала и, не глядя на свекровь, стояла поодаль от нее. Бледные тонкие пальцы теребили кисти шелковой шали, массивный камень в кольце кровавой капелькой светился на солнце.

«Опять обручальное кольцо сняла», — злобно подумала Саниат, глядя на ее руку.

Ярко-синее платье, схваченное в талии бордовым шелковым кушаком, вышитые золотом чувяки — все

ладно сидело на Хадизат, выгодно оттеняя ее бледное лицо.

— Все молчишь, горе ты мое, ничему ты у меня не научилась! — бросила Саниат на ходу, оглянувшись на безмолвно стоящую сноху.

Она все еще не теряла надежды увидеть Хадизат веселой, беспокойной, жадной. Но Хадизат, покорно выполняя по дому всю работу, упорно молчала.

Как только за Саниат захлопнулась садовая калитка, Мухар снова подскочил к воротам и, высунувшись, с любопытством стал смотреть на улицу. Потом, оглянувшись на Хадизат, он знаками подозревал ее:

— Смотри, красивый какой, никто не скажет, что сын абрека, — настоящий алдар, даром, что холопья кровь...

— О ком ты? — спросила Хадизат, не смея показаться на улицу.

— Вон, у правления, смотри... это учительница, а это — сын Темура, усыновленный ею, смотри...

Хадизат, прячась за спиной работника, посмотрела на улицу и увидела около дверей сельского правления девушку, напоминавшую скорее подростка, чем взрослого человека.

— Разве это она? — удивленно спросила Хадизат. — Такая маленькая?..

— Она, — важно ответил Мухар, тяжело вздохнув.

Он не мог смириться со смертью Разиат, которая вместе с ним проработала у Саниат около года. Тогда Разиат пошила ему красивые чужаки, которые возмутили хозяйку гуларовского дома: «Что ж мне надевать, коли мои батраки будут ходить в вышитых чужаках?» Мухар редко носил их, берег, как самое лучшее воспоминание о Разиат.

«Да будет ей земля пухом, — часто говорил Мухар. — Она уравнила меня с богачами, пошив мне такие чужаки».

— Ты ошибаешься, это — девочка, а не учительница, — снова усомнилась Хадизат.

— Она, она. Я видел ее в то утро, когда народ прибежал к месту происшествия... Я не могу забыть... — взволнованно проговорил Мухар, — какая была Разиат страшная... такая красивая и такая страш-

ная... С того дня я решил: что бы со мной ни случилось в жизни — уйду от смерти подальше, ну ее... Я видел там учительницу, она расплакалась, потом взяла на руки Аслана и увела от страшного места. Никому не отдала... Усыновила. Ездила в город, там, говорят, у нее начальников знакомых уйма...

Стукнула садовая калитка, и работник отпрянул назад. Медленно, не спуская с Саниат глаз, он тихо прикрыл калитку на улицу и прошел под сарай.

— Согрей воды, да попарь мне ноги — всю ночь меня мучили судороги, ломило кости, — проговорила Саниат и, не глядя на Хадизат, прошла в комнату.

Хадизат последовала за ней.

Как только за женщинами закрылась дверь, работник Мухар быстро вышел из-под сарая, осторожно приоткрыл калитку и шмыгнул на улицу.

Подойдя к сельскому правлению, Мухар остановился поодаль от Залины и поманил Аслана. Залина, видя незнакомого ей человека, нагнулась к Аслану и спросила:

— Знаешь его?

Аслан отрицательно покачал головой.

— Знает, как не знает, я работник Саниат, Мухар, при жизни матери я ему бывало сколько голубей ловил... На тебе гостинец, — протянул он ребенку ярко-красное яблоко.

При словах: «я работник Саниат» — Залина подняла Аслана на руки, прижала к себе, отошла и резко сказала:

— Ничего ему не надо, оставьте гостинец при себе.

Залина часто слышала со стороны, что Саниат грозила учительнице и обещала отомстить ее питомцу, как только он подрастет, ибо Аслан являлся прямым кровником Саниат, раз не могли найти его отца. Поэтому Залина никогда никому, кроме школьного сторожа, не доверяла своего питомца, так как на новом месте она пока мало знала свое окружение.

Мухар неприязненно посмотрел на маленькую учительницу, обозвав ее про себя «сурком» и, не оглядываясь, перешел улицу. В это время старшина Дрис показался в дверях правления. Жеманно раскланявшись с учительницей, он упрекнул ее в том, что она

ждет его на улице. Залина сослалась на занятость и отказалась пройти в правление, сказав:

— Вы знаете, что школьный сторож уже три месяца не получает жалованья. Правда, я не отказываю ему в посильной помощи, но у меня старый отец, которому я тоже обязана...

— Да кто ж поверит, что вы помогаете отцу? Тем более не могу поверить я, так как знаю, что ваш отец живет у священника Цораева не хуже, чем я, — перебил ее Дрис.

— Тем не менее вы не идете на место моего отца, пойдите, он уступит вам свое место...

— Ха-ха-ха!.. Уморили вы меня, Залина. Да разве поп согласится взять меня, когда ваш отец служит ему уже двадцать лет? Давайте не ссориться. Когда старшина и учитель плохо живут, это к добру не приводит.

— Не пугайте меня, старшина. Если вы похожи на гизельского старшину Кундухова, так я тоже похожа на учителя Уртаева... Я не испугаюсь вас, найду людей, которые не дадут меня в ваше полное распоряжение...

— Знаю, знаю... все знаю, Залина! Поэтому я к вам всегда почтителен. Знаю, что ваш покровитель, священник Цораев, благожелательно принят в доме самого начальника области. Все знаю и готов вам услужить...

— Услуг мне не надо, прошу, чтоб вы только выполнили свои обязанности, — выплатите сторожу жалованье...

— Хорошо, тогда придется задержать на пару месяцев ваше собственное жалованье, иначе мне сейчас не выкрутиться с деньгами...

— Я согласна, платите сторожу, я подожду, — проговорила Залина и, холодно кивнув ему головой, ушла.

Дрис, глядя вслед учительнице и Аслану, недоуменно подумал:

«Взяла абречье отродье, усыновила его, а я должен платить, чтобы вырастить смену отцу. Куда смотрит начальство?..»

С того страшного дня, когда Разнат была опозо-

рена на все село, прошел уже месяц. Редко кто вспоминал теперь о ней. Только ее черноглазый сын, попадаясь кому-нибудь на улице в сопровождении учительницы, вызывал у одних суеверных страх, у других — возмущение, у третьих — нежную жалость и благодарное чувство к учительнице.

Аслан жил теперь у Залины.

Первое время мальчик дичился: отказывался от пищи, не разговаривал и плакал, тоскуя по матери. Залина терпеливо переносила его капризы, уверенная в том, что ребенок перестрадает и успокоится. Она возила его в город и официально усыновила. Кухарка Анна сердобольно пролила над судьбой Аслана горячие слезы, обняла свою воспитанницу и сказала:

— Божье дело делаешь, дитя мое, не пожалеешь, если воспитаешь его. Будет он тебя любить пуще матери родной, а ты его.... — Она не договорила, слезы помешали ей закончить мысль.

Залина перелистывала Аслану книги с иллюстрациями, мальчик быстро запоминал показанное. В свободное время, когда у него бывало хорошее настроение, она играла с ним в лапту на школьном дворе. Старый сторож, насупив мохнатые гусеницы бровей, ласково смотрел на них, иногда подкидывая им мяч, в то же время смущаясь, что ввязывается в детскую игру.

Как-то вечером, сидя у раскрытого окна и качая мальчика на коленях, Залина спросила его:

— Кем ты хочешь быть, Аслан, когда вырастешь?

— Абреком, — не задумываясь, ответил мальчик. — Вырасту большой, будет у меня конь, кинжал, винтовка, бурка... Убегу в лес, стану абреком, приду ночью и убью все ваше село...

— И меня тоже убьешь, разве ты меня не любишь? — удивленно спросила учительница.

— Тебя?.. Тебя пожалею. Сторожа Михайлу оставлю, пастуха Атарбека... Детей всех убью!.. Они в меня камнями бросали...

— Дети, Аслан, к тому времени тоже станут большими, вырастут, как и ты...

— Все равно убью, убью!.. — закричал мальчик, покраснев, соскочил с ее колен, выбежал во двор и лег под деревом вниз лицом.

Залина не позвала его, не стала упрашивать. В таких случаях он всегда первничал еще больше. Она вышла во двор и увидела сторожа, который выжидающе смотрел на нее. Покачала отрицательно головой и сказала:

— Не надо.

Сторож терпеливо выжидал, пока мальчик успокоится и сам пойдет к нему.

— Звереныш маленький, с чего это он опять? Вроде давно не фокусничал?.. — проговорил сторож, с нежностью глядя на курчавую головку ребенка, уткнувшуюся в траву.

— Не знаю. Говорит, что вырастет большой и убьет всех, за исключением вас и меня...

— Вырастет и позабудет все, если не будут ему напоминать... — проговорил Михайла, печально вздохнув.

— А кто же ему будет напоминать, не я же?.. — молвила Залина, опускаясь рядом со сторожем на траву.

— На такие вещи всегда охотники найдутся. Подрастет, начнут ему нашептывать, дразнить: «Сын аб-река, кровник...» Все, все припомнят, чтобы только с пути истинного сбить. Говорят, что бог создал человека по своему образу и подобию. Непонятно. Тогда должен человек быть на бога похож, добр и всемилостив. А много ль мы в жизни добра видим?

Он вообще любил пофилософствовать и порой задавал Залине такие вопросы, на которые учительница не только не могла ответить, а удивлялась, как сторож додумался до них. Она забывала, что за долгие годы Михайле пришлось пройти трудную жизнь. Часто в сумерках длинных вечеров старик, дымя трубкой, говорил:

— Везде хороших людей много, а жизнь все какая-то нескладная. Часто думаю: хорошо бы всем людям на одном языке разговаривать, может, дружнее бы жили... Не знаю, за какое наказание смешал

господь языки, коли ему земные существа — дети родные? Тут что-то не так...

— Разве только разные языки мешают людям дружно жить, Михайла? — спрашивала Залина.

Старик и молодая учительница подолгу беседовали. Михайла рассказал ей о себе, как, будучи молодым, ушел с переселенцами в Сибирь, как по пути у него умер отец от горячки. Мать не памяного пережила отца. Как он потом на турецком фронте воевал, не жалея сил, против басурманского хана. Однажды пленный турок поведал Михайле, что и у него нет ни земли, ни дома, а пошел он воевать, чтоб не помереть с голоду. Рассказывал о солдатских страданиях, об офицерах, с которыми пришлось служить, об одних вспоминая с нежностью, о других — с презрением.

— Никак, стучат, — насторожился старик, поднимаясь. В ворота действительно стучали. Михайла, ворча поднялся и пошел к воротам.

— Все тот же пастух, что давеча приходил, — недовольно сказал Михайла. — И что ему надо, чего ходит? Ой, доченька, не доверяйся им, этим азиатам, девушку украсть все равно, что теленка...

Привязавшись к Залине, он с отцовской нежностью ревниво оберегал ее от всего, что могло бросить на нее тень.

— Я ведь тоже азиатка, Михайла. Ты все забываешь, что я им родня, — заметила Залина, проходя мимо Аслана.

— Да что ты!.. Они тебе не родня, — проговорил старик, глядя ей вслед.

Аслан, увидев, что Залина прошла к воротам, заплакал:

— И я... и я с тобой пойду! Больше не плачу, смотри...

— Никуда она не идет. Вставай-ка, братец, пойдем в огород, картошки молодой накопаем, — позвал старик, подавая мальчику руку.

Мальчик поднялся и последовал за сторожем.

— Добрый вечер, Залина, — сказал Атарбек, смущенно пожав протянутую руку учительницы.

— Я все за тем же. Хочет видеть сына, спраши-

вает разрешения прийти. «Если, говорит, учительница сумеет скрыть мое посещение и не боится встретиться с абреком, тогда пусть покажет сына и даст возможность поблагодарить ее».

Пастух смолк и выжидательно поглядел на учительницу.

Но Залина не отвечала. Не потому, что она боялась встретиться с Темуром, о котором в кругах богатеев шла такая страшная слава: «Жесток, беспощаден, мстителен, зол, весь в незаживших ранах, угрюм и страшен». Она молчала не из боязни, что он отберет у нее сына. Нет, она не отдаст ему Аслана...

Залина подошла к Атарбеку еще ближе и в упор спросила его:

— А вы уверены, что для него это не опасно? Ведь за его голову власти предлагают пять тысяч рублей...

Атарбек переступил с ноги на ногу, вскинул на Залину густые полинявшие ресницы, улыбнулся и сказал:

— Конечно, Темуру Савкуеву небезопасно приходиться в село к Дрису, но он надеется на вас... Говорит, что девушка, которая укрыла сына абрека от позора и страданий, должна быть смелой и не предаст и отца...

Залина покраснела.

— Я говорю не о себе, разве я могу пойти на это? Я говорю о том, что его до встречи со мной могут увидеть...

— Нет, — спокойно сказал Атарбек, — его не увидят... Он и вчера был в селе, у правления сельского... Он сто раз имел возможность убить Дриса, но не хочет.

— Хорошо, пусть придет,—проговорила Залина. — Ночью, когда в окне моем увидишь свет, приведи его... Калитка будет открыта, иди...

Вечером под навесом на маленьком столике Михайла приготовил ужин: яйца, зеленый лук, простоквашу. Легкий ветер лениво колышет свернувшиеся вялые листья акации, потом, будто нехотя, перебрасывается на белую занавеску, пошевелит ею, вспорх-

нет легко, как дыхание сонного ребенка, перелетит на зонтообразные листья тыквы, потревожит в желтом сладком цвете уснувшую мошку и замрет, будто прислушиваясь...

— Закройте ворота, Михайла, — сказала Залина, унося на руках сонного ребенка.

Не зажигая света, она легла на кушетку, дожидаясь, когда Михайла совершит вечернюю молитву и заснет крепким, отнюдь не старческим сном.

Уже кричали первые петухи, когда Залина поставила на окно лампу с зеленым абажуром. Выйдя во двор, она осторожно ступала по мокрой, от обильной ночной росы, траве.

С сильно бьющимся сердцем вытащила железный засов и, как что-то хрупкое, положила на землю.

Приоткрыв калитку, она высунулась и прислушалась. Тихая, темная ночь. Ни шороха, ни звука, ни ветерка. Ровной сплошной полосой тянулись дома вдоль сельской улицы.

Сердце замирало от любопытства и волнения. Она должна была сегодня увидеть человека, которого боялись все. Рассказывают, что за последние два месяца он убил уже третьего начальника.

Постояв минуту, Залина вернулась во двор, прикрыв за собой калитку. Мягкий свет лился из квадратного окошка, прорезая темноту зеленоватой полосой.

Ей вдруг сделалось страшно и холодно. Не оглядываясь, подбежала она к двери и остановилась. Понимались шаги и приглушенный, сдержанный кашель. Темная крупная фигура шла на нее. Залина не двигалась с места. Она не могла ни пойти к нему навстречу, ни убежать...

— Ставню закройте, — тихо промолвил подошедший и, не здороваясь, первым прошел в сени.

— Разрешите, — сказал он, — снять бурку. Или вы меня боитесь? Я вижу вас не впервые, — сказал Темур, высвобождая голову из-под бурки.

Учительница и Темур стояли посреди комнаты. Залина удивленно, как ребенок, рассматривала его крупную фигуру. Ей казалось, что он заполнил собой всю ее комнатку.

Прикрученный в лампе фитиль давал слабенький свет, окно было занавешено плотным байковым одеялом.

Прошло уже минуты две с тех пор, как Темура вошел в комнату, а она не сказала ему еще ни слова и продолжала рассматривать. Наконец, смущенно улыбнувшись, Залина подала ему руку и пригласила сесть.

Между ее кроватью и столом, покрытым белой скатертью, стояла дубовая табуретка, а по другую сторону стола — венский стул.

Она указала ему на венский стул, а сама села на табуретку. Оба молчали, не зная, как начать разговор.

Перед ней сидел бледный, с большими черными глазами, со щеками, обросшими густой жесткой щетиной, мужчина лет тридцати. Черная борода его покрывала верхушки газырей.

Короткие жесткие волосы на висках припудрены сединой. Рукава черной суконной черкески откинута до локтей, из-под коротких рукавов сатинового бешмета, на белых крупных кистях рук, видны черные жесткие волосы.

Неизвестно, сколько бы еще они просидели так. На помощь им пришел Аслан. Что-то забормотал во сне, повернулся на другой бок и захныкал.

На бледном лице Темура вздрогнули, поднялись, потом упали густые брови. Он замер.

Залина вскочила, сделала ему знак рукой, чтобы молчал и не подходил к постели ребенка. Детская кроватка стояла рядом с ее кроватью. Одеяло сползло на пол.

Залина подошла к кровати, осторожно подняла с пола одеяло и, опустившись на колени, тихо укачивала ребенка, глядя его по плечу.

— Не бойся, маленький, это я, видишь, вот я, я здесь...

Знакомый голос успокоил ребенка. Разметав ручонки, он потянулся к ней, положив ее руку к себе на шею и, зачмокав губами, будто ел что-то вкусное, снова уснул.

Боясь прервать сон ребенка, она стоя на коле-

нях, положила голову на одеяло, дожидаясь, когда он крепко заснет. Она никогда не любила его так сильно и никогда не жалела так, как теперь.

«Я не отдам его — думала она, — если он будет его у меня просить. Он сделает из него такого же разбойника, как сам. Я упрошу его оставить мне мальчика, пока не подрастет».

— Он теперь плачет меньше, а первое время я не знала, что мне с ним делать, так сильно он кричал ночами, — сказала Залина, подходя к столу.

— Я так многим обязан вам, Залина, что ни на этом, ни на том свете не сумею вас по-настоящему отблагодарить.

При этих словах Темур передвинул лампу к стене — она мешала ему смотреть на Залину.

— Надеюсь, что я не умру изгнанником, когда-нибудь уйду из темного леса, сделаюсь человеком и не забуду ваших забот... Когда я последний раз видел жену, обещал ей, что увезу их обоих...

Темур замолчал. Он вспомнил жену, ее горячий шепот: «Я хочу видеть твое лицо», ее дрожащие горячие губы...

— Я обещал, что увезу их обоих, а теперь... — при этих словах он встал, шагнул к кроватке ребенка и остановился.

Белая наволочка еще рельефнее оттеняла темную головку, загорелое круглое лицо.

Ребенок ровно дышал, высунув из-под одеяла ногу. Залина, видя, как взволнован отец свиданием с сыном, встала и вышла в сени.

Темур, нагнувшись к сыну, боясь разбудить его, осторожно дотронулся до его черных кудрей, указательным пальцем правой руки погладил его ножку, рассматривая его и вдыхая теплый запах детского тела.

Подняв голову, он вдруг увидел, что в комнате никого нет.

Комнатка Залины с белой кроватью и с большим книжным шкафом, потонувшая в зеленоватом мраке, манила теплом и покоем.

Лес, горы, ущелья, рев водопадов, проливные дожди, знойные дни, винтовка и конь, бурка, заменяющая

постель... Как не похожа была его жизнь на то, что было здесь.

Вынув из кармана темный сверток, он сунул его под подушку ребенка, а сам торопливо прошел к столу, сел на место и опустил голову.

Залина вошла в комнату, осторожно прикрыла дверь за собой.

— Не беспокойтесь, я сейчас уйду, — промолвил Темур, поднимаясь.

— Нет, нет, сидите, — ответила она, садясь к столу.

Эта маленькая девушка с тихой походкой и ласковой улыбкой в глазах стала близка Темуру, но, глядя на нее, он чувствовал себя неловко и стесненно.

Он соскучился по женской ласке. Просыпаясь ночью где-нибудь под открытым небом, он вспоминал жену.

Но здесь, в этой комнате, один на один с молодой девушкой, он стеснялся ее и не находил простых слов, чтобы отблагодарить. Машинально протянул Темур руку к лампе и прибавил огня. При желтом ярком свете увидел он гладко причесанные волосы Залины, удлиненный и несколько косой, как у японки, разрез глаз. Залина смутилась под его упрямым взглядом.

— Я еду, но хочу просить вас — не прогоняйте Аслана от себя. Я скоро возьму его, а пока, если это не очень трудно, пусть мальчик побудет у вас...

Обрадовавшись, Залина сказала:

— Я так привыкла к Аслану, что даже боюсь, что вы отберете его. Пусть он живет у меня, я постараюсь его выучить.

Как бы в благодарность, за то, что у нее не берут мальчика, она встала и, подойдя к Темуру, протянула руку.

— Когда захотите его видеть — приходите... Только присылайте сперва Атарбека...

Темур удивленно вглядывался в ее повеселевшее лицо и не понимал, чему она так обрадовалась. Ведь ей, молоденькой девушке, должно быть вовсе не интересно ухаживать за чужим ребенком.

— Встретимся когда-нибудь в лучшие времена,

Залина, и я не забуду ваших забот, — сказал он, пожав ее руку.

— Я пойду посмотрю, — сказала она, опережая его.

В темных узеньких сенцах они не сразу нашли дверь; на одну минуту он оказался так близко около нее, что услышал запах ее волос. В висках у него застучало... Но эта девушка была для него святыней. Толкнув дверь, он тяжело шагнул во двор.

В предрассветном мраке крупные редкие звезды, прорезая тьму безлунной ночи, холодно мерцали в небе. Залина закрыла за ним калитку и долго не могла уснуть. С этой ночи она еще сильнее полюбила своего питомца и решила во что бы то ни стало научить его грамоте.

6

Ныхас — это место, где собираются мужчины в часы досуга. И бедняк, жизнь которого катится комом, и лентяй, который живет объедками с богатых столов, и кулак, покрикивающий на своих работников, и богач, щелкающий на счетах, заходит сюда, и пахарь после тяжелого трудового дня. И безусый юноша, и ветхий старик, и знатный, и безвестный — все собираются здесь.

На перекрестке улиц, у журчащей канавки, как бы невзначай, брошены бревна, камни, а кругом них сажени на три утоптана земля.

Весной, как только пригреет солнышко, выползают сюда раньше всех столетние деды, хранители ветхих преданий, волнующих легенд. Насупив белые брови, садятся они на бревна и, останавливая проходящих мимо юношей, говорят им:

— А ну, молодец, скоси сорную траву — побрей старому голову...

Юноша останавливается и, не смея не покориться властной просьбе старика, бежит в первую хижину, берет медный кумган,¹ кусочек темного раскисшего мыла и тут же из канавки черпает воду.

¹ Кумган — кувшин-рукомойник.

Старик передает юноше нож, наточенный до зеркального блеска, и бритьё начинается. Дряблая кожа на бугорчатых, старческих черепахах отливает фиолетовым блеском. Такие «парикмахерские» на нихасе можно видеть всегда.

На камне или просто прислонившись спиной к дереву, или на земле, подогнув под себя ноги, сидят мужчины: один стругает палку огромным отточенным ножом, стругает осторожно, любовно, будто делает какую-то замысловатую вещь, другой из длинных тонко нарезанных кусков телячьей кожи плетет упругие плетни. Стругают обрезки прошлогодней липы, делают ложки и маленькие чашки.

О чем только не говорят здесь: кто склонив голову над работой, а кто просто бездельничая. Говорят о том, что начальник Терской области выдал свою дочь за знатного кабардинского князя, и о том, что кабардинский князь Наурузов и генерал Котляревский причастны к ограблению казначейства. Говорят о том, что где-то далеко в России рабочие поссорились с хозяевами, и за это их расстреливали сотнями. О том, что вековые кровники, уважив просьбу седых стариков, сидели сегодня рядом. И о том, что знаменитые разбойники Лазаров Садулла и Тогоев Кала украли жертвенного быка Туганова, которого помещик кормил пять лет, чтобы зарезать на праздновании по случаю окончания сыном офицерской школы.

Не только о столь важных событиях идет беседа на нихасе, здесь любят и посплетничать. С удовольствием говорили здесь о том, что та или иная красавица-вдова, спустя одиннадцать месяцев после смерти мужа, родила двух сыновей и сыновья похожи на одного из молодых соседей. Что другая вдова, работая у себя во дворе, не покрывает головы и ходит по двору с открытой головой, что держит она красивого работника и даже кто-то видел, как один раз он был одет в бешмет ее покойного мужа.

Тут же на нихасе очень часто решается судьба какой-нибудь шестнадцатилетней девушки и сорокалетнего холостяка. Тут же держат пари на скаковую лошадь какого-нибудь богача, который устраивает скачки в память усопшей бабушки. Призы на скачках

заманчивы: необъезженный породистый жеребенок со щетинистой подстриженной гривой, кабардинская бурка и седло, обтянутое персидским сафьяном, черная черкеска и посеребренный кинжал, бешмет с ноговицами и блестящими резиновыми калошами и, наконец, последний приз — башлык и три рубля серебром.

Здесь загадывают загадки, рассказывают наивные и мудрые сказания о воинственной беспокойной жизни предков, не знавших иной постели, кроме бурки и седла.

Всего, всего наслушаешься на ныхасе, если посидишь здесь от восхода до заката солнца. Но порой мирные беседы здесь превращаются в спор, спор в ссору, а ссора кончается дракой.

По обычаю, женщина не имеет права не только сидеть на ныхасе, но даже проходить мимо. Поэтому молодые обходят ныхас, а старухи, проходя мимо ныхаса, низко кланяются старикам — почтенный возраст, седые волосы дали им это право.

— Да одарит тебя господь счастливой старостью, оставит тебе всех детей после тебя здоровыми, — отвечает на поклон ей самый старый из мужчин.

А молодежь с уважением встает, дожидаясь, пока старуха пройдет.

Крепко греет летнее солнце. На ныхасе мирно.

— Расскажи, расскажи, Бибо, какую-нибудь легенду или веселую сказку, — пристает молодежь к старому Бибо.

Старый Бибо сам не знает, сколько ему лет. Он помнит только, что когда с отцом и двенадцатью братьями переселился с далеких гор на равнину, у него уже были усы.

— Расскажи, как жили раньше, как воевали.

Молчит старик. Тесным кольцом окружает его молодежь, жадными, горящими глазами глядя в сморщенный, высохший рот старика.

В померкших глазах его пробегают искорки, и, подняв глаза к белым, как его борода, вершинам гор, он говорит:

— Что ж, послушайте, юноши, послушайте, отроки, расскажу я вам, как жили ваши деды, отцы ваших

дедов... Не умею я теперь так рассказывать, как рассказывал раньше. Глух я, как старая башня, помутнел мой разум, не звенит мой голос. Не похожа больше моя мысль на сверкающую молнию, на узкокрылую птицу...

Все молчат. Никто его больше не упрасивает, все ждут, когда старый Бибо кончит оплакивать свою ушедшую молодость.

Шамкая беззубым ртом, старик цедит со свистом воздух.

— Да пошлет вам небо долгой, благополучной жизни, — начал Бибо. — Жил да был, радовался и радоваться не мог на жизнь молодой, ретивый ногайский хан. Звали его Мусса-ханом. Да исчезнет память о нем в семи преисподнях... Воинственный народ погайцы. Лицом широкоскулы, глаза узкие, характером хитры, но умом недалеки. Полонил этот хан в давние времена всю предгорную равнину от широкого Дона до буйного Терека, — так рассказывал мне дед. Храбро умирали ваши предки. Да пошлет и вам бог побед на полях сражения. — Смело клали они головы за родину, но ногайцы числом превосшли наш народ, их было больше, чем листьев в лесу. Скрылись тогда ваши предки в далеких горах, в урочищах и темных пещерах...

Нахмурился дед. Тихо на ныхасе. Журчит в канавке вода, стройными верхушками прислушались тополи, краснокрылая бабочка прошумела перед носом рассказчика и исчезла.

— Да буду я вашей жертвой, мои дорогие, — продолжал Бибо. — Я плохо вижу, а глаза ваши остры, выйдите-ка за село, посмотрите, сколько вокруг маленьких и больших курганов рассыпано по полям. То кости ваших предков... Светлая память им!

Зажил Мусса-хан грозным владыкой необъятных земель и непроходимых лесов. Стонала земля. Несчитанные табуны его коней паслись на горных пастбищах, дерзкие прислужники стерегли его богатства, и нельзя было пролететь птице над лесом, проплыть рыбе в воде, чтобы остаться не примеченной его стражниками.

Богатые персидские купцы привозили в подарок

хану много цветных ковров и белорудых турчанок для гарема.

«Благодарю тебя, аллах, что ты не создал меня скотом, рабом и женщиной», — молился на золотистой турьей шкуре могучий хан.

— И вот, мои милые, да ниспошлет вам небо долгой жизни, однажды в полуденный час, когда листья не смели шелохнуться в лесу, чтобы не потревожить царственный сон хана, прибежала рабыня, крича, что поймала в реке корзину с мужским бельем, значит, кто-то дерзнул без ведома хана жить под одним небом с ним. Повскакали рабы, проснулись жены и с искаженными от злобы лицами чуть не растерзали рабыню, которая нарушила сон Мусса-хана. Теперь в бороде его черной появится седой волос и будут бить их за то, что не укараулили они сон своего владыки.

Хан, не спуская глаз, смотрел на своих рабов, на дежурную жену, которая должна понести половину наказания. С налившимися кровью глазами, он вскричал:

«Привязать виновника к дереву!.. А если это женщина, заменяю казнь более легкой, голую привязать к хвосту дикого жеребца!»

«Казни меня, но выслушай, о царь царей, земной мой бог!—застонала холопка, упав на колени перед Мусса-ханом.—Стара я, знаю жизнь. Вскормила я на своем веку семь сыновей твоих, двенадцать породистых щенят и двух тигрят, подаренных тебе царем египетским. Раба я, но молоко мое течет в крови семи знатных сыновей твоих. Достояна пощады я... Пощади, всемогущий Мусса-хан! На необозримых твоих владениях, где-то близко поселился человек, а не то корзина, вот она, — передавая корзину хану, сказала рабыня,—не могла бы доплыть до нас. Кто-то дерзнул без твоего ведома дышать твоим воздухом, жить с тобой под одним небом...»

«Казнить!»—снова крикнул хан, и ее схватили. Перед казнью старая рабыня взглянула на своего сына горящими глазами и сказала:

«Холопка мать твоя, холоп и ты. Так слушай же, сын мой... Лучше острый топор, чем тупой нож...

Лучше красная смерть, чем черная жизнь... Смотри, холодная мертвая волна бьется о берег, но не уступают камни места воде. Смотри, старый дуб, будто в смертных корчах, схватился с молодым ростком, — не сдается росток, борется... В небе ястреб гонится за жертвой — не сдается преследуемый, защищается... На охоте раненый зверь, истекая кровью, сопротивляется, борется за жизнь... Честь тебе, смелому! Иди, только в борьбе обретается счастье...»

И пал Мусса-хан от руки своего холопа, сына казненной женщины, — монотонно продолжал старик. — Да исчезнет память о нем. Пал и смелый раб, да живет имя его в веках. Не стало с того времени ногайцев на нашей земле. Наш народ был спасен от рабства рабом, сыном рабыни... Да пошлет господь народу таких сыновей... Да станет народ хозяином судьбы своей...

— А вам, кто слушал меня, старого Бибо, — продолжал рассказчик, — да пошлет небо долгой благополучной жизни. Прожить вам долго, до прихода тех, кого поминал я в нескладной сказке своей, — закончил Бибо свою легенду, вытирая подолом бешмета бритую голову и шамкающий рот.

Тихо на нихасе. Журчит вода в канавке, летают бабочки. Струится теплыми волнами согретый воздух. Греет Бибо на солнышке старые кости. С завистью думает молодежь о смелом холопе — жаждет подвигов, завидует смелым. Мечтают, чтобы и их имена остались жить в легендах и сказках, чтобы вздыхали юноши, чтобы дети, играя в войну, в азарте игры восклицали их имена, чтобы девушки, лаская милых, поминали их, чтобы матери, провожая сыновей на подвиги, заклинали именем их, чтобы старики, вспоминая молодость, оголяли бритые головы перед памятью героев...

Первым нарушил тишину работник Саниат, Мухар, который поднялся и побежал вдоль улицы по направлению к полю.

Глядя вслед Мухару, ни к кому не обращаясь, один из соседей Саниат сказал:

— Сегодня пастухи гуларовские погонят через се-

лю гурты баранты... Старая ворона... Умирать не хочет...

— На ярмарку, что ли? — спросил дед со щетинистыми бровями.

— В город, на продажу...

— Куда ей столько богатства? — вмешался в разговор молодой черноусый крестьянин-седельщик, плетя из обрезков кожи тонкие гибкие плети.—Поделилась бы с нами, память бы о себе оставила. Доброе дело в веках живет...

— На ее месте другой бы тоже не раздаривал, не швырялся бы богатством,—протянул Бибо, укоризненно поглядев на седельщика.—Нам только кажется, что мы поступили бы иначе на ее месте. Когда нечего дарить, говорить легко.

— Много я на свете прожил, — продолжал старик, — а богачей щедрых не встречал. Богатства свои раздаривать, все равно, что детей своих с кручи кидать — трудно...

— А я вот встречал щедрых богачей, — перебил Бибо другой старик.

— Видно, что встречал ты щедрых богачей,—засмеялся седельщик.—Видно, поделился этот щедрый богач с тобой своим добром.

— А я-то думал, откуда у тебя столько добра — семь дочерей и ни аршина земли, старая сапетка и два кочана... Старость твоя без пристанища, выгнал вас Амурхан... А вы даже не набили ему... Ишь ты, встречал он щедрых богачей! Ха-ха-ха! — злорадно хохотал седельщик.

— Молод ты еще смеяться надо мной, — огрызнулся старик временнопроживающий, — над несчастьем смеяться бесчестно...

— Не у своего очага живете, не коренные вы в селе, а больше коренных кичитесь,—раздраженно продолжал седельщик.—Мы сами тоже не ахти какие земельные, недаром поговорка гласит: «Один пастиух с голоду сдыхал, а другой у него за пазухой кость искал».

— Тише, тише, — вмешался в разговор Бибо на правах самого старого. — Все мы здесь временные, а коренными только после смерти будем. И чего сче-

пились, недаром говорят: богачу — счастье, а бедняку — раздоры...

В это время из-за угла вывернулся двухместный фаэтон Сафа, и кучер лихо осадил коней. С фаэтона, придерживав на носу пенсне, медленно сошел невысокого роста мужчина и коротким неторопливым шагом подошел к старику Бибо.

— Счастье в кругу вашем! — обратился он ко всем и, нагнувшись к Бибо, проговорил:—Жив, жив еще Бибо, не забыл я твоих сказок... помню...

Все поднялись ему навстречу, за исключением Бибо, который, сохраняя полное достоинство перед незнакомцем, небрежно протянул ему руку, сказав:

— Не знаю, не припомню...

— Это сын Сафа Абаева... Доктор, понимаешь, доктор, — приложившись к его уху, громко прокричал один из юношей, с восхищением разглядывая форменный костюм доктора Абаева.

— Зато я вас никогда не забывал, особенно одну вашу сказку,—сядась рядом с Бибо, проговорил доктор, оглядывая ныхас с чувством радостного возбуждения.

Непривычным и странным показалось ныхасу поведение образованного сына Сафа, тем более, что другие его сыновья обходили ныхас с молчаливой гордостью, хотя по обычаю полагалось иногда посидеть на ныхасе. Но Сафа говорил, что молодым нечего делать на ныхасе, терять время.

Все восхитились его поступком. Только седельщик, поглядев на него из-под нахмуренных бровей, подумал:

«Этот еще похитрее остальных братьев...»

Подойдя к нему близко, он протянул ему руку и проговорил:

— А меня вы не помните, хотя меня и не за что помнить?

Не спуская с доктора хитроватых глаз, он продолжал:

— Вы спрашиваете, как мы тут живем? Так же, как и всегда. Только теперь немного хуже. Переселили к нам «временных», чтоб мы поделились с ними своими землями, а земля у меня — ровно на два баш-

лыка... Вот теперь вы и поможете им, попросите вашего отца поделиться с ними, с «временными» то-есть, землей... Говорят, ученый человек за правду должен стоять, вот и постоит... В дальних вы странствиях побывали, царя с царицей повидали, ума разума набрали, — говорил седельщик прибаутками.

Кругом раздался сдержанный смех.

Владимир снял пенсне и протер стекла белоснежным платком.

— Да, вы правы, — ответил Владимир, — ученые, действительно, за правду должны стоять. Но не забудьте, что у каждого ученого своя правда...

— Простая нам правда нужна, — перебил его седельщик, — такая правда, чтобы хлеба мне хватало на круглый год, другой правды я не знаю.

— Это настоящая правда, — сказал Владимир, — но к этой правде дорога не легкая...

— Кому и очень даже легкая, — перебил его седельщик злорадно.

В это время к ныхасу подбежал работник Сафа, говоря:

— Вас все ждут, не задерживайтесь...

У ворот Абаевых толпился народ.

А в доме Сафа уже несколько дней царила радостная сутолока. Получена из Москвы телеграмма: едет сын. Сегодня на заре Сафа разбудил кучера — не опоздать бы к поезду.

— Не простой у меня сын, ему и встречу по чину, — доктор!.. — говорил старик, разводя под сараем костер из сухих дубовых дров.

— Шашлык на дубовых углях всего вкуснее, дымом не пахнет, — учил он работника, нанизывая на длинные железные вертела наперченные куски жирной баранины.

Только два дня, как он встречал сына-офицера: Георгий приехал с женой в отпуск. У старика — двойная радость.

Толкут чеснок, цедают кефир, пекут пироги, несут на столы мед в сотах и банки засахаренного вишневого варенья.

Старая Кошер молодо суетится у печки, не доверяет она сдобное тесто ни работнице, ни снохе.

Депщик Иннокентий тоже у дела: перетирает посуду и носит ее в светлую просторную комнату.

В этой комнате — кунацкой — встретились восток и запад. На стенах — оружие в серебряной оправе, мягкая широкая тахта, подушки, мутaki, ковры на полу. Но рядом — в массивном дубовом шкафу — книги, кресла, обитые темно-коричневым плюшем, гардины, опущенные от потолка до ярко натертых полов. В резном буфете из черного дерева — серебро.

Большой круглый стол накрыт белой накрахмаленной скатертью, утюгом она сломана на восемь равных частей. В темно-фиолетовой вазе на длинных ключих веточках — бутоны белых роз. Ставни полузакрыты, чтоб сохранить в комнате прохладу и аромат цветов.

Георгий сидит на тахте, закинув ногу на ногу. На нем темно-зеленый китель внакидку. Он молчит и курит.

Солнце ушло на середину неба, когда черный лакированный фаэтон вкатил во двор к Сафа.

Соседи-старики, увидя Владимира, подошли поздороваться. Один из стариков, подержав в большой жесткой ладони мягкие пальцы Владимира, сказал ему:

— Живите. Не забывайте. Помните нас. Нам немного надо...

Владимир пожал старику руку и прошел к дому.

Дети с любопытством разглядывали блестящие пуговицы на форменной тужурке молодого врача.

Вслед за Владимиром из фаэтона вышел его товарищ по университету, Боба Туганов, сын помещика Туганова — невысокий с квадратной головой, туго ввинченной в широкие плечи. Большие светлые глаза чуть косили, отчего всегда казалось, что он подвыпил.

Навстречу Владимиру выбежала мать. Волнуясь, она прильнула к плечу сына, оставив на его спине белые мучные полосы.

Владимир был очень похож на мать. Над высоким выпуклым лбом — русые гладкие волосы. Глаза серые, глубоко посажены. Медлителен в движениях. Голос тих и ровен.

Он прижал мягкое рыхлое тело матери, прошеп-

тав: «нана», — освободился от материнских объятий, поклонился работникам, пощекотал детей, попавшихся под руку, и шагнул к отцу. Сафа, увидев повзрослевшего, возмужалого сына, заволновался, притворно заворчал и нагнулся к цветочной клумбе, поправляя выпавший из гнезда камень, — хотел, чтобы отхлынула от горла первая волна радости.

Потом небрежно подал сыну руку. Навстречу вышла и Лидия Ивановна. Она приветливо улыбнулась деверю, протянув ему обе руки, как старому знакомому.

— Ну, Владимир Сафарович, совсем молодец, возмужал, похорошел.

Владимир почтительно поцеловал ей руку.

Георгий тоже выскочил во двор. Широко расставив ноги, он открыл брату объятия:

— Вот ты какой стал! Эскулап... посмотрим, посмотрим...

— Эй, ко мне! — позвал Сафа работника, когда все вошли в дом. — Пойди-ка, сходи к учительнице и скажи ей, что зову на обед... Да скажи, что не женщины тебя прислали, а я сам. Передай... прошу пожаловать на обед, не придет — обидит меня. Сына-доктора дождался, пусть разделит мою радость...

Сафа посмотрел вслед работнику и ухмыльнулся. Он давно знал Залину, так как запросто бывал в семье Цораева. Хотя Сафа и нравилась жена Георгия, Лидия Ивановна, но он знал, что старая Кошер была недовольна снохой. Окружающие часто говорили, что она, может, и не плоха, но чужих кровей. Поэтому Сафа опасался, как бы другой сын, живя вне Осетии, тоже не полюбил женщину из чужих. Увидев Залину уже в селе взрослой девушкой, Сафа подумал, что неплохо бы женить на ней Владимира. Никто из сыновей не женился по его совету. И Сафа таил в душе большую надежду на Владимира, что именно он выберет себе жену по вкусу отца. «Построю сыну больницу, а снохе — школу... И деньги, и почет. Старость близка, пусть дети будут со мной у очага», — думал Сафа.

Когда Залина взяла Аслана на воспитание, в селе было много толков, особенно со стороны Саниат. Но

Сафа сразу взял учительницу под свою защиту, удивив всех, тем более что слухи о похищении стада Сафа и Саниат Темуром подтвердились. Сафа пришел к Залине и сказал:

— Правильно поступила, мое солнце, этот младенец не должен нести на себе грехи отца.

Для Сафа ничего не стоило выгнать Аслана из села, но дальновидный старик, взяв под покровительство учительницу, сразу убивал двух зайцев: располагал к себе Залину и ограждал свой дом от дальнейшей мести Темура, до которого, — Сафа был уверен, — непременно дойдут об этом слухи.

Залина питала к Сафа чувство уважения и вместе с тем непостижимое чувство страха. Поэтому, когда работник передал ей личное приглашение Сафа, она почему-то перепугалась, смутилась, а потом улыбку, сказав, что придет. И тут же подумала: «Что ему богатому старику, во мне, бедной девушке?» Но узнав от работника, что приглашают на обед, который дается в честь приезда сына-доктора, она уже твердо решила:

«Пойду, непременно пойду, посмотрю, какой он стал, доктор... потому и писать мне перестал, что стал доктором».

Два года назад Владимир заехал к Цораевым во время каникул и впервые увидел Залину. До этого, бывая в доме священника, он слышал о ней, но никогда не встречал.

Странное впечатление произвела на него Залина. Невысокая, с темно-кариими глазами, девочка-подросток разговаривала с молодым студентом. Вечером, в притихшем саду, у куста бузины, Залина сказала:

— Счастливым вы, поедете далеко, увидите много нового, интересного, железные дороги, поезда... Поезда,—мечтательно произнесла она, — ночные вокзалы, короткие стоянки и освещенные вагоны. Я была один только раз в Ростове... как это было интересно... Очень... очень...

— А ты... вы,—смущаясь и не зная, как обратиться к этой серьезной девочке, сказал Владимир, — поехали бы тоже учиться. В Москве очень интересно.

Там можно выучиться на настоящую учительницу, не то, что здесь...

Залина перебила его:

— Я знаю, что в Москве интересно, но Москва не для меня, — я бедна. Да, бедна, но я не стесняюсь своей бедности. Отец мой работает больше богатых... но он не разбогател. Кухарка Аннушка говорит, что отец мой слишком честен. Я горжусь отцом, он не хуже других...

Владимир удивленно смотрел на ее маленькое, подвижное лицо и думал:

«Эта крошка будет хороша, но зла».

— А почему вы думаете, — просто спросил Владимир, — что честны только одни бедняки?..

— Отец за всю жизнь никого не обманул, но богатства не нажил. Значит, нужно быть бесчестным, чтобы разбогатеть...

Владимиру понравился ее ответ.

— Вы умны и, — он сделал паузу, — у вас красивое имя — Залина. Так зовут героиню из поэмы Коста. Вырастите и будете похожи на нее...

— Я больше не вырасту, я останусь маленькой, — усмехнулась Залина.

— Сегодня в двенадцать часов ночи я уеду в Москву. Хотите, пришлю вам письмо и опишу, как будут светиться окна поездов на коротких стоянках?..

Владимир почувствовал, что ему действительно хочется переписываться с этим сердитым подростком. Ему стало неловко, — он, двадцатитрехлетний студент, хочет затеять переписку с этой девочкой. В свое оправдание он сказал:

— Я пришлю вам интересную книгу, если вы хотите...

— Вы забудете, не пришлете, в Москве вам разве до меня. А я бы показала эту книгу подругам в приюте, наверное, ни у кого не будет такой книги, — она ведь московская...

Не прошло и месяца, как Залина получила из Москвы «Накануне» Тургенева. Она читала и перечитывала роман, позабыла даже в первое время ответить на письмо, потом вспомнила, написала, поблагодарила.

С этого началась дружба. Залина писала Владимиру обо всех приятских новостях и домашних делах Цораева, о том, что отец уже стар и часто болеет, что Аннушка-мама очень любит ее, что ей, Залине, хочется тоже отплатить Аннушке когда-нибудь добром. Владимир отвечал на все ее детские тревоги, представляя ее все такой же маленькой...

Залина пришла к Абаевым, когда обед был в разгаре. Сафа сам встретил Залину у ворот и прямо провел к гостям. Перешагнув порог нарядной кунацкой, где за большим столом уже шумно веселились гости, Залина смущенно остановилась, подняла на Сафа свои прекрасные глаза, как бы говоря: «Помоги». Сафа взял ее за руку и повел прямо к Владимиру, который с нескрываемым изумлением разглядывал Залину, то надевая, то снимая пенснэ. Смутившись, не находя подходящих для данного момента слов, он молчал. Перед ним был не тот угловатый, с резкими движениями подросток, которого он видел два года назад, а красивая девушка с мягкими движениями. Глаза ее тепло лучились, а черные блестящие волосы были заплетены в две тугие косы. Только ростом она оставалась почти такой же, и Владимир вспомнил, как она когда-то сказала: «Я не вырасту больше, я останусь маленькой». Сейчас, глядя на нее, Владимир понял вдруг, что все это время любил ее. Не спуская с Залины близоруких глаз, он подал руку.

Все улыбались ей, особенно Дрис, который протягивал Залине бокал вина.

Весело было за большим столом на обеде у Сафа. Все уже изрядно выпили и теперь шутили и смеялись. Дверь на веранду была открыта, долговязая фигура денщика то и дело мелькала в дверях. Он то приносил посуду, то графины с вином, то вазы с фруктами. Отец Харитон сидел на самом почетном месте, а по правую его руку — старшина Дрис, который в качестве тамады распоряжался за столом. Рыжие усы его обвисли, красные глаза посоловели...

Георгий и Боба Туганов стояли у окна и курили, Залина и Владимир сидели рядом, тихо переговариваясь.

Сафа часто вставал из-за стола и выходил на кухню. Он любил сам присмотреть за всем. Гордился Сафа своим богатством: землей и мельницей, домом и магазином. Но больше всего гордился знатными русскими знакомыми, князем Макаевым, приставом. Приезжее русское начальство всегда останавливалось у него.

— Не каждому богачу такой почет, — похвалялся Сафа.

В доме его умели приготовить вкусные русские блюда. Он был счастлив, что начальство, покидая его дом, славил угощение. Гордился Сафа и тем, что мог без переводчика говорить по-русски. Гордился детьми, которые учились паравне с сыновьями знатных русских. Гордился тем, что денщик сына был русский и говорил сыну: «Ваше благородие».

Глядя на Владимира, который услужливо подносил Залине большое красное яблоко, Сафа подумал, что, пожалуй, мечта его исполнится и ему удастся женить сына на маленькой кареглазой учительнице.

«Этот уступчив, в мать, не то, что Георгий», — подумал Сафа.

И старик, счастливый и гордый, взяв в руки бокал, не спросив разрешения у тамады, громко сказал:

— Тост, хочу тост...

Отец Харитон захлопал, и сухие руки его издали деревянный звук.

Дрис одобрительно закивал головой, благоговейно сложив ладони.

Залина повернула голову к Сафа. Повернулся и Владимир и совсем близко увидел розовое ухо Залины. Ухо было такое маленькое, что он умилился. Он нагнулся к ней и прошептал:

— Вам, наверное, очень жарко? После отцовского тоста пойдемте в сад.

— Пусть позавидует мне недруг мой, — начал Сафа тост. — Четыре сына у меня, и каждый у дела: Сын — офицер, сын — коммерсант, сын — доктор, а четвертый — мал еще, но тоже моей крови... не пустоцвет. За этим столом — все друзья мои. Спасибо, что пришли радости моей порадоваться. Просьба у меня к сыну, — обратился он к Владимиру, — горд я тобой

и счастлив. Люди спросят: «Кто этот доктор?» — «Сын Сафа Абаева». Горд я тобой, спасибо. Только вот старею, хочу внуков от тебя дожидаться, женись, оосчастливь... А невеста? — спросил Сафа, глядя на Залину. — Тебе все невесты под стать...

Батюшка опять захлопал и, нагнувшись к Владимиру, что-то шепнул ему на ухо.

— Штраф, штраф, батюшка, не секретничайте в обществе! — сказала Лидия Ивановна и поднесла попу большой стакан вина.

— Больше не могу, предел...

— Пейте, батюшка, все попы грешны, — бросил ему Боба, стоя у окна и пуская голубоватые колечки дыма.

— Ох, уж эти мне доктора... Все вы антихристы, — сказал поп и, обращаясь к Владимиру, вздыхая, прошептал:

— Женись, женись, сын мой, сам Христос любви не противился... За любовь!..

— Что же, за любовь, — сказала Лидия Ивановна и многозначительно взглянула на Владимира, а потом на Залину и чокнулась с ними.

...Вечерело. Длинные густые тени поползли от деревьев и заборов.

Гости Сафа расходились.

Отец Харитон и Дрис ушли вместе. Георгий пошел отдохнуть, а Владимир, Боба, Залина и Лидия Ивановна остались сидеть на веранде.

— Вечер хороший, пройдемте к реке, — предложил Владимир.

— Мне бы сегодня в Тугановское, домой понасть, — сказал Боба.

— Сегодня не поедешь, завтра — ответил ему Владимир.

— Я давно верхом не ездила, останьтесь, завтра вас проводим. А сейчас пройдемтесь, — сказала Лидия Ивановна.

Все четверо вышли за ворота и направились в поле.

Был тот час, когда, утомленные работой, возвращаются с поля крестьяне. Идут кучками и в одиночку с косами и серпами за плечами, тащатся в скрипучих арбах. С хлопаньем открываются ставни и

двери, чтобы впустить в комнаты свежий воздух. Проголодавшиеся за день телята, моргая длинными желтыми ресницами, тычутся мордами в подола хозяек, печально мыча и обдавая им руки теплым влажным дыханием. Одиноким куры копошатся у навозных кучек, не желая заходить в курятник; покачивающейся бело-серой вереницей возвращаются домой гуси.

В предвечерний этот час низины, политые розовато-серыми тенями, кажутся глубже, курганы — острее, молочно-белые вершины гор — дальше, разбросанные лесистые холмы — темнее и таинственнее. Этот час перед сумерками похож на утомленного человека, который, разбросав свои онемевшие от усталости члены, не в состоянии превозмочь охватившей его истомы и лежит неподвижно, глубоко дыша...

— Как жить хорошо, — прошептала Залина, глядя в дымчатую даль.

— В семнадцать лет, да в такой вечер и чтобы жизнь не казалась прекрасной... — проговорила Лидия Ивановна, беря Бобу под руку. — Мы с тобой не один день знакомы, разреши на тебя опереться, ты такой крепкий.

Боба Туганов больше пяти лет знаком с Лидией Ивановной. В прошлую зиму, приезжая в Москву, она кокетничала с молодым помещиком, и он решил, что это дает ему некоторое право на нее.

— Не смейте меня трогать за руку, Боба. Я не люблю этого... Я очень брезглива, — поморщилась она и выдернула руку.

Он смутился и, пытаясь превратить все в шутку, сказал:

— Никогда и ни одного слова от вас не слышал о любви...

— О любви не говорят, а просто любят, — перебила она его, крутя в руках розовый зонтик, обшитый по краям широким французским кружевом.

— О любви больше всего говорят такие бездельники, как мы, — проговорила Залина, — а вот они... показала она на дорогу, по которой, кто пешком, а кто в арбах, возвращались с полевых работ крестьяне. — Послушайте их, о чем они говорят?

Нагруженная доверху зеленой сочной травой, по-равнялась арба. Пегая кобылица, с круглыми красными ранками у хомута, еле волокла тяжелый воз. Целый рой слепней кружился над ней. Лошадь часто мотала головой, стараясь избавиться от щекочущих укусов. Хозяин лошади, долговязый худой крестьянин, с узкими плечами, сидя на возу, замахивался плеткой, злился на фыркающую лошадь и ругал ее по-русски. Позади него, закинув руки за голову и свесив с воза распухшие красные ноги, лежала на спине молодая крестьянка. Она покачивалась от толчков, во всем ее большом разметавшемся теле — печать измождения и усталости. Крестьянка лежит неподвижно, хотя колючий репейник, попавший в скошенную траву, царапает ей щеку. Чтобы пятилетний сын не свалился с арбы, его засунули в траву по самый живот. С любопытством следит он за колышущейся сеткой мошкеры и, давясь сухим кукурузным чуреком, смеется, когда ему удастся худенькой темной ручкой рассеять этот густой рой.

Лидия Ивановна посмотрела вслед удаляющейся арбе: потрескавшиеся плоские пятки, грязные растопыренные пальцы босых ног, вызвали у нее холодную дрожь омерзения.

Все молча дошли до покатого берега реки и остановились. Лидия Ивановна предложила сесть.

— Разрешите, — проговорил Боба, снимая с себя пиджак и расстилая его перед Лидией Ивановной, — простудитесь.

— Все о простуде... До чего все доктора противные, ни капли романтики. Такой рыцарский поступок, и вы сводите его к простуде, — улыбнулась Залина, смотря вдаль с берега реки.

Водяные брызги, как легкий дымок, стояли над рекой. В горах таяло, и мутная летняя вода с глухим стоном катила камни. Залина молча смотрела на водяной холм, неистово кидаящийся с высокого камня и образующий по краям камня гигантский водяной веер из серебристых бусинок воды.

— Красиво, — тихо промолвила она и повернулась. Владимир стоял рядом и молчал.

— Почему вы мне не отвечали на письма? — спросил он.

— Я не получала от вас писем более полугода. Перестала писать потому, что не писали вы, не хотела быть навязчивой.

— Так вы не получили и книг, которые я послал бандеролью?..

— Нет.

— Странно, — тихо молвил Владимир и вспомнил разговор с братом, который знал от старшины, что Владимир и Залина переписываются. Брат тогда посмеялся и сказал, что Залина слишком суха, чтоб стать женой Владимира. Владимиру не понравился тон брата.

Чувство острой обиды, неприязни к брату, к старшине охватило его. Глядя поверх головы Залины, он сказал:

— Вы были не правы, Залина, что перестали мне отвечать. Назло, наперекор всем вы должны были мне писать...

— Ничего не понимаю, — сказала она и подняла на него глаза. — Я писала вам потому, что мне хотелось писать. Я бы никогда не стала делать ничего назло кому-нибудь. Скучно и неинтересно... Я решила, что вам не хочется больше быть моим воспитателем, что вы устали меня просвещать, вот и все.

— Так вы и не старались бы снова восстановить переписку? — спросил Владимир.

— Нет. Подачек я не принимаю...

— Гордая вы, — нежно произнес он и стал к ней ближе. Залина отодвинулась и посмотрела ему в глаза.

— Прошу вас, ради бога, не нежничайте, дайте нам уйти; мы вам мешаем... — громко сказала Лидия Ивановна и расхохоталась.

Владимир вздрогнул, повернулся к ней лицом и сказал:

— Меня никогда не раздражает чужое счастье, потому что сам достаточно счастлив.

— Что это значит, Володя? Грубить мне? Счастливые никогда не бывают грубы, мой друг.

— Он хочет быть счастливым, но не может, — подбросил Боба.

— Несчастные, видя чужое счастье, всегда каркают о несчастьях, — ответил им Владимир.

— Я чувствую, что мой деверь приехал из Москвы не совсем спокойным... раздраженным. Ему нужно сорвать на ком-то зло, но прости, дружок, я не хочу быть для тебя мишенью... Найди кого-нибудь другого. Ты знаешь меня...

— Знаю, дорогая невестушка... знаю...

— Говори, договаривай, — ехидно улыбнувшись, проговорила она.

Владимир подошел к ней и, подав руку, сказал:

— Идемте.

— Вернемтесь, — попросила Залина. — Уже прохладно и темно становится.

Она подошла к Лидии Ивановне и взяла ее под руку.

— Наша прогулка не удалась, а все из-за тебя, — упрекнул Боба Владимира.

— Пойдемте, — сказала Залина, — уже поздно.

— Не бойтесь, — сказал Боба. — После недавней карательной экспедиции, мне писали из дома, абреки в нашем ущелье попритихли, так рано не вылезают из своих нор. Говорят, что вожак их, бывший холоп моего отца, временнопроживающий вашего села Темура Савкуев, пал при каком-то налете смертью храбрых.

Залина вздрогнула и прижалась к руке Лидии Ивановны.

В темном небе холодно мерцали крупные редкие звезды, трещали кузнечики, горели на холмах пастушьи огоньки. Где-то далеко в ущелье глухими раскатами гремел сухой гром. Фиолетовыми арканами прорезала молния далекий край нахмуренного неба.

Быть грому великому,
Идти дождю, стрелам
С Дона великого!..—

тихо проговорила Залина. Некоторое время они шли молча.

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит, --

низким грудным голосом запела вдруг Лидия Ивановна.

В небесах торжественно и чудно...
Спит земля в сияньи голубом...

чистым баритоном подхватил Володя. — Жду ль чего? Жалею ли о чем! — продолжал он грустно.

7

Много дней и беспокойных ночей прошло с тех пор, как вошла Хадизат в дом Саниат. Были у Саниат работники, но и на долю Хадизат хватало работы. И в работе забывала она то позорное положение, которое занимала в доме. Не унималась тоска по родным. Она все ждала, когда придут они к ней в гости. А родные ждали, когда посетит их дочь, как полагалось по адату, с дорогими дарами.

— Вот поправлюсь, и поедешь к родным, — обещала ей свекровь. В последнее время Саниат уже не вставала с постели, чувствуя себя с каждым днем все хуже. Она видела, что Хадизат с утра до ночи на ногах, и радовалась, думая, что, может быть, станет молодая жадной и беспокойной... Повеселевшими глазами взглядывалась в невестку. Но бледное лицо Хадизат оставалось печальным, глаза холодны, детские пухлые губы сердито сомкнуты — и по-прежнему равнодушна была она к большим богатствам Саниат.

Утрами, как только стекла в окнах синели, больная, устав от долгой бессонной ночи, громко звала Хадизат, чтобы та затопила печь.

Хадизат приносила из кухни сухие дубовые дрова, топила печь, подавала свекрови умыться, причесывала ее редкие седые волосы.

Саниат заходилась глухим, тяжелым кашлем...

В такие минуты Хадизат делалась добрей к Саниат и, держа таз перед больной, участливо спрашивала:

— Больно?

А когда приступ кашля проходил, она поила больную горячим молоком, перетряхивала ей постель, заботливо укладывая ее на взбитые подушки.

Больная, расчувствовавшись, начинала благодарить Хадизат за заботу, называя ее родной дочерью, говоря ей, что она послана ей в дом всевышним аллахом. Она говорила Хадизат, что ей предстоит богатое будущее, если она будет ласкова и заботлива...

Хадизат, одетая в серое бархатное платье, устав от дневной сутолоки, полудремала на мягкой тахте. Грезились горы. Сосны в белых мохнатых бурках, треск ломающихся льдин... шум весенних водопадов, лесные озера, тучи птиц...

— Девушка, уа, девушка! — позвала ее Саниат, — сходи-ка, посмотри, стучат...

В полусне слышала Хадизат свое имя, но не могла проснуться.

— Девушка, уа, девушка, — еще раз громко позвала ее Саниат.

Хадизат нехотя открыла глаза.

— Встань-ка, посмотри, что там случилось? Кто стучит ко мне в такую пору? Семь моих братьев, с охоты возвращаясь, решили провести сестру? Или отец мой, продрогший с дороги, торопится ко мне? Или сыновья мои стучат?.. Чтобы постигла его участь детей моих! Чей это черный вестник стучится ко мне?

Саниат громко ворчала, проклиная всех счастливых матерей и сыновей...

Хадизат соскочила, всунула ноги в чувяки, накинула на плечи платок.

— Не поленись, сходи, стучит кто-то...

В коридоре Хадизат прислушалась. Во дворе было тихо, как бывает тихо в деревне в полночь. Сытые телята, пахнувшие парным молоком, дремлют на соломе, а коровы освободившись от молока, с полузакрытыми глазами жуют жвачку. Тихо и в курятнике, петух тревожно дремлет, боясь проспать полночь и готовясь к своему первому «кукареку».

Хадизат собиралась уже войти обратно в дом, но

в ворота опять слабо стукнули. Подняв подол длинного платья, она подошла к воротам.

— Кто? — коротко спросила она.

Ответа не было.

— Кто? — снова спросила она, уже собираясь уходить.

Молчание.

— Кто там? Немой, что ли? — воскликнула она и, резко повернувшись, пошла к дому.

— Я, Атарбек... — ответил голос с улицы.

Остановилась. Постояла с минуту, потом медленно повернулась в сторону калитки, шагнула к ней... Долго открывала железный засов... Дрожали руки...

Пропустив пастуха и не глядя на него, она закрыла ворота. Торопливо пройдя в дом, бросила свекрови:

— Пастух ваш... Тоже... из-за него еще вставать.

Она со злостью пиула погой подбежавшую кошку, которая, услышав скрип двери, решила прогуляться по двору.

— Тоба астаафраллах, — промолвила Саниат, — чем кошка виновата? Не злись, успеешь выспаться, только куры сели...

— Лошадь прибирает, сейчас придет... — бросила она и пошла в свою комнату.

— А-а, это ты, Атарбек? — повернувшись лицом к вошедшему пастуху, промолвила Саниат. — Почему так поздно? Что в отаре? Табуи как?

— Все хорошо, хозяйка, не беспокойся, — ответил Атарбек, подходя к постели больной и спимая со спины тяжелый мешок.

В короткой рыжей бурке, в поговницах из само-тканного сукна, перевязанных ниже колен узенькими ремешками из сыромятной кожи, Атарбек стоял на почтительном расстоянии от кровати больной, держа в руках косматую черную папаху, и говорил:

— Большой приплод в этом году, какого еще никогда не было. А те матки белые, что мы в прошлом году из кизлярских степей пригнали, таких ягнят дали, что рассказать не сумею. Белые, как молоко, кур-

чавые, как кефирные грибки. Приезжай, хозяйка, сама посмотри... Уже подросли.

— Кабы мне силы, посмотрела бы, да подымусь ли я еще... — перебила Саниат пастуха.

— Больше пятисот. Год такой, хозяйка. Инал просил передать, что гнедая кобылка, которую в Кабарде купили, ожеребилась двумя пегими жеребятками. Сам я не видел, но шустрые, говорят. Скакуны, хоть сейчас на скачки пускай...

— А как тот, — снова перебила его Саниат, — вороной скакун, у которого копыто треснуло? Не забудь заехать в табун. Скажи им, чтобы приехали ко мне, а то ничего не знаю, как у них? Хорошо, что ты приехал, — продолжала она.

— Этот год урожайный, — сказал Атарбек, — в лунные ночи мы за звездами в отаре смотрели.

— Звезды стережете, а волков зеваете, — перебила его Саниат.

— Все в целости, хозяйка. Инал говорит, что с малолетства любит небо и знает, как звезды живут, и по ним угадывает, когда год урожайный, а когда плохой. Он сказал, что после той звезды, большой хвостатой, которая, помните, еще года три тому назад к рассвету всходила на востоке... желтенькая, а хвост веником, — так после той звезды был неурожай, от ее огненного хвоста все на земле сгорело...

— Чего там сгорело! Эта звезда не к голоду, а к войне, к мору человеческому... Да мне не все ли равно, не моим сыновьям погибать в этой войне, пусть гибнут... Однако же, какой ты лохматый, Атарбек, за чем ты на голове целый лес вырастил?

Атарбек смутился, торопливо надвинул на голову шапку, запихивая в нее свои жесткие спутанные волосы.

— Привез сыр, только плохо подсолен. Молока много, а соли нет. Я за солью приехал, — сказал Атарбек, подвигая к Саниат тяжелый мешок.

— Девушка, а девушка! — позвала ее Саниат.

Хадизат, впустив в дом пастуха, прошла к себе в комнату, швырнула платок в одну сторону, чувяки в другую и, как была в платье, легла под одеяло, закрыв голову, свернувшись комочком так, что колени

коснулись подбородка. С минуту лежала так, закрыв глаза, потом осторожно высунула голову из-под одеяла и прислушалась...

«В лунные ночи мы в отаре за звездами смотрели...» — донесся до Хадизат густой прерывающийся голос пастуха.

— У себя, в горах, Хадизат тоже любила наблюдать звезды. Крупные, дрожащие, низко висят они над плоской каменной крышей родной сакли, где прожила она четырнадцать лет, радуясь маленьким радостям бедной семьи. Как летняя ночь, были коротки ее четырнадцать лет.

«...С малолетства любит небо...» — снова донеслось до Хадизат.

Теперь она уже стояла в кровати на коленях, вытянув шею и полуоткрыв рот. Она отодвинула с уха спустившийся локон светлых волос, да так и застыла, боясь пошевелиться, боясь пропустить хоть одно слово.

К голосу пастуха прислушивалась она так же, как в детстве к дедушкиным сказкам да ночью на далеких пастбищах к грустной песне одинокого пастуха.

«Однако же, какой ты лохматый, Атарбек...» — режущим металлическим скрежетом ворвался голос Саниат.

Хадизат разозлилась.

Сдернув одеяло, бесшумно соскользнула с постели, припала глазами к дверной скважине...

«...Привез сыр, только плохо подсолен...» — снова услышала Хадизат голос и увидела в круглой скважине двери крупную спину, широко расставленные большие ноги в рваных чулках и руки, в которых он держал круглую головку сыра, желтую, как полная луна.

Яркие волосы Хадизат в беспорядке рассыпались по спине и на фоне серого бархата ее платья напоминали весенние лучи заходящего солнца на стальной глади воды.

— Девушка, а девушка? — услышала она вдруг, испуганно отскочила от двери, стала на медвежью шкуру около кровати и схватилась за расстегнутый ворот платья.

Сжав пальцы в кулак, она смотрела на дверь,

ожидая, что сейчас ворвется Саниат и выгонит ее на улицу, хотя знала, что Саниат всю зиму не могла даже передвигаться без ее помощи.

— Девушка, девушка! — позвала Саниат. — Неужели ты успела снова заснуть? Как курица на жердочке, ходишь и стоя спишь. Прибери сыр, — сказала она появившейся в дверях Хадизат.

Хадизат попробовала поднять мешок.

— Тяжелый он, не подымай, — сказала Саниат и тут же обратилась к Атарбеку:

— Да ты что, гость? Помоги...

Атарбек подскочил к мешку, легко поднял его на плечи и отнес в угол комнаты.

— В кухню, да в рассол положить, — приказала Саниат.

Хадизат опять взялась за мешок, Атарбек бросился помогать и вдруг неосторожно задел ее локтем. В упор, смело посмотрел ей в глаза. На какую-то долю секунды ему показалось, что пол и потолок покачнулись, и он сейчас упадет.

Атарбека никто никогда не ласкал, и сам он не был ласков с людьми. Не нравилось ему в доме Саниат. Каждый раз, когда разгневавшаяся хозяйка увольняла работника из дома, Атарбек боялся, что его могут перевести с отары на домашнюю работу. Ловкий, быстрый, он давно нравился хозяйке. Однако старший пастух Инал, пользующийся у Саниат уважением за свою строгость к подчиненным и порядок в отаре, каждый раз уговаривал хозяйку оставить расторопного молодого пастуха при отаре.

Атарбеку хорошо было в степи, особенно весной и летом, когда столько вкусных корней и ягод бывает на пастбищах. А с тех пор, как он увидел Хадизат, его все чаще и чаще тянуло в село, и теперь, боясь признаться себе в этом, Атарбек хотел, чтобы его оставили при доме.

По-прежнему берег он в своей душе нежность и жалость, которую разбудила в нем испуганная девочка с гор. Атарбек совсем не догадывался, что в ту ночь, когда Саниат заперла его в комнате Хадизат, приказав прислуживать госте, по злой воле Саниат, по ее мгновенному капризу, он мог стать мужем Ха-

дизат. Но юное воображение молодого пастуха было так девственно, что ему и не пришло на ум, что Хадизат в ту ночь была дана в его полное распоряжение. Каждому суждено полюбить, и Атарбек любил Хадизат той любовью, которая пожирает душу, лишает сна и покоя. При любой возможности он отпрашивался у старшего пастуха Инала и приходил в село, чтобы хоть издали увидеть Хадизат. Сейчас, лежа на жестком войлоке в углу кухни, он мучительно ворочался с боку на бок и не мог ни уснуть, ни забыться. Чем больше он думал о Хадизат, тем тяжелее становилось ему.

Не спала и Хадизат. Она с ненавистью думала о нем: «Почему не подошел, почему не спросил? Он не любит меня». Вздremнула она только к утру.

— Девушка, вставай, девушка, чтоб мне не проснуться, — ворчала Саниат. — Вставай, мы, кажется, коров проспали, одевайся скорее...

Мрачный двор Саниат повеселел от утренних розовых зорь; липа во дворе, под окном Хадизат, песчаные дорожки, фруктовый сад, под тяжестью плодов пригнувшийся к высокой росистой траве, — все розовело, загораясь красками жизни, радости, счастья. Только безмолвный порядок, царивший во дворе — замки на кладовых, щеколды на сараях, запоры на подвальных дверях, — уродовал причудливую игру утренних летних красок.

Хадизат вскочила с кровати, накинула на голову любимый платочек, привезенный с гор, и два раза плеснула в лицо водой из ведра. Надев поверх повязки большой шелковый платок, вышла с ведром во двор.

Она торопливо побежала к сараю и увидела, что лошади пастуха уже не было. К воротам тянулся свежий след арбы. Куча навоза, которая была собрана за месяц, тоже исчезла. Сердце Хадизат испуганно забилося.

«Уехал, уехал, не видела я его опять при свете дня», — с тоской подумала она, открывая хлев.

Навстречу Хадизат встала белая, в желтых пятнах, корова и, протягивая ей теплую морду, промычала. Но вместо ласкового похлопывания она вдруг

получила неожиданный удар кулаком в нежные розовые щечки. Корова мотнула головой и отошла в угол. Выгоняя за ворота скотину, Хадизат в калитке вплотную столкнулась с Атарбеком, который возвращался с пустой арбой со свалки. Она не отвернулась от него и не потупила взор. Гордо вскинув голову, она разглядывала его сросшиеся густые брови, большие синие глаза, густые нечесанные кудри, выбившиеся из-под старой папахи, и грязный ворот рваного бешмета.

Хадизат думала, что Атарбек просто позабыл ее и поэтому Саниат послала к ней этого «красноглазого паука», как про себя называла она старшину.

Оскорбленная, обиженная его равнодушием, она ненавидела Атарбека и вместе с тем лелеяла его в своем воображении таким, каким видела в первую ночь. Теперь, вскинув на него дрожащие ресницы, она сказала:

— Ты не мужчина. Позорно тебе шапку носить. Сбежал... на кого бросил?.. Храбрец! Бараний сторож! — прошептала она, поблуднев, хлестнула корову палкой и выгнала ее на середину улицы.

Атарбек сперва даже не понял, о чем она говорит. Он с наслаждением слушал ее голос и смотрел на нее, не двигаясь с места. Пусть бы из ее уст лились самые злые шутки и самые страшные проклятья, только бы она не уходила...

Не успел Атарбек ответить, как хлопнула калитка. С бьющимся сердцем смотрел ей вслед Атарбек.

Он прошел к сараю; навстречу ему пошли телята, которых Хадизат забыла загнать в сарай. Один из них, самый маленький, с вылизанным рыженьким боком и длинными пестрыми ресницами, подошел к пастуху и лизнул ему руку шершавым теплым языком. Пастух рассеянно посмотрел на теленка, потом сел на корточки, обнял его за шею и тоскливо зашептал:

— Нет, непонятная она... Не любит она меня. А что я ей сделал?.. В чем я виноват?

«Бараний сторож», — мучительно твердил Атарбек, обиженный ею.

Весна в горы приходит залпом: днем еще порошил снег, и вдруг ночью из хаоса беспорядочно нагроможденных друг на друга вечных льдов, из ущелий, где стиснуты реки и ручьи, с узеньких извилистых тропинок, занесенных снегом, из лесов и пещер — отовсюду понесся несмолкаемый шум, треск и грохот. Это гонит весенняя, разбушевавшаяся вода огромные снежные глыбы, камни и деревья с вывернутыми корнями.

И кажется, что в этой желто-мутной воде обмывается все, начиная от сверкающих горных вершин до серых, дымом просмоленных каменных сакль.

Не любят эту пору матери и жены пастухов.

Нет-нет, да и унесет кого-нибудь. «Потоп», так называют эти дни пастухи.

Недаром «Да унесет тебя потоп» в устах осетинки — самое злое проклятие.

...Сойдут снега. Прощумят мутные воды, — и вслед за этим, как в сказке, в одну ночь придет в горы май. Едва лишь солнце прорвется сквозь белесую ажурную завесу туманов — и всеми цветами радуги за сверкает, заискрится весенний лес, защебечут птицы, черными челюстями зевнут старые бойницы, улыбнутся ветхие башни солнцу и свету. С отвесных скал стремительно сбегут серебристые нити родников и ручьев. Белые облака, как гигантские хлопья расчесанной ваты, проплывут на уровне каменных сакль.

Есть в народе предание, будто когда-то один пастух кинулся в эту белую пушистую кипень, думая что это вата.

Летом в горах, как в сказке: почное небо, черное, усеянное звездами, напоминает гигантскую шаль, вышитую серебром. Живет в народе сказка, что сын одной бедной вдовы не был допущен в круг богатых детей, которые играли в золотые альчики. Мать, оскорбленная за сына, взмолилась: «О бог богов, создатель вселенной, на что тебе ночью звезды, они не греют, не светят, дремлет весь мир, уставший от забот. Дай, одолжи мне твои звезды, нет у моего сына

золотых альчииков, чтоб детям богачей показать, как ловко он умеет играть». И было дано разрешение бедной вдове собрать звезды для ее сына. Говорят, что мать собрала в свой фартук все звезды, чтобы сын поиграл в альчики. Поэтому в темные, беззвездные ночи пастухи, глядя на небо, говорят: «Ни одной звезды на небе, заигрался мальчик, забыл вернуть звезды вовремя на место».

Летнее небо в горах почамы кажется совсем близко над головой, будто, действительно, можно пойти по нему и собрать звезды в подол. Перед рассветом небо так прозрачно-трепетно, звезды такие ажурные и большие, а затуманенные дали так призрачно нежны, что кажется, от легкого дуновения может разрушиться все это видение. А утрами ни кистью художника, ни смычком музыканта не передать смещения красок, звуков и запахов. Вершины гор то розовые, то кроваво-красные. Леса, затянутые фиолетовой паутиной, кажется, плывут с алыми вершинами гор; низины затканы серебряной сеткой росы. Бисерные водопады с недостигаемых высот низвергаются в неизведанные глубины.

Но жизнь в горах полна неожиданностей...

Дедушка Марза чуть свет поднялся со своего ложа, с которого он не поднимался всю зиму. Он отказывался есть, плакал, как малый ребенок, говоря, что не будет спокоен до тех пор, пока не узнает, хорошо ли живет на равнине его золоторогая Сагут. Сын обещал, как только скосит сено, пойдет проводить Хадизат. Поэтому Марза сегодня молодо поднялся раньше всех в доме, дожидаясь сына, который должен был еще вчера прийти с сенокоса.

— Чему радуешься? — спросила невестка.

— Как чему? Вот сына дожидаюсь, он поедет к Хадизат, увидит ее, привет передаст. С тех пор, как умер ее муж, скоро год. Если нет у нее детей, то во имя чего ей там сидеть, чего стеречь? Или вы адат позабыли? «Осталась молодая без детей — верни ее в отцовский дом». Или вы новые законы выдумываете? Жду ее, давно жду, как полагается по адату. Я обещал, что приду к ней. Какая-то она стала, моя золоторогая... — мечтательно проговорил дед.

Крутя веретено, улыбнулась мать сморщенными губами. И она ждет в гости богатую дочь с подарками.

В это время вошел в саклю сосед-табунщик, который пас табуны на подножном корму.

Сняв с головы всклокоченную папаху, он обратился к торопливо поднявшейся ему навстречу женщине:

— Пожалуйста, не пугайтесь. Двух ваших быков унесло потопом. Да унесет их аллах взамен ваших голов. Сам Асах немного повредил ногу, ходить не мог, к вечеру придет. Мне поручил передать, чтоб не беспокоились, — сказал табунщик, надевая шапку.

Дед попытался подняться. Угроза потери сына так напугала его, что он не мог встать с места.

Женщина тревожно застонала.

— Лучше бы сам с ними погиб... Все равно теперь умирать в вечной нужде... — заголосила она. — Опять на чужую пашню ходить. О, аллах, за что ты караешь?.. Трех моих сыновей отобрал, дочь моя позорной смертью померла... О аллах, аллах! — кричала женщина.

— Успокойся, — промолвил Марза, — так полагается, на бедняка и камень вверх катится...

Шум в горах не прекращался. От летнего солнца таяли снега на вершинах и ледники.

Жизнь шла... Равнодушная к стонам бедняков и молитвам богачей...

Асах надел самое дорогое, что у него было: из самотканного сукна серый бешмет и черкеску, из такого же сукна чувяки, подшитые воловьей шкурой, ноговицы, подвязанные узкими обрезками сыромятной козлиной кожи, черную войлочную шляпу, черный кинжал, обтянутый крашеной козлиной шкурой; на спине — мешок, тоже из козлиной шкуры, шерстью внутрь.

— Господь послал нам ее взамен замученной Фаришат, — говорил Асах, вспоминая Хадизат.

В этот день каждый был занят в доме Токаевых. Дед Марза готовил своей любимице подарок. Он сидел у башни и заканчивал большую чашку с ветвистыми бараньими рожками. Единственный глаз его

сочился скудной помутневшей слезой, и, улыбаясь морщинками, он говорил снохе:

— То-то моя Сагут золоторогая будет рада подарку. Не забыла ли она меня? Не разлюбила ли? Богатство портит людей. Может, забыла она нужду отцовского дома? Может, и не порадуетса подарку моему? Может, белый хлеб и дорогие наряды заслонили от ее детского разума нашу нищету?..

— Хорошо, если так, — перебила деда невестка. — Пусть хоть она не знает нищеты, пусть хоть она живет в довольстве и достатке. Хадизат, может, думает, что два быка и серебряные полтинники — калым ее — спасли нас от голода... Нужно сказать отцу, пусть не говорит ей, что быков не стало и что мы не заметили, как и калым проели. Не нужно об этом ей говорить — жалостлива она. Не нужно тревожить ее сердечко. Среди чужих ей, небось, и так не легко, — закончила мать и смахнула слезу ладонью.

— Орешек насыпь ей, она очень орехи любит, — сказал дед и закашлялся долгим старческим кашлем.

Асах, пройдя селения Лезгор, Задалеск и Калух, к вечеру пришел в село Ахсарисар, где и остановился на почлег в хижине одного бедняка.

.
.
.

На высоком зеленом пригорке, облокотившись на пастушью палку, стоит Атарбек, оглядывая изумрудные дали полей и пасущиеся гурты. У ног его лежит лохматый желтый пес. Перед ним, спускаясь в лощину, убегает к горизонту зеленый лес. Справа и слева — тоже лес, а между зеленой живой изгородью — узкая, пыльная полоса — дорога. Она вышла из глубокой лощины, проползла через густые заросли казенного леса и, хоронясь в густой тени лиственниц, опустилась в зеленые кукурузные долины, поднялась на холмы между тугановских полей и кубатиевских лесов. И тут, словно желая скрыть свои следы, пошла зигзагами, чтоб не топтать казачьих посевов. По этой дороге пройдешь и через кабардинские аулы, и через осетинские селения, и через казачьи станицы.

Пересечешь шумные реки и остановишься в немом восхищении. Перед тобой на сотни десятин, сверкая росой, дыша ароматом клевера и ромашки, раскроются убегающие вдаль, под самый Эльбрус, сочные луга и пастбища. Величественна здесь природа. Потрясающая здесь нищета. Незабываемо и то, и другое.

— Арр-рат! Арр-рат! — покрикивая на своем пастушьем языке, бегают вокруг баранты четыре подпаса. То обгоняя их, то отставая, носятся собаки. За спинами у подпасков мешки. В мешке — почерневшая от времени деревянная чашка и сухой кусок кукурузного чурека. Одиннадцатилетний пастушонок, сидя на корточках, доит овцу — это его ужин. Овечьи гурты, чувствуя приближение вечера, сбились в копошащиеся живые комья. На ночь овец загоняют в огромные, огороженные плетнем, круглые стойбища. Тут же неподалеку — шалаши пастухов. Круглый год живут здесь пастухи: семейные — с женами и детьми в отдельных шалашах, а холостые — в общих. Тут есть целые семьи, пастушьи семьи, спокон веку живущие на чужих кутанах. Здесь рождаются дети, здесь растут, не зная ничего, кроме шалашей и баранты, пастбищ и леса. Умирает дед, и пастушья бурка переходит к сыну. Сын умирает, и старая рыжая дедова бурка передается внуку. Так из года в год, из десятилетия в десятилетие... Осенью, в страдную пору стрижки, ладони пастухов покрываются мозолями, словно янтарными четками.

— Арр-рат! Арр-рат! — кричат подпаски. Собаки не отходят от стада, загоняя в гурт отставших овец.

Солнце упало за гору. В дремотное марево окунулись пастбища, дрожью пробежала вечерняя прохлада, с высоты притихшего леса легкой судорогой перекинулась на росистые луга, громче прозвенел родничок под горой, взвился над шалашом голубовато-синий дымок. Сытые ягнята уткнулись в мохнатые теплые бока матерей. Пришла ночь.

Не спят дежурные пастухи. Жгут огни. Боятся волки этого красного, жарко колеблющегося полотнища. Запоздалый голодный путник, увидя огни, идет им навстречу, радуясь ночлегу.

Спит кутан. Дремлют псы-сторожа. Не спит только Атарбек. Он похудел и отошал, как одинокий волк, оброс короткой темной бородой. Подвернув под себя ноги и натянув на голову бурку, лежит с закрытыми глазами и жарко дышит. Завтра на заре он с другими пастухами погонит в село баранту.

«Завтра увижу ее... Может, услышу ее голос»...

И тоскуя по Хадизат, всю ночь мечется он, беспокойный.

Много дней прошло с тех пор, как он видел ее последний раз. «Бараний сторож...» Он вспоминал ее едкие слова и видел перед собой тонкую, как порез от бритвы, поперечную складку между изогнутыми бровями, голубые жилки на висках и, как закатные лучи на реке, россыпь светлых волос...

— Атарбек, Атарбек! — позвали его. Но он не шевельнулся, узнав голос старшего пастуха Инала. Притворился спящим.

— Атарбек! — позвал Инал третий раз.

Инал сидел у огня и ворошил горящие головешки. Не глядя на Атарбека, он сказал:

— Взял бы лошадь да поехал в село. У хозяйки спроси, гурты через село гнать или обойти село? Может, Саниат баранту посмотреть захочет? Тогда мимо дома ее прогнать можно. Спроси, как она хочет?

— Поеду, конечно, поеду, — вскочил Атарбек, завязывая пояс, а Инал продолжал:

— Завтра к вечеру навстречу выйдешь к реке Дур-Дур и скажешь нам, чего хозяйка хочет.

Увидев темные впадины на заросших щеках Атарбека, Инал удивился и спросил:

— И чего так исхудал? У другого стояла привязан, что ли? Все одинаково живем. Отошал, как голодный шакал. Смотри, кудлатой шерстью оброс, чего не снимешь? — упрекнул его Инал.

С восьмилетнего возраста рос Атарбек на этом кутане под присмотром Инала. Любил Инал безродного сироту, но скрывал свое чувство, боясь упреков других пастухов.

— В таком виде на селе появишься — детей напугаешь.

— В селе постригусь, — ответил Атарбек и быстро побежал к стойлу, где были привязаны лошади.

Атарбек погладил теплую спину лошади. Он очень любил эту вороную кобылу. Старший сын Саниат когда-то привез ее с ярмарки маленьким стригунком, из стригунка выросла стройная кобыла. Много красивых жеребят подарила она табуну Саниат. А теперь превратилась в прожорливую, малоподвижную рабочую лошадь, и Саниат передала ее в отару для работ.

С тех пор между старой лошадыю и молодым пастухом завязалась молчаливая дружба.

Атарбек не жалел ей корма, давал лишнюю порцию овса и кукурузы и, не стреножив, пускал пастись на целые дни.

Ночами, лежа на спине, он вслух мечтал как укредет Хадизат и конь унесет их на своей спине в далекие-далекне горы... Сытая, ленивая кобылица, полускрыв глаза, стоя рядом с Атарбеком, дремала. Он прижимал теплую лошадиную морду к своей груди и подолгу молчал...

— Но-о-о, ты, — с напускной строгостью ткнул он лошадь в бок и погладил ее по голове...

.
.
.

...Жаркий полдень. Утопая в тучах пыли, движутся к селу бараньи гурты.

В кузове двухколесной арбы, которая тянется следом за гуртами, свален незатейливый пастуший скраб: латаные мешки, куцые бурки, рваные черкески. Закрыв лицо войлочной шляпой, Атарбек лежит в арбе и, покачиваясь, дремлет. Узкие полоски солнечных лучей просачиваются сквозь дырявый войлок, и чудится молодому пастуху в полудремоте: вечер, ромашковые поля в росе, розовый пар над лугами и на тихой глади реки, как жидкое золото, закатные лучи — волосы Хадизат...

Пригрело солнце и на ныхасе. Греют старики свои кости, дети рядом играют.

На холмах и в низинах зреют кукурузные поля. А в доме Саниат тихо — утомилась, уснула она.

Завороженная тишиной огромного дома, заперлась Хадизат в своей комнате. Коричневый пушистый башлык, окаймленный золотым шитьем, лежит на ее коленях. Несколько месяцев шьет она этот башлык. Никому не показывает. Когда становится особенно тоскливо, Хадизат достает башлык. Здесь каждая ниточка имеет свою историю. Вот длинная шелковая бахрома на острие башлыка, она метала ее зимой несколько вечеров подряд. Из-под коричневого треугольного башлыка, казалось глядели на нее глаза Атарбека с выгоревшими на солнце, спутанными густыми ресницами... Забывшись, она вставала, смотрела на себя в зеркало, улыбалась и, накидывая башлык на плечи, шептала:

«Хорош башлык, красиво сидит на тебе... Я сама вышивала... Носи... носи и люби...»

Потом, испугавшись собственного шепота, опасливо оглядывалась, прятала башлык на груди и прислушивалась...

Золото шитья, поблескивая, дрожит в ее руках. Из-за башлыка снова глянул на нее Атарбек. Темные впадины на его небритых щеках, а глаза, как холодный, синий зимний рассвет...

— Жу-жу-жу! — трепещет на окне большая желтая бабочка, бьется о стекло, рассыпая с крылышек нежную коричневую пыльцу.

Вздрыгнула Хадизат. Схватила башлык, прижала его к груди, шагнула к окну, поймала бабочку, поддержала ее в ладошке, приложила к щеке, к губам.... Нежный слабый трепет, трепет выгоревших ресниц Атарбека.

Открыла Хадизат окно. Выпустила бабочку. Вздрыгнула...

— Арр-рат! Арр-рат! — донесся до Хадизат резкий свист пастушьего бича.

Подымая желтую пыль, блея, входили в село гурты овец.

Впереди огромного, перекатывающегося, серого пыльного кома, устало семеня ногами, шел большой белый козел с острой бородой. Длинные бугорчатые рога вожака были посажены вразлет.

Мухар опередил стадо, добежал до дома Саниат и с разбегу настежь раскрыл ворота.

— Гляди, хозяйка, гляди, гонят... — закричал он и стал у ворот.

Во дворе, под липой, на мягкой тахте, полулежала Саниат. На исхудавших плечах ее накинут дорогой шелковый платок, маленькая стриженная голова в черной шелковой повязке по-прежнему гордо откинута назад. Когда в квадрате настежь раскрытых ворот Саниат увидела первые гурты своих овец, белого козла, важно шествующего впереди, облинявшие на солнце рыжие грубые черкески пастухов и больших серых псов, лениво следовавших за гуртами, она вздрогнула и села. Бледное худое лицо ее молодо вспыхнуло, сверкнули глаза, вернув на миг ее лицу былую подвижность.

— О-о-о! Тоба астаафраллах! — задохнувшись от волнения, произнесла она. — Смотри, смотри, девушка, как жизнь хороша!.. Будут ли и в загробном мире радости?.. — прошептала она и, опершись на руку Хадизат, прибежавшей на ее зов, опустила ноги на землю, с наслаждением ощущая жаркий хруст горячего песка.

Встала Саниат, выпрямилась, улыбнулась и, протянув руку к Хадизат, глухо прошептала:

— Пойдем... посмотреть хочу... Хочу видеть... — выдыхала она слова, будто ласковое шептала любимому.

Она шла к воротам медленно, но твердо ступая на хрустящий песок дорожки. Дойдя до ворот, остановилась, не отводя восхищенных глаз от баранты. Глубоко вдохнула в себя пыльный, отдающий потом знакомый запах отары и опустилась на стул, который услужливо нес за нею Мухар.

Саниат довольно качала головой, а встречаясь глазами с пастухами, улыбалась им бледными бескровными губами.

— Тоба астаафраллах...

Скрылись гурты за углом.

Из ворот, из окон смотрели женщины, завистливо провожая глазами чужое богатство. Черноусый седельщик, возвращаясь с ныхаса, увидел Саниат у

ворот, удивленно взглянул на нее, поклонился, пожелав ей здоровья.

Саниат снисходительно кивнула соседу, глядя на старшего пастуха Инала, который торопливо подходил к ней. Инал снял шапку, пожелал хозяйке здоровья и долгой жизни, а затем почтительно и низко склонил перед ней голову.

— Знаю, знаю, честен, не обманщик... Довольна тобой, на чужое не заришься. Обещала я тебе за труды двенадцать баранов в год, получишь—пятнадцать. Остальным плата годовая — шесть баранов, больше не могу. И кормить, и одевать — все расходы... В город поедешь сам. Присмотри за Сафа, не обманул бы старик... Атарбека в отару отправь, — приказала она, — там нужнее он...

Во время этого разговора Атарбек, прислонившись к коновязи, смотрел на Хадизат. Она стояла сзади Саниат и, не стесняясь, не пряча выбившихся из-под платка волос, рассматривала Атарбека. При ярком дневном свете лицо пастуха ей показалось иным. Она заметила впавшие щеки, что совсем не вязалось с детской припухлостью его губ. Атарбек отвел глаза, но чувствовал, что она смотрит, и ему хотелось подольше погреться под ее взглядом.

И только когда Саниат сказала: «Атарбека отошли в отару», он качнулся и, пересилив робость, снова посмотрел на Хадизат, не в глаза, а на лоб, на выбившиеся из-под платка светлые волосы.

—Ох-хо-хо, девушка, води меня в дом. Хорошо мне сегодня... Хороша жизнь под небом. Нет ничего лучше, как видсть сверканье солнца, смену дня и ночи... шум бури и шорох листьев... — возбужденно говорила Саниат, опираясь на руку невестки.

Медленно, уверенно шла она к дому, отдавая распоряжения по хозяйству. Работник, глядя ей вслед, поражался...

Она опустила на коврик, разостланный на веранде, Хадизат стала поодаль.

— Тоба астаафраллах... девушка, смотри, как хороша жизнь под небом: вон деревья зеленеют, пчелки летают, все живет, все жить хочет... Смотри, вон

муравей какой большой кусок тащит, тоже работает, все в мире трудом живет...

Сказав это, Саниат вдруг заметила, что краска на заборе поблекла и облупилась. Хозяйским внимательным глазом она оглядела двор и промолвила:

— Поди, девушка, позови рабтника ко мне.

И, глядя ей вслед, подумала:

«Надо сделать ее матерью, тогда станет она жадная, тогда будет видеть и гвоздь покривившийся, и поблекшую краску, и подгнивший столб».

В эти минуты Саниат чувствовала в себе прилив какой-то силы, словно лето поделилось с ней молодостью.

Мухар неторопливо шагал через двор, широко расставляя короткие ноги и держа в руках вилы.

— Плохо смотришь за двором. Вон куча навоза под сараем... вон столб покосился. Краска на заборе облупилась, краски много — покрась. Проползи в огороде крапиву, а то ростку молодому взойти не дадут, — приказывала Саниат. — Завтра сходи к старику Сафа, от моего имени скажи — пусть садовник его придет... посмотрит деревья. Подвалы к зиме готовь... Как пасека? Погреб новый копай. Да чтобы двор был чистый. Дел у тебя немало, иди...

Хадизат удивилась, как такая слабая, беспомощная, она вдруг ожила и так много дел поручила одному человеку.

Когда работник ушел, Саниат сказала:

— Урожай скоро снимать. «Временные» без земли, они мне и снимут, и вспашут озимые. Приготовь к вечеру еды, люди напиматься придут, угостить их надо — ласковым словом и горькой аракой.

— У вас еще столько кукурузы и пшеницы на чердаках, а вы еще хотите? Разве нам не хватит? — спросила Хадизат, опускаясь рядом со свекровью на козлиную шкуру.

— Ой, молодая, боюсь я, что не сделаю тебя хозяйкой... Разве в порядочном доме должно быть запасено столько, чтоб на еду только хватало? — блеснув глазами, прошептала она. — Старую кукурузу и

пшеницу продам, а пшовой опять засыплю чердаки. Пусть, проходя мимо моего дома, позавидует мне и бедняк, и богач. Богата буду — уважать будут. Бедняк — не человек, запомни, девушка, полюби богатство и будешь умнее всех. Тебя не будут бояться — богатства твоего испугаются. Ненавидеть тебя будут, а за богатство чтить станут... Страшно в мире этом, девушка, жить без достатка. Люди — вслки. Они стараются растерзать тех, кто слабее. Деньги дают власть, а власть дает силу.. Ой, вижу, не сделаю я из тебя такую, какую хотела бы... Молода ты, непонятлива.

С этими словами она протянула руку к Хадизат и с жесткой лаской в глазах прошептала срывающимся голосом:

— Слушай!

Она взяла ее за косу и привлекла голову к себе на колени. Хадизат вздрогнула от этой холодной ласки, но покорилась.

— Подумай, куда должна я девать этот достаток? Сына принеси, наследника моему богатству, тогда рабой твоей стану, молиться на тебя, ползать у ног твоих буду... Да стану я жертвой твоей! — и она задохнулась в кашле.

Хадизат стало холодно от ее шепота, от прикосновения ее худых, высохших пальцев, она осторожно высвободилась.

Саниат сжала губы, скомкала в ладонях бахрому шелкового платка, а Хадизат пустыми, невнящими глазами смотрела вдаль, и слезы бороздили ее бледные щеки...

— Лучше убей меня, но не пускай его в дом, — заплакав навзрыд, вдруг выкрикнула Хадизат.

— Тише, гормон! Чего ты плачешь? Что скажут люди, если услышат твой плач? Скажут, молодая несчастна, бьет ее свекровь. Пойми ты, пойми! Богатство — жир на сердце, хочется мне, чтобы не растаскали его по чужим углам. Будешь богата, власть будет в руках, что захочешь, то и будешь делать. Если бы отец твой был богат, разве была бы ты здесь? Станешь матерью, и не ступит больше его нога на порог твоей комнаты. Думаешь, мне легко его ви-

деть? Легко ли мне умирать у потухшего очага?.. Ничего лучшего не придумаю. Возьми себя в руки. Должна знать, что у богатого и кошка за рысака сходит...

В ворота стукнули. Обе женщины замолкли. Голос за воротами показался знакомым, и Хадизат вспомнила:

«Она... знахарка... колдунья... та, что прокляла меня».

«Не найти тебе счастья, проклятая, холопством клейменная» — сказала тогда в горах знахарка Сали, обиженная грубым словом Хадизат.

— Открой калитку,пусти ее, — шепотом попросила больная. — Вытри глаза, улыбнись... сплетница она, на все село прославит...

Хадизат нехотя поднялась, поправила на голове платок и подошла к калитке.

— О, зерно души моей... — начала Сали, увидев Хадизат.

Но сдвинутые, сердитые брови девушки остановили ее. Улыбнувшись, она молвила:

— Да расширится дом твой в десять домов, да станешь ты матерью семи сыновей, прости меня, старую, люблю я свекровь твою... Ездила в Кабарду, рассказала я там, что больна моя благодетельница. Говорила мулле, что кашляющая болезнь, вот уже больше года как приковала к постели твою свекровь. Он советов надавал, лекарства прислал, вот я и пришла...

Хадизат молча разглядывала старуху, не приглашая ее зайти во двор. Знахарка растерялась под взглядом молодой и снова забормотала:

— Лекарства привезла... советов... Вот и пришла...

Пропустив ее вперед, Хадизат пошла сзади.

— Колдунья ты... ведьма, — не стерпев, сказала Хадизат.

Сали подняла брови, закатила глаза под самый лоб и прошепелявила:

— Ой, грех какой! Грех так поносить невинного человека. Пусть на том свете жернова кружатся на груди моей — худого я тебе не желала...

— Иди, иди сюда, Сали, — позвала ее Саниат.

Знахарка, кряхтя, поднялась на галерею, поклонилась больной, осведомилась о ее здоровье, и повернув под себя ворох разноцветных юбок, села рядом с Саниат.

— Не могу мимо твоего дома пройти, чтобы не проведать... Много добра помню от тебя...

— Принеси-ка нам покушать, девушка, — перебила Саниат знахарку, зная, что лезть ее до тех пор не иссякнет, пока не появится перед нею фынг¹, заставленный вкусными кушаньями.

Хадизат ушла в дом, а Сали продолжала:

— Много хорошего видела я от тебя, — и с этими словами Сали расстегнула ворот коричневой засаленной кофточки, порылась за пазухой и достала маленький квадратный сафьяновый мешочек, с четырех сторон прошитый суровой ниткой. Знахарка положила упругий квадратик на грязную свою ладонь, трижды поплевала на него, потом, закатив глаза, зевнула и, таинственно шепча что-то, повесила его на грудь Саниат.

— От муллы... талисман... От злого глаза заговорит, жизнь продлит, скотину от мора убережет, мужским потомством дом твой наградит... всего много здесь, — говорила знахарка, набиваясь на большой подарок. Она рассказывала, как трудно было уговорить муллу, задобрить его, но ничего не подарить тоже нельзя...

— Веру свою мусульманскую не забывай, не переходи в их веру — так велел передать тебе мулла.

— Тоба астаафраллах, — произнесла Саниат, разволновавшись. — Как можно забыть то, что с молоком матери в кровь и в душу вошло...

Раньше Саниат никогда не прибегала к помощи гадалок и знахарей, верила в силу своего богатства, знала, что силой денег может сделать больше любой знахарки. Она подавала им милостыню, но в дом не пускала, говоря, что ее руки и ноги сильнее любой ворожен.

¹ Фынг — круглый точеный столик на трех ножках у осетин, так называют п угощение.

Весной наравне с мужчинами появлялась Саниат на пахоте, летом на сенокосе. Осенью ездила на ломку кукурузы и с алчным наслаждением разглядывала золотистую даль шуршащих спелых полей.

Во время жатвы Саниат сама снимала первый сноп, ощущая на ладони жаркое сверкание тяжелых колосьев. И молотилка помещика Туганова целый месяц работала на ее загоне. Любила она подолгу рассматривать роящихся пчел, изумляясь их разумному трудолюбию. Весной на отаре, засучив рукава, забывшись, она сама клеймила баранту, радуясь большому приплоду. А в табуне пастухи с затаенным страхом следили за тем, как она по-мужски, с одного раза, ловко закидывала длинный аркан на шею непокорного жеребца.

Работники привыкли к ее мужской распорядительности, к ее практическому, холодному уму, уважали и боялись ее. Глядя ей вслед, говорили: «Черт — не женщина...»

А теперь... Отчаяние отразилось в ее глазах. Опять вспомнила родную Кабарду. С тех пор, как заболела, ей все чаще хочется видеть кого-нибудь из родных.

— Благодарна, благодарна тебе, — шептала повеселевшая Сали, глотая куски мяса. — Муллы талисман береги, поможет... В Мекку мулла ходил — ученый...

Больная внимательно слушала, не веря ее словам и разрешая себя обманывать.

— Что бы делала я, если бы не помощь людей? Времена сейчас не сладкие. Все под богом ходим, — говорила Сали. — Пока человек не умрет, счастья его не видно. Заранее нельзя никого счастливым называть, — что один сын, что двенадцать — все для бога одно... не ропщи...

В это время Хадизат прошла по галерее, и Сали замолчала.

— Каждую ночь талисман этот ей под подушку клади... скорее матерью станет, и сердце твое покой обретет. А чтоб увереннее быть, надо достать мозги орлицы, шкуру змеиную, волос с молодой волчицы — все вместе сварить и тем напитком ее поить...

— А что с этого будет? — ухмыльнулась Саниат.

— Как что? — изумилась Сали. — Станет величава, как орлица, мудра по-змеиному, жадна, как волчица.

— Не то, не то, — тихо шепнула Саниат. — Величья в ней достаточно, и мудрая в меру, хозяйка хорошая... Но нет желания, любви к жизни нет... Равнодушно проходит она мимо жизни...

— Потому напиток ей тот и нужен, — вмешалась опять Сали, — чтоб равнодушие в ней убить, чтобы душа играла...

И долго еще грелась знахарка на солнце, словоохотливая, лстивая.

Взволнованный, беспокойный день уходил. Саниат уже спала. Сумерки вечера густели, хрустела пыль на зубах.

Сытые коровы, лениво переступая, стояли у ворот, дожидаясь, когда их подоят и освободят от тяжести молока.

Тихо в доме Гуларовых. Окна настежь открыты во двор. Работник убирает скотину. Под сараем буйволица, поводя головой, смотрит в сторону дома, ожидая обычной вечерней порции отрубей.

Подойдя к воротам Гуларовых, Асах оглядел высокий крашеный забор, утыканный гвоздями, красные ворота, черепицей покрытый кирпичный дом. Оглядел все, и тревожно стало на сердце.

«Как тюрьма, — подумал он. — А как тихо во дворе, будто умерло все, ни звука, ни шороха, хоть бы дети кричали, а то... В таком дворе ночью, должно быть, очень страшно, а зимой, наверное, совсем темно».

Калитка бесшумно открылась, и широкоскулый Мухар впустил Асаха.

Во дворе Асаху стало еще беспокойнее: высокие, широкие сараи, квадратом окружающие двор, бросали мрачные тени, отчего во дворе царил холодный полумрак. От сарая до ворот протянута стальная проволока, на проволоке мечется, звеня кольцом, и лает большая серая собака.

Ни одной травинки не растет во дворе, от калит-

ки до галереи пролегла узенькая дорожка, посыпанная песком.

Навстречу ему вышла Хадизат. Увидев отца, она повернулась и убежала. Работник закричал ей вслед:

— Стой, не убегай, скажи Саниат, что с гор родственники твои приехали и хотят ее видеть.

Румянцем покрылось лицо Хадизат, и она, подбежав к постели больной, прошептала:

— Кто-то из моих... с гор... Хотят тебя видеть, — сказала она и скрылась в комнате, слабо прикрыв за собой дверь.

Асах снял с плеча козлиный мешок, тщательно вытер ноги и растерянно переступил порог комнаты.

— Выздороветь тебе — сказал он, подходя к постели больной. Слыхали мы о болезни твоей, да никак не удавалось проведать, дома нет никого, на старика-отца хозяйство оставить нельзя.

Саниат шепотом предложила гостю сесть.

Асах молча разглядывал больную, ее серое лицо, синевато-водянистые мешки под глазами и подумал:

«Что в ней живого, как еще душа в теле держится?»

— Девушка, уа, девушка! — позвала она Хадизат. — Не до обычаев нам теперь, не до стыда. Нет никого в доме, войди, накорми отца с дороги, — сказала Саниат.

Хадизат вышла из своей комнаты в полосатом сером платье, в белом платке, низко опущенном на лоб. Не глядя на отца, пошла во двор.

Асах, поглядев ей вслед, сперва было не узнал в высокой нарядной красавице свою шаловливую дочь.

Он, привыкший к пище, чувствовал себя робко и стесненно в этом роскошном большом доме.

В нарядной кунацкой Хадизат накрыла для отца стол. Ничего не пожалела она. Пушистый белый хлеб, копченый курдюк, вареная баранина, яйца, сыр, мед, варенье, кефир, пенистое ячменное пиво (любимый напиток Асаха), в серебряном кувшинчике арака — все поставила на стол Хадизат.

Асах хмуро рассматривал богатое убранство кунацкой, обильный стол, свою взрослую похорошев-

шную дочь, поражаясь, как ловко и умело справляется она.

Обычай не велит отцу сразу начинать разговор с замужней дочерью, которую после замужества видит впервые. Поэтому Асах смущенно молчал, рассматривая дочь. Как не похожа она на ту девочку, которая в горах из рогатки стреляла в птиц...

Молчание нарушила Хадизат.

— Нас никто не слышит, я одна, садись, отец. Расскажи мне, как живут дада и нана? Я так по ним соскучилась. На бешмет и на черкеску ткань берегу для дада. Долго же вы меня не проводывали. Я так ждала кого-нибудь... так ждала...

— Или ты на равнине обычаи позабыла? — сурово перебил ее отец, присаживаясь к столу. — Мы тоже ждали, что Гуларова исполнит свой родственный долг и позовет нас, но, видно, у богатых совесть размещивается на деньги. Почему нас не звали? Или богатая Саниат боялась, что нечем ей накормить гостей? Или не хотела она признавать бедных родственников с гор? Теперь я не стану ее упрекать — дни ее сочтены. Не жилец она на этом свете.

Помолчав, Асах продолжал:

— Я все знаю, Хадизат, — назвал он ее по имени, что означало, что он считает ее взрослой. — Я все знаю... Почему ты не дала знать нам, — раз нет у тебя детей, так нечего тебе здесь делать. О создатель, как прощаешь ты это богатым? Я хотел взять тебя завтра же домой, — снизив голос, прошептал Асах, — но не возьму. Я ненавижу все в этом доме. За унижения, которые перенесла здесь, ты должна завладеть ее богатством. Она не сегодня, завтра умрет. Если не все, то часть богатства принадлежит тебе. Ты заставь ее написать при свидетелях бумажку, что она завещает тебе, а то заботы о больной — тебе, а добро кому?.. Нет, нет, слишком многое прощает им бог.

Хадизат удивленно рассматривала отца. Ей стало жалко и его, и себя. Обняв отца, она произнесла:

— Ничего я не хочу. Я уйду с тобой. Я не хочу больше здесь оставаться. Мне страшно...

— Не уйдешь. Вижу я, от страха не умерла ты,

а стала красивее. Сиди. Если ты в горы вернешься нищая — тебе не простят ничего... Вернешься богатая — деньги смоят всякий позор. Пойми, глупая, и не перечь мне, — говорил Асах горько, не глядя на дочь. — Не все бедняку в проигрыше быть. Обошел меня старшина, обманул. Нет, лиса рыжая, теперь не уломаешь меня. Разум у хитрости совета просил, — ворчал он, злой, охмелевший, не притрагиваясь к еде.

Уложив отца спать, Хадизат прошла к себе в комнату, но, вспомнив о больной, вернулась, чтоб спросить, не пужно ли ей чего.

— Это ты, девушка? — спросила Саниат, не поворачивая к ней головы, и прошептала:

— Сядь... Посиди около меня, посиди... — Глаза ее увлажнились. Саниат тяжело вдохнула и выдохнула воздух, потом повернула голову вправо, влево и с тоскливым отчаянием прошептала:

— Нет, девушка... Нет, родная, не рассказывай отцу правды, не надо. Не вынесу я, чтобы тебя при жизни моей увели из дома... Расскажешь... Скажешь... что у тебя... у тебя... должен быть ребенок...

Дрожа всем телом, тяжело переводя дыхание, Саниат умоляла Хадизат не говорить отцу правды. Потом закрыла глаза и замолчала. Мутная слеза скатилась из левого глаза и, задержавшись на высохшей сморщенной щеке, тяжело упала на ключицу, где, как меха гармошки, то натягиваясь, то распускаясь тшились дышать ее легкие.

Тело ее умирало, но мозг не хотел умирать. Глаза из глубоких впадин сверкали живым упорством.

— Не говори, ничего не говори... — слабо шептали бескровные губы. — Хочу сделать тебя хозяйкой моего состояния. Будешь... — и она замолчала, переводя дыхание. — Открой... окно, открой... жарко... душно мне, девушка.

Хадизат стояла у изголовья больной и со страхом смотрела на ее страдания. Ей не было ее жаль, было только страшно остаться одной в этом молчаливом доме. Она опустилась на колени перед больной и молча смотрела на нее.

— Выйдешь замуж... будешь мою фамилию но-

силь... мою... только мою, слышишь? Пусть ты чужая, но пусть моя фамилия украшает твоё богатство.

Хадизат опустила голову, решив уехать с отцом.

— Я не останусь у тебя... я уйду. Мне страшно, меня убьют... — подняв глаза на больную, прошептала она...

— Нет, нет!.. — закричала Саниат и схватила Хадизат за руку. — Нет, не пушу! Прокляну! Счастья на земле не найдешь... Схорони меня, как свекровь, а потом живи, как хочешь... Знаю я, — шептала Саниат, приблизив свое лицо к Хадизат, — ты любишь пастуха моего Атарбека... Люби его... Я виновата, что со старшиной сводила... Прости, иначе не могла, он человек сильный, ссориться с ним невыгодно... Не советую и тебе...

Руки Хадизат дрожали, ей хотелось плакать, но она сдержала себя и горячо выдохнула:

— Нет, не останусь я здесь. Этот красноглазый паук заест меня совсем. Нет, нет! — закричала она вдруг так громко, что сама испугалась своего голоса, вздрогнула и отскочила. Прищулив глаза и сдвинув тонкие брови, она сказала:

— Ненавижу я весь твой дом... И тебя ненавижу... и старшину... и пастухов твоих... воздух в доме твоём ненавижу. Всех, всех мужчин ненавижу. Пусть промучится в семи преисподних та, что родила меня на позор и унижение. Не останусь я в доме твоём, — всхлипывая, быстро говорила Хадизат, отойдя от кровати.

Саниат, мучительно сдвинув брови, протянула к ней костлявую руку и изменившимся голосом прошептала:

— Пробегут дни, как ретивые кони... Придет время, узнаешь жизнь, свет очей моих, Хадизат... Да стану я жертвой твоей, мое солнце. Права ты — любить меня не за что. Не сделала я тебя счастливой... Не познала ты того счастья, что делает женщину гордой и красивой. Да увижу я радость твою. Я хотела сделать тебя богатой. Но вижу — поздно. Дверь могилы открыта передо мною. Не проклинай, прости меня. Думала я, кто небогат, тот несчастлив. А теперь вижу, что прожила свои пятьдесят пять лет в тюрьме. Ни ночью, ни днем не знала покоя. Отрада

только в том была, что боялись меня. Ненавидели меня, но уважали. Табуны моих коней, нескитанные стада моих овец, зеленые ковры моих лугов — все, все теперь твое. Да, да, твое, — шептала Саниат.

Руки ее дрожали. Она цеплялась за железные прутья кровати, худая грудь ее kloкотала, зеленый блеск ее больших глаз напоминал глаза голодного шакала.

— Мой огромный двор, мой сарай, мои стада, табуны, пасеки, земля — все твое, — повторила она опять. — Выйдешь замуж, — станешь большим хозяйством владеть. Только просьба моя: не выходи замуж за богатого. За бедного выходи, у него гордости нет, и согласится он носить фамилию мужа моего, — сказала она (по адату женщина не имела права произносить имя и фамилию мужа).

— Мою последнюю просьбу исполни, девушка, и будь счастлива...

— Приходил человек, говорил, что шерсть купить хочет, что ему ответить? — перебила Хадизат, не желая больше ее слушать.

— Скажи, что хочешь, — устало шевеля губами, ответила больная.

— Мне все равно, хоть даром отдавай, — бросила Хадизат.

— Ох-хо-хо! Ничему-то я тебя не научила. Как это даром отдавать шерсть?..

— Я ненавижу тебя, — проговорила Хадизат, — знаю, что живу в этом доме во имя надгробного камня твоего сына. Мне страшно, Саниат, — назвала она свекровь по имени, что по адату никак не полагалось, — я никогда не назову тебя именем свекрови. Ты мне не свекровь. Пожалей ты меня, отпусти домой, не мучь. Я не могу больше видеть этого... Я убью его... вашего старшину, — говорила она, всхлипывая.

— На, на, все—твое, — подала Саниат ей большой лист бумаги.

Не понимая, о чем говорит Саниат, Хадизат машинально взяла из протянутой руки белый лист бумаги с гербовой печатью и с синей каймой по краям — духовное завещание на имя Хадизат.

— Душно... жарко... открой, девушка, все двери, полей пол холодной водой, — попросила больная слабым шепотом.

С бумагой в руках Хадизат подошла к дверям и настежь распахнула их.

Темнело. Загорались звезды в далеком небе. Она прошла к себе в комнату, упала на колени перед своей кроватью, положила голову на одеяло и зарыдала.

В большом дворе Гуларовых все уснуло: и саран, и курятники, и подвалы, и чердаки — все потонуло во мраке. Не спала одна Хадизат. Она дважды подходила к изголовью отца, но Асах, уставший за два дня ходьбы, крепко спал, не слыша беспокойных шагов дочери.

Она прошлась по двору, посмотрела дверную щеколду, прошла под дерево и опустилась на скамью. Замерла старая липа, свернулась акация... В безмолвное отчаяние погрузилась ее душа... И Саниат, и отец будто сговорились — оба против нее.

«Что же мне делать? Неужели нет ни одного человека, кто бы пожалел меня? — думала Хадизат, поднимая к небу полные печали глаза. — Убегу я, не останусь в этом доме, уйду... возьму лошадь и уйду», — вдруг пришло ей на ум неожиданное решение, и она вскочила со скамьи.

Бесшумными шагами, боясь разбудить работника, она осторожно подкралась к конюшне и взялась за щеколду. В эту минуту навстречу ей из-под навеса вышел Атарбек.

Оробев, не понимая, почему Хадизат среди ночи воровски крадется к хлеву, Атарбек проговорил:

— Если что надо, я сделаю. Мухара нет, он ушел к седельщику...

Она оторопела, стала рядом с ним, не имея сил ни уйти, ни произнести слова.

«Я знаю, ты любишь пастуха моего Атарбека», — как отблеск молнии, мелькнули в памяти слова, сказанные Саниат.

Хадизат и Атарбек не двигались, каждый переживая это немое свидание по-своему.

Она уже повернулась, собираясь уйти, но не ус-

целя сделать и шага, как Атарбек схватил ее за плечи и сжал в объятиях.

— Пусти, пусти! — прошептала она, отворачивая от него голову и вырываясь. — Пусти, кричать буду!.. Пусти! — извивалась она в его объятиях, стараясь высвободиться.

Но он держал ее крепко.

Она ощущала на своей шее его горячее дыхание, чувствовала, как дрожат его крепкие руки.

— Я ненавижу тебя... Пусти! Почему ты меня бросил? Почему ушел?.. Я ненавижу тебя... — шептала Хадизат, вырываясь.

Он прижимал ее к груди, не помня себя, не слыша ее слов.

— Пусти! — вскрикнула она и, припав к его плечу, впилась зубами.

Атарбек выпустил ее.

Круто повернувшись, она размахнулась и ударила его по щеке, прошептав:

— Несчастный, думаешь, за меня некому заступиться?.. Я сама... сама! — задохнулась она в гневе и, поправляя на ходу платок, побежала в дом.

Бесшумно пройдя мимо больной в свою комнату, она тихо прикрыла за собой дверь, настежь открыла окно во двор и застыла.

— У, бесовестный, — шептала она, — бесовестный...

Ей хотелось громко назвать его самыми постыдными кличками. Опираясь рукой на подоконник, она шептала:

— Посмел... как посмел после того, как сбежал?..

Долго еще губы ее шептали его имя, имя «бесовестного» пастуха, но стоило ей замолчать и ей делалось хорошо до боли...

Она потянулась, зевнула, отошла от кровати, снова подошла к окну и, высунув голову, прислушалась.

Ночь была теплая, тихая. Где-то толко пиликала птица, доносилось голодное клокотанье мельничных жерновов. Одинокие звезды безучастно смотрели на землю.

Было далеко за полночь, когда Хадизат разделась

и легла. Плечи ее болели. Засыпая, она в полусне ласкала его голову, называя солнышком, единственным, родным... и была счастлива во сне...

...Когда Атарбек пришел в себя, Хадизат уже не было. Он шагнул и прижался к корявому холодному стволу дерева. С той поры, как он впервые увидел ее, прошло много дней. Но все время Атарбек жил одним желанием, одним стремлением — видеть ее, слышать ее голос, чувствовать ее присутствие. И вот сейчас, лежа под сараем на свежескошенной траве, Атарбек не ощущал, как ноет у него плечо, не ощущал, что после укуса красными бусинками капала с плеча кровь. Накрывшись буркой, он все еще чувствовал запах ее волос. Замирало сердце. Никогда он не был так счастлив... И долго с боку на бок ворочался, шуршал, словно мышь в соломе. Тихо смеялся, вздыхал и не мог заснуть...

Спит село. Постаревшая луна боязливо поднялась из-за сарая, журчит в канавке вода. У загнившего забора бездомная собака, урча, гложет кость.

Атарбек вскочил, пробежал через огороды и, чтобы не открывать калитки, перепрыгнул через забор. Вышел на церковную площадь, прошел мимо сельской канцелярии. В окнах горел свет.

Атарбек шел по берегу реки. Камешки под его ногами издавали сухой неприятный хруст, поэтому он с берега перешел на середину улицы. Вспомнив старшину, вздрогнул словно от холода. Атарбек видел его дважды поздно ночью во дворе Саниат.

Тишина наводила тоску, ревность щемила сердце. Дойдя до дома Саниат, он подошел к молодой акации, посаженной им же два месяца тому назад, взялся за ствол и вырвал с корнем. Потом подошел к столбу, который был вбит в землю у самых ворот для конюязи, долго и сильно расшатывал столб, но так и не расшатав, оставил. Сел у ворот под тутовником на большой гладкий камень и, как ему казалось, ни о чем не думал.

Вдруг Атарбек услышал шаги. Он вскочил и увидел старшину Дриса...

Кровь прилила к голове, не соображая, что он

делает, Атарбек ударом кулака свалил Дриса на землю и стал бить.

Протасив Дриса далеко на середину улицы, Атарбек с силой и злостью еще раз пихнул его ногой в спину, повернулся и быстро пошел к стене, надеясь к рассвету прийти в отару.

9

Знахарка Сали громко зевнула, сладко вздрогнула и приникла к темному окну. Шершавой ладонью отерла вспотевшее стекло и вгляделась в сумрак раннего утра. Сквозь сизый туман белесо мерцали бледные утренние звезды. Знахарка торопливо натянула платье на острые плечи, обвязала голову платком, пахнувшим табаком, кислой сывороткой, бараньим салом, и, поглядев в медную большую тарелку, висевшую над тахтой, улыбнулась беззубым ртом своему косматому отображению. Перешагнув порог, она поплевала под ноги, прежде чем закрыть за собой дверь.

Перекликались петухи. Узенькие канавки, прорытые вдоль длинных улиц, тихо булькали осенней прозрачной водой. Кое-где у ворот уже показывались женщины с приспущенными на лоб платками, черпали из канавок «раннюю» воду, пока гусиные стада не заполнили канавки белым пухом перьев и не замутили.

Сали любила этот час рассвета. Можно было увидеть на берегу реки молодых невесток, которым адат не позволяет показываться раньше года на людях. Можно в этот ранний час увидеть и коня на водопое, но не конь интересовал Сали, а хозяин коня: кто из девушек поднесет коню полное ведро воды, смущенно опустив глаза перед хозяином коня...

«Тут не все в порядке»,—решала знахарка и устанавливала за молодыми строжайший надзор. От всего польза старой знахарке.

В этот ранний час можно было увидеть (упаси боже!) кого-либо из матерей, встретившуюся с замужней дочерью на берегу реки (адат не позволяет

им видется до тех пор, пока мать специально не пригласит к себе домой молодежь новой родни). Можно в этот час (о аллах, аллах, пошли такое счастье!) встретить кого-нибудь из молодых мужчин, случайно проходящих под окнами молодой вдовы, нравственность которой ничем не запятнана... Можно старой знахарке заработать и на этом, припугнув молодую...

Да мало ли что можно увидеть в этот сладкий предутренний час, когда, как в далеком мираже, в молочном тумане еле проступают дома и люди. Но старую знахарку сейчас интересовало другое.

Поздним вечером пришла вчера к ней жена Сафа, Кошер, предупредить, что Сурат вот-вот должна принести ребенка и кому, как не ей, принять этого младенца. Кошер доверяла знахарке не только сноху, но и себя. Знахарка приняла у Кошер всех ее детей, за исключением старшего, приняла первого внука Ахмата. А сегодня она примет еще одного наследника Сафа, за которого (Сали знала) ее отблагодарят, как полагается, богато. Поэтому старая знахарка, обойдя берег реки и «засекреченные» места, где она любила посидеть утрами, деловито прошла по длинной улице села, сохраняя полное достоинство. На вопросы любопытных о том, куда она так рано идет, нехотя, горделиво отвечала:

— К Абаевым. После первых петухов сама Кошер приходила, молила посидеть около роженицы... Отказывалась, отказывалась, нездорова, стара, говорю, стала, не под силу мне такая работа. Да что поделаешь, упросила...

И с усмешкой глядя ей вслед, люди говорили:

— Дай бог, дай бог принять тебе трех мальчиков...

Знахарка вошла во двор Сафа и удивилась, что ее не встретила сама Кошер.

— Я сам буду принимать ребенка, никаких знахарок и повитух! Это еще что такое? — говорил Владимир, глядя на мать прищуренными близорукими глазами и протирая пенсне. Кошер, увидя Сали, входившую во двор, умоляюще взглянула на сына:

— Да что ты, что ты! Виданное ли дело? Мало того, что в таком деле мужчина ничего не сообража-

ет, да еще деверь! Что ты, хочешь стать посмешищем? Да как еще и брат твой посмотрит на то, что не повитуха, а ты будешь принимать дитя?

Не веря, что сын пойдет принимать у своей невестки роды, Кошер приветливо улыбнулась знахарке, говоря:

— Иди, иди, Сали, я знаю, легкая у тебя рука. Вон, гляди, каких ты мне детей приняла, — сказала Кошер, показывая на Владимира. — Ведь и тебя самого она приняла, не бог знает кто... Иди, Сали, иди...

Но Владимир взял мать за руку и повел ее по длинному коридору, говоря:

— Пусть никто не заходит в комнату больной: ни ты, ни тем более знахарка... Пойди к ней и уведи со двора, пока я ее не выгнал, — резко проговорил Владимир, и, завязав рукава халата, закрыл за матерью дверь, а сам скрылся в комнате роженницы.

Кошер и Сали долго сокрушались наедине о том, что настали непонятные времена, что неудивительно, если после этого придет конец мира. Когда и где это было видано, чтобы мужчина, да еще деверь, от которого в прежние времена полагалось скрываться невестке, теперь...

— Тьфу, тьфу, тьфу, какое бесстыдство! — закрывая лицо грязными руками, говорила Сали.

Кошер, как старое дерево, сокрушенное ударом грома, растерянная, молчаливая, убитая, смотрела на свою старую «акушерку», не зная, как ее умиловить, чтоб не ославила ее семью на все село.

— Да разве же ты в своем доме не царица? Разве не тебе сноха подвластна? — упрекала ее знахарка, кидая на окно гневные взгляды.

— Сама видишь, выросли дети и, как новые ростки, спихнули нас, старых, с мест. Был бы сам старик, разве сын посмел такое бесстыдство сотворить?.. Да нет его дома, выехал по делам в Армавир, а что мне делать? Не зарезаться же на глазах у своих же упрямых детей?.. О-о-о, горе мне! Прости меня, Сали, сама видишь, как я убита, прошу тебя, скрой мой позор!.. Скрой любыми средствами, ничего не пожалею

для тебя, и отрез кашемира, который вот уже больше года лежит у меня, пусть будет твоим... Только во имя бога, пощади мою семью, честь моего рода, чтоб никто не узнал...

— Упаси боже, да разве кто поверит, если даже и сказать? Такой вещи невозможно поверить. Тьфу!— снова плюнула Сали.— Меня не бойся, пусть пройдут по моим губам мельничные жернова, если я хоть заикнусь где-нибудь о твоём позоре... Бойся своих же, сын твой сам проболтается, что он принимал ребенка. Ему это кажется честью, вот посмотришь... сама увидишь... Ну и времена!.. Пошли бог своевременную смерть, не дай мне дожить до позора и проклятья,— закатив глаза, проговорила знахарка и, не попрощавшись, вышла за ворота.

— Нана!.. Нана!.. — позвал мать Владимир.— Иди, принимай внучку, посмотри, какая девочка хорошая, и мать здорова...

Кошер, услышав слова сына, разрыдалась горькими обиженными слезами, говоря:

— Осрамил, на весь мир осрамил, уйди, бесстыжий, — и прошла в комнату Сурат.

К полудню все село знало о том, что доктор Абаев, потеряв совесть и мужскую честь, поправ все адаты и обычаи, принял роды у жены старшего брата. Старшина Дрис, не поверив разговорам, послал глашатая Хазби к Сали, зная, что в доме Абаева в таких случаях всегда звали знахарку.

— Ну, поздравляю, говорят, поворожденного наследника Сафа принимала ты? Небось, подарков набрала, на быках не довезешь...

Знахарка, изобразив на лице недоумение, проговорила:

— Да минуют твой счастливый дом болезни и несчастья так же, как миновала меня эта радость абаевского дома... Да стану я в загробном мире седлом на спине твоей лошади, если я сокру тебе... Что ты, что ты!.. Стану ли я от тебя что-либо скрывать, когда жизнь всего села у тебя на ладони?.. Не знаю, не ведаю, кем разрешилась сноха Сафа, знаю только одно, что роды принимал деверь. Ха-ха-ха! Лучше б не дожила Кошер до этого позора...

— Как деверь, что мелешь?.. За такие слова, старая ведьма, я вырву тебе язык...

— Вырви, вырви, если соврала. Я не пожалела б языка, только б предотвратить село от такого позора... Я не против докторов, разве не понимаю, да ведь не деверь же... Сраму набрались, тьфу ты, господи, — дергалась Сали в злом, скрипучем смехе.

Даже попадья, не выдержав, побежала в школу и сразу приступила к разговору:

— Правда ли, дитя мое, или злые языки поносят эту почетную семью, что доктор сам принимал роды у Сурат?

Залина улыбнулась попадье и сказала:

— Я не интересовалась, кто принимал ребенка, но хорошо знаю, что доктор Абаяев намерен открыть у себя небольшую больницу, где он, конечно, будет оказывать необходимую помощь и мужчинам, и женщинам. Какая разница, кто больной — мужчина или женщина...

— Да то больной ведь, а то роды...

— Не знаю, спросите у него, — возмущенно проговорила Залина и оставила попадью в коридоре.

К вечеру, когда солнце петоронясь, лениво пряталось за лесом, играя багровыми лучами в разноцветной осенней листве, Владимир вошел в школьный двор. Школьный сторож Михайла ревниво оглядел темного сутулящуюся спину доктора, проговорив.

— Что хотели, доктор? Дозвольте мне ей передать... может, она занята чем?..

— Здравствуйте, — смущенно сказал Владимир, оглядывая всегда хмурое лицо сторожа. — Пожалуйста, передайте учительнице, — он запнулся. — Скажите — доктор Абаяев, по делу...

Михайла важно прошел мимо Владимира, всем своим видом говоря: «Вот так бы и сразу. Если ты доктор, так она учительница, — имей почтение к ней».

Увидев в окно Владимира, Залина вышла ему навстречу.

— Проходите, Владимир Сафарович, что так официально?..

— Да вот... — глядя на Михайлу, сказал он, — дескать, доложить надо, может, еще и не примет, — пошутил Владимир.

— Да что вы, Михайла, не первый же раз доктора видите... Проходите...

— Оно верно, что не впервой, Александровна, — с ноткой обиды в голосе бросил Михайла, — да полагается все-таки спросить.

— Проходите, прошу, — проговорила Залина и пропустила Владимира вперед.

В комнате топилась печка, на столе были разложены ученические тетради, которые она собиралась исправлять.

— Кажется, не вовремя я к вам пришел, — проговорил Владимир, окидывая ее рабочий стол близорукими глазами.

— Успею, ночь большая, — ответила Залина, прибирая тетради.

— Тогда отдыхайте, если мое присутствие в какой-нибудь мере может располагать к отдыху. Я сам пришел к вам просто отдохнуть...

— Что так? Устали? От чего? — спросила Залина, искоса поглядев на него.

Уже больше двух месяцев прошло с тех пор, как доктор Абаев приехал из Москвы и начал работать у себя. Залина замечала, что спокойный по натуре Владимир в последнее время становится резок и придирчив к окружающим.

— Поздравляю вас с первой и самой большой победой... Владимир Сафарович, что вы так хмуры? По-моему, вы самую страшную преграду миновали... Все село говорит о том, что вы приняли... Так с кем же вас поздравить, кто у вас? — весело говорила Залина, глядя в озабоченное лицо Владимира, — С кем вас можно поздравить? — повторила она, садясь на табуретку напротив него.

— Племянница... большая, здоровая девочка... Победа невелика, Залина. Мать плачет, говоря, что этот позор не смоют с нашей семьи целые поколения. Вот проходил сейчас по улице, и многие мне не поклонились, считая мое поведение недостойным мужчины. Позавчера умерла от первых родов молодая

женщина, меня не допустили, потому что я мужчина. А потом влияние этой знахарки... и я не смею про нее ничего сказать... Заподозрят, что хочу с ней конкурировать. Говорят, роженицу заворачивали в войлок и катали... Она не умерла, ее убили... Вот и хожу я хмурый, Залина, чувствую, что не умею сделать того, для чего призван... Учился, страстно хотел попасть скорее домой, облегчить хоть немного то положение беспросветной нужды, в котором живет народ...

— Да, забыла вам показать... Летом, когда я была в городе, в семье подруги мне показали одно из новых стихотворений Коста. Прочитать? — спросила Залина. — Как хорошо он говорит о долге перед народом... Как хорошо, — вздохнула Залина и вытащила из ящика стола толстую тетрадь. Перелистав страницы, она прочла:

...Лишь народу из всех его многих услуг
Возврати хоть одну ты обратно.
Ну, хоть чем-нибудь дай ему повод признать,
Что врагом ты не будешь народным.
И что новых петель не захочешь вязать,
Чтоб ему помешать стать свободным...

— Хорошо, очень, хорошо, — задумчиво проронил Владимир, — опальный поэт, а вот не боится же? Тяжко болен, а отдает народу все силы. Знаете, Залина, мне так трудно пробиться сквозь толщу наших предрассудков. Порой думаю, что не выдержу, уеду в Россию, буду в русской деревне работать. Там тоже не легко, но у нас — вдвойне трудно... А с другой стороны... — он промолчал, потом, поглядев на нее, продолжал:

— Вам не легко, а вы уже второй год работаете, терпите...

— Я вытерплю, Владимир Сафарович, — проговорила она, обращаясь к нему по-русски. — Я должна вытерпеть... Вот присылают к нам русских учительниц, разве им легче, чем мне? Языка не знают. «Чужая, инородная, добра от нее не жди» — вот какие слова я слышу часто. А не уходят же, не бросают

свою работу. Да в каких еще условиях: без сторожа, без топки, без учебников, без квартир, — вот, действительно, кому памятники ставить нужно... В чужой стороне, не зная ни языка, ни правов парода, за гроши служат они этому народу... Разве вам трудно, Владимир Сафарович? Представьте себя на одну секунду женщиной. Как много вы сразу потеряете... Если б я была мужчиной, я ничего б не боялась, ни-и-че-е-го! — протянула Залина, глядя Владимиру в глаза.

Владимир смотрел на Залину, не перебивая ее, и впервые заметил, что эта девушка, еще недавно напоминавшая подростка, сейчас говорила с ним, как равная с равным. Владимира поразила конкретность ее мысли, и, улыбаясь ей близорукими глазами, он проговорил:

— Где и у кого вы подслушали эти мысли, Залина? Еще так недавно вы были совсем маленькая-маленькая...

— У вас, Владимир Сафарович. Я не помню все ваши письма, но одно письмо особо храню, помню его, даже выдержки из него читала одной своей приятской подруге.

— Я никогда не перечитываю, Залина, старые письма, они бывают... ну, как вам сказать? — Он снял пенснэ, протер его и, улыбнувшись, продолжал: — Старые письма всегда кажутся ужасно глупыми, смешными и восторженными. Мне от них бывает неловко, я не храню писем никогда...

— Никаких? — спросила Залина, глядя на него испытующе.

— Нет, — ответил он, надевая пенснэ.

— А я вот сохранила одно ваше письмо и считаю, что оно и не глупое, и не смешное, и не восторженное... Сейчас прочту его вам...

— Не стоит, Залина, не надо, я не хочу, — покраснел Владимир и поднялся.

— Нет, вы должны выслушать, и вы согласитесь, что я сохранила ваше письмо вовсе не из чувства сентиментальности. Я не вела дневника даже в приюте, не хотела, чтобы мои мысли, думы делались достоянием всех. Ведь бывают секреты, правда? — бе-

ря его за руку и сажая обратно на место, проговорила Залина.

Она вытащила из-под кровати корзину с бельем, порылась в прохладной горке накрахмаленного белья и вынула стопку писем, вырезки из газет, старый лист из какого-то журнала мод, на котором было нарисовано яркое поле, усеянное маками, и девушка в воздушном платье, с венком на голове.

— Вот, слушайте, только не смейтесь. Это ваше письмо, которое вы писали мне на Новый год... поздравительное. Я верила всему, что вы писали мне из Москвы... и завидовала, хотя трудно представляю обстановку, в которой вы жили. Эпиграфом ко всему письму вы взяли слова Некрасова: «Есть времена, есть целые века, в которые нет ничего желанней, прекраснее тернового венка...» Помните?.. «Здравствуйте, Залина, мой маленький друг! Простите за небрежность, я только что с лекций, в голове столько дум, что хочется написать очень большое и очень хорошее письмо. Пишу Вам, хотя Вы мне и не ответили на мои последние письма. Не знаю, чем обидел Вас. Я сегодня слушал нового профессора. Он начал свою лекцию со слов: «Человек должен быть счастливым». За человеческую жизнь, говорил профессор, нужно бороться не потому только, что он должен быть физически здоров, а потому, что человек призван сделать эту жизнь неизмеримо красивее, чем она есть. Борьба за человеческую жизнь, за его здоровье — это большая мечта и тяжелая задача... Поэтому тот из вас, кто не чувствует в себе силы бороться до конца, пусть не вступает на этот путь — он тернист и тяжел. Вылечить человека только для того, чтобы вылечить, не изменяя каторжных условий его жизни, мы не имеем права. Человек не должен работать до изнурения, он должен чувствовать себя в жизни счастливым. Сделать человеческую жизнь здоровой, красивой, счастливой — это задача каждого человека, особенно врача... И тот из вас, кто не чувствует в себе могучую волю биться за счастье, тот неправильно выбрал профессию. Профессия врача — это подвиг, и только самые сильные идут на этот благородный, но трудный путь. Простите, Залина, за

восторженность, но я чувствую в себе такой непочатый край сил и желания работать, помочь, совершить хотя бы крошечный подвиг, о котором говорит мой профессор, что решил поделиться с Вами своими мыслями. Пишите, не молчите. Когда кончаете? Куда думаете поехать работать? Жду от Вас письма. Владимир».

— Я хорошо сделала, что сберегла это письмо...

— Понимаю, Залина, почему вы прочитали именно сейчас. Понимаю и благодарю. Меня не так легко выгнать отсюда. Я не испугался ни знахарей, ни гадалок. Но не могу себе простить, что не вмешался активно в борьбу за жизнь той умирающей, к которой меня не допустили. Может быть, я бы ее спас? А вообще, Залина, я не дезертир и не сбегу... А то, что вы сохранили письмо, — это очень хорошо... В письме я посмел назвать вас своим маленьким другом, а вот теперь, сидя рядом с вами... не смею. Я много и часто думаю о вас, а когда вижу, то не знаю, что сказать? Залина... Не могу больше скрывать... Если б не вы, я не остался бы ни в своем селе, ни в своей семье. Мне тяжело, хотя бы от того, что временно-проживающие мечутся в поисках земли. А у моего отца столько земли, что без ущерба для себя он мог бы удовлетворить всех нуждающихся в этом селе... но...

— Почему вы не поговорите с отцом? — перебила она его.

— Говорил, и не только с отцом, говорил на сходе. Так мне ответили, что иметь землю в селе — это еще не все. Нужно быть коренным жителем села, тогда, мол, пусть и приобретают землю. Выйти из этого заколдованного круга невозможно. Отец надулся, говоря, что вместо помощи сыновей я проявляю неблагодарность.

— А вы поговорите в городе, Владимир Сафарович, ведь ваше село должно что-то значить...

— Буду говорить с юристом Баевым, есть такой присяжный поверенный, приятель моего отца, — ответил Владимир, снимая пенснэ.

Сумеречный свет вечера сливался с розовыми отблесками топившейся печи.

— Хочу покурить, разрешите? — попросил он и прикурил от головешки.

— Где-то сын мой бегают? Уже поздно, простите, я сейчас, — подходя к окну, проговорила Залина.

Накинув на плечи черную гарусную накидку, она вышла. Михайла возился у сарая, Аслан помогал ему таскать дрова. На мальчике была короткая курточка, из которой он уже вырос. Залина смущенно посмотрела на короткие рукавчики, из которых торчали загорелые кисти рук. Она привлекла к себе ребенка и сказала:

— Что вы, Михайла, не одели его потеплей? Вечер, прохладно...

— Какое прохладно, прислушайтесь-ка, — сказал Михайла, — гром гремит, а вы — прохладно...

— Поздно уже грому греметь, Михайла, осень, — сказала она, глядя на темные густые тучи, плывущие над горами, и взяла Аслана за руку.

— Это последний гром, без того осень не придет, пока пророк Илья последний раз не покатается да не напугает всех грохотом поздним... Вот после этого и жди ранних заморозков, инея... Так положено, — зная молвил сторож, подавая Аслану яблоко. — Накось, возьми, сам сорвал, на самой макушке прицепилось, последнее, да его уже и птички поклевали. На, вкусное яблоко, осеннее...

Аслан взял яблоко и сказал:

— Я тебе завтра пирога дам, который мне мама-Залина пекла, спасибо.

— Здравствуй, Аслан, — проговорил Владимир, приятельски протягивая мальчику руку.

— Не хочу... Опять пришел? Все ходишь и ходишь... Сиди дома, а не у нас, — проговорил Аслан, отдергивая руку.

— Ну что ты так, мальчик мой, разве можно? — сконфузилась Залина и потянула Аслана за руку.

— Ты моя... моя и Михайлы... и больше ничья, — отчеканил мальчик и отошел к печке.

Залина и Владимир молча переглянулись.

— Я не трогаю твою маму, Аслан, потому что знаю, что она твоя... Если ты меня не хочешь видеть,

я больше к вам не приду. Но, кажется, мы с тобой никогда не ссорились?

— Ты всегда у нас много сидишь, а потому мама-Залина не успевает мне рассказывать сказки... Иди домой, — серьезно сказал мальчик.

— Подчиняюсь, Аслан, твоему справедливому укору. Действительно, я сижу у вас долго, — проговорил Владимир, глядя на Залину и смущенно улыбаясь. — Буду на днях в городе, Залина. Что передать вашим? — спросил Владимир.

— Не знаю, что и передать, — озабоченно промолвила Залина. — Хочу я отца к себе взять, представьте — отказывается. «Неудобно, говорит, перед Цораем... Как бросить его хозяйство, всю жизнь им за тебя обязан». А мне разве легко, что отец мой, как крепостной, из чувства благодарности до самой старости не может уйти от них... Ох, трудно мне, Владимир Сафарович, жаль мне отца, а вот уговорить его не могу... Что ему передать? — задумчиво произнесла она. — Вы знаете, вот вышлю ему иногда немного денег, говорю, чтобы лучше кушал, ни в чем себе не отказывал. А он возьмет да эти деньги мне обратно и подарит, то в связи с днем рождения, то еще под каким-нибудь предлогом. Упрямый у меня старик... Хороший...

Владимир увидел вдруг, что глаза Залины увлажнились. Смутившись, она натянула на плечи накидку, бросив Аслану:

— Сейчас вернусь, мальчик, подожди, — и вышла впереди Владимира.

Прохладный порывистый ветер дул из ущелья, косматые переполошенные тучи, как расчесанная шерсть под чесалкой, медленно, то растягиваясь, то снова сворачиваясь в тугие клубки, ползли по небу. Где-то далеко за горами грохотал поздний осенний гром. Редкие крупные звезды, будто падая с неба, высывались в разрывах туч. Залина прошла с Владимиром до ворот. Пожимая ее холодную руку, Владимир сказал:

— Хотя Аслан упорно не хочет видеть меня у вас, Залина, но я, все-таки буду заходить, если можно, почаще... Без вас мне совсем, совсем горестно жить...

А может быть, ваш приемыш выражает ваше желание? Скажите, тогда... Но только не сейчас, в другой раз, сегодня такой необыкновенный вечер...

— Напрасно вы вините меня, Владимир Сафарови. Я и сама посмею сказать, если не захочу вас видеть. Вечер, действительно, необыкновенный, — желая переменить тему, проговорила она, глядя на тучи. — Небо совсем, как у Шекспира, зловещее... Гром, как на шабаше ведьм... Ну, до свиданья, а то Аслан сейчас выскочит за мной. Из него вырастет, наверное, Отелло... Ревнивый, — засмеялась она и заперла за Владимиром калитку.

— Почему ты всегда доктора ругаешь, Аслан? Вот у тебя горлышко болело, а он тебя лечил, в город поехал, лекарство тебе привез, ты поправился.

— Потому и не люблю его, что он мне больно делал. Лекарства его плохие, горькие. Я сам поправился, а не он меня поправил, — возмутился мальчик.

— Ну в этом ты неправ, Аслан. Чтобы поправиться, надо лечиться.

— Не он меня лечил, а ты, — чуть не плача, проговорил мальчик. — Ты с ним всегда долго сидишь и не успеваешь мне рассказывать сказки. Вот сейчас ты опять будешь книжку читать, а мне скажешь, чтоб я спал. Я знаю, знаю, — не скрывая обиды, говорил мальчик.

— А вот как раз и нет, сейчас расскажу тебе сказку...

— Тогда пускай ходит к нам доктор, я согласен, — снисходительно промолвил мальчик.

— Раздевайся, ложись в кроватку, я тоже буду лежать, и будем такие сказки рассказывать, каких никто не расскажет, ладно?

Мальчик торопливо-неловко стягивал с себя одежду. Залина прибрала со стола и тоже стала раздеваться. За окном тревожно зашумели деревья, раскаты грома раздавались все ближе. Скрипнула калитка, под окнами ходил Михайла, пряча вещи от приближающейся грозы.

— Про Конька-горбунка, про трех сыновей, — прыгая на кровать, попросил Аслан.

— Да это я уже который раз тебе рассказываю,

Аслан, одну сказку неинтересно столько раз слушать...

— Нет, интересно, мне интересно, — сказал мальчик. — Ты оттуда начни, как Иванушка белого коня поймал. Про других братьев не надо, они ж не поймали.

— Ну, хорошо, — согласилась Залина, легла под одеяло и начала:

— «Ночь настала; месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом...»

— Не там, не там! — прервал Аслан, — где он за гриву коня хватает, за гриву, — восторженно подсказывает мальчик.

— «Эхе-хе, так вот какой наш воришка... Но, стой, я шутить ведь не умею, разом сяду те на шею», — продолжала Залина.

— Вот-вот, это самое место, правильно, — снова перебил ее мальчик, блестя глазами.

— «И мунуту улуча, к кобылице подбегает, за волнистый хвост хватает и садится на хребет...»

Завороженный чудесной сказкой, садится Аслан на Конька-горбунка... Попадает и в страну Жарптицы, и в царские конюшни, и на дно морское. Убаюканный нежным голосом приемной матери, сладко дремлет мальчик, уснула и сама Залина, позавидовав беспечной поре его жизни, вспомнив свою Аннушку-маму, которая столько рассказывала ей сказок...

— Страшно мне, боюсь я, — прошептал Аслан, поднявшись на кровати.

— Что ты? Мальчик мой! — испугавшись, спросила Залина и соскочила с кровати.

— Боюсь, очень боюсь... — с дрожью в голосе повторил мальчик и прижался к ней.

— Иди ложись со мной. Испугался грома? Почему не разбудил меня? Подними голову, не бойся, спи...

Мальчик уткнулся в подушку и обнял ее за шею.

— Давно ты не спишь?

— Давно... гром...

И как бы в подтверждение слов ребенка, заухал гром. Резкими оглушительными раскатами пробежал

он по крыше школьного здания, сверкнула молния, осветив на мгновение комнату ослепительным светом.

Раскаты грома то уходили, то снова возвращались, пугая сторожа Михайлу и заставляя его креститься. Ветер и дождь неистово хлестали по крыше, по стенам, по окнам.

«Какой был вечер хороший — вдруг гроза», — с грустью подумала Залина, прислушиваясь к шуму дождя и вспоминая весь прошедший день: медлительный и тихий говор Владимира, его предупредительное внимание к ней. И впервые почувствовала она себя взрослой.

«А Владимир... — думала она, вспоминая, как он на прощанье задержал ее пальцы в теплой мягкой ладони, будто желая согреть их. — Такой молчаливый и такой странный, он ни на кого не похож».

Она чувствовала, как постепенно слабел вокруг ее шеи обруч из детских рук. Осторожно сняв с плеч ручки, она потянула ему на плечи одеяло и легла на спину. Раскаты грома густым сердитым грохотом доносились уже издалека, молния сверкала реже, шум ветра утих, но ливень не прекращался. Настойчиво, упорно шел дождь, шурша под окном, и в душе рождалась радость, что в такую ночь есть свой теплый и уютный угол.

«Хорошо бы кадочку дождевой воды набрать — волосы бы вымыла, белье постирала. Не догадается старик поставить», — подумала Залина и опустила ноги на пол.

В темноте, боясь нашуметь, она осторожно прошла к двери, сняла с вешалки полотняное летнее пальто. Накинув его сверх ночной сорочки, она протянула к двери руку, чтобы открыть ее.

Сквозь однообразный шум затихающего дождя она вдруг явственно услышала стук в окно: тук, тук!.. Тук, тук!..

«В такую ночь...» — беспокойно подумала она и открыла дверь.

— Нет. В комнату не войду, тороплюсь, меня ждут... — шептал Темур, заполнив большой фигурой маленькую переднюю.

— Заходите, не стойте здесь, — проговорила она

и открыла перед ним дверь в комнату. Перешагнув порог, Темур остановился. С мохнатой бурки его узкими полосками сбегала на пол вода. Он медленно развязывал мокрый башлык, вдыхая в себя теплый запах комнаты. Залина зажгла лампу и молча глядела на него. Было слышно, как капала вода с его бурки да, посвистывая носом, ровно дышал Аслан. Темур заметил, что детская кроватка пуста, а сын его лежит в постели учительницы. Сняв бурку, он шагнул к столу. Стол зашатался, и желтое пламя в лампе дрогнуло. Темур снял шапку и сел. Бритые щеки его были мокры и бледны. Он нагнулся и полой черкески вытер щеки и круглую черную бородку.

— В такую погоду.... в дождь, в ливень, — тихо сказала Залина и машинально смахнула капельки воды с его рукава.

— Как хорошо никого не бояться... Утром встать и пройти по улицам деревни и жить, как живут все, — проговорил Темур, глядя на Залину. — Пять тысяч дают за меня живого, а за мертвого — три, но я не дам им заработать...

— Говорили, что... что...

— что меня убили, — помог он ей, — потому я и заехал. Из загробного мира, — улыбнувшись и лукаво глянув на нее, сказал он, встал и подошел к кровати.

Заложив руки назад, Темур стоял у кровати и смотрел на сына... Он никогда не был ласковым отцом, не баловал мальчика, но всегда любил его молчаливой любовью.

Сейчас он разглядывал лицо сына, чистую нарядную постель и на маленьком столике около кровати книжки, в которых сам так плохо разбирался.

Родившись в семье бедного крестьянина, Темур весной ходил за плугом, осенью и зимой пас чужие стада, а летом батрачил. Потом, женившись на такой же беднячке, был выгнан из родного села. А теперь — абречество, жизнь изгнанника разлучили его с сыном.

Переполненный чувством благодарности и нежности к Залине, он повернул к ней голову, собираясь сказать много хороших слов, и вдруг увидел, что Залина, уронив голову на ладони и закрыв глаза, неподвижно сидит у стола. Он нагнулся к ней, думая,

что она уснула, но, к изумлению своему, услышал, что Залина плачет.

— Плачешь?.. Плачешь? — спросил он и осторожно положив руку на ее голову, повернул к себе и заглянул в глаза. Он бросил на нее один из тех взглядов, которые глубоко западают в душу женщины, взгляд, который потом, среди всех жизненных невзгод и мечтаний, женщина никогда не забывает, не умея объяснить его посторонним, не умея дать ему названия.

— Зачем... зачем плачешь? — допытывался он неловко, чувствуя себя виновным перед ней. — Прости, больше никогда не приду... Прости...

— Нет, я не потому, — перебила она его, — жалко мне вас, очень жалко, очень...

Пораженный, он смотрел, не понимая, как объяснить ее слова. И, забывшись, с бьющимся сердцем, поблуднев, взял ее за плечи и прижался щекой к гладким черным волосам.

— Спасибо, спасибо, — шептал он, не отпуская ее и закрыв глаза. — Люблю тебя больше, чем себя, — сказал он вдруг тихим изменившимся голосом. Открыв глаза, он увидел у своего подбородка маленькую, гладко причесанную голову. Запах ее волос жаркой пьяной волной ударил ему в голову, и он быстро отодвинулся от нее.

Ему захотелось все рассказать этой женщине, которая умеет читать книги, писать по-русски, которая носит русские платья и не моет волосы сывороткой.

— Я всегда тебя помню, Залина, всегда... Когда просыпается солнце, помню тебя и думаю: «Проснулась и она». Когда в жаркой усталости падает солнце за гору, думаю: «Устала и она». Когда ночью луна, — мечта о невозможном счастье терзает мне душу, — думаю только о тебе... Когда в стужу и непогоду холод пробирает до костей, я опять о тебе вспоминаю... Когда смерть ходит около меня, мысль о тебе помогает мне бороться... Если бы не ты — я умер бы давно, — так клялся он ей необычными, неуклюжими словами.

Она вдруг испугалась. «Если бы не ты — я умер

бы давно». Он сказал медленно, тихо и ей показалось, что слова эти вошли в ее душу да так и остались лежать там. Ей было восемнадцать лет, и ей, впервые объяснились в любви, но как не похоже было это на то, чего ждала она в неясном девичьем томлении.

Начитавшись романов, Залина создала себе идеал любимого, с которым в тишине лунных ночей даже разговаривала, улыбалась, называла его ласковыми именами. Правда, Темур совсем не похож на ее идеал. Тот обязательно должен быть в русском костюме, образованный, начитанный, понимающий с полуслова ее мысли. Он целовал ее руки, приносил цветы, пел песни и относился к ней с почтением.

Да, Темур не похож на того образованного героя романа: он не повезет ее в далекое путешествие, не покажет больших городов. Он — всего-навсего только абрек, которому даже нельзя днем показываться на селе. Но... она все-таки чувствовала странное волнение. Низко опустив глаза, не двигаясь, она прислушивалась к его словам.

Как только Темур ушел, Залина погасила лампу и открыла окно. Дождь прошел, небо прояснилось, запоздалая луна сверкала на мокрой темной траве. В предраассветной тишине, освеженной ночной грозой, раздавалось предутреннее «кукареку».

«Люблю тебя больше, чем себя», — звучали в ее памяти слова Темура, и вдруг ей сделалось стыдно. Она вспомнила его побелевшие губы, печальное смущение в глазах. Захлопнув окно, она скинула пальто и, дрожащая, холодная, прижалась к теплему телу ребенка. Но заснуть не могла.

Залина повернулась лицом к стене, закрыла глаза и увидела бледные мокрые щеки Темура, которые он вытирал полой черкески, его иссиня-черные волосы с проседью на висках.

Ей каждый раз хотелось провести ладонью по его вискам, и от одной этой мысли она краснела. А тут вдруг он сказал ей такие слова...

«Что же будет?» — думала она.

Когда он долго не приходил, она скучала. Несколькими раз она собиралась сказать ему об этом, но,

встретившись, смущенно разглядывала его седые виски и говорила обо всем, но только не об этом.

«Дура, дура я какая, — упрекала она себя. — Расплакалась, а спрашивается, чего? Что он теперь подумает? Но ведь он очень красивый», — стыдясь своих мыслей, созналась она себе и закуталась с головой в одеяло.

«С Владимиром легко и спокойно, ему ничего не надо объяснять, он все понимает», — подумала она, вспоминая его гладкие светлые волосы, скуластое лицо, тихий ровный голос, медленную походку и прищур близоруких глаз.

Разумом Залина понимала, что полюбить Темура ей нельзя, и от этого страдала, отгоняя каждую нежную мысль о нем.

Долго еще не спалось Залине. Любовь, которую она ждала, пришла сразу.

«Но как можно любить Темура? Изгнанник, несчастный», — думала она. Тоской и жалостью непривычно билось ее сердце.

10

Полдень. Редкие снежинки порхают в сухом морозном воздухе.

У входа в сельское правление снег притоптан. Несколько лошадей стоят на привязи у крашенных дубовых ворот.

В дубленых овчинных шубах, стеганых ватных штанах крестьяне, приехавшие из далеких аулов, ждут возвращения старшины из города.

У реки, обмелевшей за зиму, играют дети. Школьники с сумками, болтающимися через плечо, бегают за деревянной юлой. Подхлестывая ее тоненькой плеткой из сыромятной кожи, сами неистово вертятся, скользят и падают на лед.

Толстым прозрачным льдом голубеют края проруби, легкий белый пар клубится над водой. Вокруг проруби — ведра, коромысла, детские санки с привязанными к ним кадушками для воды, по краям которых, как нагар сальной свечи, свисают прозрачные

ледяные сосульки. Осторожно ступая по скользкому берегу, телята тычутся мордами в грязный утоптаный снег.

Придерживая лошадей под уздцы, стоят у водопоя парни.

Обычай велит молодежи встречаться только на виду у старших, на свадьбах и торжествах. Да еще днем на реке, у водопоя, не глядя друг другу в глаза, встречаются влюбленные. Встречаются у водопоя соперницы, кидая друг на друга гневные взгляды.

Сегодня в лавку Сафа привезли стекло.

— Берите, хватайте... такой товар не ждет! — выкрикивает Гамази, возбужденный бойкой торговлей.

— В долг берите — повременю, — снисходительно-ласково говорит Сафа. — Денег нет — не беда. До весны подожду. А весной, шутя прополешь мне десятину кукурузы...

Пустеют ящики, разбирает народ стекло.

Выходя из лавки, крестьяне бережно заворачивают в подолы шуб и бешметов зеленоватые листы стекла.

— Глашатай Хазби идет, беда! — крикнул кто-то.

— Причем тут я, — обиделся Хазби. — Закон ругайте! А я что? Маленький, хромой Хазби.

Крестьяне высыпали из лавки.

— Говори, что принес нам, рассказывай, — обратился к нему самый старый из крестьян, с седыми насупленными бровями.

— Повинность отбывать... Сорок подвод к правлению на заре... Сено в город повезете... Апшеронскому полку...

— Слушай список! — закричал Хазби, вытаскивая из-за пазухи лист бумаги.

Он торопливо и четко выкрикивал фамилии, кому подавать наутро подводы под фураж.

— Несправедливо старшина распределяет, месяц не прошел, как подводы давали, — возмущенно сказал кто-то. — Выслуживается.

— Кому — яйцо, а кому — скорлупа, — засмеялся Хазби...

— Лизать тебе, хромой шайтан, в загробном ми-

ре раскаленные сковороды за твой язык, — сказал старик.

— Пусть полижет их старшина, его приказ исполняю, — огрызнулся глашатай.

— У моего двора, в моей лавке прошу начальство не поносить! — вмешался Сафа, — закон приказывает, а не старшина...

— Почему все законы против бедных написаны? — крикнул кто-то из молодежи.

— Морозно... Оси ломаются... Кони худые... — ворчали крестьяне.

— А ну, молодежь, загадку отгадай! — сказал старик с насупленными бровями.

— Когда Нарт Сослан был в царстве мертвых, видел он такое чудо: вблизи большой дороги лапоть и легкий чукяк спешили наперегонки взобраться на дерево. Легкий сафьяновый чукяк до середины дерева легко и свободно лез впереди, а потом вдруг лапоть, тяжелый, дырявый, взял верх и обогнал чукяк. Что это значит? А? — лукаво улыбаясь морщинками глаз, спросил старик, поворачивая голову из стороны в сторону.

Замолчала, задумалась молодежь. Дети присели около стариков, надеясь, что им подскажут, но старики молчали.

— Сам скажи, не можем мы отгадать, — сказал Мухар, работник Саниат.

— Это значит, — сказал старик, — скоро настанет время, не в загробном мире, а на свете нашем, когда перегонит и сзади оставит рабочий человек владельца жизни легкой...

— Эй, не подыхай с голоду, осел, скоро весна придет! — ответил кто-то шуточной поговоркой на загадку старика.

В это время взмыленные кони, впряженные в красные сани, пронеслись по улице и круто остановились у сельского правления. Старшина Дрис соскочил с саней, ни с кем не поздоровавшись, пробежал мимо крестьян, кланявшихся ему, и торопливо поднялся по скрипучей лестнице. Писарь и два стражника выскочили ему навстречу.

— Глашатай! Сходку скорей... Война! — выпал

лил Дрис, подпрыгивая у горячо топившейся печки.

Не прошло и часа, как зловещее слово «война» облетело все село.

У ворот собирались женщины с грудными детьми на руках.

— Война!.. Идите на сходку... Война!.. — пронзительно выкрикивал глашатай, быстро шагая по селу и ни на кого не глядя.

Дети, перегоняя друг друга, бежали на сходку. На ходу застегивая овчинные шубы, черкески, привязывая кинжалы, спешили мужчины к сельскому правлению.

На верхней ступеньке покосившейся лестницы держа в руках лист белой бумаги, стоял Дрис. Сзади него, в почтительных позах, выстроились его помощник, полицейский, писарь и два стражника.

Старшина всегда робел перед большим сходом, он не отличался красноречием. Но сейчас робость его исчезла, и, оглядев огромную беспокойную толпу, которая не спускала с него глаз, Дрис дважды важно кашлянул, потом шагнул вперед и громко, громче обычного, произнес:

— Царь Японии объявил войну царю русскому. Царь Японии грозит царю русскому отобрать у него землю...

Молчание...

— Докажем царю русскому нашу преданность, поможем ему разбить японского царя, постоять за земли...

— А за чьи земли?.. — перебил старшину временнопроживающий.

Толпа зашевелилась, полицейский сошел с помоста...

— Докажем царю нашему любовь к нему, — говорил Дрис.

— Хорошо, у кого земля есть, — продолжал тот же голос.

— Молчи... — толкнул старик молодого «крикуна».

— Снарядим ему на подмогу воинов...

— Вот на войне и землю заработаете, — подбросил другой.

— В такое тяжелое время, когда царю больше всего нужна помощь, покажем, что осетины считают себя частью России и за счастье считают отдать жизнь за нее...

— России почему не помочь?.. — раздавались голоса.

Вышел Сафа. Оглядев народ, левой рукой дотронулся до бороды и сказал:

— Без царицы нет улья, без хозяина нет двора, без царя нет государства... Мы все его дети и, как сыны родные, должны прийти царю на помощь. Плохо тем детям, которые в беде не выручают отца. Сейчас царю дорога каждая копейка. Из табуна моего дарю десять коней и полное снаряжение — все, что надо всаднику. Не пожалеем сил наших, жизни нашей. Я сыновей отдам и коней не пожалею, — говорил Сафа, оглядывая море голов. — Предлагаю записываться у писаря. Жертвуйте, кто что может...

С этими словами Сафа поднялся по лестнице. Из толпы потянулась за Сафа вереница людей...

— Кто богат, тот и по деду поминки справляет... А мне, что царю дарить? Семь дочерей моих — без земельного надела... Сыновей у меня нет... Земли нет, дочерей не берут, сам стар, — говорил дед, качая головой.

Расходились по домам медленно и молча.

Беспокойной и тревожной жизнью стала жить Осетия. В Христиановском и Алагире, в Ардоне и Беслане, в крупных селах Осетии и в далеких горных аулах готовили седла, башлыки, шили черкески и бешметы. Взбухшими красными руками катали женщины бурки.

Баев Гаппо — городской голова — вместе с епископом Владикавказским объезжал села, уговаривая народ идти на подмогу единоверному русскому царю. Призывные речи Гаппо, благословленные епископом, возымели действие: добровольцев с каждым днем становилось все больше. Изнуренные нуждой отцы семейств торопились на войну, думали о земле, которую русский царь отберет у царя японского и справедливо поделит между теми, кто воевал. И ледеял бедняк мечту вернуться домой с деньгами, с

крестами. Не думая о смерти, посылали на войну сыновей и братьев.

Молодые осетинки, в надежде на близкое счастье, тянули на своих маленьких голосистых гармошках, протяжно подпевали:

Вот мой любимый в Харбин собирается.

Жду терпеливо, и он возвращается,

Золота много с собою везет.

Жду терпеливо, и вот он идет,

Конь вороной от патуги дрожит,

Золото глухо в хурджинах звенит.

Знаю, мой милый богат и счастлив,

С бархатом, шелком к дому спешит.

Новый дворец мне любимый построят,

В бархат оденет и свадьбу устроит,

В дом свой введет

И женой назовет.

Земли просторные будем пахать,

В радости жить и забудем страдать...

Пестрел февраль проталинами. На холмах кое-где чернела из-под ноздреватого снега жаждущая материнства земля; рыхлый снег обманывал глаз, под ним сочилась вода.

Отправляла Осетия своих сыновей на фронт, на подмогу царю русскому.

Сборный пункт — Ардон. Так решило городское начальство. Старшина Дрис сопровождал до Ардона своих всадников.

В своем нарядном фаэтоне вез Сафа Абаев старшину Дриса и отца Харитона.

— Перед отправкой, — говорил Дрис, — будут конникам вручать Георгиевское знамя, которое за беспримерно храбрую службу во время русско-турецкой войны пожаловал осетинскому дивизиону русский царь... Вам, как самому почетному жителю нашего села, — сказал он, обращаясь к Сафа, — придется проводить наших воинов напутственным словом.

— Не впервой мне выступать, не посрамлю... — спокойно, с достоинством ответил Сафа.

Много народа со всех сел съехалось в Ардон. Ули-

цы были запружены арбами, фургонами, линейками, а у богатых подъездов стояли фаэтоны, покрытые коврами.

На церковной площади собралось все командование конного дивизиона.

На столе, покрытом роскошным ковром, красовался художественной работы штандарт. Древко его было высеребрено по желобкам, а на белом шелковом полотне на одной стороне был нарисован масляными красками образ святого великомученика и победоносца Георгия, а на другой — вензель государя императора, вытканый белым шелком. Края знамени рельефно оттенялись синей каймой, по углам были вышиты государственные гербы.

Всадники, с трудом сдерживая нетерпеливых коней, образовали красивый полукруг.

Из окон, из ворот, из щелей заборов, с чердаков десятки любящих женских глаз смотрели на всадников.

Штандарт вручал Баев Гаппо — высокий, с плотной широкой спиной. Его круглое румяное лицо улыбалось. Черный европейский костюм-«тройка» был тщательно отглажен.

— Еще в старые времена, — начал Гаппо, опираясь правой рукой на край стола, — осетины, теснимые в горах дикими племенами, стали массами переселяться на равнину, под защиту единой верной великой России.

Старики, опираясь на сучковатые палки, с полужакрытыми глазами слушали его, ребяташки с завистью разглядывали блестящие кинжалы, черные черкески и тонконогих коней, которые нетерпеливо поводили ушами.

— В 1877 году, в начале русско-турецкой войны, — продолжал Гаппо, — осетины выставили за свой счет дивизион охотников, которые за свою беспримерно честную и храбрую службу удостоились получить Георгиевское народное знамя. Во внимание к самоотверженной деятельности осетинского населения на пользу царя и общей родины, в бозе почившему императору Александру Третьему угодно было снисзойти к просьбе осетин и допустить их к стбыва-

нию воинской повинности наравне с прочими верно-подданными великого императора всея Руси, — говорил Гаппо, вытирая тонким батистовым платком широкий лоб. — Прошло после этого немного времени, и дивизион был осчастливлен новой монаршей милостью... В 6-й день мая 1897 года государь император Николай Второй даровал дивизиону свой штандарт, сегодня вам вручаемый. Помните же, братцы, что дарованный нам штандарт — этот высокий знак царской милости — должен быть для нас дороже жизни. Им осеняет нас государь на верное служение ему и в мирное, и в военное время. Будем же хранить этот драгоценный дар и да не посягнет на него дерзновенный враг. Пусть отныне святой облик царя нашего, красующийся на нашем штандарте, будет всегда служить вам напоминанием данной клятвы на верность и путеводной звездой верноподданной службы, — горячо закончил Баев и отпил пенистого пива из большой чаши, которую держал перед ним затянутый в черкеску юноша.

Конники закричали «ура», запели.

Потом выступил священник Цораев. Он осенил всех собравшихся крестным знаменiem и сказал:

— Братие во Христе! Пусть ныне, в годину испытания, ниспосланного неисповедимым промыслом общему отечеству нашему, откликнется каждый на зов божий... Мы глубоко верим, что доблестная христианская, столь схожая по своим судьбам с Россией и всегда готовая жертвовать собой, Осетия вместе со всеми русскими братьями стоит за честь и славу нашего общего отца — благочестивейшего государя императора и за достоинство России. Пусть сущий в небесах упрекнет врагов наших, возглаголет к ним гневом своим. А об отечестве нашем и о всех нас мир возглаголет. Соединимся же, братие, сердцем всеюедино, и да умножится в нас благодать и мир от бога-отца и господя нашего Иисуса Христа... Амины!

Повернуv крест лицевой стороной к всадникам, Цораев три раза поднял и опустил его.

После Цораева выступил старик Сафа. Он был наряден в своем белом чесуновом бешмете и в светло-серой лисьей шубе. В правой руке он держал боль-

шую деревянную чашу пива, в левой — три пирога. Повернувшись к всадникам, он протянул угощение ближайшему коннику, который ловко соскочил с коня.

— Не посрамите наши горы, родину ваших дедов и отцов, — торжественно произнес Сафа. — Помните, что деды ваши никогда не возвращались с войны побежденными. Деритесь храбро... Слава о вашей храбрости дойдет до царя и принесет всей Осетии славу, почет и преимущества, коих лишены другие народы Кавказа. Но, — продолжал старик, — издревле в Осетии укрепился обычай — не идти ни на какое дело, в поход и в путешествие, не пропев гимна святому Георгию. Табу ему — покровителю мужчин.

Конники выстроились. Тоненьким тенорком затянул в середине строя молодой голос, и его подхватили несколько таких же голосов. Кони заволновались. Песня разорвала гнетущую тишину. У ворот, у окон замелькали женские повязки, опущенные низко на лоб платки. По узкой улице, разбрызгивая мокрый снег, конники парами двинулись по большой дороге на Владикавказ.

Старики сняли шапки и закрестились, ребята помчались вслед за всадниками верхом на длинных хвостинках, кричали и пели, подражая им. Долго еще доносилась из степи песня и в воздухе стоял ритмичный цокот лошадиных подков.

.
.
.

Медленно уходила зима. Снова, будто назло наступающей весне, она вдруг обрушилась на землю неистово злая. Запорошил сухой снег, завывли ветры, ныряя под черепицу крыш, под солому, просачиваясь сквозь худые, мазанные глиной стены домов.

«Не к добру это» — говорили старики, глядя на вернувшуюся зиму.

Днем таяло, капало с крыш, леса стояли потемневшие, оголенные, и оглушительно кричали в них галки. А к вечеру всклокоченные туманы, цепляясь за холмы, ложились по оврагам и желтый круг холодного солнца опускаясь за холм. К ночи снова хо-

лодало. Ветер яростно свистел и бился в окна, и казалось, не будет злой силе холода конца и края.

Сокрушенно качая седыми головами, матери говорили:

«О горе нам! Когда же вернутся сыны наши? Как же должно быть холодно на войне, на глазах у смерти, если здесь так страшно».

Часами простаивали отцы и матери у дверей сельского правления, ожидая выхода писаря, который расскажет про войну, про сыновей. Складываясь по копеечке, крестьяне покупали у писаря газету, в которой было написано о войне... Вечерами, собравшись в какой-нибудь хате, слушали старики, женщины и дети монотонное чтение сельского писаря. В газете писали о подвигах многих: попадались и знакомые среди тысяч фамилий, пестрели фамилии знатных генералов, писали о ранениях, о смертях.... Как горящую головешку, брали матери истрепанный кусок газеты, глядя на непонятные знаки, где таилась и смерть, и слава их детей... Но война не кончалась.

Владимир работал во Владикавказе в военном госпитале с первых же дней войны. Георгий же со своим полком простоял три месяца в резерве. С возмущением и горечью он писал Владимиру, что каким-то счастливым так повезло, что с первых дней войны они попали в действующую армию, принося себе честь, а отечеству — славу. А его полк снова вернулся в Ростов и стоит на прежнем месте. Подавал два рапорта, просился на позиции, но ему отказано, и он злей прежнего сидит в Ростове, когда ему следовало бы воевать...

Старший сын Сафа, Гамази, не сидел сложа руки.

На широкой площади города Армавира, где каждый год бывает ярмарка, и дальше за площадь в несколько рядов тянутся казачьи фургоны, горские двухколесные арбы, доверху набитые сеном, туго перевязанные ремнями и веревками.

Из горных аулов, с пастбищ, из казачьих станиц колыхающейся вереницей ползут к Армавиру подводы с фуражом для армии.

Все это стекалось к станции Армавир, там фураж

грузился и шел дальше на север. На площади, у фуражной конторы, казаки и горцы, косясь друг на друга, неделями дожидались выдачи денег по квитанциям. Два писаря и казначей работали, не зная сна.

Мягкий говор кабардинцев, кокетливый шепот черкесов, тягуче-жесткий разговор осетин — все смешалось здесь, как в бреду.

Гамази и богач Макушев с первых дней войны уехали в Армавир.

— Под лежащий камень вода не течет. Нечего дома сидеть, поезжай, вложи деньги в «дело», — сказал Сафа сыну и выдал ему чек в Крестьянский банк на двадцать тысяч рублей. Казак Макушев оставил на горбатого сына свою мельницу.

Уезжая, Гамази позвал к себе жену и долго молча смотрел ей в лицо, а потом сказал:

— Ради тебя еду, для тебя хочу разбогатеть, чтобы не злилась ты, чтоб довольная была... ласковая, как настоящая жена. Заработаю денег — станем отдельно жить. Во Владикавказе дом куплю. Гостиницу заведу с номерами, с рестораном. Хозяйкой будешь... ни свекровь, ни свекор тебя касаться не будут. Что заулыбалась? — ухмыльнулся Гамази. — Со скучишься, в гости к матери поезжай. Заеду, передаю...

С этими словами Гамази, отбросив тяжелую полушубы, достал из кармана синих диагональных брюк тугой сверток денег. Расстегнув кофточку на груди жены, он сунул ей сверток за пазуху.

— Для тебя еду, чтобы довольная была... ласковая...

Видя, что Сурат не бросила деньги обратно, не оттолкнула его, он прижал к широкой груди ее голову:

— Детей береги, — шептал он.

Рябинки на его скуластом лице побледнели, поздри большого горбатого носа вздрогнули, и серые глаза на минуту потемнели, поразительно напомнив глаза отца.

Сафа попрощался с сыном холодно. Передавая ему большой синий конверт, на котором было напи-

сано: «Армавир, командиру эскадрона, штаб-ротмистру Кубатиеву», сказал:

— Лично в руки передай. Он племянник Амурхана Туганова. Недавно переведен из Елизаветпольского сорок четвертого драгунского полка. Поможет. Да смотри, не теряй разум. Кто не бережет копейку — не накопит рубля...

С тех пор прошло полгода. За это время старик сам съездил в Армавир и убедился, что «дело», в которое вложил он тысячи, — прибыльно. Из Армавира Сафа поехал в Ростов, но сына не застал.

— Выехал по делам, — ответил ему денщик Иннокентий. — Неспокойно сейчас. На вокзале все раненые да раненные. Бьет нас здорово японец... — сокрушался солдат. — На станции рабочие депо целую неделю не работали, пришлось солдатам стрелять в них... А барыня-то наша, Лидия Ивановна, с лазарета домой и ночевать не ходит... — сетовал он не то на японца, не то на рабочих, которые не работают, не то на свою барыню, которая не ночует дома...

Работники Сафа гнали с пастбищ скотину. Сам Сафа верхом объезжал стойбища. Тысячу баранов и тысячу голов рогатого скота должен был поставить он во Владикавказ. Война требовала мяса, сена, лошадей, людей, и Сафа не сидел.

Проезжая мимо школы, Сафа остановился и, не слезая с лошади, постучал в ворота. Вышел Михайла. На маленькой кургузой кобыле, серой, в темных яблочках, Сафа молодо сидел в седле. Углы черного сатинового бешмета были подвернуты, а темно-синие рипсовые шаровары ложились свободными фалдами, скрывая мягкие сафьяновые сапоги.

— Учительницу зови, небось не к тебе с поклоном! — сердито крикнул Сафа подходившему сторожу.

Глядя вслед сторожу, медленно идущему к дому, он грубо закричал:

— Я не почевать пришел, торопись!

Но Михайла невозмутимо медленно шел через большой школьный двор, не обращая внимания на его окрики.

Сафа нетерпеливо еще раз постучал в ворота и вдруг увидел, как Залина быстро пробежала через

двор, на ходу приглаживая волосы, которые черными тугими жгутами подпрыгивали на ее спине. Она протянула ему руку, недоумевая, зачем к ней заехал Сафа.

— Прости, что не схожу с лошади, тороплюсь, — промолвил Сафа, держа в большой сухой ладони ее маленькую теплую руку. — В город завтра еду. В гостях у твоих буду. Отца увижу. Может, что передать хочешь?

Девушка удивленно разглядывала старика, восхищаясь его бодростью. Несмотря на молочно-белую бороду, которая закрывала ему полгруды, он казался молодым.

— Очень благодарна. Если можно, передайте ему письмо и немного денег. Вечером я сама занесу. Отцу скажите, что летом к нему приеду.

— Зачем летом в городе жить? — прервал старик девушку.

Хотя начавшаяся война помешала планам старика, но Сафа не покидала мечта женить Владимира на Залине.

«Отстрою сыну такую больницу, как у доктора Туганова в городе, а на дверях здания — надпись: «Лечебница доктора Абоева». И жена Георгия ведь тоже докторскому искусству обучена, не простая. А этой малютке открою частную гимназию, своя начальница будет. Даром, что крошка, а за умом ни к кому не ходит. Только вот Владимир что-то долго возится со сватовством... Кончится война, настою, чтоб женился», — думал Сафа, глядя на учительницу.

— Ну, до свидания, Залина. Заходи, всегда рад тебя видеть. А старику твоему поклонюсь, чтоб не беспокоился за тебя. Пока жив, в обиду не дам...

— Спасибо, я и так в долгу у вас, — ответила Залина, протягивая старику руку.

— В долгу, в долгу, помню, скоро потребую... — пожимая ей руку, улыбаясь, сказал Сафа.

Оставив Залину, он подъехал к дому Саннат и постучал в калитку. На стук вышел работник. Увидя у ворот старика Абоева, он снял шапку и почтительно поклонился.

— Доложи хозяйке, по делу.

Мухар задом попятился к калитке, торопясь исполнить его приказание.

Сафа видел, как работник пробежал по двору, как он что-то торопливо шептал Хадизат, вышедшей к нему навстречу, как он бегом пробежал обратно к воротам, открыл их и пропустил Сафа во двор. У крашеного дубового столба, около сарая, на тонкой серой цепи была привязана большая собака, похожая на волка. Завидя всадника, она, вытянув шею, стала рваться с цепи. Выбросив тонкий длинный язык, собака шелкала острыми желтыми зубами, разбрасывая хлопья вязкой слюны.

— Урри!¹ Волчья сыть! — прикрикнул Мухар на собаку, удерживая ее за ошейник.

Сафа прошел по знакомой галерее, распахнул первую дверь и постучал во вторую. Дверь открыла ему Хадизат и пропустила в комнату.

— Чтобы болезням не бывать в этом доме, — приветствовал Сафа больную и, не ожидая приглашения, отбросил полу бешмета, пододвинул к себе стул и сел.

— Правы да будут дела твои, — ответила ему Саниат на приветствие, приподнимаясь и подавая ему руку. Худой горячей ладонью она прижалась к его большой темной руке... Яркий румянец вспыхнул на ее белом худом лице и в огромных ввалившихся глазах на какое-то мгновение, как молния на темном небе, вспыхнула радость и погасла.

— Забыл, совсем забыл. Не заходишь... — упрекнула она. — Дел сколько, а посоветоваться не с кем. Не чувствую я больше твоей опоры, помощи от тебя не вижу, — продолжала Саниат.

Сафа, упираясь ладонями в колени, подавшись вперед к постели больной, внимательно слушал ее.

— Война, — проговорил Сафа, — война, нет никого из детей в доме. Один за всем поспевай: и лавка, и стада, и земля, и по дому... Виноват перед тобой, не оправдываюсь...

— Ох-хо-хо! — вздохнула Саниат, — слыхала я о

¹ У р р и — вроде русского «цыц».

твоей сутолоке... знаю... Поселил бог в человеке жадную душу, а не вечна паша жизнь и тревоги напрасны. Нет у человека в жизни такого дела, во имя которого можно было бы пойти на все, на все... — шептала Саниат посеребрившими губами.

Увидя Хадизат, стоящую у печки, она кивнула головой:

— Подай фынг, чего стоишь?..

— Ничего не надо, тороплюсь, — сказал Сафа, глядя на стриженую голову больной.

Внимательно оглядев Саниат, Сафа понял, что нет больше в этой женщине той силы, что порой заставляла его, непокорного, униженно молить о любви.

Уловив отчужденно-холодный взгляд его колючих глаз, Саниат натянула на плечи белую пуховую шаль, закрывая острые ключицы, обтянутые желтой дряблой кожей, опустила голову на подушку и прошептала:

— Тоба астаафраллах — где она, смерть? Хорошо помереть в силе... при красоте...

Оба молчали.

Хадизат, в ярко-синем шелковом платье и пестром персидском платке, принесла в комнату фынг и поставила его около гостя. В мягких ярких чуваках она бесшумно ступала по крашеному полу. Золотистые пушистые волосы гладко зачесаны над белым широким лбом. Старик слышал, что молодая у Гуларовых красива, но увидеть такую красавицу не ожидал. Пораженный солнечным цветом ее волос, белизной кожи, он не мог отвести глаз, разглядывал как дорогой товар на ярмарке.

Не по годам серьезное лицо Хадизат казалось сердитым, а тоска в прекрасных карих глазах делала ее похожей на раненую лань, на виду у которой охотники убили детеныша. Глаза старика потемнели... Так жарким летом, среди белого дня, набежит вдруг темная туча на солнце, падет серая большая тень на сухую жарко шуршащую пшеницу и вздохнут холмы, вздохнет жница, вонзая серп в россыпь желтых колосьев.

Саниат увидела в глазах старика эту знакомую ей набежавшую тень... Тридцать лет она знала его

любовь. Не стеснялась людского суда, не боялась греха... Она хорошо знала эти темные, вдруг набегающие тени в его глазах, любила их вызывать... А сейчас с удивительным бесстыдством Сафа разглядывал при ней споху... Стараясь глубже вдохнуть в себя воздух, Саниат крикнула:

— Иди, Хадизат, оставь нас... потом придешь...

И вспомнила Саниат... Клеверные луга, высокое небо, темное, теплое... Стог сена, река, набегающие тени в глазах Сафа и грех, который не испугал ее, которого она не стеснялась...

— Что хочешь от меня? — прервала она, наконец, тягостное молчание.

— Скотина в цене большой, Саниат, — в ласковом полупшепоте нагнулся он к ней. — Прикована ты к постели, трудно тебе с гуртами справиться. А я с крупным поставщиком связан, дело верное...

— Завтра пастуха старшего пришлю, он мои условия передаст... Спасибо, — прошептала Саниат.

— А деньги, — вкрадчивым шепотом продолжал Сафа, — пусть до осени у меня побудут. В процентах не обижу.

— Проценты не пужны, все равно, что ты меня обкрадешь, что другой. Расписку снохе моей отдашь... — тяжело переводя дыхание, говорила она.

Сафа встал и, не подав ей руки, сказал:

— Верила мне всегда — верь и сейчас.

Саниат махнула рукой и закрыла глаза, прошептала:

— Делай, что хочешь, распоряжайся, верю...

Сафа на цыпочках вышел из комнаты. Увидя Хадизат во дворе, он близко подошел к ней, взглянул на нее потемневшими глазами.

— Старшего пастуха вызови с отары, так хочет Саниат.

Хадизат смутилась под его взглядом и, отпрянув, залилась густым румянцем.

— Какой бесчестный старик! — шептала она сквозь слезы. — Как он смел на меня так смотреть?

Подойдя к лошади, которую работник Мухар услужливо поддерживал под уздцы, Сафа оглянулся на Хадизат, вскочил в седло и выехал за ворота. За

селом он бросил уздечку на шею лошади и мирным, тихим шагом поехал к реке Дур-Дур, по направлению к пастбищам Саниат.

Без конца и края тянулись поля, потемневшие холмы. Лошадь то и дело тянулась к дороге, хватая губами кустарник. И тогда Сафа лениво покрикивал на нее, толкая стремянем в бок. У реки напоил лошадь и шагом поехал к отарам.

«Всех вывел в люди, все теперь на дорогу поставлены», — думал Сафа.

Тишина наводила сонливость. Сладко зевнув, погладил он голову, перекрестился, пошептал и снова отдался сладостным грезам.

«Сына бы женить, больницу бы ему построить, гостиницу купить...» — мечтал Сафа, прислушиваясь к храпу лошади.

Сафа видел, как Саниат с каждым днем отдалялась от него, и не чувствовал уже с ее стороны того беспредельного доверия, которым пользовался раньше. Поэтому ее сегодняшние слова: «Верю!», «Распоряжайся!» — снова вернули Сафа к былым дням... Последнее время его раздражала непонятная близость старшины к Саниат. Он стал питать глухую неприязнь к ней, старшину презирал и искал пути, как бы отдалить его от Саниат. Сафа знал, что старшину привязывает к этому дому богатство Саниат, что Дрис ждет смерти хозяйки, чтобы стать обладателем богатств. Поэтому-то Сафа услужливо предложил Саниат вместе со своей скотиной выгнать на продажу и ее баранту. Гуларова тоже понимала, что Сафа никогда ничего не делал без выгоды. Но, обесиленная болезнью и глухой внутренней борьбой, она разрешила Сафа распоряжаться ее стадами. Если поручить это Дрису, то половина прибыли пропадет. «Делай, как хочешь» — сказала она Сафа, убедившись в своем бессилии. «Пусть моя копейка перейдет в умные руки, тогда она станет рублем», — думала Саниат, разрешая Сафа выгнать ее баранту на продажу.

В отаре, где паслись тучные стада Саниат Гуларовой, раздался вдруг резкий властный окрик Сафа.

— Где народ? — коротко спросил он маленькую женщину со сморщенным, серым лицом, которая возилась в горячей золе, переворачивая кукурузные лепешки.

Женщина замялась. Землистое лицо ее стало еще темнее, и она еле слышно произнесла:

— Скот пасут, под гору ушли...

— А ты чья будешь?

Женщина совсем смутилась. По адату женщина не имеет права произносить имя и фамилию мужа. Вопрос же, поставленный седым стариком, требовал прямого ответа.

Она опустила голову и произнесла:

— Старшего пастуха здешнего...

— Позови его, скажи, что от хозяйки, пусть все придут.

Женщина знала, что, чтобы позвать пастуха, надо бежать версты две, но она не посмела возразить Сафа, накинула на плечи платок, а чтобы ногам было мягче — сунула сена в чуваки и, не оглядываясь, быстро пошла по узкой протоптанной дороге, которая извилистой полосой тянулась в гору между темнеющими лесами.

Когда женщина ушла, Сафа сунул в большой котел длинную деревянную вилку и поймал баранье ребро.

Вытащил из золы горячую лепешку, сдул золу и стал ею закусывать мясо.

Посередине пастушьего шалаша черпел очаг, обложенный камнями, над очагом — цепь, на цепи висел огромный котел, который судя по густому навару на его стенках, редко снимали с цепи. На земле был разостлан войлок, старые порыжевшие бурки. Яркие кумачовые паволочки на маленьких подушках лоснились от жира. Несколько постелей свернутыми лежали по углам, а в глубине шалаша стояла большая деревянная кадка, обтянутая деревянными обручами и накрытая сверху темно-серым войлоком. Сафа приподнял войлок, взглянул в кадку и нахмурился:

«Ишь, как живут... А все оттого, что без хозяина...»

В кадке, в соленом растворе сыворотки, плавали

большие и маленькие кружки желтоватого овечьего сыра. Он сунул руку в кадку, поймал кружок и, отломив кусок, с удовольствием съел его с горячим чуреком. Поодаль стояла еще такая же кадка.

«Неужели еще сыр?» — подумал Сафа и приподнял покрывало.

Но в этой кадке лежало мясо, видимо недавно посоленное.

По стенам этого убого обставленного, но большого шалаша висели копченые бараньи окорока и курдюки, в большом влажном бурдюке бродил кефир. Деревянный чап, накрытый тоненькой ивовой сеткой вместо сита, был полон свернувшегося молока.

«Живут не хуже меня...»

Через час все пастухи были в сборе, за исключением дежурных, которым нельзя было отлучиться от стал.

Сафа оглядел их, но ничего не сказал. К нему подошел старший пастух Инал, который жил здесь с самого основания отары. Инал и ростом, и робостью был очень похож на свою сморщенную серую жену, только голос у него был звучный, молодой. Стоило ему заговорить, и чистые потки его голоса сейчас же располагали собеседника в его пользу, робкое выражение в глазах исчезало, и этот сморщенный маленький человек заставлял себя слушать.

— День твой да будет добрый, — поздоровался Инал с Сафа, входя в шалаш и обнажая свою преждевременно поседевшую голову.

— Прямы да будут дела твои, — ответил Сафа на приветствие, а сам присел поближе к огню, на низенькое мягкое сиденье, сделанное из шкур. Инал опустился на такое же сиденье на противоположной стороне очага, а пастухи, кто постарше — присели на свои бурки, а кто помоложе — стояли, прислонившись к стенкам шалаша, не смея садиться при стариках.

— Ну, так вот, — начал Сафа, чувствуя, что молчание пастухов означает нетерпеливое желание узнать, зачем приехал Сафа в отару.

— Ну, так вот, вы знаете, что Саниат больна, немощна... Управлять хозяйством ей нелегко. Догово-

рились мы с ней, — мне присмотр за кутанами поручила...

Все завозились на своих местах. Не шелохнулся только Инал, старый пастух, привыкший за долгую пастушью жизнь ко всяким неожиданностям и со стороны природы, и со стороны людей. Он ложкой бороздил золу, рисуя какие-то кружочки.

Сафа замолчал, и тогда Инал, подняв на него глаза, проговорил:

— Желаем ей поправиться. Зла мы не помним, в пище нам не отказывала, жалованье платила всегда в срок, не задерживала — кому деньгами, кому натурой. Грех худое говорить... Ну, а теперь, что же... — продолжал Инал, — пастуху все равно... чьи богатства ни беречь. Ни от чего наша пастушья доля не меняется, вам — приказывать, нам исполнять, — закончил Инал своим мягким, задушевым голосом, который почему-то раздражал Сафа.

— У меня свои порядки, и я не обязан свою жизнь строить по мерке Саниат. Она управляла своим умом, я буду управлять своим. И учить себя не только пастухам, но и образованным сыновьям своим не позволю. Еще никогда ни к кому не ходил, чтобы занять в долг немного ума. Наоборот, люди ходят ко мне посоветоваться. Кто хочет работать, будет выполнять мою волю, а тем, кто не хочет... — Сафа сделал жест, который означал, «широкая дорога — можешь идти».

— Даю четыре дня, чтобы были посчитаны все стада, чтобы я точно знал, сколько овец-маток, которые дадут еще приплод, сколько коров, быков, телят, буйволов, лошадей. Плох тот хозяин, который не знает своего хозяйства, — проговорил Сафа, оглядывая хмурых, молчаливых пастухов.

— Жалованье оставляю то же, а там посмотрим... Если среди вас есть старательные, увеличу им вознаграждение, а если есть ленивые — уменьшу. Есть я вам не запрещаю, но есть больше, чем сам ем, — не разрешу, так как я — хозяин, а вы — мои работники... Вот у вас по стенам, в кадках, в чанах столько добра пропадает, что настоящий хозяин вас за это давно бы всех разогнал. Ну да простит ей бог, болезнь сковала ее... И молоко, и мясо, и сыр, и кефир, и мука, и

соль — всего, чем живет человек, у вас здесь больше, чем нужно для вашей пастушьей жизни. С этого дня лишнего вы иметь не будете... Сегодня понедельник, в пятницу утром я буду здесь. К тому времени мне приготовьте все, — обратился Сафа к Иналу и обвел всех взглядом, давая понять, что отвечать будет не только старший пастух, но и остальные.

С этими словами он поднялся с мягкого сиденья, собираясь уходить.

Все встали, чтобы проводить его, но Инал бросил на них быстрый взгляд, который был понятен только пастухам, и все остались на своих местах.

Старый пастух вышел вместе с Сафа и, оставшись с ним наедине, сказал:

— Поласковее будьте! Не та теперь молодежь: непокорная, упрямая, чуть им чего не по духу — давай бунт. Чуть что, начинают про всякие восстания и бунты говорить.

— Будут они мне бунтами и абреками грозить — уволю и новых найду, — пригрозил Сафа, принимая из рук молодого пастуха поводья. — А-а, это ты, Атарбек, здравствуй, здравствуй!.. Что-то я давно тебя не видел, пожалуй, уж больше года...

Атарбек услужливо держал стремя. Сафа сунул левую ногу и молодо вскинул свое крепкое тело на спину лошади.



Часть третья



1

Б оум! Б-о-у-у-ум! Бо-у-у-у-ум!

Тяжело проплывает над городом протяжный ранний благовест. Лужицы, затянутые за ночь легкой коркой льда, сверкают, как тонкое стекло. Дворники, широко размахивая метлами, метут у ворот; дремлет на перекрестке одинокий извозчик; молочница с бидоном молока торопливо переходит улицу, устало плетется с ночной смены рабочий; городской, недремлющее «око», положив руку на эфес шашки прохаживается от угла до угла. Но город еще спит. Только казачьи фургоны, катясь по булыжнику мостовой, рассыпают далекий рокот железных осей.

В этом году — ранняя пасха. Сегодня вербное воскресенье, поэтому казачьи станицы доставляют городу продукты на праздник.

В упруго набитом кузове фургона, в добротной бараньей шубе, обтянутой черным плисом, сидит молодая казачка. В теплом пухе платка кругло и ярко рдеет здоровое, красивое лицо. Она по-мужски правит лошадьми, порой оглядываясь назад, на кузов, где сидит старик-казак, по колено заваленный сеном. Рядом с ним в сене — бочонок капусты, горшки с творогом и сметаной, гуси обсмоленные до янтарной желтизны. Казак на войне, но казачка без мужа не растерялась в хозяйстве: и пашет, и полет, и косит, и ездит в лес. Война потребовала из казачьих станиц самые крепкие возрасты мужчин. Поэтому на фургонах не увидишь молодых казаков — все старики да женщины.

Далеко, очень далеко от Мукдена до Владикавказа. Но война наложила свой отпечаток на все, даже на жизнь далеких кутанов, где с первых же дней войны появились незнакомые люди, покупающие баранту и рогатый скот целыми отарами. Шерсть поднялась в цене так высоко, что овцеводы стригут даже ту баранту, которая в обычное время проходила бы нестриженной еще полгода. День и ночь, поднимая придорожную пыль, угоняются в сторону города табуны коней.

Весна. У полоски, присев перед сохой, мальчик-подросток зовет мать на помощь и долго возится над скривившимся деревянным лемехом сохи...

«Ах ты, нерадивый кормилец!» — горестно шепчет мать, глядя на вспотевшую от непосильного труда головку сына.

На цинковом заводе у пылающих костров никогда еще так не торопил хозяин с выплавкой свинца и олова, никогда еще смены не работали с такой нагрузкой, как теперь... С припухшими губами и красными глазами мастера и рабочие день и ночь не отходят от печей, выплавляя все больше и больше свинца, олова и цинка...

Цинковозы-аробщики в две смены не успевают утолять неугасающий огонь цинковых печей.

Война наложила свой отпечаток и на этот маленький город, далекий от Мукдена... Всегда нарядный, весь в зелени садов и цветов, город в это раннее весеннее утро выглядит сумрачным и холодно-неприятным. К пасхе не белятся дома, нет весенних ярмарок, нет в городе того всеобщего возбуждения, которое царит перед праздниками. Дуют холодные северные ветры.

Ветер с легким присвистом проносится по улицам города, срывая со стен старые афиши, замечая обрывки плакатов, на которых можно разглядеть ощеренное в злобе, перекошенное лицо японца. Из обрывков этих плакатов мальчишки вырезают фигуры лихих казаков с шашкой, занесенной над головой японца.

Пусты витрины магазинов, у мясной лавки крупного мясника Мамаджана — очередь. Мальчик-газетчик, Гошка, в солдатской фуражке-бескозырке пересекает улицу и детским срывающимся голосом выкрикивает:

— Тяжелые бои под Мукденом!.. Бои под Мукденом! Последние вести! Тяжелые бои под Мукденом!

— Бои, бои!.. — струится в прозрачном утреннем воздухе звонкий детский голос.

— Эй, ты, охальник, чего орешь? Что народ пугаешь? — отходя от толпы, стоящей в очереди у мясной лавки, кричит вслед Гошке-газетчику городского. — Какие тяжелые бои, когда скоро вся Япония будет нашей?.. Эй, постой-ка!

— Чего ты к дитю пристал? Что он от себя, что ли, придумал? Так ему, должно быть, велено кричать... — говорит старуха с седыми космами, злобно оглядывая городского. — Ишь ты! Японию всю завоюешь, а она мне не нужна. На что мне твоя Япония, когда у меня сыновей больше нет... Япония, Япония! — взвизгнула старуха, сверкнув на городского поблекшими голубыми глазами.

В толпе ей сочувственно вторят, невнятно, одними обрывками фраз, упрекая не то городского, не то мясника, у лавки которого они стоят с ночи.

Мальчик-газетчик, не обратив внимания на окрик

городового, вытянул худую шею, пересек бульвар в центре проспекта и, потрясая над головой свежим номером газеты, продолжает выкрикивать:

— Берите! Покупайте! Последние новости из действующей армии!.. Тяжелые бои под Мукденом... Бои под Мукденом!

Вдруг песня, звонкая, задорная, взлетела к небу где-то за спиной мальчика и оборвала его на полуслове. Мальчик остановился, потом побежал навстречу песне. Из-за угла показались первые всадники, а за ними вывернулся весь эскадрон — новое пополнение казачьей конницы, идущее на смену тем, кто сражается под Мукденом и у стен Порт-Артура... Яркие красные лампасы оттеняли синие брюки, а голубые башлыки, как крылья больших птиц, трепетали на черных, смолой отливающихся бурках.

Гошке казалось, что они поют так громко потому, что им страшно, так же, как ему бывает страшно, когда он вечерами долго носится с последней кипой газет, а потом возвращается на далекую окраину города — Сухое русло. Там темно, он боится и тогда громко, на всю улицу кричит:

«Последние известия!.. Вести из действующей армии!..»

А сейчас высоко в весеннее небо взлетает песня:

Славься, вольный бурный Терек,
Славься, край ты наш родной...
Славься, гордость и надежда,
Атаман наш войсковой...

«Славься, славься...» — подхватывает весь эскадрон под мерный цокот лошадиных подков.

Распахиваются ставни, выскакивают из ворот мальчишки и с жадной завистью глядят вслед. Молочница остановилась на переходе улицы, дожидаясь, когда прогарцуют нарядные всадники; дворник, облокотившись на метлу, уставился на трепещущие голубые крылья башлыков; городской, вытянувшись в струнку, застыл в немом восторге; женщина с седыми волосами, выйдя из очереди, тоже смотрит вслед всадникам и шепчет:

— Япония, Япония... А народ все идет, идет...
Смерть все радуется, радуется!

С богом, терцы, не робей,
Смело в бой, скорей вперед...
Вера в бога и Россию
Пусть у нас всегда живет.
Славься ж, Терек наш могучий.
Гордо воды свои мчи.
И привет родимый, жгучий
От сынов своих прими.

«От сынов своих прими... прими» — взлетает песня все бодрее и бодрее.

Много лет родному войску,
Много лет нам, казакам,
Войсковому атаману
И станицам, и полкам...

В это ветреное утро городской голова Баев тоже был потревожен каскадами казачьей песни. В мягком полумраке спальни, за густой драпировкой гардины, он сладко потянулся, протер глаза и прислушался:

...Славься ж, Терек наш могучий,
Гордо воды свои мчи...

Он включил настольную лампу, и спальня озарилась зеленоватым светом. Маятник лениво качался за толстым стеклом стенных часов — было только шесть часов утра. Баев окинул глазами маленький стол, пододвинутый к кровати. Заниматься утром в постели — была старая привычка присяжного поверенного: просмотреть почту, пробежать последние номера газет, выпить стакан очень сладкого чая, а потом снова вздремнуть на часок до завтрака, который ровно в девять подавался ему в кабинет. Бывший присяжный поверенный, а теперь городской голова Баев счастлив своим высоким положением. В благодарность властям он не жалеет ни способностей, ни

сил, особенно сейчас, в дни войны, когда действующая армия все время требует пополнения.

Осетинский конный дивизион Баев считал своим детищем. Он добился того, чтобы отдельные эскадроны из дивизиона были приданы казачьим полкам, уходящим на фронт. Поэтому закрыв глаза, городской голова с умилением прислушался к песне. Он сел в постели и потянулся к столу. Большой голубой конверт с обратным адресом действующей армии привлек его внимание. Баев вскрыл письмо.

«Глубокоуважаемый и высокочтимый Георгий Васильевич! Вам известно, что наступающий праздник светлого Христова воскресения всадники Осетинского конного дивизиона, приписанные к отдельному казачьему кавалерийскому полку, будут встречать без родных и родного крова, вдали от наших гор, у мрачных сопот Маньчжурии. У них нет тех благоприятных условий, в которых будут встречать праздник родные и друзья. Но, безусловно, все молитвы родных и братьев, возносимые ежедневно ко всевышнему богу, проникнуты одной и той же мольбой — сохранить жизнь сыновей и братьев, находящихся на поле брани, и послать победу над врагом, к которой и единоверные сыны Осетии одинаково стремятся вместе с православными братьями русскими.

Надо прислать подарки: родные и знакомые, помимо материальной помощи своим братьям, выполнят свой христианский и даже гражданский долг перед ними. Для всадников это будет, кроме того, иметь моральное значение. Только надо сделать так, чтобы эти подарки, собранные у родных в действующую армию, пришли бы не как от родителей, а от общества. Тогда наши конники ярче осознают свой долг перед отечеством и проникнутся сознанием, что они не забыты родиной, что они дороги ей. Тем большее рвение окажут в войне и отдадут живот свой за православную веру, царя и отечество и сделают своей храбростью честь всему нашему осетинскому народу перед царем-батюшкой и вызовут зависть у тех народов, коим не доверена царем служба в его армии. В этой войне, как и прежде, народ Осетии, коему дана великая честь служить наравне с русским сол-

датом, не должен посрамиться. Есть много убитых, раненых, но до поры до времени не дозволено никому писать о том домой, зная, что нашему населению поминки по покойникам принесут, помимо всего, целое разорение в такую лихую годину. Но уповаю на бога, не позволит всевышний продлить долго сие избиение народов. Шлю Вам свой привет и пастырское благословение. Глубокоуважающий и весьма Вас почитающий священник Бицоев. 10 марта, 1905 года. Действующая армия».

«Умный пастырь... Но и мы не забыли того, что нужно было послать нашим всадникам пасхальные подарки», — подумал Баев и стал одеваться. Когда он появился на проспекте, первым увидел его мальчик-газетчик. Признав в нарядном господине богатого человека, он пронзительно закричал:

— Тяжелые бои под Мукденом!.. Бои под Мукденом!..

Баев, подержав в ладони квадратный, гладко выбритый подбородок, кивнул городовому. Городовой стремительно подскочил, отдавая честь.

— Позовите!.. Предупредите мальчика!.. Не так, ну не так же!.. — проговорил он, указывая на газетчика.

Городовой свистнул, на его свист отозвался другой и через минуту маленький Гошка предстал перед городским головой.

— Ты что, любезный, кричишь не так, как надо? — едко сказал Баев, положив на худое детское плечико тяжелую белую руку.

— Так велено мне кричать... Это последние известия из действующей армии, — бойко ответил мальчик.

— Нет, не так, — проговорил он, покраснев, и стиснул плечо мальчика своими длинными полными пальцами. — Будешь кричать: «Успешные бои под Мукденом!» Понял? — спросил он, не выпуская плеча ребенка и с укоризной глядя на растерявшегося городского.

Сделав два шага, Баев оглянулся и добавил:

— А вы не слышите разве, что газетчик не то говорит?..

Баев не закончил, оставив городского в смущении.

Поглядев ему вслед, городской схватил мальчика за воротник куртки, сжал ему шею большим и указательным пальцами и проскрипел:

— Вот видишь, охальник, это все из-за тебя! Ори, как приказал тебе голова, а не как ты хочешь... Кричи, что вся Япония наша! Кричи!

— Успешные бои под Мукденом! Успе-е-е-еш-ные-е-е бои!.. — пронзительно закричал вдруг Гошка перед самым носом городского и, как лист, подхваченный порывом ветра, сорвался с места, держа газету над головой.

А городской голова шел по проспекту, направляясь на окраину города. Несколько раз окликали его извозчики, видя барина, идущего пешком, но Баев шел не оглядываясь.

Хмурое утро силилось улыбнуться, но темные тучи густой пеленой плыли по небу, не давая вырваться солнцу. Только южные окраины неба светлели, и вершины гор холодно сверкали голубыми льдами. Казалось, что это вековое ледяное молчание давит на город, прижав его к котловине.

Городской голова вышел на южную окраину города, где в низких длинных казармах квартировал Осетинский конный дивизион. Казармы соприкасались со старым кладбищем, где вековые дубы и чинары разрослись в густую темную рощу. Кроны деревьев в ненастные вечера тревожно шумели, и в мутные окна казарм таинственным темным ликом гляделось кладбище.

Когда городской голова вошел во двор казарм, священник Цораев, духовный отец дивизиона, был крайне удивлен таким ранним посещением, хотя знал, что сегодня на проводах конников должно присутствовать много знати. Прищулив блестящие черные глаза, придерживав полу шерстяной рясы, Цораев пошел навстречу Баеву.

Цораев и Баев были приятелями, поэтому наедине они говорили на «ты».

— Почему так рано, что случилось? — спросил

поп, взглядываясь в полное белое лицо Баева. — Молебен назначен на десять часов.

— Не спалось, — ответил Баев. — Ведь сегодня отправляем в действующую армию. И не просто солдат... Поверь мне, я очень взволнован... От того, как будут вести себя там, где-то на сопках, эти маленькие люди, — зависит и наша судьба, судьба наших больших планов... Хочется мне сказать им хорошее напутственное слово... Утром, на заре, разбудила меня бравая казачья песня. Моя мечта — добиться разрешения развернуть наш дивизион в полк, а то ведь как получается... Конники приданы отдельным казачьим полкам. Кровь прольется паша, а славу пожнут они, казачьи офицеры. Понимаешь? Надо добиваться, чтобы развернуть свой кавалерийский полк...

— Пойдем ко мне, что мы во дворе стоим! — пригласил Цораев Баева в свой кабинет. — Пожалуй-ста, — проговорил поп, пропуская Баева вперед.

Во дворе казармы молодой священник Коцоев, приглашенный Цораевым для совершения молебна, уже стоял у походного аналая торжественный и немного взволнованный тем, что на молебне, им совершаемом, будет присутствовать большое начальство. Коцоев не спеша облачался в яркую ризу, дьячок беспрестанно дергал себя за ворот подрясника; молебная книжица и катехизис лежали на аналое.

Гости съезжались. Двор казармы ожил. Конники, не показываясь в главный «парадный» двор казармы, делали последние приготовления: осматривали седла, походные сумки, бурки, поглаживали тонконогих порывистых коней, привязанных у кормушек. К десяти часам узкий двор казармы был полон народом. Эскадрон, отправляемый в действующую армию, во главе с командиром занял место перед самым аналоем. Сам командир дивизиона вместе с князем Макаевым занял место по правую сторону от священника Цораева, который стоял ближе к молодому попу, смутившемуся в присутствии начальства.

— Православному войску да возглаголет всевышний победы, — тянул поп, оглядывая ровные ряды конников.

— Аминь! — закончили они вместе с дьячком. Вся

масса людей, торжественно простоявшая весь молебен, вдруг зашевелилась. Перед конниками вышел Сафа. Он держал на вытянутых руках черную курчавую бурку, поверх которой лежал вышитый золотом башлык, переливаясь красками чудесного узора.

— Дети мои, джигиты наши славные! Честь вашей маленькой родины зависит от вас. Сегодня, когда все народы великой России рады доказать царю-батюшке беспредельную к нему любовь, осетины удостоены высокой милости служить в войске Российском, где не каждому дозволено служить. Оправдайте возложенную на вас надежду. Если понадобится, не пожалейте отдать жизнь за единоверную нам Россию. Считайте за честь сражаться рядом с русским солдатом... Ждем от вас подвигов, без которых ваши предки не мыслили своей жизни. А этот вот подарок, сделанный руками ваших матерей и сестер, возьмите с собой и покройте им плечи того, кто первый прославится в бою. А если герою суждено будет погибнуть, то не забудьте на чужбине адат — покройте этой буркой его коня...

— Ура!.. Ура!.. — раздалось с разных концов.

С вытянутых рук Сафа бурку принял вольноопределяющийся Бесолов и подал ее командиру эскадрона.

— По ко-о-оня-я-ям! — раздалась звонкая команда.

Через десять минут весь эскадрон был на конях и выехал со двора казармы. Гости рассаживались по фаэтонам. Толпа долго смотрела вслед удаляющемуся эскадрону. Конники пели, и песня оставляла непонятную тоску на душе, упосясь далеко-далеко, в ту неизвестную даль, куда уходили они от родимых гор.

2

Каждое утро, едва встрепенется день, и каждый вечер, когда солнце, обойдя небо, устало падает за высокое здание салотопного завода, младший брат Сурат, Таймураз Цуров, и старый рабочий цинково-

го завода, которого все называли Михеичем, медленно, молчаливо проходят по улице Сухое русло. В одни и те же часы, когда город еще дремлет, окутанный молочным туманом, двое рабочих проходят мимо будки околоточного на утреннюю смену. Городовой настолько привык к этим двум фигурам, что, если б они в один день вдруг не прошли мимо него, то он обязательно донес бы об этом начальству, как о позорительном факте.

Сегодня с самого раннего утра городской, которого все обитатели Сухого русла называют «Иоанном крестителем», несколько раз выглядывал и удивлялся отсутствию своих знакомых. День прошел у него в бесконечных предположениях. Что случилось? Как это так, что Михеич может прогулять? Только он хотел пойти к нему узнать, как вдруг увидел самого Михеича и Таймураза. В своих обычных холщовых рабочих куртках они шли на работу. Городовой удивился.

— Михеич, а Михеич! Не в положенное время идешь, не случилось ли худо? — окликнул городской рабочего.

— Ты иди, подождешь меня у моста... Разорви ему холера глотку, я подойду, — шепнул Михеич и свернул с дороги к будке.

— Беспокоился, целый день тебя выглядывал, не случилось ли с ним какого лиха... Без тебя, веришь ли, Михеич, вроде в Русле и статности-то нет...

— Ну, ты и скажешь, какая теперь с меня статность — старость, — проговорил рабочий, садясь у будки на перевернутый ящик из-под карамели. — Смены спутали нам, людей не хватает, а работы больше стало. Война... Роптать не приходится, каждый, чем может, должен царю-батюшке его тяготы облегчить...

— Святые слова, Михеич. Каждый бы так думал, не жизнь была б, а рай... — одобрительно проговорил городской. — Давно ты меня, Михеич, ароматным-то не угощал, аль не получаешь больше посылок от сына?

— Как же, Данилыч! Сын у меня, слава богу, не то что нынешние, деловой, не забывает, шлет каждый месяц посылки. Он ведь у меня в Тифлисе на

табачной фабрике на самой лучшей работает. Вот и табачок у меня лучше, чем у других... — хвастливо говорил Михеич, вытаскивая из кармана брезентовой куртки кисет и протягивая его городовому. — Кури, не жалко мне, кури, пока есть, а не будет — и махорку пососем.

— Пососем, не привыкать, — ухмыльнулся старый городской, выбирая из кисета свалевшийся в комочки ароматный табак.

Обитатели Сухого русла привыкли к «своему» городовому, который стоял здесь с самого основания улицы. Между собой они называют его «Иоанном крестителем» за вечные нравоучительные проповеди, читаемые подвластным ему жителям. Сухой, долговязый, с желтым морщинистым лицом, с почечными отеками под глазами, он выговаривал провинившемуся:

«Ах ты, антихрист нехрещенный! Да знаешь ли ты, что я могу с тобой сотворить? Хуже, чем Понтий Пилат с Христом... Хуже. Знает это сам Христос и его друг Иоанн креститель».

В таком роде городской мог укорять провинившегося целый час. А отпустив его, говорил:

«Иди, нехрещенная твоя душа басурманская, иди и помни христианскую душу, что не довел до начальства о твоих бесчинствах».

Часто, покуривая трубку, говорил он Михеичу:

«Не каждый на моей должности справится. Нелегко держать народ в страхе божьем и в повиновении начальническом».

При этих словах узкая впалая грудь его судорожно дрожала в долгом, хриплом кашле.

«Я с самого сотворения мира вроде б здесь сижу, всех вижу, знаю, кто чем дышит. В домашности у себя дома хуже разбираюсь, чем здесь, на Русле, — горделиво хвастался перед рабочим. — У меня не то, чтоб как у других... Народ мою строгость знает, словно канатоходцы, степенно, с опасочкой ходют... За что мне и от начальства почтение. Мое Русло, слава богу, миловал бог: без этой скубенческой заразы живет... От нее, тля она этакая, все идет. Умилостивить скубентов этих никакими посулами нельзя... Подавай

им, видите ли, министра, самого губернатора на расправу... Да где там, аж самого царя-батюшку, раз их ехидна в душу».

При этом околоточный остервенело плевался и неистово растирал плевков кованым сапогом, как бы очищаясь от «скубенческой тли». Михеич много раз слышал все эти разговоры, знал, в каком месте, что и когда он скажет, но, несмотря на это, он выслушивал его, молчаливо-угрюмый, раскуривая трубку и с наслаждением вдыхая голубоватый дымок.

«У меня все, как в пасхальную ночь, светлы. Слава богу... чистые, как после исповеди. Знают мою строгость, что за послушание властям не пожалею и сделаю заворот кишков... Человеку в жизни, Михеич, беспрерывно серьезность нужна, — вдавался он в философию, — иначе ему не прожить. Ну вот хотя б я...»

«Иоанн креститель» долго и пространно рассказывал, как он еще у самого Скобелева в ефрейторах ходил, как солдаты через Дунай-реку вместо мостов полотно холщовое тянули, чтоб перейти реку и проклятого турка-басурмана в самый хребет поразить.

— За ненависть к басурману награду имел. Да вот же случилось на мое горе, — сетовал старый городской, — попал я в госпиталь через ранение в грудь. А тем временем, пока я болел, часть наша дальше ушла, а награда моя другому досталась. После госпиталя все солдатские принадлежности потерял. Пуля-то меня в самую грудь поразила... С тех пор у меня и колотьба в грудях... Басурманская пуля-то у меня в грудях и застрянь. Через это я всю жизнь, как выюнош, сухой и остался. А то разве у меня при моем чине должна быть такая сухота...

— Бог милостив, Данилыч, не сетуй, не забыл тебя бог, коркой хлеба не обделил, то самое главное, — не глядя городовому в лицо, говорил Михеич, дымя глиняной трубкой.

— Табак-то у тебя, Михеич, не для нас, на благородного сделан, роза — не табак, — хвалил городской. — Дай бог твоему сыну долгие лета, что ты сам, что он, сколько уж мы лет друг друга знаем... Громкого слова от тебя не слышал — ни в тверезости, ни

выпимши. Такие, как ты, на Русле мне весь авторитет держут.

— Да что это ты меня, Данилыч, ровно девку на выдании, хвалишь. Что на роду написано, то каждый и делает. Тихая у меня вся родня... — говорил рабочий. — Пора, на ночную смену опаздывать нельзя, далеко людям-то идти, не то, что с утра. Не обессудь, тороплюсь, — говорил он, протягивая ему кисет.

— Это на раскурку, — сказал городской, захватывая пятерней ароматные волокна табака.

«И дернул меня черт его набаловать», — думал Михеич, подходя к деревянному мосту, где ждал его Таймураз, сидя на скамье у самой реки.

— Не пойму, Михеич, и что это у вас за дружба с городовым. А по мне, висни он на петле — сойти не помогу, — упрекнул Таймураз товарища.

— Ничего, в хозяйстве и дохлая мышь пригодится — кошка съест, — ухмыльнулся Михеич.

Весенний вечер быстро опускался, из ущелья несло неуютным холодком. Когда товарищи подошли к заводским воротам, гудки надрывно орали, предвещая для одних конец изнурительно длинного дня, для других — начало тяжелого ночного труда. Окна цехов светились мутным желтым светом. Как взбодраженный муравейник, суетливо-хмурые, проходили рабочие, сталкиваясь в узком проходе будки. Менялись смены.

Во дворе завода, дожидаясь очереди для выгрузки, стояли арбы цинковозов, набитые квадратными черными мешками руды. Руда тут же сваливалась во дворе завода, образуя целые курганы. Таймураз в мутном сумраке заводского двора увидел старшего брата. Тох, взвалив на спину мешок, шатаясь, подошел к темному кургану и свалил руду.

Таймураз подскочил к нему, проговорив:

— Постой, помогу... Подожди... только первый гудок, успею.

Тох, увидя брата, тяжело опустился на мешок руды, вытирая брезентовой рукавицей черный пот на морщинистом лбу.

— Посиди, — устало молвил брат, потянув Таймураза за руку и сажая его рядом с собой. — Сестра

в гости приехала и очень тебя хочет видеть. Говорит, что, может быть, заедет в город. Гамази думает в городе гостиницу купить. «Тогда, говорит, чаще с вами видеться буду». Скучает...

— А как у нее девочка? Она ведь шуму наделала на всю Осетию,— промолвил Таймураз.

— Большая, хорошая девочка, недаром ее сам доктор Абаев принимал... Сестра передала тебе десять рублей, чтоб ты купил себе на праздник новый бешмет, — протянул он ему десятирублевую ассигнацию.

— Мне не нужно, оставь себе, бешмет у меня не старый. Вот она какая, — улыбнулся Таймураз, вспомнив слова сестры, которая упрекнула братьев, что они не женятся, заставляя старую мать стирать на них.

Вдруг над головами братьев зашипело, потом, будто вырвавшись из заточения, хриплый густой рев тяжелым обрывающимся стоном раздался в темноте ночного неба. Гудел гудок. Братья вздрогнули и подскочили.

— Иди... Гудок. Сам разгружу. Опоздаешь, иди,— подтолкнул Тох брата.

Когда Таймураз вошел в цех, густой душно-кислый запах охватил его. Затошнило, и он покачнулся.

«Что такое? Новичок я или девушка?» — подумал он, натягивая брезентовый фартук, потом всунул ноги в деревянные сандалии, которые одевались, чтобы защитить ноги от высокой температуры.

— Сегодня в цехе невозможно дохнуть, — заметил Михеич, заглядывая в огнедышащую пасть цинковой печи. — Забили форточки, задыхаемся, а молчим...

— Меня тошнит, Михеич, сам не знаю, что со мною, — сказал Таймураз, берясь за носилки.

Михеич и Таймураз отправились во двор за рудой. Нужно было за смену перетаскать до пятисот пудов руды, а потом весь шлак от нее, еще горячий, испускающий ядовитые газы, погрузить в тачки и вывезти обратно во двор. Густое фиолетово-зеленое марево струилось в цехе, вызывая головокружение и тошноту.

Михеич после смерти своего старого товарища Петрова работал с Таймуразом, относясь к нему потцовски заботливо. Когда лица рабочих багровели у пылающих белым огнем печей, Михеич все чаще посылал Таймураза во двор за чем-нибудь, давая своему напарнику возможность глотнуть чистого воздуха. Сегодня в цехе все жаловались на тошноту и головокружение, все время вызывали мастера и указывали на скопление газов.

— Меньше опохмеляться надо, на работу в трезвом виде являйтесь, и не будет тошнить, — огрызался мастер, стараясь поскорее уйти из цеха.

На секунду отрываясь от горячих печей, рабочие вспухшими, воспаленными губами приникали к ведрам с водой, которые стояли тут же. Но вода в ведрах была муторно-теплая и усиливала тошноту, не утоляя жажду.

Тогда деревянные сандалии рабочих гулко стучали по каменному полу цеха. Каждый старался хоть на минуту вырваться во двор, чтоб дохнуть воздуха. Но после этого тошнило еще сильнее. В фиолетовом мареве зловещими зелеными волнами удушливо и тошнотно струился газ. Как привидения, плыли фигуры рабочих. Тут же, у печей, в железные тачки, весом до десяти пудов, сваливался горячий шлак. Скрыченные, желто-серые куски шлака имели причудливо-фантастические формы, испуская острый кислый запах.

— Ма-а-а-астер!.. Тошнит!.. Откройте! Мастер! Тошнит! — раздавалось со всех концов цеха, но мастер не появлялся. Тогда кто-либо из старых рабочих, покачиваясь, подходил к низким, широким, как в конюшне, дверям и одним ударом тяжелого молота вышибал забитую щеколду.

Леденящий сквозняк со свистом врывался в двери цеха. С красными, воспаленными губами и широко открытыми ртами все кидались навстречу холодным волнам, шатаясь, отходили назад и снова подбегали.

— Закройте!.. Хватит!.. Холодно! — неслись злые, хриплые голоса.

Мастер, появляясь на пороге, кричал:

— Поглоти вас огонь, чего вы хотите? «Открой!», «Закрой!», «Закрой!», «Открой!»

Он со скрежетом захлопывал двери и снова закладывал щеколду.

— Тошнит, Михеич, не могу... Тошнит, плохо мне, — шептал Таймураз, повиснув на широком плече товарища.

— Иди, во двор иди, справлюсь один, — проговорил Михеич, становясь у печки и отстраняя Таймураза.

Шатаясь, высоко поднимая ноги и стуча деревянными сандалиями, Таймураз прошагал через цех и выскочил во двор.

В ночном безмолвном небе дрожащими серебряными ковшами трепетали одинокие звезды. Таймураз вскинул глаза к небу, и ему показалось, что он плывет по глади бескрайно-мерцающей реки, а звезды — это не настоящие звезды, а только отражение их. Он вздрогнул и пошел к водопроводному крану медленным, неровным шагом.

На заводском дворе высились целые горы шлака. Одни курганы были насыпаны, по-видимому, месяцы тому назад, и шлак слежался в плотные твердые массы, другие синели темным глянцем «молодого» шлака, третьи были только что воздвигнуты, и из них, как из пасти вулкана, поднимались, расстилаясь над холмами, теплые струи кислого газа. И здесь, во дворе, стояла та же кисловато-дурманная вонь, от которой к концу смены рабочие шатались, как пьяные, и их клонило ко сну.

— Спать нельзя, не проснешься, — предупреждал Михеич своего молодого напарника, когда Таймураз к концу смены начинал зевать, стремясь полежать тут же в цехе, на горке теплого шлака.

Подойдя к водопроводному крану, из загнутого рукава которого тонкой струйкой стекала блестящая нитка воды, Таймураз присел перед краном на колени. Соединив ладони в виде ковша, поставил руки. Удушающее чувство тошноты и жажды торопило его, вода будто издевалась над его томлением, как нарочно, текла мучительно медленно. Не выдержав, он закинул голову назад, и облизнув горячим языком

сухие, воспаленно-припухшие губы, прижался к железному рукаву крана. И сейчас же мгновенным острым толчком, пронизавшим все его жаждущее тело, был отброшен от крана... Он упал вниз лицом на острые бугорки валявшегося вокруг крана шлака, и липкая алая лента крови поползла от виска к щеке.

Двое рабочих, выгружавших с тачки дымящийся шлак, увидели упавшего рабочего и подбежали к нему. В это время у дверей цеха показался мастер и закричал:

— Не подходите к крану! Сколько вам говорят, не ходите в неположенное время к крану!.. В трубах ток пропущен... Говорят вам — нельзя...

Пожилой рабочий, возившийся около Таймураза, вдруг поднял голову и, опершись одной рукой на колено, а другой — на шлак, задохнувшись от гнева, прохрипел:

— К-а-а-а-к ты сказал? Ток?.. Значит, и воды на ! вдосталь нельзя?

— В ваших же интересах... От горячих печей да сразу к ледяной воде... Можно ли так? — ответил мастер, не сходя с места.

— Так, значит, нас жалеючи, и воду травите... Ради нас?.. Вот как!.. — вскричал рабочий, подошел к небольшому медному колоколу, висевшему на стене, схватил за болтающийся конец веревки и рванул ее...

Набатные звуки колокола потрясли мрачный гулкий двор завода. Скрежеща и стеноя, раскрывались двери цехов, темной, неуправляемой массой хлынули рабочие во двор, стекаясь на зов набата...

— Убили!.. Отравили воду!.. Смотрите!.. Сюда, сюда!.. — кричал старый рабочий, не отходя от колокола и неистово колотя в медные его стенки.

В окнах конторы замелькали темные силуэты людей, заводская охрана стала у ворот, сторож у проходной будки завода крутил телефонную ручку...

Мастера давно уже не было здесь. Прибежав в контору, он прошептал:

— Звоните!.. Вызывайте... казаков... Скорее!.. Бунт!.. Зовите хозяина!..

— Зарядили воду электричеством!.. Убить!.. За-

душить, как кур!.. Смотрите! — кричали теперь отовсюду, напирая друг на друга.

— На сквознякахдохнем!.. Душимся у печей!.. Воды лишили!.. Бейте его!.. Бейте, — закричало сразу несколько голосов, увидя в дверях цеха крупную фигуру сменного инженера.

Заводской двор загудел. Распахнулись ворота. В раскрытых дверях цехов, как в адском пламени, синели цинковые печи.

— В печь его!.. Сжечь окаянного!.. Кидай в печь! — кричали отовсюду и волокли инженера, держа его за руки и подхватывая за ноги.

— Стой! Что делаете? Стой! — закричал вдруг Михеич, бросив Таймураза на куче шлака и расталкивая бурлящий поток человеческих тел. — Обезумели! За что его? Он такой же наемный, как и мы... Стойте!.. — Он протиснулся в толщу толпы и загородил своей мощной фигурой дрожащее тело инженера.

— Требуйте от хозяина трехсменной работы!.. Дополнительной платы за выгрузку шлака из печей. Требуйте!.. Пусть проведут краны... воду в цеха... Расширить окна... Душат газы...

— Правильно, Михеич, правильно!.. Душат газы..

И вдруг в разреженном, чутком утреннем воздухе раздался юношеский голос:

— Казаки! Казаки! Братцы, казаки едут! Расходись!..

Толпа вздрогнула и многоликим темным телом шарахнулась к заднему двору, где был запасной ход. Но и главные ворота, и запасной ход — все было уже оцеплено конной полицией... Тревожно, тягостно-призывно гудели гудки. Заступала утренняя смена. Во дворе было тихо, только у пылающих печей лежали груды шлака, которые ночная смена не успела унести.

В тот час, когда Михеич приволок Таймураза на Сухое русло, на квартиру, в домик старухи Петровой, второй сын старой Сергеевны, Андрей, бывший ученик конторы связи, готовился в путь. Получив повышение по службе, он уезжал на самостоятельную работу — начальником почты в село Христиановское. Сергеевна хлопотливо готовила «меньшего», которо-

го она никак не представляла взрослым. Скрывая на-вертывающиеся на глаза старческие слезы, мать за-талкивала в дорожную корзину совершенно ненуж-ные вещи и говорила:

— Али тебе, Андриюшенька, дома жить надоело?.. Жил бы и жил. Как это ты будешь без меня? Ни по-стирать некому, ни приготовить... Горе мне с вами...

— Пора, мамочка, из пеленок твоих вылезать... Полечу, устроюсь — возьму к себе,—прижимая к ши-рокой груди седую голову матери, говорил Андрей.

Когда Сергеевна увидела в дверях хмурое лицо Михеича и Таймураза с перевязанным виском и сле-дами крови на щеках, она всплеснула руками, про-тянув:

— Ай б-а-а-т-ю-ю-шки!.. Что это, родимые...

— Ничего, Сергеевна... Ушибся, до свадьбы за-живет... Ложись, отдыхай, — сказал Михеич, глядя в лицо Андрею.

Таймураз лег на край длинного низкого сундука и закрыл глаза: кружилась голова, тошнотно-мutor-ное чувство все еще владело им, и ему казалось, что он качается на карусели, высоко заносясь в небо и замирая от ощущения падения.

Михеич, улучив минуту, когда Сергеевна вышла в другую комнату, тихо сказал:

— Ты, Андрей, предупреди Никиту. Ночью сего-дня на заводе чуть инженера в печи не сожгли... На-творили... Боюсь, как бы и у вас из-за него,—он пока-зал на Таймураза,—обыска не было. Если что у Ни-киты есть, лучше прибрать подальше... Давай хотя б ко мне.

— Как же к тебе, Михеич, а разве ты не на этом заводе?

— Я им надежное место найду, ни один жандарм не догадается. Давай. Не задерживай,—торопил Ми-хеич.

Андрей передал ему небольшой сверток и долгим испытующим взглядом посмотрел в померкшие глаза старого друга своего отца.

Придя домой, Михеич, не заходя к больной своей жене, которая уже несколько лет лежала с парали-чом обеих ног, греясь и летом и зимой на теплых кир-

пичах печи, снял со стены повый пиджак, купленный им в прошлом году на пасху, торопливо вспорол подкладку и вложил туда брошюры, взятые у Петровых.

Завернув пиджак в кусок белого холста, он положил в карман иголку и нитки и вышел на улицу. «Иоанн креститель» только что подошел к своей полосатой будке, горделиво раскуривая табак, который дал ему Михеич.

— А вот и ты, — обрадовался городской, — я уж думал, не прозевал ли я тебя, ан, оказывается, нет... Садись, покурим...

— Только сменился, — ответил Михеич, кладя сверток на ящик из-под карамели.

— А это что у тебя, Михеич, в баню, что ль?

— Да нет, Данилыч, не в баню... Как тебе сказать, пожалуй, кроме тебя, другому бы не сказал... Все из-за сына... Один ведь он у меня, не дюжина. Зову его каждый раз к себе, да разве дозовешься? В доме-то ведь не родная ему мать, ты сам знаешь... Недаром говорят: «У матери рос — руки длинные, а у мачехи — руки короткие». Так и у нас. Ворчит каждый раз старуха, если узнает, что сыну помог... Вот купил ему на днях пиджачок, послать хочу. Узнает старуха — будет ворчать. Запес к тебе... пусть пару дней полежит, пока приготовлю все.

Развернув холстину, Михеич показал городовому пиджак.

— Вот копил чуть ли не по копеечке... Время есть еще, так я зашью посылку, — добавил Михеич, проходя в будку. — А ты, Данилыч, па-ка, не скучай, покури ароматного. В письме сыну от тебя поклон не передать ли, чтоб табачку нам слал, не забывал старичков?

— Передай, обязательно передай, так и пропиши: от самого, скажи, лучшего друга твоего...

Зашив «посылку» и оставив ее «Иоанну крестителю», Михеич свободно вздохнул.

— Спать... Страсть как спать хочу, Данилыч... Пойду. Гляди бабе своей не проговорись, а то бабьи языки все равно, что гром. Пока, до вечера, Данилыч, иду спать.

Человек в кожаном фартуке, с темной лохматой головой и налившимися кровью глазами, толкая впереди себя бочку, широко размахивался и бил кувалдой по дну бочки. Гулкие тяжелые удары эхом раскатывались по безмолвным пустым улицам ночного города. Ярко-желтые огни резали Владимиру глаза, и он все время шурился, опасливо обходя лохматого человека с кувалдой. От ударов молота, от полотнищ яркого света у него болела голова и он порывался схватиться за виски. Но руки были свинцово-тяжелые, и он никак не мог дотянуться до головы.

Неудобно свернув голову набок, упираясь лбом в холодные прутья кровати, Владимир спал, скорчившись на узкой железной кровати. Яркое весеннее солнце заливало всю комнату. Он пошевелился, тяжело вздохнул, высвободив из-под щеки отекающую руку и проснулся. В дверь комнаты настойчиво и гулко стучались.

Находясь под впечатлением виденного сна, он растянулся на кровати и прислушался.

— Сейчас, сейчас... Минуточку! — проговорил он, поняв, наконец, что и бочка, и безмолвные освещенные улицы города — все было сном.

Спустив ноги с кровати, накинув на плечи мятый белый халат, тут же валявшийся у его ног, он искал глазами ночные туфли.

С начала войны Владимир был мобилизован и работал врачом во Владикавказском военном госпитале. Он снимал две меблированные комнаты в доме адвоката Вертепова по Святополковской улице. Сегодня ночью оперировали тяжело больного. Владимир поздно пришел из госпиталя и только к утру уснул.

Он торопливо повернул ключ в дверях, недоумевая, кто мог так настойчиво стучать, и увидел на пороге младшего брата Николая — воспитанника Владикавказского кадетского корпуса.

— А-а-а-а, вот это кто, — обрадовался Владимир.

— Христос воскрес! — радостно воскликнул кадет и обнял Владимира.

— Ну, входи... Воистину воскрес,— улыбнулся Владимир. — Ты его видел? — пошутил он над воскресшим Христом.

— Что ты так долго спишь? На у-у-ли-це на-а-а-аро-о-о-оду — тьма, весело, одевайся... А главное,— прищелкнув языком и садясь на мягкий диван, говорил кадет, — прибежал я к тебе затем, чтобы известить тебя о покупке гостиницы. Я только что видел нашего потарнуса, говорит, что и отец, и Гамази здесь и что вчера подписали купчую... С сегодняшнего дня гостиница «Уют», принадлежавшая братьям Кираковым, стала нашей... На вывеске будет значиться: «Братья Абаевы». Ты понимаешь, у нас в городе своя гостиница! — говорил кадет, захлебываясь от восторга.

И без того красное его лицо побагровело от радостного возбуждения. Толстые синеватые губы, без резко очерченных линий, с первым темным пушком над верхней губой, заслоняли другие черты его лица. Зеленоватые, с круглым разрезом, глаза на красном прыщавом лице казались чужими и светились беспокойным и злым любопытством.

— Был на всенощной,— не умолкая, говорил кадет. — Столкнулся с вольноопределяющимся... Знаешь, эти молодчики держатся так, будто исход войны зависит от них... Выскочки! — проговорил он, побагровев, и зеленые крыжовники его глаз сузились, вспыхнув злым огоньком.

— Если б не полицмейстер с супругой, выходившие в это время из церкви, я б ему надавал... Тоже мне, новоиспеченное благородие. Знаешь, кто? Сын станичного атамана, Белогорцев из Ардона! Брат того, что с нашим Георгием корпус кончал... чванится... Я ему говорю, что у нас в семье не меньше офицеров, чем у них. Вы, говорит, белоручки, сидите за каменной стеной кадетского корпуса и поете «Боже, царя храни». Вот и вся ваша служба... Тут подошел к нам рядовой, инвалид на двух костылях, и говорит: «Паразиты, война для ваших утроб нужна, а калечимся на ней мы. Я бы, говорит, вас обоих на высокую осину вздернул да без панихиды бы и схоронил».

— Хотел я его спросить, что все это значит, да на

груди его—четыре «Георгия», а сам весь в шрамах... Страшный...

— А рядовой-то ведь был прав, Николай, подумай. От войны ведь польза только нам...

— Кому — «нам»?—удивленно спросил Николай, собрав толстые губы.

— Нам с тобой... нашим братьям, таким богачам, как наш отец, но не им... Ты вот пришел меня поздравить с тем, что отец купил гостиницу. Война помогла нашему отцу приобрести гостиницу, а тот рядовой ходит без ног... — тихо, будто сам с собой, говорил Владимир. — У нашего отца сто десятин земли, а у шестидесяти дворов временнопроживающих—ни сажени... Вот, скажи по совести, Николай, справедливо это или нет? Ты молод, ты должен быть честен.

Братья испытующе долго смотрели друг другу в глаза. Потом Николай покраснел и, блеснув зелеными глазами, сказал:

— Странно, почему мой отец должен делиться с бедняками теми богатствами, которые он приобрел в поте лица своего?.. Почему? Разве каждому не дано в жизни право богатеть? Есть побогаче моего отца: царь, министры, графы, князья... На мою долю, когда отец поделит между нами землю, придется всего двадцать пять десятин — это не богатство...

— Я уступаю тебе свою долю, которая должна мне достаться от отца, — сказал Владимир, одеваясь.

Николай вскочил, прошелся по комнате, потом резко повернулся к брату и сказал:

— Я не жаден... Мне ничего не нужно... Меня поразило твое рассуждение... Если б ты был мне не брат... Да, я бы на тебя донес! — выпалил он, побледнев.

Владимир, вскинув на брата серые продолговатые глаза, долго смотрел на его побледневшее лицо, а потом вымолвил:

— Ну, что ж, донеси, тебе больше поверят, чем мне...

— Прости, ради Христа, прости, это у меня просто вырвалось. Прости, Володя, прости... У нас ведь в корпусе как... Держи ухо востро, каждый обязан доносить даже на товарища, если что не так... пони-

маешь? Сам понимаешь, что царю только верно служить надо... Ха-ха-ха-ха! — засмеялся кадет и, подскочив к брату, обнял его:

— Знаешь, как у нас вахмистр курсовой говорит: «Столбы вы, столбы самодержавия, вам шататься нельзя...» Понимаешь? Ну, простил ты меня или нет? — заискивающе говорил Николай, повиснув на плече брата.

Владимир усмехнулся, снял с плеча полные влажные руки брата, посмотрел ему в глаза тем загадочным взглядом, который придавал его мягкому лицу жесткое, ироническое выражение, и промолвил:

— Далеко пойдешь...

Постучали. Владимир открыл дверь. Высокий сутулый санитар из госпиталя, приложив пальцы правой руки к виску, проговорил:

— Вас, доктор, в операционную срочно требуют. Привезли искалеченных с крушения...

— С какого крушения, кто?... — переспросил Владимир, ища глазами свой костюм.

— Говорят, на станцию Минеральные Воды шел курьерский из Москвы, вез большого начальника... На поезд напали бандиты и покалечили, — ответил санитар, шевеля концами обвислых усов, и, тронув пальцами висок, ушел.

— Как неудачно, черт возьми, отец просил, чтобы мы с тобой пришли вечером в гостиницу, он собирает узкий круг приятелей. Думаю, что князь Макаев будет... Знаешь, он говорил мне, что в связи с войной нас могут выпустить ускоренно. Я бы хотел... добить японца, а то не успеешь, без нас добьют, — весело болтал Николай.

Натягивая на свою широкую спину военную гимнастерку, которая делала его еще шире в плечах, Владимир проговорил:

— Прости... Князь Макаев сумел убедить начальника области, что необходимо выселить дурдурских крестьян, и их выселили. Может быть, он убедит теперь, что вас надо скорее выпустить...

Эти слова Владимир сопровождал улыбкой, по которой невозможно было понять — шутит он или говорит серьезно.

Братья вышли на улицу. Весеннее солнце тепло струилось в молодой клейкой листве деревьев. Пушистыми серыми сережками качались вербы. В соборе звонили к ранней обедне. На углу Александровского проспекта братья расстались, сговорившись встретиться вечером в гостинице на званом ужине отца. По натертым коридорам госпиталя Владимир торопливо прошел в раздевальню, получил халат и перепрыгивая через две ступеньки, поднялся в операционную.

Старшая операционная сестра, неся в эмалированной тарелке массу блестящих инструментов, бросила Владимиру на ходу:

— Скорее, доктор, вас ждут...

Щуря близорукие глаза, завязывая на ходу тесемки на халате, он прошел в операционную. У стола, на котором, готовый к операции, лежал больной, стояли главный хирург госпиталя и два ординатора. С шафраново-желтым лицом и фиолетовыми кровоподтеками под левым глазом, на столе лежал брат Владимира — Георгий.

— Будьте мужественны, Владимир Сафарович, такое время... — произнес главный хирург, держа перед собой протянутые, приготовленные к операции руки. — Думаю, что глаз ему спасем... Пульс хороший, но большая потеря крови...

— Как же это?.. Кто его? — растерянно, не веря глазам, проговорил Владимир, отступив назад.

— Потом... потом, не сейчас, — сказал хирург из-под марлевой вуали, закрывающей ему рот, и глянул на сестру.

Владимир торопливо выбежал из операционной, прошел по длинным натертым коридорам, не понимая, где и когда с братом случилось такое несчастье. «Добить японца...» — мелькнули в сознании слова младшего брата.

«Вот и на войне не был, а может умереть», — тревожно подумал он, вспомнив мать.

В ординаторской, ярко-белой комнате, пахло от него густым запахом иодоформа. Он подошел к окну и толкнул локтем раму. Звонкий радостный зов весны ворвался в комнату. Солнечные зайчики заиграли

на стеклянных дверцах натертых шкафов. Владимир прислонился к раме окна. Марлевая занавесь колыхнулась. Двор госпиталя зеленел, и сладкие запахи весны вместе с пасхальным благовестом рождали в душе чувство покоя и примирения. Владимир вспомнил Залину, от которой вот уже больше месяца не было писем. Он не мог оторваться от работы, чтобы проскочить домой и повидаться с ней. А сама она молчала. Ему вдруг захотелось вот здесь, в этой светлой, чистой комнате, услышать ее немного приглушенный голос, увидеть темные припухшие глаза, прищуренные в мягком смехе.

«Как давно ее не видел, скорее бы война кончилась, скорее бы жизнь и любовь...» — прошептал он и в смущении оглянулся назад.

Устыдившись своих воспоминаний и желаний, которыми он предался в то время, когда брат лежит на операционном столе, Владимир потер высокий выпуклый лоб, как бы выгоняя из головы все, кроме тревог о брате. Он притянул к себе серые, нежно-щечкующие сережки вербы, качающейся за окном, и провел по ним губами... Вдруг он увидел фаэтон своего отца, въехавший во двор госпиталя. Люди во дворе засуетились и забегали. Из фаэтона, придерживав фалды черного пальто, сошел городской голова Баев, за ним — Сафа.

«Отец... пойти, успокоить, утешить», — промелькнуло в голове Владимира, и он торопливо пошел им навстречу.

Начальник госпиталя, пожилой врач в чине полковника, встретил городского голову во дворе и провел гостей к себе в кабинет. Владимир, не спеша, прошел за ними и молча прислонился к двери.

— Надеемся... Думаем, что операция пройдет благополучно, — проговорил начальник госпиталя, пригласив их сесть и почтительно обращаясь к Баеву.

— Я приехал к вам не как городской голова, который, как хозяин города, должен интересоваться всем... Но время трудное, поверьте мне, — степенно проговорил Баев. — Я по предписанию самого главноначальствующего, графа Воронцова-Дашкова. Как

вам известно, — продолжал Баев, — капитан Абаев спас наш край от позора. Он совершил подвиг, заслотив собой графа во время этого позорного, бандитского нападения у станции Минеральные Воды на поезд его сиятельства. Капитан Абаев сохранил нам драгоценную жизнь главноначальствующего Кавказа, лишней раз доказав своим поступком, что на Кавказе, среди туземцев, нет более преданного царю и душой, и телом народа... Граф представил его к «Анне второй степени». Его сиятельство сокрушается о том, что лично не может быть здесь, чтоб своим присутствием облегчить его физические страдания. Сожалеет, что сейчас, когда он только что принял пост главноначальствующего, под бременем больших обязанностей не имеет возможности оторваться... Он призывает вас приложить все усилия к благополучному исходу операции.

— Сделаем все возможное. Все, что имеет в своих руках медицина, не пожалеем, чтоб спасти эту доблестную жизнь, — сказал начальник госпиталя, глядя на могучие плечи Сафа и белоснежную бороду, прикрывающую серебряные газыри на его череске.

Гости попрощались. Во дворе, подойдя к Баеву, Владимир спросил:

— Скажите, Георгий Васильевич, прошу вас, что такое?.. Где его так?.. Что за бандиты? Я узнал только сейчас...

— Сегодня ночью курьерский поезд, шедший из Москвы, который должен был доставить главноначальствующего графа Воронцова-Дашкова в Тифлис, к месту его пребывания, перед Минеральными Водами, на разъезде, был остановлен и обстрелян бандитами, — ответил Баев.

— Да, но каким образом брат очутился вместе с Воронцовым? — удивленно переспросил Владимир.

— Очень просто, дорогой мой, — сказал Баев. — В Ростове личную охрану его сиятельства пополнили офицерами, знающими местные языки и нравы. На Георгия пала честь сопровождать графа от Ростова до Тифлиса... И вот, на разъезде, когда поезд обстреляли, Георгий, рискуя жизнью, спас нас всех от по-

зора, сохранив нам жизнь главноначальствующего.

— Кто же это были все-таки?.. Кто напал?.. — неудовлетворенный ответом, спросил Владимир.

— Бандиты получили по заслугам. Молодцы казаки — справились...

— Горжусь детьми своими, — взволнованно промолвил Сафа. — Если даже смерть, — помоги мне, господи, перенести это испытание, — я не возропщу на всевышнего. Его воля направляла Георгия. Да будет до конца его власть над моим домом...

— Что ты, Сафа, что ты! О смерти не приходится даже и думать, он спасен. Ты не отходи от его постели, — бросил Баев Владимиру, придерживая фалды пальто и кладя ногу на высокую подножку фаэтона. — Иного поведения я от него не ожидал, да и от вас от всех, клянусь Уастырджи, — патетически проговорил Баев.

— Вечером, если состояние Георгия будет удовлетворительно, забеги в гостиницу, — обратился Сафа к Владимиру, — будут самые близкие люди: Гаппо да князь Макаев, обещал быть и Амурхан Туганов...

— Не обещаю, но постараюсь, — ответил Владимир. Дождавшись, когда фаэтон выедет за ворота, он побежал к операционной.

Сухой весенний вечер был полон колокольного пасхального звона, глухого шума вечерней пасхальной толпы. Терек рокотал у самого ущелья.

«Терек с юга шумит, сухая будет весна, нехорошая», — говорили прохожие, прислушиваясь к шуму реки.

Владимир шел по Мещанской улице, направляясь в гостиницу к отцу.

— Дай, красавец, погадаю... в пасхальную ночь все гадания сбываются, — приставала молодая цыганка к высокому человеку в форме железнодорожного рабочего.

Вертя разноцветным ворохом юбок, она крутилась вокруг него, говоря:

— Не жалею, красавец, гривенничка, все скажу: что было, о чем думаешь и что с тобой в жизни случится, все расскажу — не утаю... — упрямо продолжала приставать она к рабочему.

Владимир, усталый от всех неожиданных тревог дня, шел сейчас, отдавшись тихому покою вечера. Звонкий, зовущий голос молодой цыганки, широкая темная спина рабочего, первые сумерки, как легкие сновидения, нарядные толпы людей отвлекли Владимира от обстановки госпиталя, и он с удовольствием прислушивался к шуму вечера.

— На... Гадай, не по руке, а по лицу, — густым смешливым голосом промолвил рабочий, подал цыганке какую-то мелочь и стащил с головы кепку.

Цыганка засмеялась и темной маленькой рукой быстро провела по светлым кудрям своего случайного спутника.

— А ду-у-маешь ты, мил человек, как бы тебе сегодня лучше время провести и королеву свою не прозевать, — заигрывала цыганка, — а ты не верь ей, она не тебя любит, другого...

— Ладно, — перебил ее рабочий, — это мне известно, ты скажи, что случится, а что есть, я и без тебя знаю...

— Долго жить будешь, вон, смотри, — лоб, что степь широкая да раздольная... Жить тебе, молодец, долгую и широкую жизнь... Вон глаза — что небо голубое, что море бездонное... Много тебе в жизни предстоит повидать, но берегись рыжей женщины — в ней погибель твоя... Запомни, — прошептала она, нагнувшись к его уху, тряхнула ворохом юбок и скрылась в темном узеньком проулке.

Рабочий круто повернулся, посмотрел вслед цыганке и, увидев Владимира с папиросой, смущенно попросил:

— Разрешите прикурить...

— Нагадала она вам, — усмехнулся Владимир, поднося огонек папиросы.

Это был старший сын Сергеевны, Никита Петров, машинист Владикавказской железной дороги, уже несколько лет водивший паровоз от Владикавказа до Ростова.

— Спасибо, — молвил Никита, и они расстались.

У квартиры инженера Сергеева Никита постучал. Дверь ему открыла Вера, жена инженера.

— Проходите, — сказала она, пропуская его вперед. — Он там, ему скоро на завод, ждет вас...

По тому, как Никита, не ожидая приглашения, прошел в дверь, было видно, что в этом доме он не гость.

— Рассказывай, почему так у вас вышло? — выходя навстречу, нетерпеливо спросил Сергеев.

— Такое было предписание из Грозного... Встретить поезд Воронцова и требовать отмены сверхурочной или оплаты этих часов. Депутацию к нему не допустили, вагон его был окружен усиленной казачьей охраной... выставили пулемет... Понятно, что это разозлило рабочих, и тогда пошли громить... смяли всю его охрану... Какой-то капитан-артиллерист, сопровождавший Воронцова, выстрелил в упор в одного из рабочих, которые были посланы к поезду с просьбой... Они сами начали эту кашу, — проговорил Никита, расчесывая пальцами густые волны светлых волос.

— Наши, кто-нибудь из наших был там? Из Владикавказа?.. — спросил Сергеев. — Думаю, что будут аресты, как бы не было обысков и у вас, — задумчиво произнес он, глядя на Никиту. — Манифест... Скажи, куда ты его задевал?

— В безопасности... Не волнуйтесь. Если вы беспокоитесь за брошюры, которые мы получили недавно из Баку, то я найду им совершенно безопасное место... Я договорился с цинковозом Цуровым.

— С заводской администрацией будьте ласковее, а то вдруг цинковозы вздумают с администрацией за повышение оплаты ссориться... Так подозрение может пасть на вас... — сказал Сергеев.

— На днях Михеич приходит и рассказывает, что на заводе говорят, будто Куропаткин продал Порт-Артур японцам за скаковую лошадь...

Сергеев засмеялся.

— Насколько мне известно, Куропаткин не кавалерист, он, наверное, что-нибудь большее потребует за Порт-Артур...

— В четверг у меня увидимся, — сказал Сергеев, взглянув на часы. — Мне на ночную смену... Наш сменный все еще не отошел... лежит, приходится за двоих работать. Да, а могли его сжечь, что и говорить, — промолвил Сергеев.

4

Как бисерная нитка родниковой воды, пробившаяся сквозь горную толщу и разрушившая вековую громаду, медленно и упорно просачивались слухи сквозь необъятные просторы России. Просачивались в равнинные села, в горные аулы, на кутаны, где из года в год, из десятилетия в десятилетие жили люди без радости и надежд.

«Царь проиграл войну».

«Главный сардар¹ русских войск струсил и обменял Артур на скаковую лошадь».

«Как же это так? — возмущались седые старики, выдавшие на своем веку немало славных сражений. — Разве не было царю помощи от всех народов? Разве плохо воевали солдаты? Как это царь посмел унижить народ, отдавший ему сыновей и братьев?»

«Царь не виноват, царя обманули его сардары, они предали его, пользуясь его добротой».

И, казалось, слова «предали», «обманули» носились в воздухе, а вид самого незначительного чиновного лица вызывал в людях kloкочущую ненависть.

Даже глашатай Хазби обходил ныхас, а появляясь на ныхасе, сочувственно поддакивал народу. Придя же в правление, он точно докладывал Дрису, кто как выражался про власти и начальство.

«В России крестьяне отбирают земли у тех сардаров, которые подвели царя». Этот хабар² был самым упорным и волнующим. У богачей он вызывал страх, а у бедняков — злорадство.

Слухи проникали и в кабинеты начальников, где

¹ Сардар — полководец, начальник.

² Хабар — весть.

уже знали о поражении, но молчали, пресекая эти слухи любыми средствами.

Начальник Терской области писал на имя атаманов казачьих отделов и сельских старшин: «Ввиду беспорядков в городе Баку, забастовок в Грозном и на грозненских нефтяных промыслах, могущих иметь опьяняющее воздействие на воображение туземного населения... посему усилить надзор по всем населенным пунктам за настроением населения и обо всем достойном внимания немедленно доносить...».

Шел 1905 год...

Война на востоке кончалась. Понемногу стали возвращаться раненые сыновья и мужья.

Не сбылись надежды отцов и жен: не построили милые железных дворцов, не зазвенело золото в карманах — в пустых рукавах болтались сморщенные култышки рук. Безглазые, безрукие, безногие возвращались они домой и подолгу стояли у родных хижин, прежде чем показаться старой матери и нетерпеливо поджидающей жене...

«А земля? Где же земля?»

«Земля»... Это слово не сходило с медлительных старческих уст, оно таилось в горячем блеске молодых глаз, в немом вопрошающем взгляде женщин, в наивных детских играх.

Возможность получить землю никогда не казалась такой близкой. Пришел час, когда, наконец, можно ухватиться за эту землю. Нужно биться за нее, умирать, но биться...

В Алагире самовольно захватили земли проживающие там грузины. В Ардоне требовали отрешить сельского старшину от занимаемой должности. Нануганные попы отдавали земли причта. Временнопроживающие разбивали участки для усадеб на помещичьих землях и намечали улицы будущего поселка. Алагирский старшина рапортом сообщал своему начальнику: «Считаю долгом доложить, что грузины хотят, как мне частно известно, устроить бунты вроде тех, какие случаются теперь в Закавказье. Почему я, ввиду такого настроения грузинского класса, не мог и не могу без опасности для жизни исполнять закон-

ные распоряжения начальства, хотя всеми силами стараюсь это делать по долгу службы».

Лесная стража, завидев крестьянские подводы, полные дров, не окрикивала их, как раньше, а услышав гулкий стук топора, уходила.

И каждый маленький человек почувствовал за собой неведомое ему до сих пор право жить...

Зимой классы не топились, и дети не ходили в школу.

«Самим нечем топить, обойдешься и без школы, дед твой не учился, отец не учился, проживешь и ты...» — ворчали матери, когда дети просили дров для школы.

С наступлением теплых дней появились в школе дети. Счастливая, Залина вела урок. В шерстяном коричневом платье и черной гарусной накидке на плечах, она читала детям русские народные сказки и переводила непонятные места. Дети, подперев ладонями щеки, внимательно слушали.

Первые мухи с громким жужжанием влетали в отворенное окно. Образуя дрожащую паутину, миллионы золотых пылинок плясали в воздухе. Над мокрой, вязкой землей стлался тяжелый, теплый пар. Вздущаяся по-весеннему река заливала школьный двор.

Под окном, на табуретке, подставив под весеннее солнце седую голову, греется Михайла, прислушиваясь к звонкому голосу учительницы.

— О Василисе прекрасной! — просили девочки.

— Об Илье Муромце! — перебивали мальчики.

И перед восхищенными детьми разворачивался ковер-самолет, прекрасные ткачихи ткали версты снежного полотна. Чудесный пахарь, покрикивая, пахал необъятное поле, дворцы с хрустальными окнами вырастали в одну ночь. По синим волнам бежали корабли, шелестя шелковыми парусами. Бедные побеждали богатых, и самую смерть побеждала великая любовь. Слушая горячие слова учительницы о силе бессмертия и гордости человека, блестели глаза и мужали маленькие сердца...

Вдруг у школьных ворот остановился двухместный фаэтон — собственный выезд отца Харитона.

Стук колес вывел сторожа из дремотного забытья. Увидев входившего в калитку батюшку с незнакомым человеком, Михайла торопливо поднялся, схватил звонок и потряс им у открытого окна. Дети услышали звонок, но по-прежнему остались сидеть на местах.

Залина, увидев в окно священника, сказала детям:

— Идите, поиграйте, — и пошла навстречу гостю.

Вновь назначенный инспектор народных училищ Беляев делал осмотр нерусских школ. Приезд его был для батюшки неожиданным, и потому он волновался. Особенно беспокоился он за эту двухклассную школу. Была б его воля, давно бы прикрыл ее.

«Дети крестьян — неучи, непослушное стадо», — думал отец Харитон. Всегда они такое спросят, что у него икота начинается.

Представив учительницу инспектору, батюшка велел позвонить и начать урок. Дети, увидев незнакомца с блестящей кокардой на фуражке, расселись в чинном безмолвии по местам. Батюшка начал урок.

— Кто расскажет мне, во сколько дней господь сотворил мир и в какой день что сотворил?

Поднялось несколько рук.

Черноголовый мальчик в синей сатиновой рубашке складно рассказал о сотворении мира.

Батюшка задал еще вопрос:

— Кто расскажет, за что господь-бог прогнал из рая Адама и Еву?

Снова поднялись руки.

Отвечал на вопрос краснощекий толстый сын церковного старосты. Он подробно рассказал об изгнании Адама и Евы из рая, о соблазнителе диаволе в образе змея, о райских птицах и растениях, о страшных животных, которые ходили по райским берегам рек Тигра и Евфрата и не трогали Адама и Еву.

— Реки Тигр и Евфрат протекают посередине рая, — громко чеканил мальчик, не сводя глаз с довольного лица батюшки.

Толстощекий мальчик закончил и сел, получив в

награду за свой ответ ласковое прикосновение костлявых батюшкиных пальцев.

И вдруг на задней парте, где сидели девочки, поднялась маленькая рука (из двадцати шести учеников в школе было только четыре девочки).

Беляев был так доволен ответами, что встал и сам прошел туда, где сидели девочки.

Черноглазая девочка, с прямыми, гладко причесанными волосами, в сером фланелевом платье, с круглыми латками на локтях, спросила тоненьким голоском:

— А на уроке географии учительница рассказывала нам, что реки Тигр и Евфрат протекают не в раю, а в Месопотамии, что там очень жарко и живут там бедные люди, которые с утра до вечера и в самую жару работают на богатых. Эти реки находятся и теперь там, и до них можно доехать. А куда делся рай? — спросила девочка.

Инспектор и батюшка переглянулись. Колючие глаза инспектора вопросительно взглянули на учительницу, но она продолжала спокойно сидеть. Батюшка торопливо погладил ладонью правой руки щеку, поправил жидкие волосы, завивавшиеся на концах, и громко икнул.

«Анафемы, анафемы проклятые, надо же было додуматься до такого вопроса», — волновался поп и продолжал икать.

Выручил звонок. Ученики вышли из класса. А учительница лукаво улыбнулась и, глядя на Беляева, сказала:

— Ошибку мою батюшка, конечно, исправит... Но не рассказать детям о Месопотамии я не могла. Я следовала учебной программе.

Отец Харитон нервничал и продолжал икать.

— Время смутное. От нас, просветителей народа, много требуется, — сказал Беляев. — Вы могли следовать учебной программе, это так и должно быть. Но каждое вольное слово мутит их воображение. Поэтому от хорошего просветителя мы требуем не только того, чтобы он прошел учебную программу, а преподнес бы эту программу так, чтобы не готовить из своих учеников бунтовщиков и смутьянов. Нужно,

чтобы туземные школы стали нашими форпостами, чтобы царь был уверен, что мы растим настоящую опору трону, а не каторжников... Я скажу Цораеву, он не похвалит вас... свою воспитанницу.

Беляев ушел, не подав ей руки.

Кусок голубого неба висел в квадрате окна. Хозяйственно-хлопотливо жужжали пчелы, впиваясь в сладкие венчики цветов. Сирень сонливо тянулась к веранде, наполняя комнату ароматом. Буйно цвели травы, и от их запахов кружилась голова. У раскрытого настежь окна стоит капитан Абаев, неделю тому назад выписавшийся из госпиталя и сейчас находящийся еще на излечении. Правая рука перебинтована у локтя, и желтая худая кисть руки тяжело лежит на марлевой перевязи. Левый глаз спрятан под черным шелковым кружочком, правый глаз, здоровый, горит мрачным огнем ненависти к тем, которые заставили его сидеть в заточении, искалечив. В глубине комнаты в легком сиреновом капоте, перебирая у пианино клавиши, сидит Лидия Ивановна. Здоровой рукой Георгий тянет к губам ветку сирени, откусывает лепестки и выплевывает их за окно:

— Нет... Не останусь здесь больше. Н-е-е-е могу! Понимаешь, не могу. Я должен быть у себя в части. Я должен пробраться в Москву... В Петербург. Я должен вернуть себе глаз. Я должен быть офицером... Это было моей мечтой, чуть ли не с колыбели, а теперь... Будьте вы прокляты! — закричал он вдруг, оторвался от окна и шатающейся походкой подошел к дивану.

— Прошу тебя, Георгий, успокойся. Владимир вот-вот должен подъехать со станции. Я уверена, что он привезет тебе положительный ответ. Хоть завтра уедем, — проговорила она, испугавшись очередного истерического приступа.

С тех пор, как Георгию сказали, что нужно ехать или в Москву, или в Петербург, чтобы вылечить глаз окончательно, отчаянье охватило его. Он не мог дожидаться из города Владимира, который должен был привезти ему все документы и направление в Москву.

— Прошу тебя, ради твоего отца, — он так убит горем, что уже не похож на себя...

— К черту всех!.. Все будут жить и наслаждаться... Я... я... я... не создан для такой жизни!.. Я должен вырваться! — кричал он, охваченный каким-то холодным страхом. — Они... Все они виноваты... это их студенческие бредни: «Равенство, справедливость!..» Чепуха!.. Все чепуха, говорю я тебе! — закричал он еще громче. — Я вот спрошу у него, спрошу, — продолжал он, будто нашел, наконец, прямого виновника своих страданий. — Почему он говорил?.. Ты знаешь, что он говорил? — подскочив и схватив жену за руку, шипел он, — Владимир говорил Николаю... Да, Николай еще ребенок, он не может лгать, он говорил, что правы те, которые бунтуют и не хотят служить царю... Представляешь?.. Говорить ребенку такие вещи... Он потерял разум... Рубить тот сук, на котором сидишь... За все, за все отблагодарил он и отца, и меня... Мерзавец, — прохрипел он, блеснув злым огнем серого глаза, и с хрустом сжал пальцы в сухих ладонях.

— Неужели брату хотелось, чтобы тебя ранили?.. Какой абсурд, прошу — успокойся...

— Я не говорю, что он подготовил нападение на поезд... Я этого не говорю, а вообще — да... Революция — это бред студенчества. Социализм!.. Равенство!.. Небось, на наших кутанах всегда будут пастухи пить сыворотку, а не молоко... Я буду ходить в шелковом белье, а мои пастухи — в войлочных штанах... Да, я спрошу у него... Спрошу, — уже слабо проговорил он.

Его лоб покрылся мелкой испариной. Георгий лег на диван, положил голову на мутаку и, не отрывая взгляда от полных белых рук жены, позвал ее.

— Садись, — проговорил он и, прижав ее руки к груди, зашептал:

— Нет, я ничего не понимаю, что происходит в мире! Рабочие не хотят работать... солдаты отказываются воевать... Покушение на жизнь главноначальствующего... Крестьяне самовольно запахивают земли... Наши пастухи нагло хихикают нам вслед... Не понимаю, царь слишком добр, слишком мягок.

— Успокойся... — погладила она холодный влажный лоб мужа, — успокойся. Поедем в Петербург... отец не пожалеет для тебя никаких денег, ляжешь на операцию... Я уверена—тебе вернут глаз, а рука—пустяки... Теперь, когда ты на виду у самого Воронцова, верь мне, не быть тебе каким-то батарейным офицером... Да, да, не ниже, чем адъютант его сиятельства графа Воронцова-Дашкова, — прожурчала она ему в ухо.

Она прижалась полными мягкими губами к его жесткому холодному лбу и продолжала шептать.

С заднего двора доносилось мычание коров — это работники на ночь загоняли скотину. Теплый шепот жены, мягкий шум вечера подействовали на Георгия, и, успокоясь, он тихо сказал:

— Спасибо, спасибо...

Во дворе раздался стук колес. Худые плечи Георгия вздрогнули, и он поднял голову.

— Приехал... Это он, — сказал Георгий, и в блеске лунного сияния шакальим глазом сверкнул его единственный глаз.

На пороге непонятное чувство вины и смущения охватило Владимира, и он, будто споткнувшись, остановился перед братом, не смея протянуть ему руки.

— Идем... Рассказывай, скорее!.. Я не могу больше ждать, я должен быть у себя в части... В такое время, когда я больше всего нужен... я сижу здесь, прикованный глупой случайностью...

— Очень хорошо, что тебя нет сейчас в Ростове, — спокойно проговорил Владимир... — Кругом все волнуется... Ты знаешь, сейчас, в создавшейся обстановке, найти свое правильное место в жизни — это не просто...

— Владимир... Володя, — взмолилась Лидия Ивановна, глядя деверю в глаза, — прошу тебя, Владимир, прошу, ни о чем, волнующем брата, не говори... Он так утомлен...

— Я не утомлен... Я очень хорошо знаю свое место в жизни, потому и не хочу сидеть здесь, греть ноги в золе. Пойдем, я хочу говорить с тобой, — и схватив брата за руку, Георгий потащил его в комнату мате-

ри. — Скажи, говори... Сейчас скажи, когда я могу выехать в Москву? — не выпуская руки брата, в упор спросил он его.

— Придется тебе переждать, Георгий, все кругом так беспокойно... Солдаты, возвращающиеся с фронта, говорят, так злы, что... Я не советовал бы пока выезжать...

— Сидеть здесь и ждать, когда наши пастухи сожгут меня в собственном доме?!

— Мы с тобой родные братья, Георгий, я не хочу с тобой ссориться, тем более в комнате матери, — сказал он, оглядев знакомую обстановку материнской комнаты, где он вырос.

— А я хочу. Я, — подчеркнул он это слово, — я хочу с тобой ссориться... Пусть это будет не только в комнате матери, но даже у ее груди, которой она вскормила нас...

Владимира поразили блеск его глаза и истерический тон голоса.

— Что за странный прием, что за встреча? — сказал он, глядя на брата.

— Ты... взрослый человек, а развращал собственного брата... еще ребенка. Ты говорил Николаю, что правы не мы, а те, которые бросили фронт и громят вокзалы, жгут усадьбы и... и...

— Говорил, — холодно сказал Владимир, — не скрываю, но какое это имеет отношение к данному моменту?.. Все, что я говорил, — это мои взгляды, и я ни тебе, ни кому другому не даю права вмешиваться в мою личную жизнь.

— Как ты сказал? Личная жизнь?.. Покушение на жизнь Воронцова, это — личная жизнь? Ты бунтовщик!.. Убийца!

Задыхнувшись, Георгий сорвал с глаза повязку...

— Это... твоих... Таких, как ты... Такие предатели, как ты... Вы... ты... Ваши бредни о человеческом равенстве. Революция — ваша фантазия, — весь побелев и дрожа, кричал Георгий на Владимира...

— Революция — не бред и не фантазия, ты образованный человек, ты должен понимать, — прервал его Владимир и, побледнев, притихшим голосом про-

должал. — Откуда у тебя эта злость? Я хотел, мечтал увидеть тебя иным. Не кричи, я уеду, я не буду вам никому мешать... Не мешайте и вы мне.

— Каким ты хотел меня увидеть? — натягивая на глаз повязку, прошипел Георгий. — Цареубийцей?.. Бунтарем?..

— Успокойся, я сейчас уйду... Все, что ты говоришь—это слишком старо: «Цареубийца! Бунтары!»— передразнил он брата и повернулся.

— Мерзавец!.. Негодяй!.. — кричал Георгий.

Владимир повернулся к нему спиной и остановился, вслушиваясь в истерический крик брата.

— Уйди... У-й-ди! — всхлипнул тот и с поднятой рукой пошел на Владимира.

Дверь отворилась и на пороге показалась Лидия Ивановна, а за ней — высокая фигура Сафа.

— Он убьет его! — вскричала Лидия Ивановна, кидаясь к мужу.

— Уйди, — брезгливо отстранил ее Сафа и захлопнул за ней дверь.

— Что это?—спросил Сафа, сощурив глаза и став между сыновьями. — Или вы не одной крови, или вас вскормила не одна мать? Чего вам не хватает?.. Прокляну,—побледнев и дрожа, говорил Сафа, оглядывая сыновей. — Дела царя не вам решать, вы родные братья... Своей неприязнью друг к другу вы даете возможность злорадоваться моим недругам. Вы мои сыновья и должны быть умнее остальных.

Кошер заглянула в дверь и, увидя недобрые глаза сыновей и бледного мужа, всхлипнув, сказала:

— Кто мог сглазить мою тихую семью? Кому из святых не угодила моя молитва? Разве так встречаются родные братья?

— Уходи, мать! — прошипел Сафа и стал у двери, загородив от нее сыновей.

— На, это направление в Московскую клинику, — сказал Владимир, протягивая отцу кипу бумаг.

Ничего больше не сказав и не оглядываясь, он вышел на улицу.

Ночь серебром отливала на нежной зелени садов, пушистые гроздья сирени казались под луной голу-

бовато-белыми. Владимир посмотрел вдоль длинной узкой улицы села и пошел к школе...

Мертвенный свет лунного сияния разливался в комнате, смешиваясь со светом прикрученной лампы. Когда Михайла вошел в комнату учительницы, Залина, еле преодолевая сладкую дремоту, спросила:

— Сколько же время, Михайла?

— Сколько времени, доченька, не знаю, но куры уже давно сели, да звезд на небе — целое решето... Вставай, пришел доктор Абаев, спрашивает тебя...

— Зови его, Михайла, пусть войдет. Или погоди, я сама к нему выйду, — проговорила она, пригладив маленькими ладонями блестящие черные волосы.

— Что же вы не идете, Владимир Сафарович? Заходите, — пригласила Залина, выходя ему навстречу. — Когда вы приехали?.. Что вы такой сердитый?.. Вам очень идет военный костюм, доктор... Ну, заходите, — тепло встретила она его.

— Только что приехал, Залина, и сейчас уеду... Зашел только для того, чтоб поругать вас, — сказал Владимир, проходя в комнату.

— Из-за этого не стоило вам и приходить. Я, кажется, всегда была очень послушной вашей ученицей, за что же меня ругать?

— Вы всегда были не столько послушной, сколько капризной ученицей, — укоряюще молвил Владимир. — Я, кажется, слишком шумно выражаю свое негодование. Аслан уже спит... разбуджу...

— Он так забежался, что с заходом солнца валится в постель, — сказала Залина, глядя на ребенка. — Я слышала, доктор, в доме у вас большая неприятность... Ранение брата... Хотела его проведать, но как-то не хватило смелости... Георгий Сафарович смотрит всегда на меня с таким презрительным снихождением, что я никак не посмела его проведать... Самого Сафа я видела, посочувствовала его горю...

— Сейчас у людей столько горя, — прервал ее Владимир, — что такие ранения, как у брата, называют — «бог помиловал». Брат сам виноват, нечего было лезть в огонь.

— Говорят, что он спас какого-то очень большого начальника...

— Кажется... не знаю, — неохотно ответил Владимир и взял со стола ученическую тетрадь.

— Так я возвращаюсь к своей теме, Залина, почему вы мне не писали? Я даже ходил к вашему отцу и справлялся, не больны ли вы?

— Почему, доктор, вы сваливаете все с больной головы на здоровую? Вы не отвечали на мои последние письма... Я решила, что вам некогда... Война, у вас так много забот с вашими больными...

— К этим заботам вы прибавили еще одну: я все время мучился, не получая от вас вестей и не имея возможности приехать... Говорят, что в такое время, когда кругом смерть, страдания, голод, нищета, ненависть — странно говорить о счастье. Но скажу вам, Залина, что никогда вы не были мне так незаменимы, так близки и дороги, как теперь... Я ведь люблю вас с тех пор, когда вы ходили еще в ученической пелерине, — говорил Владимир быстро, боясь, что Залина перебьет его и не даст ему договорить. — Я все время писал вам, почти каждую ночь, возвращаясь из госпиталя. Это было моим единственным занятием... Не скрываю, Залина, я вас очень, очень люблю... Хотите — ругайте меня, хотите — выгоняйте, но я хочу уехать и знать, что вы — моя невеста...

Владимир сидел у стола, машинально перелистывая детские тетради. Положив маленькие кулачки на колени, Залина сидела на кушетке, как сидят наказанные дети, и смотрела ему в лицо, порываясь прервать.

— А разве я, Владимир Сафарович, не люблю вас? Разве я была когда-нибудь груба с вами? Ведь вы знаете, что по обычаям нашего народа я, девушка, не имею права принимать вас ночью у себя... Этим самым я даю повод людям говорить обо мне все, что придет им на ум. И все-таки я бываю с вами и наедине, и на людях. Я вас очень уважаю, считаю своим учителем. Вы дали мне возможность увидеть жизнь иной, чем я ее себе представляла. Вы рассказали мне о жизни московских студентов, вы писали мне из Москвы чудесные письма, благодаря которым,

скажу вам откровенно, порой жизнь моя казалась мне такой ничтожной, ненужной, что, клянусь, я часто ругала вас про себя... Знаете, вы лишили меня того счастливого неведения, в котором пребывали все мои подруги-приютянки... Я считаю вас человеком очень мне близким, считаю, что я у вас в долгу...

— Все это вы говорили не раз, Залина. Но всегда умышленно обходите главный вопрос. Никогда еще вы не улыбнулись мне ласково...

— Вы не правы, Владимир, — назвала она его по имени, — я всегда вам рада, но не знаю, не умею я говорить так, как вот, например, написано в книгах... Я... я, честное слово, не знаю, как надо в таких случаях говорить...

Владимир встал, подошел к кушетке, присел рядом с ней и, глядя в ее темные глаза, сказал:

— Вовсе в таких случаях не надо особенных слов... Вы меня, Залина, просто не любите, поэтому и ищете каких-то необыкновенных слов.

— Не знаю, честное слово, не знаю, как надо любить, вы меня напрасно ругаете, — смутилась она и отодвинулась от него.

— Как любят, не знаете? — засмеялся Владимир, — просто любят, Залина, вот как я. Помню всегда, хочу видеть всегда, хочу слушать и хочу верить, что и вы меня хотите видеть...

— Я никогда не отказывала вам в свидании, Владимир, вы сами себе свидетель.

— Тогда почему нам не быть мужем и женой? — сказал Владимир, потянув ее руку к себе.

— Ну, что вы, я никогда не согласилась бы стать вашей женой... Нет! — резко сказала она.

— Почему? — удивился Владимир. — Разве я был по отношению к вам недостаточно внимателен или груб, непочтителен?..

— Нет, не то... Мне, дочери какого-то батрака, жившего всю жизнь в поповских кухнях и конюшнях! О нет, Владимир Сафарович, не хочу я вас смущать перед тем обществом, где вам приходится бывать. Да и мой отец едва ли согласится на этот брак. Не потому, что он не захочет вас иметь своим зятем,

а просто не поверит... Вам не поверит, что... и вы, и ваша семья искренне меня любите и хотите... Он очень странный, мой отец, очень хороший, я так его люблю, что ни в чем, пожалуй, не могла б ему отказать...

— Значит, вы просто мне не верите, Залина? Кажется, своим отношением я должен был давно заслужить ваше доверие...

Она посмотрела на него долгим, испытующим взглядом и сказала:

— Простите, я не хотела вам говорить. Но... откровенность за откровенность. Помните, еще когда вы приехали из Москвы, меня пригласили к себе. Собственно, не вы, а ваш отец. Я благодарна ему за своего приемыша. В тот страшный день он защитил малютку от позора и помог мне его приютить. Я это помню и всегда ему благодарна... На том ужине меня и Лидию Ивановну посадили за общий стол с мужчинами. А Сурат не сидела... Почему? Говорят, когда бывают у вас ее родственники, их принимают на кухне... У нее же братья — рабочие, а мать просто бедна... Куда же будут сажать моего отца в доме Сафа Абоева, если дочь его выйдет замуж за сына Сафа?.. Вы об этом никогда не думали?.. Знаете, за долгую жизнь моему отцу пришлось перенести, наверное, немало унижений и огорчений. Поэтому я не хочу... Я не хочу доставлять моему старику еще дополнительные страдания...

Глаза Залины поразили Владимира. Всегда прищуренные в мягкой улыбке, темные глаза ее были холодны и с незнакомым для Владимира выражением в упор смотрели на него.

«Как снег в лунную ночь, холодны ее глаза», — удивленно подумал Владимир и увидел, что перед ним девушка, предъявляющая к жизни свои требования.

— Вы на меня чем-то обижены, не правда ли, Залина? Иначе, какое мне дело, как там думают и делают. Я люблю вас и не женюсь до тех пор, пока вы не выйдете замуж. Помните это, Залина, — проговорил он и встал. — Теперь мне понятно, почему вы

мне не отвечали, — обиженно проговорил Владимир, собираясь уходить.

— Я не получала от вас писем больше месяца, — сказала она, — не писала вам, думая, что вы просто заняты...

— Я пойду к Дрису и спрошу у него свои письма... Они приходят в сельскую канцелярию, куда он их подевал? — сдерживая раздражение, проговорил Владимир.

— Не обижайтесь, доктор, скоро увидимся, я поеду на днях к отцу. Он писал, что нездоров, — сказала Залина, протянув Владимиру руку.

5

Заря еще только занялась, а Сафа был уже за селом. Два дня тому назад он погнал на базар более трехсот баранов. Больная Саниат совсем не вставала с постели, и теперь Сафа вместе со своими баранами погнал и ее баранту. Он предполагал, что застанет бараньи гурты как раз под Владикавказом и вместе с ними сам придет на скотный базар, где у Сафа было свое постоянное место. Уезжая, он подозвал к себе жену и сказал:

— Смотри, сама присматривай за всем... Гамазинет, Георгий болен, да и не будет же твой сын-офицер в качестве мельника сидеть на мельнице. Сходи на мельницу, скажи Илье, что больше всех ему верю, пусть посмотрит за всем хозяйством... Передай, что не обделю его...

Утренние розовые туманы клубились над зелеными полями. Сафа переехал вброд реку Урсдон. Поднявшись из влажной ложбины, он выехал на узкую проселочную дорогу, ведущую от села Христиановское к селу Ардон. У края дороги у обомшелого камня он спешил, чтобы подтянуть подпруги. На душе у Сафа было беспокойно. Два месяца тому назад разбунские крестьяне убили его объездчика, вырубili лучший участок леса. На жалобу Сафа о наказании бунтарей начальник области ответил советом обра-

титься в суд и взыскать с виновных все убытки, понесенные им.

«Разве это наказание? — возмущенно думал Сафа. — Казачьих плетей пожалел начальник, так он испытает это на себе... Сегодня они вырубili мой лес, завтра — казенный, а послезавтра влезут в кабинет к начальнику и снимут с него костюм...»

Подтянув подпруги на мокром животе лошади, Сафа вскинул тело в седло и шагом поехал к Ардону. Утро было свежее. Сафа стянул с шеи башлык и глубоко вдохнул в себя щекочущий холодок летнего утра. Розовели верхушки гор. С юга, в туманной дали, у входа в ущелье, тонул Алагир, а с севера виднелась станция Дарг-Кох. С левой руки курилась казачья станица Николаевская ранним теплым дымком. На западе, подернутые маревом утра, далекие холмы казались фиолетовыми и будто качались. Сафа даже издали разбирал места, ему принадлежащие. Он уже скупил у Тугановых лучшие их земли и мечтал стать хозяином этих холмов, на которых произрастает лучшая пшеница и кукуруза.

Впереди, далеко к востоку, убегали, сверкая крупной росой, густые поля пшеницы. Это земля ардонской казачьей станицы. Ардонские крестьяне-осетины каждую весну арендуют эти земли у своих соседей, станичных казаков. Огромные поля изрезаны на мелкие кусочки, разделенные межей. Глядя издали на эти искромсанные куски, кажется, что маленькие дети, оставленные матерью в комнате, изрезали зеленое одеяло. А вот длинное широкое поле колыхающейся пшеницы: это земля казачьего атамана Белогорцева, близкого приятеля Сафа. Сын казачьего атамана Белогорцева вместе с сыном Сафа учились в офицерской школе. Белогорцев — самый богатый казак Ардонской станицы. Нет такой весны, чтобы иногородние, живущие в Ардоне, не пришли к Белогорцеву покупать или арендовать землю. Узнав земли приятеля, Сафа остановился, прищулив холодные колючки серых глаз, подумал:

«Не лучше моих... Нет лучше наших мест: ни зной, ни дожди не лишают их плодородия».

Сафа толкнул худыми коленями теплые бока лошади, поехал шагом.

Впереди, с левой стороны дороги, возвышался высокий зеленый курган, у подножья которого, Сафа это знал, есть родник. Ему хотелось пить, но он не слез, видя, что лучи солнца уже вспыхнули на яркой зелени пшеницы. До наступления сумерек он хотел добраться до города. Сафа знал, что курган — это полпути до Ардона. Он пришпорил лошадь и затрусил мелкой рысью.

Ардон был уже близок. «Заехать к Белогорцеву, спросить, не в его ли ссыпной пункт атаман свезет осенью свою пшеницу? Или еще с кем другим договорился», — думал Сафа, оглядывая зеленые дали полей.

Когда он подъехал к Ардону, солнце уже сияло над крышами домов. Было воскресенье, и звонили к обеду.

На улицах села было многолюдно. Казачки в белоснежных батистовых косынках, осетинки — в ажурных шелковых платках. Яркие бешметы казаков мешались с темными черкесками осетин. Дети — в кумачовых косоворотках, семинаристы — в темных форменных костюмах. Это единственное осетинское село, живущее бок о бок с казачьей станицей. Близость местожительства, может быть, способствовала тому, что в Ардоне открыли семинарию, где вместе учатся дети осетин и дети казаков. Но казаки не ходят в осетинскую церковь, и осетины не посещают казачью церковь.

Сафа переехал мост около семинарии. Под мостом в неистовом гневе кидалась мутными волнами река Ардон. Живописны берега этой реки. Заросшие ивами и чинарами, они далеко уходят на север. Волны бешено гонятся друг за другом. Недаром реку эту называют Бешеной. Влажные песчаные островки выпукло торчат из воды, ежеминутно разрушаясь, меняя форму, исчезая в одном месте, вырастая в другом. Неровно, как тропинки в лесу, разрослось русло реки Ардон. В лунные ночи сырые песчаные островки на реке, фруктовые сады, перерезанные речушками, маленькие белые домики, трепетные огоньки над рекой

выглядят таинственно-сказочными, заставляя на миг забывать людей о нужде и страданиях... Сафа повернул лошадь к центральной длинной и узкой улице, которая проходит через село и казачью станицу, выводя путника на главную дорогу к Владикавказу.

К церковной площади стекались толпы людей. В этом не было ничего удивительного — воскресенье, народ шел помолиться... Выехав на церковную площадь, Сафа увидел толпы крестьян.

«Нет, это, должно быть, сходка, иначе с чего это они вздумали сегодня все в церковь пойти? — удивился Сафа. — Или умер кто? — Нет, это сходка», — решил он, приближаясь к толпе.

— Богу земля не нужна, не прикрывайся, батюшка, богом, отдавай церковные земли, наши они... У нас отобраны! — громко кричал невысокого роста крестьянин, поддерживаемый сочувственными возгласами толпы. Бритая голова его вспотела, рванный бешмет был расстегнут.

— Отдавай земли причта!.. Зачем церкви земля?.. — орала толпа.

Толстенький маленький попик метался, словно крыса в мышеловке, не узнавая своих покорных прихожан.

Сафа, не слезая с лошади, концом кнута ткнул в спину стоящего поблизости юношу:

— Скажи, родной, что у вас тут такое? За что попа, божьего человека, обижают?

Юноша, заслонив глаза от солнца, посмотрел снизу вверх на нарядного всадника. Признав по одежде богатого человека, лукаво моргнул, щелкнул языком и развязно ответил:

— А что тебе, старый, до попа? Он сам не куций, отгонит от себя мух... Ты о себе думай... Если есть что у тебя взять — не пожалеют, отберут. Иди-ка, человек, своей дорогой...

Сафа был поражен: вместо обычного традиционного приветствия юноша дерзко смотрел в глаза, смеялся... угрожал... Хлестнув лошадь, не оглядываясь, проскакал через село. Долго еще слышался в

неподвижном летнем воздухе шум толпы, смешивающийся с рокотом горной реки.

Вечерние лучи солнца шафрановой россыпью переливались на куполах женского монастыря, когда Сафа под городом нагнал свою баранту. Гурты, усталые от двухдневного перехода, лениво щипали за городом пыльную траву. Баранту Саниат, отдельно от гуртов Сафа, сопровождали Инал и Атарбек.

Около баранов Сафа, как ястреб над куропаткой, кружился низкорослый скуластый табунщик Сафа, с ярко-рыжей бородой и флегматичным лицом... Сафа дорожил своим табунщиком. За долгую службу рыжий табунщик никогда не разозлил своего хозяина. Точно и своевременно знал Сафа все сокровенные мысли своих пастухов: кто покорен, кто самонадеян, кто недоволен... Рыжий табунщик, которого пастухи между собой называли крысой за узкую, выдающуюся челюсть, с ровным рядом мелких белых зубов, никогда ни на кого не прикрикнул, не обозвал грубым словом. Он был молчалив; ни смех, ни крик ужаса — ничто бы не заставило табунщика ускорить медленные короткие шаги, которыми он обходил стойбища и кутаны. Вялый, как у барана, взгляд его желтых глаз неподвижно останавливался на провинившемся и был неприятнее самых страшных ругательств. Пастухи боялись его и молча подчинялись. В помощь табунщику Сафа попросил Инала дать ему расторопного помощника. Инал порекомендовал своего единственного сына, которого любил больше всего на свете.

Молодой двадцатилетний пастух, закинув на плечо пастушью сумку, и зимой, и летом пел свои бесконечные песни, похожие на ветер, долгие, тягучие. Летними вечерами, закинув руки за голову, уставившись в небо, он тихо, беспечно тянул песни — песни опального поэта Коста.

Без газет и без нот просачивались и на кутаны, и на дальние горные пастбища стихи сосланного поэта. За эти песни особенно любили юношу-пастуха.

— Спой про пастуха, — просили его товарищи. И он тихо, звонко и страстно пел:

В яслях мы одних родились,
Вырос ты со мной,
Вместе жили и трудились,
Бедный ослик мой...

Не закончив одну песенку, юноша переходил на другую:

Горы родимые, плачьте безумно,
Лучше мне видеть вас черной золой.
Судьи народные! падая шумно,
Пусть вас схоронит обвал под собой...

Звонко взлетала песня юноши:

Пусть хоть один из вас тяжело застонет,
Горе народное, плача, поймет.
Пусть хоть один в этом горе потонет,
В жгучем страданье слезинку прольет.

Забывшись, юноша пел и пел...

Мы разбрелись, покидая отчизну,
Скот разгоняет так бешеный зверь.
Где же ты, вождь наш? Для радостной жизни
Нас собери своим словом теперь.

Конец песни звучал призывно. И замирал кутан в темноте. И верил человек в свое счастье, загорался желанием борьбы за него...

Глаза юноши, светлые, на темном обветренном лице, были таинственны, как весенние звезды на темном небе. За песни его знали далеко за кутанами, любили и называли соловьем. За два дня пути молодой пастух пропел рыжему табунщику все свои песни, но рыжий молчал, ни разу не похвалив и не поругав его.

Рыжий табунщик, еще издали признав Сафа, побежал ему навстречу, услужливо поддержав стремя.

Сойдя с лошади, Сафа, ни с кем не поздоровавшись, посмотрел на сбившиеся пыльные гурты баранты и бросил:

— Все ли в порядке? Без ущерба, без убытка доехали?

— Слава богу, — ответил рыжий табунщик, оскалив узкую крысиную мордочку, — не впервые... Даже копытца поврежденного нет...

— Тогда гоните к месту, ночуйте на скотном базаре, место знаете, — сказал Сафа, бросая поводья и передавая ему лошадь, так как он не желал по городу ехать верхом.

У Апшеронской площади, на стоянке извозчиков, Сафа не нашел ни одного извозчика.

«Куда они подевались?» — недоуменно подумал он и перешел площадь.

На углу Тенгинской он свернул на бульвар, направляясь к деревянному мосту.

«Сяду на трамвай, он подвезет меня как раз к гостинице», — подумал Сафа и стал у трамвайной остановки, около электростанции. Пожилой городской долго смотрел в спину Сафа, а потом, подойдя к нему, сказал:

— Вы, господин, почему здесь стоите? Кого ждете?.. Нельзя стоять... Понятно?

— Или трамвая, или извозчика, — раздраженно ответил Сафа. — Где извозчики?

— Сегодня нет... Не стойте... Не полагается...

Сафа не понял: не полагалось стоять у трамвайной остановки или сегодня не полагалось извозчиков? Поэтому он остался стоять. Городовой повелительно повторил свои слова и указал на мост:

— Видишь трамвай?.. Стоит... Не идет... Некому вести, иди, не стой.

Сафа опять ничего не понял из слов городского, хотя он хорошо понимал по-русски. Досадливо отряхнув примятые на седле полы черкески, он подтянул пояс и пошел через мост, надеясь встретить извозчика. Но извозчиков не было. Город был напряженно молчалив и безлюден. Солнце зашло, из ущелья ползли темные сумерки. Электрические стеклянные шары матово белели по углам, холодные, не давая

света. Только у ворот домов теплились фонари. Магазины были закрыты, и непривычная для города тишина неприятно действовала на Сафа. Он торопливо зашагал, желая скорее узнать, что случилось в городе.

В центре города на Александровском проспекте, медленно, как на манеже, разъезжала конная полиция, везде по углам ближайших улиц стояли городовые...

«Или кого убили? Или траур? Или ждут приезда большого начальника?» — недоумевал Сафа.

Подойдя к дверям гостиницы, он увидел управляющего со связкой ключей в руках.

— В добрый час вам приехать, Сафа, — проговорил управляющий, похожий на зеленую луковицу, выдернутую с корнем. Седые редкие волосы торчали во все стороны на большом угловатом черепе. Худой длинный торс его, обтянутый в темно-зеленый костюм, почтительно согнулся перед Сафа.

— Что такое, скажите вы мне! — тревожно проговорил Сафа. — Или траур по ком?

— Хуже, — проговорил управляющий, — с утра не пришел ни один человек из работников гостиницы: нет горничных, нет посудниц, не явились повар и его помощники. Гостиница не убрана, обедов нет, ресторан не работает. Новым жильцам, желающим остановиться в гостинице, отказывают... Некому готовить, продукты гниют. Город, как параличный больной, не может двинуть ни ногой, ни рукой...

— А что делает полиция? — прошептал Сафа побелевшими губами. — Не ее ли дело навести в городе порядок?

— Да в том-то и дело, что беспорядков никаких нет, — прервал его управляющий, — везде тихо... Трамвайчики не вышли, извозчики попрятались. Когда я попросил сегодня знакомого извозчика довезти меня до почты, он сунул руки в карман и сказал:

«Не могу, нельзя подводить товарищей, что я, Иуда, что ли... Раз сговорились сообща не выходить, значит, не выходить».

— Говорят, на салотопном заводе, винокуренном и на цинковом люди не вышли на работу... Прошу

вас, хозяин, возьмите ключи от кладовых... Боюсь,—взмолился управляющий, протянув Сафа связку ключей.

Сафа вырвал из рук управляющего ключи, резко повернулся и вошел в раскрытые двери гостиницы. Он хотел уснуть, но не мог. Некоторое время лежал на мягком диване, который был поставлен в его комнате. Так и не уснув, он встал и вышел на улицу.

«Надо спросить у Владимира, что все это значит. И насколько это опасно?..» — думал Сафа, направляясь к сыну.

Владимира на квартире не оказалось.

— Рано утром уехал в деревню, — сказала хозяйка, жена адвоката Вертепова.

Сафа снова вернулся в гостиницу, лег на кушетку и, наконец, заснул. Когда он открыл глаза, то сразу не мог понять, где находится. Жаркие лучи летнего солнца целым потоком вливались в комнату. Сафа проспал всю ночь на кушетке. Вскочив, выглянул в окно и увидел, что город давно уже жил.

«Что же это я? Проспал? Зачем мог уехать Владимир?» — тревожно подумал Сафа, вспомнив последнюю ссору сыновей.

Трамваи все еще не ходили, извозчиков на улицах не было, и Сафа обратился к первому городовому, мерно ходившему под окном:

— Где можно извозчика достать?

— Нет их сегодня, — ответил городской и отвернулся.

Сафа вышел на Александровский проспект, желая узнать новости, но внимание его привлекли огромные толпы народа. Около городского парка, на дверях которого висела металлическая дощечка с надписью: «Нижним чинам и собакам вход строго воспрещается», Сафа увидел высокого рыжеусого солдата, который неистово тянул к себе эту дощечку, а оторвав, затоптал ногами, выкрикивая:

— Товарищи! Нас не считают за людей... Мы воевали, мы проливали кровь!.. Царские министры, генералы продали отечество!.. Товарищи рабочие, граждане, берите оружие, бейте царских палачей и

министров!.. Берите власть в свои руки!..—кричал солдат, качаясь, как на ветру, длинной худой фигурой.

— Долой!.. Долой самодержавие!.. Товарищи!.. Сделать жизнь светлой зависит от вас самих!.. Товарищи рабочие, требуйте свободы стачек, свободы собраний!— все время откидывая от бледного высокого лба длинные волосы, страстно говорил юноша в синей косоворотке.

— Трехсменной работы... восьмичасового рабочего дня!— взлетали над толпой горячие слова.

— Товарищи, мы не одни!.. Нас поддерживает пролетариат Баку... с нами нефтяники Грозного... Да здравствует Социал-демократическая рабочая партия!..

— Товарищи! Мы не должны!.. Мы сделаем!.. Мы поддержим!.. Рабочие железной дороги Минерального, Ростова уже бастуют неделю... Товарищи! Не оставим их, поддержим!.. Вся Россия... Рабочие всех народов против своих кровопийц!.. Берите оружие!.. Смерть самодержавию!.. Да здравствует власть народа!..

То из одного, то из другого места вырывались громкие восклицания, падая в толпу, как горящая пакля, вызывая бурю восторженных криков.

Сафа, потрясенный виденным, думал, что люди сошли с ума.

Толпы людей высыпали на вокзальную площадь. Поезда по линии Ростов—Баку уже не ходили третий день. Дорога несла миллионные убытки. Железную дорогу объявили на военном положении. В это утро рабочие Владикавказской дороги не явились на работу. Паровозный парк зиял непривычной холодной пустотой, по цехам валялись разобранные части паровозов. К вокзальной площади стекались рабочие и с цинкового завода. Соединившись вместе, демонстрация стройной плотной массой двигалась к центру города, к городскому парку. Здесь были служащие, рабочие трамвайного парка, конторщики, почтовые работники, служащие гостиниц и весь рабочий люд города. Улицы города невозможно было перейти, над головами демонстрантов колыхались плакаты: «Введение восьмичасового рабочего дня», «Свобода собра-

ний», «Свобода союзов», «Свобода печати», «Созыв учредительного собрания», «Всеобщее, равное, прямое, тайное голосование»...

В то время, когда Сафа попал на площадь, городской голова Баев, перепуганный народной демонстрацией, стоял в кабинете начальника Терской области и умолял:

— Прошу вас, не медлите ни минуты, объявите город на военном положении. Вы видите, полицейские отряды бессильны... Я утверждаю как городской голова, что никакие обращения, хотя бы они исходили сейчас от самого наместника его сиятельства графа Воронцова-Дашкова, не смогут обеспечить порядок и спокойствие. Оно не восстановится до тех пор, пока какие-то неизвестные люди или темные силы, стоящие за недостижимой оградой, будут иметь возможность грубыми руками хвататься за отдельные части государственного механизма и проводить свои кровавые политические опыты над людьми государственными... Прошу вас... пора... призовите войска на помощь...

И приказ был дан...

Конная полиция с помощью Ахульгинского пехотного полка крушила плотные ряды демонстрантов... Казачьи нагайки со свистом опускались на лица. Толпа шарахалась. В угоду бельгийским и французским капиталистам рабочие цинкового завода были избиты, расстреляны.

Сафа пытался перебежать улицу, чтобы как-нибудь добраться до базара, где ждали его работники с барантой. Он поднял полы черкески и побежал через улицу. Но у первого же угла его сбила с ног женщина, бежавшая ему навстречу. Резкий свист нагайки, а затем острая волна хлестнула Сафа по лицу... Он поднял голову и увидел: повиснув на шее лошади, пожилой человек, по виду мастеровой, старался свалить полицейского. Удар плетки, предназначенный мастеровому, узкой багровой полоской лег на лицо Сафа, пробороздив его от высокого морщинистого лба до острого подбородка. Сафа тяжело застонал и прислонился к стене. Тошнота подкатывала к горлу, вызывая мелкую, ознобную дрожь. Он открыл глаза и услышал впереди себя частую сухую дробь,

будто дети, играя, сыпали горох по деревянному настилу... Сафа увидел ту самую женщину, которая сбила его с ног. Она лежала на спине, широко раскинув руки. Платка на ней не было, и из-под светлого локона на виске тонкой рубиновой струйкой сбегала кровь, пропадая у ключицы...

Сафа затошнило еще сильнее. Собравшись с силами, он оторвался от забора и, помня только одно, что на базаре у него баранта, побежал вперед.

Скотный базар во Владикавказе одним концом своим упирается в Шалдонскую слободку, а другим — в узенькую грязную Кузнецкую улицу. На этой улице — постоянный двор, винные подвалы, кабачки и пивные.

В обычные базарные дни, когда сюда стягиваются отовсюду крестьянские арбы с продуктами, — базар шумлив и разноцветен. Тянутся длинные ряды подвод: горские двухколесные арбы, казачьи брички, линейки. На одних подводах сидят горянки в ярких шароварах, на других — казачки в белоснежных батистовых платках. Казачки и горянки недружелюбно оглядывают друг друга с высоких своих сидений. Встретившись в узких проходах базарных улочек, горец и казак косятся друг на друга, не уступая один другому дороги, пока городской, дорожа честью своего околотка, не разведет их по сторонам. Мучные лабазы, птичьи ряды, туши свиней и баранов, — и над всем этим жаркое солнце и неумолчный разноязычный гул восточных базаров. Сегодня закрыты мясные ряды, но базар многолюден и встревожен.

— Открывай!.. Давай мясо!.. Сколько ждать?.. Открывай!.. — раздается резкий бабий визг, и двери мясного ларька потрясают гулкие, резкие удары.

На занавоженном возвышении скотного базара — бараньи гурты. Атарбек с другими пастухами перегоняет баранту за хворостяную перегородку, недоумевая, куда мог деваться Сафа.

— Загоняй!.. Скорее загоняй! — торопит Инал Атарбека... — Недобрые сегодня у народа глаза, скорее бы Сафа пришел...

— Душегубец!.. Антихрист! Всю кровь нашу высосал!.. Бейте его! — кричала простоволосая худая женщина с открытой высохшей грудью, на которой черной тушью был нарисован распятый на кресте Христос...

Женщина кричала, собирая вокруг себя толпу:

— Бейте его... тащите!.. Продали нас японцу!.. Бейте его!.. — Атарбек узнал в высоком плотном человеке, которого толпа поволокла по пыльным переулкам базара, скупщика скота, крупного мясоторговца Мамаджана.

— За что это его? — спросил Атарбек, уставившись на знакомое лицо скупщика.

Рыжий табунщик, прикрыв хворостяную калитку загона, стал у головы бараньих гуртов. Ознобная судорога страха бросила его в пот.

Вдруг странный гул привлек внимание Атарбека.

— Спасайтесь! Спасайтесь! — кричали где-то. Неизвестно откуда пришедшая паника разом охватила весь базар.

— Бей!.. Бей! — кричали отовсюду.

Атарбек и Инал были оттеснены обезумевшей толпой на край базара.

— Что это? Почему? — побледнев, спрашивал Атарбек Инала.

— Бей!.. Бей!.. Бей начальников!.. Бей их!.. — несло отовсюду.

Кудахтали куры, с блеянием и мычанием в панике носилась скотина. Из разгромленных галантерейных лавок летели кипы разноцветных лент, кружева и гребенки. Все кругом металось, кружилось, стонало и кричало: «Бей!»

— Хлеба!.. Мяса!.. Бей их! — орала тысячеустая толпа, и казалось непонятным, как эта же самая толпа несколько минут тому назад спокойно и рассудительно торговала, покупала, хлопала по рукам, заключала торговые сделки. Сейчас она, как взорвавшийся вулкан, исторгала из себя неизвестно где таившийся безудержный гнев.

И в этом гневном взрыве отчаяния чудилась такая неудержимая сила, что, казалось, собери эту силу,

направь ее в одно русло—и ничто не сможет устоять перед ней... Вдруг в этот вой ворвался резкий свист. Конная полиция, разрубая шашками пыльный воздух, врзалась в толпу. Толкая и давя людей, она пыталась навести порядок. Но на шеях лошадей повисали люди, валили полицейских и кричали им:

— Тунеядцы!.. Кровопийцы!.. А почему вы с японцами не воюете?..

Сафа пришел на базар, когда главный базарный в сопровождении пристава обходил разгромленные ряды. Солдаты стояли у базарных переходов, а на возвышении, где торговали скотиной, прохаживались полицейские.

Сафа, увидя своего табунщика у бараньих гуртов, вздрогнул и, с чувством благодарности, подошел к нему.

— Верил тебе всегда. Спасибо, оправдал мое доверие...

Табунщик, как всегда, промолчал. Только на узенькой крысиной мордочке мелькнула мгновенная гримаса, которой табунщик выразил удовольствие.

— Баранту гнать во двор гостиницы... Оттуда ее разберут...

— Господин пристав, — обратился Сафа. — Я не могу без доверенного человека оставить такое богатство... Если б сам Мамаджан...

— Дня через два будет и сам... У смерти его вырвали насильно. Опоздай мои ребята на полчаса, и смерти ему не миновать, — говорил пристав.

Взяв свою лошадь у табунщиков, Сафа сам поехал впереди баранты и только во дворе гостиницы он, сговорившись с покупателем, наконец, пришел в себя и сказал работникам:

— Езжайте домой, к вечеру буду и я дома.

Сафа проскакал по окраинным улицам города и, только выбравшись за город и увидев зеленые дали степей, успокаивающую белизну снежных вершин, облегченно вздохнул:

«Слава создателю, прошел ураган мимо меня. А все слабость начальства...»

За городом, остановив лошадь, он свернул ее в сторону села Алагир. Там жил штабс-капитан Колиев, его старый знакомый. Капитан должен был Сафа деньги, и он решил по дороге заехать к нему.

Был жаркий день. Стада лениво дремали у реки. В реке, обмелевшей за лето, просвечивали мелкие белые камешки. Голые ребяташки, сидя верхом на самодельных корзинах, терпеливо выуживали с прозрачного дна жирных форелей. Иногда в куче копошавшихся рыб, сверкая золотом чешуи, попадались и ужи. Дети вслали их на деревья, любясь сверканьем золотых жгутов. И вдруг Сафа услышал:

— Это пристав... Это наш старшина, а это помещик... — говорили дети, указывая на повешенных ужей.

Сафа напоил лошадь и, прищпорив ее, въехал в Алагир. На площади, где стоял дом капитана Колиева, он остановил лошадь, остолбенев. Дом был сожжен, конюшня разрушена. Люди, собравшиеся на площади, — старики, дети и женщины — громко кричали, подбадривая друг друга. Под напором толпы трещал и валился сарай.

— Тащи, тащи все! Хватит им нашей кровью питаться!..

Тащили из амбаров кукурузу, муку, а что не могли унести — били, кидали; рубили кинжалами перепуганных кур, вырубали фруктовые деревья.

Сафа, как парализованный, смотрел на все это. Здесь не было ни старшины, ни его помощника. Старшинская цепь была подвешена на высокий шест, который держал юноша в лохмотьях.

«Где ж сам старшина? Что это такое?» — подумал Сафа и, повернув лошадь, быстро поскакал по ближайшей дороге домой. Неистово нахлестывая лошадь, он думал:

«Кроме добра, селу свосму ничего не чинил... не за что меня...»

Уже вечерело, когда взмыленная лошадь, еле передвигая ноги, остановилась у реки Урсдон. Дрожа, она рвалась к воде, но старик придерживал ее, боясь, что она простудится. Он свернул на широкую песчаную тропинку, ведущую к мельнице. Тревога не поки-

дала его. Подъезжая к мельнице, он еще издали заметил, что длинный сарай, в котором помещался мучной склад, был разрушен, а земля вокруг мельницы белела, словно запорошенная первым снегом.

Старик задохнулся от гнева. Ненависть к людям, посмевающим тронуть его добро, да еще в его отсутствие, била его, как лихорадка. Сафа долго высвобождал ногу из стремени, тяжело слез с лошади и, потянув кобылу за повод, медленно пошел к мельнице.

Двое работников узнали его и вышли навстречу. Опустив руки, они виновато поникли перед ним головами и молчали.

Старик, задыхаясь, рванул ворот бешмета, стянул с плеч черкеску и закричал:

— Илья... где Илья?

— Ушел... сбежал... С ними был... — заикаясь, робко произнес работник.

— Он мне ответит... ответит! — кричал Сафа, расталкивая ногами пустые ящики из-под отрубей.

Мельница молчала. Жернова были перевернуты. Ящик для засыпки зерна разломан и сдвинут с места. Мельница была пуста, пол пробит и из расщелины, хлюпая, пробивалась белая пенистая вода.

— Сам Илья громить помогал, — добавил работник и отошел в сторону.

Уставший, обессиленный от всего пережитого, Сафа тяжело опустился на жернов и, скомкав в ладонях седую бороду, проскрежетал:

— Походите вы ко мне... Поголодаете теперь без мельницы, холопы!..

Сафа очень любил рабочую суету мельницы: рокот жерновов, клочотанье воды и неустанный шум. Сейчас эта тишина угнетала его. Подозвав работника, он тихо спросил:

— Кто был?.. Кто меня громил? Кого запомнил? Говори!

— Никого, хозяин, не признал... Два незнакомых связали мне руки и ноги, завязали глаза, а во всем твой мельник Илья виноват. Он еще смеялся и говорил... — работник замялся и замолчал.

— Что говорил? — закричал старик. — Что?

— Говорил... говорил... что богатым конец приходит, что везде богатых громят... старшин выгоняют... Даже царя ругал... — шепотом продолжал он. — Говорят, хозяин, что слухи эти издалека идут... из России... Кругом погромы...

— А дома у меня как? — вдруг опомнившись, спросил старик. — Как дома?

Работник опять замялся, потом, будто извиняясь, проговорил, не спуская с хозяина лукавых глаз:

— Сынок... Гамази было вмсшался... Разгром остановить хотел, как раз со станции подъехал... Но не дали ему... били его здорово... Да я с мельницы не отлучался, не знаю, что дальше было...

Сафа подбежал к лошади, вскочил на нее и, желая сократить дорогу, переехал реку вброд.

Глухая тишина плыла над полями, и синеватая ночь кралась из-за леса.

Когда Сафа въехал в село, ему стало вдруг так страшно, что он забыл о разгромленной мельнице. Сын его Гамази вернулся. «Как бы разъяренные мужики не искалечили его...»

Он проскакал по темным улицам и, остановившись у ворот, тихо стукнул в калитку. Молча передал лошадь открывшему калитку работнику и медленно прошел на веранду. И тут окончательно уверился, что случилось какое-то несчастье. Оттягивая время, повернулся и пошел в сад. Толкнув ногой калитку, прошел в глубину квадратного скотного двора, приложился к двери конюшни: вперемешку фыркали лошади, из дверных щелей несло запахом трав в павоза.

Немного успокоившись, Сафа поднялся на веранду, но прежде чем открыть дверь в комнату, прислушался, потом осторожно открыл ее. В комнате было тихо. Вся семья была здесь, но никто не поднялся ему навстречу. На широкой железной кровати, под красным атласным одеялом лежал Гамази на высоко взбитых подушках. Сафа увидел его перевязанную голову.

Лидия Ивановна и Владимир стояли у его изголовья, перешептывались на своем докторском языке.

Кошер в черном сатиновом платье сидела у ног сына и плакала. Сафа долго смотрел на сына, потом заговорил:

— Ну как же ты не помнишь? Ведь когда ты подошел к мельнице, ты же был в сознании. Я понимаю, первым ударом тебя свалили, но до этого? Ты должен был узнать кого-нибудь.

Гамази, болезненно сморщив лицо и с трудом повернув избитую, в кровоподтеках голову, сказал:

— Оставь меня, отец, ничего не помню и никого не узнал... Кажется мне, что был тот... беглец, временнопроживающий Темур и твой мирошник Илья... Не помню...

Разорванная губа болела и кровоточила. Марля напиталась кровью.

— Не знаю, — сказал старик, — где искать твою кровь? Кому мстить за твою обиду? Твой кровник скрылся, но... — он задрожал и стукнул палкой по ковру, — от моей мести не уйдет. Умру я — тебе завещаю найти его. Не найдешь ты — сыну своему за кажи, пусть смоем кровью твою обиду...

Сказав это, Сафа вышел из комнаты сына и пошел к себе, чтобы переодеться.

— Что это? Что делается? — приставал старик к Георгию. — Ты офицер, грамотен, объясни...

Георгий долго молчал, а потом, сорвав с глаза повязку, сказал:

— Холопий бунт... Все это надо было вначале пресекать, а наши карательные органы миндальничали... Царь проиграл войну... Солдаты бегут, крестьяне захватывают земли, рабочие отказываются работать... Сын твой, Владимир, называет это революцией. Спроси у него, — ехидно хихикнув, Георгий хрустнул тонкими бледными пальцами, взял отца за руку, толкнул сапогом дверь и сказал: — Вот сын твой... доктор, образованный, спроси у него, он объяснит.

Владимир не повернул головы, когда услышал голос брата. Он продолжал стоять перед умывальником. Медленно и спокойно мылил руки, подставляя их под холодную струю воды. Сафа подошел к Владимиру и спросил:

— Скажи, успокой... ты же доктор... Не опасна ли для жизни Гамази его рана?

— Нет, — не поворачивая головы, ответил Владимир.

— Так что же это такое, дети мои? Я ничего не понимаю... Где, у кого искать защиты? Научите, недаром же я учил вас...

Владимир поднял голову от крапа и повернулся лицом к отцу.

— Если б, отец, ты имел вместо четырех детей сто образованных сыновей, все равно ни мы, твои сыновья, ни ты, ни тысячи таких, как ты, изменить бы ничего не смогли...

— Нет, врешь! Смогут изменить, смогут!.. — закричал Георгий и шагнул в глубь комнаты.

Сафа встал между сыновьями.

— Прошу... прошу, — побледнев и приглушив голос, прошептал он. — Никогда никого ни о чем не просил... Не доводите, прокляну... Крова лишу...

— Нет, я не могу, пусть скажет, пусть объяснит, чему он рад? — кричал Георгий. — Чему рад? Хозяйство разгромлено, я одноглаз... Гамази — на смертном одре. А он ходит и философствует, доказывает, что это правильно, закономерно, что так должно быть.

— Что ты от меня хочешь, Георгий... Мы оба взрослые, разреши мне думать, как я хочу! Не навязывай мне свое... я презираю тебя... Вот... Говорю при отце... Если ты... — он задохнулся. — Ты мне не брат... не хочу быть Иудой, — не выдержав, закричал вдруг Владимир.

Впервые увидел отец, что в этом спокойном, на первый взгляд, мягком человеке тоже течет его нетерпеливая, горячая кровь.

— Не хочу... не хочу и не могу участвовать... не могу мешать людям стать свободными. Они хотят кушать... Жить... дышать... Хочу человеком остаться... не втягивай в свой омут... нет!

Сафа, не узнавая сыновей, бледный, с дрожащими губами, кидался от одного к другому.

— Ты моложе, ты уступи, — вскричал Сафа, хватая Владимира за плечи.

— Отец, прости... не вмешивайся. За столом, за

чащей круговой уступлю ему старшинство, но не в этом... Не вмешивайся, отец, тебе не понять...

— Не понять?.. Как это не понять, когда разгромлено все? — задыхаясь и одевая повязку на глаз, прохрипел Георгий и облокотился о подоконник.

В комнату ворвалась, шурша шелком юбки, Лидия Ивановна и набросилась на Владимира:

— Это бесчеловечно, Владимир! Георгий болен, ты кричишь на него... в его состоянии!

— Чтобы стать вам кровниками!.. Родные братья, а хуже шакалов... — захрипел Сафа.

— Мы и так уже кровники, твое проклятье опоздало, отец, — проговорил Владимир.

— Молчи, молчи, проклятый! — вскочил Сафа, подняв на сына кулак.

— Или недостаточно у нас в доме горя? А ты еще кидаешься на детей, безумный старик! — зашикала Кошер на мужа, указывая на работника, который стоял в дверях.

6

— Недаром в народе сказка есть, — задумчиво сказал Темур.

— Какая сказка? — спросил Илья, лежа на кукурузной ботве и прикрыв колени буркой.

— Лиса детеныша своего жить учила. Научила его хитрить, воровать, узнавать среди зверей врагов и наставляла: ранней осенью и весной по льду не ходи — подведет...

— Вот видишь, лиса и то детеныша учила различать врагов от друзей, а ты же не лисий детеныш — человеческий, — сказал Илья. — Боюсь я за тебя. Подведет она тебя, боюсь... Может, не нарочно, а подведет... Да на что ты ей? — говорил Илья.

— Молчи, Илья, прошу тебя, молчи... — попросил Темур, не глядя на друга.

После разгрома мельницы Илья ушел к Темуру. Снова судьба свела двух друзей, и, как в детстве, в отаре, они опять спали рядом, под одной буркой. Темур был мрачен, молчалив. Вот уже не-

сколько дней пытался Илья узнать причину его уныния. Поведал Темур другу свое большое нежное чувство к Залине, которое до сих пор хранил в тайне...

— Не могу больше... — И, стиснув зубы, словно от мучительной боли, продолжал: — Я не видел ее с весны... сейчас уже осень... Я должен ее увидеть...

Илья молчал.

В узкую пасть пещеры, брызжа искрами, просачивалось солнце, стараясь осветить самые дальние углы этого гостеприимного убежища всех беглецов и абреков. Но пещера была так велика, что солнечные лучи, поиграв у входа, не шли дальше, как бы боясь не найти дороги обратно.

Вершины гор сверкали первым снегом, на кабардинской границе чернел лес, а неподалеку от пещеры темнело ущелье, из которого узкими черными вожжами тянулись дороги к селу Христиановскому.

— Что ж, вои дорога, вставай и иди, — нарушил, наконец, молчанье Илья. — Оттого, что ты придешь и сам сдашься им в руки, от этого, думаешь, наказание твое уменьшится?

— Знаю... не учи меня, ты не поп, — грубо ответил Темур.

— Или тебе думается, что в тюрьме лучше, чем здесь? — продолжал Илья. — Правда, здесь тоже, как в тюрьме. Надо что-то придумать, — говорил Илья, подставляя лицо солнцу.

Темур сидел на камне, подложив под себя свернутую бурку. Опустив голову, он рыл кинжалом землю и слушал болтовню друга.

— Чего ты молчишь? Почему не договорил, чему еще лиса детеныша учила? — спросил Илья, глядя на Темура.

— Не бросать детей в голоде и нужде, — ответил Темур, не поднимая головы.

— Кормилец сейчас из тебя, как из меня мулла. Другой выход надо искать. Погоди, пообтают снега, закудрявится лес, подымется кукуруза, покроются холмы земляникой, и подадимся мы с тобой в Россию, — мечтательно говорил мельник.

— Не пойду в Россию. Сына не брошу, жаль его, пропадет...

— Не сына ведь жаль. Ну скажи по правде? — спросил Илья.

Темур молчал, потом тихо сказал:

— Много женщин на свете — сын у меня один. Завидую тебе, Илья, одинок, не за кого тебе страдать.

— Завидуешь? Илье, вековечному батраку? Кабы мне твои глаза, да чуб, да осанку, да силищу — далеко бы я ушел.

С тоскливой ненавистью всегда рассматривал он свою изуродованную руку.

— Слышал я от стариков, когда был еще мальчиком, песню одну: про казака Яшку Алпатьева, который, разозлившись на начальство, сбежал в горы и наводил ужас на станицы своей удалью, храбростью и мужеством... — заговорил опять Илья. — Но жить в горах, среди скал и потоков, не слышать людской речи... Нет, при первой же возможности уйдем... уйдем в Россию.

Илья замолк, потом продолжал:

— Сейчас опасно в село показываться, Атарбек рассказывал — кругом казаки, старшина злой...

— Сейчас только и можно в село идти. Напугали их, не очень-то они храбры, вот если только казаки...

Разговор друзей был прерван резким пронзительным свистом. Темур вскочил, схватился за карабин. Илья выхватил кинжал. Но тревога оказалась ложной. К пещере подошел Атарбек. Довольный тем, что напугал друзей, он широко улыбался, таща на плечах упругий хурджин.

— Счастье в доме вашем, — приветствовал их Атарбек, сбрасывая с себя куцую пастушью бурку, под которой, оказалось, спрятана овечка.

— Нате, мать волки унесли...

— А ты дитя волкам приволок, — пошутил Темур. — Ой, не сбережешь ты головы, Атарбек... У нас еще копченого много, напрасно ты принес.

— Вы — гости мои. А кто в отаре копченой бараниной питается? — весело проговорил Атарбек, доставая из-под бешмета тонкий блестящий нож.

Овечка, поводя влажными глазами, спокойно лежала на земле и шевелила связанными ногами.

— Только вот соли я не принес, нет у нас ее. Ес-

ли бы взял последнюю — заметили. Сегодня мне в село идти, оттуда припесу.

Темур повеселел. Стал разводить огонь. Сухой валежник был свален тут же, рядом с «печкой».

Запылал костер, разведенный на плоском сером камне. На огне зашипело мясо. Атарбек ловко успевал поворачивать вертела, не давая своим гостям притрагиваться к шашлыкам.

— Пока вы мои гости — я угощаю вас. Придет время, и будете вы меня угощать, — шутил он.

Горячие кукурузные лепешки, испеченные тут же в золе, и густой кефир к шашлыку составили завтрак беглецов.

— И завтра меня не ждите, и послезавтра, — сказал Атарбек, уходя из пещеры.

— С тобой поеду... заезжай за мной, — промолвил Темур, стукнув Атарбека по плечу.

.
.
.

Залина вела урок арифметики.

«У одного помещика пахотной земли пятьсот десятин, лесу двести десятин, под огородом и садом сто десятин, а у восьмисот крестьянских хозяйств этой местности всего земли сто пятьдесят десятин.

Спрашивается, сколько земли падает на одну крестьянскую семью?».

Ноябрь подходил к концу, и за окнами летали уже первые снежинки. Сторож колол под сараем дрова. Залина, ежась от холода, с наслаждением думала о том, как после уроков будет греться у печки.

— Почему так много земли одному помещику? — спросил ее один из учеников.

— Богатые сами себе хозяева, — ответила она, глядя в окно.

— А кто им разрешает так много брать? — раздался вопрос с задней парты.

— Земля им принадлежит, — ответила она.

— Кто им дал эти земли? — спросил другой.

— Решайте задачу, не разговаривайте, — прикрикнула она на детей, — решайте...

— Мой отец с войны без ноги пришел, а земли у нас нет, — проговорил светловолосый мальчик и расплакался. Все дети обернулись назад, молча глядели на плачущего.

— Успокойся, — Залина положила руку на вздрагивающую спину мальчика. — Успокойся — зачем вы такие вопросы задаете? Задачу решать надо, а вы — земля да земля... Давайте, дети, листочки, хватит, — проговорила она, собирая листки бумаги: задачу эту дети решали не в тетради.

— До звонка у нас еще есть время, вы посидите тихо, а я вам сказку расскажу, — предложила она, подсаживаясь к столу, зябко кутаясь в накидку.

— Жил-был паук. Он любил питаться кровью. Мухам от него жизни не было. Он всегда ловил их в свою паутину и пожирал. Однажды мухи решили ему отомстить, потому что все равно им не было от него жизни. Сговорились они, когда начнет паук ловить их, то не надо им разлетаться в разные стороны, а пусть все останутся на месте и вступят в бой с пауком. Первые мухи погибнут, а остальные все равно одолеют паука.

Тогда большая муха с зелеными крылышками зажужжала и сказала:

«Ничего с ним один не сделаете, есть у нас родственницы — осы, жала у них острые, они никого не боятся, надо призвать их на помощь».

Так и сделали. Призвали ос на помощь и пошли походом на паука... Изорвали его золотую паутину и убили его в собственном доме.

— Про паука неинтересно, — перебил ее один из учеников, — расскажите про нарта Батрадза, как никто его победить не мог. А то пауки и мухи — это же не люди...

— Расскажу про Батрадза, — проговорила Залина, оглядывая озорные глаза своих учеников.

Теперь и Аслан часто ходил с ней в класс и молча, терпеливо выслушивал весь урок своей мамы-Залины. Вечерами, оставшись наедине, он всегда допытывался у нее:

«Разве земля, как мяч? Разве она кружится, как

юла? А почему я тогда не падаю? Ты сказала детям неправду... Тогда почему Михайла говорит, что земля сидит на двух больших-пребольших рыбах».

«Нет, Аслан, дитя мое, это неправда. Михайла сказал не так... Он сам не знает, на чем держится земля, а вот я знаю...»

В классе Аслан ни с кем не дружил, хотя Залина старалась его сблизить с детьми. Но мальчик был дик и нелюдим. Только при стороже учительница могла его заставить говорить.

— Про Батрадза... Про Батрадза... — просили дети. Но раздался звонок, и урок окончился.

— Завтра, — сказала Залина, — расскажу вам завтра, а сейчас пора домой.

Придя к себе в комнату, Залина затопила печь. Был уже вечер. Прижавшись к теплой стене печки, она дремала. Аслан спал. Михайла рубил под сараем дрова. Порошил первый сухой снег. Последние дни, особенно летние события в городе, разгром мельницы Сафа, разрыв Владимира с семьей и его слова, сказанные в последний приезд: «Наступают, Залина, великие дни» — все это не прошло бесследно и для Залины. Она знала, что народ устал, хочет жить хорошо, сытно, счастливо. Ждала приезда Владимира из города, чтобы узнать последние новости.

За окном была уже ночь. Снег перестал падать, небо прояснилось. Стало морозно, и в похолодевшем синем небе далеко мигали крупные одинокие звезды.

В это время, сидя вдвоем на одной лошади, к селу подъехали Атарбек и Темур.

Спрыгивая с лошади, Темур проговорил:

— Здесь меня найдешь, не запаздывай только...

Пробираясь задами, он дошел до школы и перелез через школьный забор. Хоронясь в тени деревьев, подобрался к окну и три раза стукнул в него. Когда открыли дверь, не сразу прошел в комнату. Долго вытирал в передней ноги обо что-то мягкое. Наконец, ставив папаху с головы, перешагнул порог знакомой комнаты. В сумрачном свете лампы белела постель Залины, а рядом — кровать Аслана.

Залина, протянув Темуру руку, улыбнулась и пригласила его сесть. В байковом ярком халате, в теп-

лых тапочках, опущенных заячьим мехом, с растрепанными со сна волосами, она показалась Темуру совсем девочкой. Маленькая теплая рука Залины, как ему показалось, сразу согрела его.

Залина встала на табурет и завесила окно плотным одеялом. Выкрутив в лампе фитиль и прибавив света, она еще раз улыбнулась и сказала:

— Раздсвайтесь, садитесь, грейтесь. У вас холодные руки...

Она первая села на табурет, который стоял между столом и постелью, заслонив собою детскую кровать. Темур сел на свое обычное место. Лампа разделяла их. Темур, как всегда, отодвинув ее к стене, молча всматривался в лицо Залины. Она тоже смотрела на него. Странно изменившимся показалось его лицо. Бледное лицо чисто выбрито, виски стали еще блее и три глубоких продольных складки пролегли по лбу, придавая всему лицу выражение затаенной физической боли.

«Если бы он умел так думать... так рассуждать, как Владимир», — подумала она и вдруг вспомнила слова Темура: «Если бы не ты — я умер бы давно». Какое-то озорное, детское чувство подхватило ее. Весело улыбнувшись ему прищуренными глазами, она встала, близко подошла к нему и, не вынимая из карманов халата рук, сказала:

— Вы не видели меня очень давно, почему же вы не умерли?

Он удивленно посмотрел, закрыл и открыл глаза, будто не веря в происходящее. И, как весной, забывшись на какой-то миг, он взял ее за локти и прошептал:

— Потому только, что живешь ты, — я не умираю...

И опять Залина почувствовала к нему нежность и жалость. Не понимая, хорошо это или плохо, она положила ему руку на плечо. Темур вздрогнул и посмотрел ей в глаза. Она провела ладонью по его лицу, ощутив желваки на его холодных щеках. Темур медленно отвел от нее глаза, облокотился на стол и, сдавив обеими руками виски, зажмурился.

А когда он открыл глаза, Залина вновь сидела на своем месте и смотрела на него.

— Спасибо, — сказал он, — пусть сегодняшнюю ночь я увидел во сне... Я ни на что не надеюсь... Если бы я даже не был абреком, разве могу думать о тебе?.. Разве простят тебе, образованной, если ты станешь женой временнопроживающего, бездомного, нищего... Разве простят?

Залина вдруг с поразившей ее ясностью поняла, что он прав. Чувство неприязни охватило ее. Ей стали противны и Сафа, и влиятельный покровитель Цо-раев, и даже Владимир. Она искала в своей памяти что-нибудь предосудительное в поведении Владимира и вдруг со злорадством подумала:

«Руки у него полные, как у попадьи, щеки розовые, как у женщины, а глаза, как осенний день, всегда одинаково серые».

И с чувством какого-то детского торжества подумала:

«А Темур очень, очень красив».

Она потянулась к окну, достала с подоконника плотную голубую тетрадь и сказала:

— Смотрите, это рисунки вашего сына: это — лошадь, которую он купит, когда вырастет, это — дом, который он обещает построить Михайле, а это — железная дорога и поезд, в котором он поедет учиться в далекие края.

Темур, не поднимая головы, рассматривал детские рисунки, и Залина заметила, что листы тетради дрожали в его пальцах.

— Пора, — закрывая тетрадь, промолвил Темур, — задержал я вас, уже поздно...

— Приезжайте, — сказала Залина и потрогала рукав его овчинной шубы.

Темур перешел через широкий школьный двор, обогнул улицу и вышел к большим сараям Саниат Гуларовой.

Холодная ночь искрилась серебром, тополя качали голыми ветвями. Вот у этого сарая, в маленькой хижине, жила когда-то его жена, Разиат. Темур подошел к плетню и осторожно толкнул подобие калитки — высохший прошлогодний плетень. Прямоугольник плетня плашмя упал ему под ноги. Звук ломающихся хворостин вызвал в душе его непонятную теп-

лоту. Вспомнилось далекое детство: дождливые осенние вечера, закоптелый очаг, треск горящих сучьев, морщинистое лицо отца, сощурившиеся от дыма глаза... И тогда жизнь была немногим лучше: безрадостная, голодная. Но ему, девятилетнему мальчику, было хорошо. Когда он бывал голоден, он любил засыпать, сидя на теплом камне очага, и думать о хрустящем, хорошо испеченном чуреке, картошке и... о таком шашлыке, который едят только богатые, — шипящем, сочном... За тоненькими, мазанными глиной стенками лачуги ветер пел заунывную песню. Мальчику казалось, что это поет не ветер, а его отец... Сгорбившись, плел отец сапетку, чтобы потом продать за пятак. В крошечной черной избе тихо. Покрываясь пушистым кружевом пепла, в очаге дотлевали угольки, и только одинокий язычок вызывающе поблескивал из-под пепла...

Теперь он стал абреком, но хотел жить, как все. Жизнь изгнанника угнетала его. Сильнее всего он чувствовал это весной. Как только проглядывала из-под снега взбухшая, полная жизненных соков весенняя земля, он с волнением растирал в ладонях комочки влажной земли, нюхал и даже пробовал на язык...

Горластый петух, громко кукарекнув, вывел Темура из забытья... Обжигающим холодом потянуло с гор, луна устало бледнела. В туманных сумерках рассвета уходила ночь...

Он опустился на топчан, оглядел хижину. Мучительно сжалось сердце.

Мелкая дрожь трясла Темура, болела голова, сладкая зевота сводила челюсти... Лицо Разиат, печально-красивое, стояло перед ним.

* * *

Когда Атарбек постучал, в доме Саниат еще не спали. Работник Мухар сразу услышал стук, но, натянув на плечи овчинный полушубок, притворился спящим.

«Шайтан их водит по ночам», — злился он, кутаясь

с головой. Вся работа в доме лежала на нем, и к ночи Мухар так уставал, что его соломенная постель на кухонном полу казалась ему мягкой травой на весеннем лугу.

— Шайтан их водит, — ворчал он, прислушиваясь к стуку и не вставая.

— Чтобы уснуть тебе навечно, — проклинала работника потревоженная стуком Саниат. — Иди, сходи, работника разбуди, девушка. Чтоб уснуть ему за-мертво!

Хадизат еще не спала. Услышав стук, она пасторожилась.

Сверкая золотым шитьем, лежал на ее коленях нарядный башлык. Восхищенно разглядывая его, она решила, что при первой же встрече отдаст его Атарбеку.

Услышав стук в ворота и зов Саниат, она выскочила и настороженно прислушалась, стараясь определить по стуку, кто может быть за воротами.

— Выйди, девушка, посмотри, — попросила Саниат.

Кутаясь в пуховый платок, Хадизат вышла во двор. Пробежав к воротам, она, не спрашивая «кто», торопливо отодвинула щколду. Атарбек, ведя на поводу лошадь, шагнул во двор. После того, как она поругалась с ним, назвав его трусом, он, боясь новых оскорблений, больше не заговаривал с ней и не смотрел на нее.

— Почему молодой пастух так мрачен? — вдруг спросила Хадизат, тихо засмеявшись. Она преградила ему дорогу и положила руку на лошадиную морду. Атарбек не вздрогнул от неожиданности. Только недоуменно посмотрел на нее, с удивлением прислушиваясь к ее смеху.

— Когда все уснет и запоют первые петухи, — произнесла она, до шепота понизив голос, — ты придешь под мое окно к липовому дереву... Приходи и жди... Я прошу...

Концами мягкой шали она игриво провела по его плечу, вплотную придвинулась к его лицу и, обдав его теплым дыханием, тихо засмеялась.

На вопросительный взгляд больной она ответила:

— Пастух с кутана, сейчас придет, — и прошла к себе в комнату.

Атарбек, как всегда, стал поодаль от постели больной и по порядку докладывал ей, сколько ждут ягнят и шерсти, сколько овец повредили волки, сколько ушло на еду и на жалование пастухам.

— Передай Иналу, пусть с должниками расплатится. Пастухам жалование выдаст и сверх того по барану... кукурузы, шерсти... А то и не таких, как я, громят, опереться не на кого... Дрис и сам сейчас не очень-то храбр... Сафа громили — так не пошел защищать. Говорят, спрятался, трус, — презрительно сказала она.

— От вас никто худа не помнит, за что вас громить, хозяйка? — промолвил Атарбек.

— Холопья благодарность всегда одна... Моей смерти ждете... — злобно сверкнув потухшими глазами, проговорила она и махнула на него рукой...

Каждый раз, видя кого-нибудь из своих пастухов, она начинала злиться и представлять все свои богатства, которым в бессильном отчаянии искала настоящего хозяина и не могла найти. Узнав, что Атарбек приехал за солью, еле сдерживая раздражение, сказала:

— Куда вы столько соли девааете? Чужого не жалеете...

В другое время Атарбек до тех пор разговаривал бы с ней, пока не успокоил бы ее подробным описанием жизни кутана, но сейчас ему было не до нее. Еле скрывая радостное волнение, он молча глядел мимо нее и думал о своем. Смех Хадизат звенел в его ушах.

— Покорми! — крикнула Саниат, вызывая Хадизат из её комнаты.

Атарбек отошел к стене и молча опустился на тахту.

В узком черном платье, перетянута в талии, в коричневом шелковом платке, Хадизат медленно открыла дверь и недоуменно взглянула на больную.

— Пастуха покорми! — бросила та и, кряхтя, повернулась к стене.

Атарбек слышал, как открылась дверь, как сту-

пая по ковру, прошла по комнате Хадизат, но не поднял головы. Он прислушался к мягким, неторопливым шагам, посмотрел на ее ноги. Узкая нога ее, обтянутая в красный сафьян, бесшумно скользила по ковру. Осмелев, он поднял глаза: Хадизат стояла у шкафа спиной к нему, держа в руках нож и хлеб. Солнечными пушистыми жгутами бежали по спине две ее косы.

«Закатные лучи на темной глади реки», — подумал он.

Она молча поставила около него фынг с хлебом, куском вареной говядины, соленым сыром и большой чашкой кукурузной браги.

Удивлению ее не было конца: Саниат никогда не кормила своих работников, тем паче в своей комнате, как гостей.

Повернув голову, Хадизат увидела, что Саниат полуобернувшись, со странным, каким-то новым выражением в глазах смотрела то на Атарбека, то на нее.

Встретившись с ней глазами, Саниат не отвела горящих глаз от глаз Хадизат. Хадизат оробела и, с минуту помешкав, спросила:

— Может быть, покушать вам дать... что-нибудь надо?..

— Ничего не надо. Просто смотрю и думаю, почему ты всегда такая злая, недовольная? Никогда не засмеешься, слова от тебя не услышишь ласкового... Вот человеку ужинать подала, а сама, как глухонемая, хоть бы слово вымолвила. Так и жизнь мимо тебя пройдет, не услышишь ее... Глухая ты, слепая, — роняла Саниат.

— О чем говорить мне с пастухом вашим? Не гость он, — ответила Хадизат...

А в это время в сельском правлении, подперев щеку ладонью, сонно моргая красными веками, старшина слушал чтение писаря. Постановление заседания городской думы гласило:

«а) Признать настоящее время тревожным, опасным, требующим принятия экстренных мер к успокоению граждан и охраны их личности и имущества.

б) Учредить временно в помощь полиции охрану, подчинить ее особому комитету, в состав которого войдет полицмейстер. .

в) Учредить комитет охраны из шести выборных думы, достойных лиц города.

г) Признать настоящую деятельность полиции не соответствующей потребностям переживаемого времени, просить начальника Терской области о побуждении к более активной деятельности по охране имущества и спокойствия граждан».

Дрис удовлетворительно крикнул и, потирая руки сказал:

— Давно бы так... Казаков бы сюда, сразу вся охота зариться на чужое добро пропадет...

Для разъяснения этого положения была сделана в отношении приписка, согласно которой старшина получивший данный документ, должен был немедленно явиться в город, лично к полицмейстеру.

Тревожность и опасность момента, будущее свидание с полицмейстером настроили Дриса торжественно. Он приказал глашатаю Хазби, который никогда не отлучался из правления, уведомить правленческого кучера, чтобы лошади были готовы. Старшина не хотел дожидаться утра, желая первым явиться в присутственное место.

Придя домой, он близко подсел к жене и в страшных словах нарисовал ей картину общего упадка правов, в особенности среди крестьян. В очень таинственной форме он передал ей, что везде, везде бунты и что старшинам в этих бунтах больше всех достается, а посему она должна все понимать.

Жена заголосила, но он, прикрикнув на нее, сказал:

— Я на рассвете в город еду. Гляди за домом, не отлучайся никуда. А вот это, — сказал он, передавая ей вчетверо сложенный лист бумаги, — это береги... С собой брать опасно, мало ли что в дороге может быть... В этой бумаге богатство Саниат... Смотри, чтобы в чужие руки не попало...

Это было завешание Саниат на имя Хадизат, которое Дрис выкрал у Хадизат в одно из своих посещений.

Дрис вышел на улицу. Было уже за полночь, прокричали петухи. Долго кружился Дрис у ворот Гуларовых. Всунув ключ в скважину, он, как всегда, дернул калитку, но она не открылась. Атарбек с вечера заложил дверь дубовым чурбаном и задвинул щеколду.

Огорченный Дрис постоял у забора и ушел. Было поздно, и стучать он боялся. Подумав, он решил, что Саниат перепугалась смуты, которая творится кругом, и велела запираться покрепче.

Но в доме не спали. Атарбек, уйдя в сарай, зарылся в сено, нетерпеливо прислушиваясь к каждому шороху.

Хадизат потушила лампу и припала лбом к холодному стеклу. Яркий лунный свет разливался по двору, и липа, разбросав голые ветки, далеко раскидала темные тени. Хадизат долго стояла у окна, всматриваясь в лунную тишину ночи. Боялась, что Атарбек не придет.

Переключались петухи. Медлительно-ленива была осенняя почь. Чувство смелой решительности, то, что дало ей силу назначить Атарбеку свидание, вдруг покинуло Хадизат. И в этот момент она увидела темную фигуру Атарбека, медленно шагнувшего через двор к дереву.

Чувство жгучего стыда охватило ее, она ухватилась за шпингалет окна, не имея сил отойти...

«Что он подумает?.. Что я скажу ему?»—мучительно думала она, разглядывая через стекло неподвижный темный силуэт пастуха.

И как бывало когда-то в детстве, когда с полной кадушечкой воды на спине она шла над бездной по узкой тропинке и, боясь оступиться, жалась к каменной стене горы, так прижалась сейчас к стене... А потом, с бьющимся сердцем, осторожно потянула раму и выглянула в окно.

Силуэт под деревом шелохнулся, но остался на месте. Тогда Хадизат схватила со стола башлык и, высунув в окно руку, прошептала:

— На, возьми... скорее. Для тебя шила.

Пересилив стыдливое волнение, она накинула на

плечи Атарбека башлык. Он поймал на своих плечах ее руки, повернувшись к ней лицом, зашептал:

— Иди... выйди... спушись... Я убью старшину... Убежим...

— Потом... в другой раз... Боюсь, иди...

Второй раз прокричали петухи.

— Когда еще увидимся? — шептал он. — Скажи!..

Вышитый золотом башлык переливался в лунном свете и сверкал на плечах пастуха.

7

Стояли первые дни декабря. Кружились снежные ветры, звенящие сосульки висели на длинных крестьянских бородах. В нетопленных хатах дрожали дети, прижимаясь к теплым телячьим мордам. Под летними сараями на каменных очагах, в холодной золе, пахохлившись, сидели куры, по худым спинам лошадей пробегала дрожь...

За селом на тысячу десятин тянулся лес. Девственно-молчаливый, спокойный, с белоснежной чалмой на голове. Столетние дубы, чинары, орех, кизил, липа и осина...

Тугановский управляющий Адулгери Шанаев, не слезая с коня, с плеткой, засунутой за ноговицу, привстал на стременах. Прислушался и зорко оглядел снег. За двадцать лет службы у Тугановых он научился узнавать следы крестьянских ног так же хорошо, как различать следы лесных зверей.

Всякие бывали следы: вот круглая маленькая дыра, будто кто-то невидимый вколачивал кол в окрепший наст. Первое время он принимал это за след шакальской лапы, но один случай раскрыл ему секрет. Однажды, объезжая в сумерках лес, он вдруг увидел, как на расстоянии десяти саженьей двигался гигант на худых, несуразно длинных ногах, с развевающимися черными крыльями.

Управляющий оробел, вспомнив не раз слышанную в детстве сказку о том, что живет в лесу лесной дух, который порой обходит свои владения, и горе тому, кто попадет под его обход. Он уже хотел было

бежать, но любопытство преодолело страх. А через две минуты, повстречавшись с «лесным духом», он увидел перед собой посиневшего от холода крестьянина с топором за поясом, в рваной черной бурке, которую он принял за крылья. Чтобы скрыть следы ног, крестьянин шел на длинных кизилowych ходулях. Обозлившись, управляющий выхватил плетку и неистово избил крестьянина. Крестьянин не взмолился о пощаде, но с налившимися кровью глазами, задыхаясь, прошептал:

— Волк и лисица, хоть и разные звери, а все же звери. Думал я, что ты лучше Амурхана. погоди же, когда придет день моего рассвета, я буду убивать — не бить...

— Запомни, что воровать нельзя! — кричал управляющий. — Наступишь сильному на ногу, он тебе на голову наступит. Понял? — и, вплотную подойдя к крестьянину, он встряхнул его, как пустой мешок, и отобрал у него топор.

Давно это было. Прошло много времени, а управляющий все держался.

— Крутой прав у него, — говорил про Шанаева помещик, — мужики знают его тяжелый кулак. Поэтому и лес мой такой же, как был двадцать лет тому назад. Ни разу еще не подвергался он хищнической рубке этих варваров.

Выехав на широкую поляну, управляющий соскочил с лошади. Сняв под собой снежные хрусталки, он припал к земле и прислушался.

— Нет сомнения — рубят... — произнес он вслух, весь наливаясь злобой.

Больше всего возмутило управляющего то, что стук топора был не робкий и приглушенный, как всегда, а уверенный и спокойный.

— У-у-ух!.. А-а-ах... У-у-ух... А-ах!.. — глухо раздавалось в прозрачном утреннем воздухе. Казалось, что человек рубил небывало большим топором.

Утоная в снегу, управляющий выехал на дорогу. Перед ним в сторону столетнего дубняка тянулась протоптанная, потемневшая широкая дорога. Он посккал по ней.

«Кто мог протоптать к дубняку такой широкий

след? Этот дубняк продан, но его должны срубить только в будущем году. Неужели помещик дал разрешение на рубку, а он, управляющий, не знает об этом?..»

Проскакав с полверсты, Адулгери остановился. Спазмы бешенства сдавили ему горло. Дубняк, который с такой любовью оберегал он, дружно валился на землю под ударами сотни топоров.

— Эй вы, собаки черной Дигории¹, остановитесь, что вы делаете? — закричал он, боясь подойти близко к лесорубам.

Завидев управляющего, первые ряды рубящих остановились. Голос управляющего окреп, и он подъехал к крестьянам.

Где-то жалобно пискнули потревоженные пернатые жители леса. Переполненный злобой, управляющий молчал, заранее придумывая, какое наказание дать этим бунтарям, самовольно рубившим помещичий лес. Но по мере того, как народ собирался в кучу, в нем пропадала уверенность.

И вдруг в воцарившейся тишине раздался высокий голос крестьянина:

— Ах ты, птичий рот, бычий живот, собачий ты сын, тугановский холуй! За жирный обед продал душу — вон пузо набил, как курган. А у нас дети замерзают в нетопленных хижинах... от кашля мрем... А ты хворостинку, валежника сучок не даешь унести... Лошадей поотбирал, топоров не оставил. Выслуживаешься! Так на, вот тебе, получи! — крикнул рябой крестьянин и, размахнувшись, ударил Шанаева уздечкой прямо в лицо.

Народ осмелел.

— Бей его, сучьего сына! Бей! — кричали отовсюду, окружая управляющего.

Стянув железным трензелем рот лошади, Шанаев пытался повернуть ее, но его, как мухи, облепили со всех сторон крестьяне. Каждый старался ударить его. Молодой статный парень, весь в лохмотьях, стащил управляющего с лошади, навалился на него и, награждая его ударами, закричал:

¹ Дигория — Западная Осетия.

— Это тебе за отца избитого. Это тебе за холод, который мы терпим. Это за топоры. Это за лошадей... А это за все, за все... — стараясь попасть ему в лицо, приговаривал парень.

По лицу Шанаева бежала кровь. Лисья шуба его была разорвана.

— Руби!.. Все руби! — кричали кругом, и в прозрачном морозном воздухе игривым эхом отзывалось: «би... би... би...»

— Ну, хватит, будет с него. Убивать его не стоит. За него еще, за гадость такую, под суд идти, — сказал, наконец, тот крестьянин, который выступил первый.

Грузный управляющий, избитый десятками дюжих кулаков, не мог сам подняться. Его подняли и посадили на лошадь. Он качался в седле.

— Смотрите, смотрите! — хохотала молодежь.

— Не слишком ли его напоили? Видно, богатая свадьба была!

— Может, еще поднести браги?..

— Ну, вы, тише! — прикрикнул на них рябой парень, пропуская вперед хорошо одетого высокого мужчину в коричневом башлыке.

Поднявшись на свежесрубленный пенёк, мужчина громко сказал, обращаясь к управляющему:

— От имени всех временнопроживающих поедешь и передашь Амурхану Туганову, что крестьяне сел Христиановского, Магометановского, Дур-Дур, Синдзикау, Салугардан срубили его дубняк потому, что им, их женам, матерям и детям было холодно. У него еще достаточно осталось топлива. Передай ему, что если он вздумает жаловаться начальству, ему будет еще хуже. Земля и лес наши... Скажи ему, что от имени всех велел это передать ему Темур Савкуев, которого он хорошо знает. Передай, что мокрый сырости не боится, пусть лучше простит, не то — добьем.

С этими словами он взял под уздцы лошадь управляющего, повернул на дорогу и, вытащив из-за пояса плетку, со всего размаху хлестнул лошадь. Она рванулась, управляющий, припав к ее шее, застонал..

.
.

Прищелкивая тонким сухим язычком, говорила знахарка Сали:

— Лес-дубняк весь вырубил, часть вывезли, часть оставили. Амурхан Туганов со старшиной, я сама видела, входили сейчас в калитку к Абасевым. А работник Сафа сказал мне, что из города вызвали казаков. Будут обыск делать. У кого найдут хоть одно дубовое полено свежего сруба, тех—в тюрьму. Вот я и поспешила к тебе, чтобы работник твой, боже упаси, по глупости не заташил к себе полена. Говорят, что крестьяне, боясь обыска, выкидывают эти дрова на улицу. Поберегись, Саниат, чтобы не было у тебя никакой неприятности. Ведь подбросят—и не укараулишь. Когда чернь злится, она, как потоп, не выбирает, куда ей воду вылить...

— Благодарна я тебе очень, не оставляешь ты меня заботой своей! — сказала Саниат, взглянув на Хадизат.

По глазам больной Хадизат поняла, что надо накормить знахарку. Когда Хадизат вынесла Сали копченое мясо и кусок курдюка, знахарка, заломив брови, прошептала:

— Нет, нет, Саниат, не за тем я пришла к тебе, не надо, и так много хорошего я знаю от тебя. Пожалуйста, не надо, — сказала она и спрятала мясо в подол.

— Запри ворота за этой ведьмой. Тьфу, противная... Да смотри, чтобы этих дров ворованных нам не подкинули. Говорят, казаки придут, сечь будут, — сказала Саниат, когда Сали ушла.

Хадизат редко выходила на улицу, чаще глядела она в щели заборов. Сейчас, закрывая за знахаркой калитку, она вдруг услышала шум.

— К Саниат!.. К сараям Саниат!.. Старая сова!.. Не подохнет!.. К сараям!.. — кричал бегущий впереди толпы сосед.

Хадизат сразу узнала его. У него пятеро дочерей, больная мать, жена, а земельный надел он получает только на свою «мужскую душу». Хадизат от всей души жалела эту полуголодную семью и часто через забор, отделяющий их дворы, давала им то тарелку

муки, то пемного молока, то кусок курдюка. Даже сыворотку из-под сыра пикогда не выливала, зная, что соседи съедят ее. А сейчас, увидев соседа с топором в руках, во главе огромной шумящей толпы, она испугалась и торопливо задвинула щеколду. Но в эту минуту с другой стороны дома к скотному двору, к кукурузным сараям kloкочущим весенним потоком ринулась толпа с топорами, вилами, лопатами. Ничего не понимая, Хадизат стояла посредине двора и недоуменно разглядывала ревущую толпу. Десятки топоров с ухапьем впивались в дубовые стены сараев, с петель срывали двери. Сверкая на солнце, сухая кукуруза, шурша, выливалась на мерзлую заснеженную землю.

С криком наполняя мешки и корзины, спотыкаясь и падая, взбунтовавшиеся жители и временнопроживающие тащили, били и ломали гуларовское добро...

Хадизат не убежала. Она не металась, не кричала, не бросалась на толпу, а пораженная, молчала, узнавая в толпе соседей и знакомых.

Как веяние легкого ветерка, где-то в подсознании проплыло острое чувство досадливой обиды, что нет в доме настоящего хозяина — мужчины, кто бы мог защитить их, двух слабых женщин, от бушующей толпы. В этот момент она увидела работника своего Мухара. У него в руках тоже был топор. Мухар стоял у большой кладовой, где были сложены мешки с мукой, готовясь разбить дверь, и, как всегда, хитро улыбался, глядя Хадизат в глаза.

— Что такое? Что вы делаете? — услышала вдруг Хадизат и, кинувшись на крик, увидела старшину верхом на лошади.

Народ замер. На какую-то долю секунды Хадизат повернула в то, что Дрис перекричит толпу и толпа покорится ему. В мгновенно наступившей тишине Хадизат увидела, как он выхватил оружие и, угрожающе потрясая им, закричал:

— Кровью захаркаете... Дождетесь казаков...

Эти слова явились сигналом к наступлению. Толпа дрогнула, взревела и, словно крутая волна в весеннем водоразливе, хлынула на старшину, стянула его с лошади и протащила по двору. В чьих-то

угрожающе поднятых руках мелькнула старшинская цепь, над толпой взлетел рукав его синей шубы, а коричневую каракулевою папаху его разорвали в клочья.

— К Дрису! В дом к Дрису!.. — крикнул кто-то, будто горящее полено бросил в стог сена, и толпа, крича, схлынула со двора Саниат.

Кирпичи, палки, топоры, лопаты, корзины — все, что попадалось под руки крестьян, все летело в дом старшины. Низкий крашеный забор палисадника был мгновенно снесен, кусты сирени порублены, ворота разломаны.

— Вот он... вот он!.. — взревел вдруг чей-то в судорожном кашле захлебывающийся голос, когда около лавки Сафа мелькнула крупная фигура лавочника Гамази.

Обитые жестью двери лавки захлопнулись, но ревущая толпа напирала на дверь. Одна ее половина со скрежетом подалась, и в дверях образовалась пробка из людей.

А через минуту большая керосиновая бочка, подталкиваемая десятками рук покатила по коридору и, тяжело ухая, упала на землю. Загremели ведра, тазы, бутылки. Серебристо-фиолетовая жидкость, застревая в узком горле крана, урча, расплывалась по запорошенной снегом земле. С яростным звоном летели стекла, веревки, сита, тюки материи, мешки с кишмишом и ящики мармелада.

Когда Хадизат опомнилась, она увидела, что Дрис, подобрав полы своей изодранной шубы, перепрыгнул через забор во двор к священнику и бегом пробежал к его дому...

Вечерело. Летали снежинки. Не зажигая света, Саниат и Хадизат всматривались в пооснепшие стекла окон. Обе молчали, по-разному переживая события дня.

Ночью нигде не зажигали света. Стояла робкая тишина. Потрескивали от мороза заиндеветшие деревья. Старшина, пугливо озираясь, вышел из поповского дома и перешел улицу. Он шел на почту. Хотя старшина относился к начальнику почты с чувством

предубеждения и исприязни, он шел сейчас к нему. С его приездом письма перестали поступать в сельское правление: старшина перестал ведать секретами села, а глашатай Хазби лишился своего привилегированного положения — разносчика писем. Но сейчас начальник почты был необходим старшине. Крайне тяжелые обстоятельства вынудили сегодня Дриса пойти к этому приезжему русскому. Не постучав, старшина небрежно толкнул носком сапога дверь и ввалился в комнату. Попав из темноты в освещенное помещение, он зажмурился. Стараясь казаться непринужденным, он спросил:

— Кто здесь начальник? Не видите, что ли?

— Ти-та-та, ти-та-та, ти-та-та,— раздавалось откуда-то с другого конца комнаты.

Старшина стянул марлевую повязку с головы (голова и уши у него были забинтованы). Он услышал шум отодвигаемого стула и ответ на свой вопрос:

— Я начальник. Что надо?

Дрис увидел в углу комнаты небольшой стол, на столе—спутанный ворох узеньких длинных желтых лент, серебристые чашечки, похожие на ниточные катушки, непонятные предметы, а под столом—корзину, в которую бесконечно сползали со стола желтые ленты.

— Ти-та-та, ти-та-та, ти-та-та,— раздавалось на столе.

Старшина с нескрываемым изумлением уставился на тикающий стол. Увидев поднявшегося со стула человека, он, преодолев свое изумление, принял важно-начальствующий вид и равнодушно пробормотал:

— Служить к нам приехал — начальству представиться надо.

Первос, что увидел Дрис, были светлые спутанные волосы и прищуренные в улыбке голубые глаза. В форменных брюках и синей сатиновой рубаше, сунув в карман левую руку, а правой застегивая ворот косоворотки, начальник почты отрекомендовался:

— Петров, Андрей Львович. Я пытался вас увидеть, но найти вас нелегко.

Глаза русского еще больше сощурились, и, как

показалось Дрису, светлые искорки смеха брызнули где-то в глубине больших светлых глаз, но тут же длинные ресницы, словно пряча этот затаенный смех, прикрыли глаза.

«Над чем он смеется?» — раздраженно подумал старшина.

Начальник почты предложил Дрису стул.

— Ти-та-та, ти-та-та, ти-та-та,— тикал все время столик, привлекая внимание старшины.

Не спуская глаз со стола, Дрис проговорил:

— Старшина я... данной местности... Плохое время... Столько патворили, что справиться собственными силами не могу...

Ближе подсаживаясь к столу и прислушиваясь к тиканию аппарата Морзе, понизив голос до шепота, он проговорил:

— Казаков... В город срочно кричи!.. Вызывай. Чтобы казаков немедленно...

— Ти-та-та, ти-та-та, ти-та-та—выстукивал аппарат.

— Раньше утра не могу... Испорчено сообщение. Вы сами знаете — везде погромы... оборваны провода, — спокойно ответил Петров.

В это время сторож-истопник принес в комнату дрова и сложил их у печки. Пожав Петрову руку и многозначительно взглянув на него, старшина ушел. Андрей Львович взглянул на спину сторожа, а потом, подойдя к теплой печке, опустился около старика на стул, и потирая руки, громко произнес:

— Ну, вот и хорошо... Казаков вызовут... обыски сделают, виновных всех поймают, всенародно высекут... осудят...

Андрей Львович выговаривал каждое слово медленно, будто смакуя его. Сторож, старательно запиная в печку дрова, молчал.

— Кажется, и твой сын лавку громил?.. Я видел его... — продолжал он, глядя на сутулую спину сторожа.

Старик выронил из рук полено, повернул голову в его сторону и прошептал:

— А тебе, русский, зачем людей в новые муки ввергать? Тебе ничего плохого они не сделали...

И Андрей Львович увидел, как по сморщенной старческой щеке поползла мутная слеза. Черной корявой ладонью старик провел по лицу, а потом, сморкнувшись в подол рваной шубы, стал неистово запихивать в печку дрова.

Положив большую белую руку на плечо сторожа, Петров тихо проговорил:

— Про казаков пока никто не знает... Может, кто и успел бы сбежать...

Старик снова выронил полено да так и остался неподвижно сидеть на корточках.

— Ну?.. Иди, — сказал Петров, поднимая с полу полено, — я сам буду топить... Иди...

— Ти-та-та, ти-та-та, ти-та-та, та-та,—будто отсчитывая время, постукивал аппарат, и в такт ему потрескивали дрова в печке.

Прислонившись спиной к горячей печке, Петров внимательно следил за стариком. Но глаза его теперь не улыбались и не шурились, сейчас это были совсем другие глаза, холодные, спокойные, и вместо искрящейся улыбки в них таилась тревога.

— Завтра, не раньше, как к полудню, казаки поспеют... Иди, старик, пора... Иди... Предупреди народ...

На пороге сторож оглянулся и пытливо посмотрел в глаза начальнику. Андрей Львович молча кивнул ему головой и отвел взгляд.

Когда старик ушел, он погасил лампу и посмотрел в темное окно. Чернее бурки стлалась за окном молчаливая, холодная ночь...

Двадцатилетний начальник почты прибыл в село в трудное время: рубили лес, громили дома и лавки. Властям было не до него. В чужом селе, в котором не было ни родных, ни знакомых, он скучал. Скучал по матери, по брату. Впервые разлучился он с ними на такой долгий срок. Сейчас, глядя в темноту ночи, он подумал о матери, о брате и обо всем случившемся за это лето.

«По-божьему поступил, сынок», — сказала бы мне мама. «Молодец, делай всегда так», — сказал бы мне Никита, если бы узнал, как я обманул старшину», — думал Петров.

Его волновали первые шаги самостоятельной жиз-

ни, но не хватало брата Никиты, который всегда умел все объяснить.

8

В нарядной столовой Сафа, за большим круглым столом, покрытым вышитой бархатной скатертью, сидели помещик Туганов, священник Харитон, старшина Дрис, Сафа и есаул Кулеш — старший помощник атамана Сунженского отдела. А с края стола, на краешке стула — сельский писарь. Он писал жалобу от имени помещика Туганова. Иногда Амурхан подходил к писарю и заглядывал в лист. Тогда писарь, заискивающе вскидывал свои безвекные глаза, как щенок на большого пса, и старался еще красивее выводить буквы.

«Начальнику Терской области от помещика Амурхана Туганова — прошение». Туганов просил «защиты против наглости темной толпы необузданных дигорцев¹, защиты полной», иначе баделятам придется бежать из своих имений.

Маленький шупленький есаул ходил по комнате танцующим шагом. Шапка с золотой насечкой, маленький серебряный кинжал, георгиевский крест, часы с массивной цепочкой, кольцо — все это легко звенело на нем. Так и хотелось взять его в руки и погремать им перед носом плачущего ребенка.

Помещик Туганов плохо владел русской речью, потому в составлении прошения наибольшее участие пришлось принять пону.

— Оградите, ваше благородие, наш приход от бесчинств. Самовольно земли пашут. Власти мягко обходятся с бунтарями... Недавно зачинщиков заключили в тюрьму, кое у кого описали имущество, а кое-кого просто испугали плетью. Но вы сами видите, к чему привели поблажки. Паства разбредется, не соберешь ее. Скрывающий вора — сам вор. А они друг друга не выдают... — многоречиво говорил священник, обращаясь к есаулу.

— Да, да, да... Батюшка прав: скрывающий вора —

¹ Дигорцы — жители Западной Осетии.

сам вор... Всех выдадут... Вот соберу сход, и все будет так, как надо, святой отец,—проговорил есаул и сел, облокотившись на эфес шашки.

— Воздастся тебе сторицей, дорогой Амурхан, вернешь ты все, что потерял,—сказал батюшка помещику.

Все задвигались, зашумели, громко заговорили. Сафа, видевший на своем веку многое, поднял руку и с присвистом (у него недавно выпал передний зуб) сказал:

— Тише, не шумите, пока нет казаков... Кто поручится, что таят холопы в своих душах?

— Забыли, как избили гизельские крестьяне начальника первого участка?..—перебил Кулеш Сафа.— А летом — алагирское дело...

И снова все притихли, слушая есаула.

— В Фаснале крестьяне разгромили рудообогательную фабрику Терского горнопромышленного общества, — вмешался Амурхан.

— Видно, придется попробовать им казачьих нагаек, — снова перебил есаул.

— А вы, господин есаул, не сказали еще о самом страшном. В Салугардане жители села предъявили местному священнику требование о возврате земли причта, — сказал старшина.

— Это что! — ответил есаул. — Я был на усмирении. Они требовали снятия цепи со старшины, но... хо-хо-хо... будьте уверены... теперь зареклись... Навсегда запомнили, как снимать цепь со старшины...

Дрис заерзал на месте и потрогал на груди цепь, которую он недавно спас с таким трудом.

Сурат робко приоткрыла дверь. Сегодня работники не прислуживали гостям, ужин готовился тайком, чтобы любопытная прислуга ничего не знала. Их всех разослали кого к родным, кого по делу, кого в отару. Гамази и писарь Николай накрыли на стол. Все ждали ужина, особенно батюшка, который любил вкусно покушать.

Подали румяный фыдчин¹, шашлык на вертелах,

¹ Фыдчин — пирог с мясом.

холодную баранину, кефир, приправленный чесноком и солью.

— Это специально для тебя, дорогой Амурхан, — сказал Сафа, указывая на холодную баранину и чесночную подливу.

...Мутная ночь сменилась прозрачным утром. А в большом доме Сафа давно уже начался день.

Спали только гости — есаул Кулеш и Амурхан.

Кулеш блаженно улыбался во сне, и острый кадык его под морщинистой худой кожей ходил то вверх, то вниз. Сквозь щели плотно прикрытых ставен луч солнца, играя пылинками, тоненьким золотистым лезвием ложился на вышитое шелковое одеяло, под которым громко храпел Амурхан Туганов — сперва низко, потом все выше и выше, и, наконец, дойдя до самой высокой нотки, он, как бы поперхнувшись, кашлял и шевелился. Вместе с ним шевелилось одеяло, и тоненькое желтое лезвие солнечного луча, лежавшего на одеяле, тоже меняло форму.

Дверь в кунацкую слабо скрипнула. В широких черных шароварах, в чуяках с подвернутыми задниками, Сафа на цыпочках шагнул в сторону Амурхана, который, услышав скрип двери, поднял голову.

— Доброго тебе пробуждения, уважаемый Амурхан, — приветствовал его Сафа, присаживаясь на край постели.

— Правы да будут твои дела, — ответил Амурхан на приветствие.

— Пришел народ... с русским пачальником говорить хочет, — прошептал Сафа.

— Не пойму, откуда им стало известно о его присутствии?

— Неблагодарные... Совесть у них черна, как кровь, — продолжал Сафа. — Вчера всех работников разослал. А все равно пронюхали и разгласили. Чувствую — быть неприятности. Не миновать нам беды...

Амурхан молча стал подниматься. Большими волосатыми ногами, испещренными синими жилками, он сердито встал на ковер и приоткрыл ставню на

улицу. Улица была затоплена народом. Народ стоял понурый, молчаливый, будто потерял дар слова.

Толпа все увеличивалась. Подходили со всех сторон. Молчали. Кое-где в морозном воздухе висел сероватый дымок, быстро растворяясь в прозрачной утренней синеве.

— Ха-ха, хо-хо! — громко засмеялся Амурхан.

Сафа кинул на него предупреждающий взгляд, указывая глазами на постель есаула, но Амурхан продолжал громко хохотать. Слезы выступили на глазах.

— Ох, уморил ты меня! Быть беде, говоришь? Смотри, вон вся беда тут собралась, сколько есть ее. Все тут. Сами пришли... Чувствуют, что такая джигитовка им даром не пройдет. У, сволочи, — прохрипел Амурхан. — Ха-ха-ха! Герои! Вы у меня теперь потанцуете. Хаты ваши на растопку возьму. Похаркаете вы кровью...

— Только прошу тебя, Амурхан, — волнуясь, перебил Сафа, — говори осторожнее. Лаской больше добьешься. Потом хоть ремни на спинах вырезай, только прошу тебя, сейчас осторожнее. Не доверяй этому молчанию... Знаю я их... Неосторожность может испортить все...

Громкий хохот помещика пробудил есаула. Сафа заметил, что есаул проснулся.

— Здравствуй, пожалыстам, ваше благородие, — гостеприимно приветствовал он гостя.

Он особенно тщательно выговаривал магические слова «ваше благородие». Ему было приятно лишний раз произнести эти слова, которые давали право его сыну-капитану бить своего денщика Иннокентия по лицу, присутствовать на парадном обеде генерал-губернатора Терской области, без доклада входить в кабинет начальника Терского областного жандармского управления и еще много других преимуществ...

Приветливо улыбаясь, как подобает гостеприимному хозяину, Сафа подал есаулу брюки, и тот понял, что пора вставать.

— Да-да. Да-а-да, — весело сказал есаул и вскочил, натягивая брюки на худые колени.

— Пожалыстам, ваше благородие, — говорил Сафа на ломаном русском языке, — в окно смотри. Чело-

век, много, человек хочет говорит. Пожалыстам, ваше благородие, пойдешь говорит, хорошо говори. Тихо говори, злой не надо. Тогда сам человек расскажет, кто абрек, кто нехороший слова про начальник русский говорит.

Есаул натянул на свои узенькие немощные плечи синий костюм и поправил на груди георгиевский крест. Стоя перед зеркалом он высоко поднял жиденькие желтые брови большим и указательным пальцами старательно собрал редкие волосенки бровей в одну тонкую линию. Он то хмурил брови, то ласково улыбался, обдумывая слова, которые скажет провинившимся крестьянам.

Отвечая на слова Сафа и на свои собственные мысли, он гордо поднял маленькую головку и сказал:

— Я очень благодарен вам, я знал, что не все осетины — враги, что есть среди вас настоящие люди. Но, уважаемый старик, вы мне советуете быть с ними тихим и ласковым. Нет, нет, нет! — воскликнул он, густо покраснев. — Быть с ними ласковым я не могу, какая тут ласка...

Амурхан широко улыбнулся на слова есаула и, глядя на узкое горлышко медного кумгана, из которого Гамази поливал ему на руки, сказал:

— Ты правду сказал, совершенную правду, не тихо надо, а громко... Стрелять надо, чтобы не забывали они, что лошади и быки пашут землю, а они должны погонять быков, чтобы те лучше пахали. Они должны понять, что самое большее, на что имеют в жизни право, это воздух, но и воздух мы отберем, если он нам понадобится... Ты правду сказал, господин есаул, — продолжал Амурхан, подняв бритую голову от медного таза с водой, в котором отражались его тучная грудь и округленный подбородок.

— Бо-ом, бо-ом, бо-ом!.. — плавно лились медные звуки, мешаясь с яркими лучами солнца и теряясь где-то далеко в синих холодных просторах утреннего неба. Было воскресенье. Никто не снял шапки, никто не крестился, а медные звуки все плыли и плыли... Утро было тихое, и из глиняных труб низеньких домиков, как легкие облака на весеннем небе, мягко сочился дымок, напоминая о тепле и вкусной еде

крестьянам, которые вот уже больше трех часов стояли у ворот Сафа в ожидании русского начальника.

Старики — в лохматых овечьих папах, в штанах из овечьей шкуры шерстью внутрь, в сыромятных шубах и сафьяновых чувяках, подшитых воловьей шкурой и устланных соломой. Молодежь — в одних бешметах, черкесках, кое-кто в войлочных шляпах. Грея ноги, они подпрыгивали на месте, молча глядя на красные ворота Сафа.

— Погоди, сегодня поважнее дела есть, чем молитва, — говорил старик, прислушиваясь к церковному благовесту.

— Почему бы ему не звонить? У него кишки с голода не звонят.

— Вот бы батюшку в мою нетопленную хату, тогда бы он другое зазвонил, — ответил стоящий рядом крестьянин, с лицом некрасивым, но исполненным решимости.

— Ты уж молчи, придержи язык на привязи. Увидит тебя Амурхан, сразу вспомнит и скажет: «А-а, вот зачинщик всего — абрек, всем абрекам абрек», — ответил ему один из стариков.

Наконец, в квадрате калитки показался Сафа в черной атласной шубе, отороченной черным каракулем. На свежем снегу четко отпечатывались следы его резиновых калош. Черная каракулевая шапка скрывала его угловатый череп. Его внушительная фигура и белая борода лежавшая на черном сукне черкески, его серые глаза, так прямо смотревшие на каждого, казалось бы, должны были вызвать желание рассказать ему обо всем, не утаив ничего.

Но при его появлении народ не побежал ему навстречу, никто не заплакал, никто не упал перед ним на колени. Только стало совсем тихо. Молча, гордо смотрел в глаза Сафа старик в белой сыромятной шубе, стоявший впереди толпы.

— Добрый вам день, — первым нарушил молчание Сафа.

— Да обретут твой дом и твои дети любовь народную, — ответил за всех старик и замолчал.

— Никогда не видал я у ворот своих подобного

сборища. Расскажите мне, чему я обязан этим, что это значит?

— Негостеприимный ты, знатный Сафа, не зовешь нас в дом, — опять за всех ответил старик.

— Нет у меня причин звать к себе столько гостей. Дочь замуж не отдаю, сына не женю, — ответил он.

— Богатства твои неисчерпаемы. Ужель испугался ты накормить обедом тысячу человек?

— Зачем пришли, говорите прямо! — резко прервал Сафа.

Старик погладил бороду, засунул большой палец правой руки за пояс, оглянулся на толпу и, подойдя к Сафа поближе, сказал:

— Слышал народ, что ночуют у тебя русский начальник и Амурхан Туганов. Ждут они казаков. Сечь хотят всенародно виновных, а виновных нет... Виноват только один. Один виновник среди нас, мы тебе его укажем, а народ избавь от позора...

Сафа впился глазами в лицо старика.

— Ну и хорошо. Укажите виновника, и все вам простится.

По толпе прошел шум, подобный тому, какой бывает летом, когда далеко в горах растают снега, заполнят высохшее русло и вода с грохотом катит камни, выворачивает с корнями деревья, стремительно несется вперед, оставляя в воздухе сухой шум. Пронесся над толпой ропот и замер.

— Виновник всему Амурхан Туганов! — четко говорил старик.

— Туганов Амурхан! Амурхан Туганов! Туганов Амурхан! — неслось отовсюду.

Толпа, безмолвно стоявшая целое утро, разноголосо закричала.

Но вот старик высоко поднял над головой ореховую палку, и все стихло. Вышел Амурхан, позадишли есаул Кулеш и старшина Дрис. Чмокая мягкими губами, Дрис сказал:

— Позор мне, я хозяин села... Как вы ведете себя? Зачем этот крик? Зачем сваливать вину на того, кто не виноват? Никто никого не собирается бить, сечь.

Сделаем так, чтобы возместить Амурхану и остальным пострадавшим убытки.

— Это невозможно! — раздался в толпе молодой голос.

— Тише, слушать меня! — разозлился старшина.

В толпе засмеялись. Смех прошумел и смолк.

Тебя слушали... пусть Амурхан скажет, чего он хочет?..

Перед затихшей толпой, уверенный в своей правоте, стоял Туганов Амурхан, подыскивая первое слово для начала своего выступления.

— Вы срубили мой дубняк, избили моего управляющего и меня еще обвиняете, — начал он.

— Лес не твой. Незаконно осел ты на землях дурдурцев, — перебил его громкий голос.

Через толпу протискивался сухой высокий крестьянин, которому быстро давали дорогу. Выйдя вперед, он стал перед Амурханом и сказал:

— Лес, земля — все, что ты имеешь — не твое это...

— Так, так, Шекер, снова я узнаю тебя. Ты давно подговариваешь всех дурдурцев, что я незаконно владею землей и лесом. Я знаю, прошение, которое подали вы князю Макаеву, знаю прошение, которое подали начальнику области. Мало того, что ты возмущаешь дурдурцев, теперь сюда пришел мутить. Ничего не выйдет из твоих сплетен. Запомни мои слова...

— Нет, Амурхан, не бывать этому, — вдруг закричал на него Шекер. — Дай срок. За все тебя отблагодарим...

Зашумели.

— Ах, вот как! Угрожать?.. Кто будет возмещать убытки? Собаки!..

Шум возрастал. Помещика никто не слушал. Он кричал. Тогда старик, стоявший впереди толпы, властно крикнул:

— Замолчите! Дайте ему сказать!

Крик старика прокатился по толпе, и шум, стих.

Амурхан, отступив шаг назад, ближе к калитке,

поднялся на камень и с багровыми пятнами на лице не говорил, а хрипел:

— Последний раз говорю вам: все убытки — возместить! Не то вы меня вспомните! — угрожал он. — Последнюю черепицу с крыш ваших поснимаю! Отцов ваших и сыновей вместо быков в плуги повпрягаю. Последнее платье с дочери сниму тогда!..

Помещик не договорил. Толпа загудела. В ворота полетели камни... Старшины давно уже не было, он побежал в канцелярию, ища стражников, но они куда-то исчезли. Везде было тихо... Тогда он забежал на почту и закричал на начальника:

— Ах ты, собака! Почему до сих пор казаков нет? Кричи в город скорей!.. Казаков!..

...Толпа шла по улице притихшая, торжественная... Впереди шел все тот же старик с белой бородой, по обеим его сторонам — Шекер и Темур... А сзади, со связанными руками шел бледный, с дрожащей челюстью, есаул Кулеш.

— Ты когда в город поедешь, ваше благородие, передай, что лучше народ защищать, чем одного помещика. Народ — сила, он не подведет, — говорил есаулу Илья. — Сам я русский. Казак я, двадцать лет живу среди них. Скажу тебе — мирный народ, сами вы их мучаете, жить спокойно не даете...

— Ты казак? — задыхаясь, спросил есаул.

Черноголовые юноши внимательно слушали, понимая из разговора только отдельные слова. Улыбаясь, они ближе подходили к Илье, хлопали его по плечу и говорили ломаным русским языком:

— Маладец, Еля.

— Да, казак я, — ответил Илья. — Видишь, кто-то народ предупредил, что из города вызвали казаков и что ты у Сафа ночуешь. Правда, не стоило брать тебя в плен, это неожиданно получилось, лучше тебя прикончить. Моя бы воля, я бы со всеми вами... — сказал он и выразительно подмигнул есаулу.

— Бом-бом! Бом-ом-бом! Бом-бом! Бом-бом! — летели звуки набата, торопливые, тревожные.

Толпа остановилась, народ в замешательстве бросился в разные стороны: кто бежал вперед, кто назад, кто протиснулся в проулок.

— Стой, стойте, — кричал старик, и оставшиеся сжались плотнее.

— Бу-ум-бом! Бу-ум-бом! — били тревогу колокола. Есаул мелко дрожал, ворот его шинели был порван, на одном плече не было погона. Шашка с золотой насечкой болталась на бедре темно-русого парня, который каждый раз, встречаясь взглядом с есаулом, похлопывал по шашке, что де конец тебе пришел.

Старик повернулся лицом к толпе и крикнул:

— Пленного есаула вести в подвал к Цебоеву, запереть там и караулить! — он пальцем указал молодым, которые должны были его отвести и сторожить. — Сторожите его, он будет у нас заложником. Выпросим у городского начальства взамен него бумажку, что никого сечь не будут и убытки возмещать не заставят. Тогда отпустим. Хорошенько сторожите! — пригрозил старик, а сам в сопровождении толпы двинулся к церковной площади.

Церковная площадь была залита народом. Здесь были женщины, дети, мужчины. Возбужденный гул стоял над толпой. А медные звуки — бом, бом, бум, бом, бум! — все плыли и плыли, наполняя сердца женщин зловещей тревогой за мужей и сыновей.

Церковь была переполнена. Мужчины и женщины, молодые и старики в этой тесноте стали равны. Попытки выбраться на улицу были безуспешны.

«Спаси от бед рабы твоя, богородице, яко еси по бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству. Призри благосердием, святая богородице, и исцели души моя болезни».

Отец Харитон вышел в новой блестящей ризе и фиолетовой скуфье. Он медленно махал кадилом. На покато́м маленьком столике перед ним в дневном свете слабо мерцали три свечи. Но народ не молился. Люди говорили о земном.

— Занял бы ты до лета мне мерку кукурузы, а то, боюсь, не дотяну до нового урожая, — говорил один.

— Что ты, бог мой! Один пастух с голоду умирал, другой у него за пазухой хлеба искал, как и ты. Сам не знаю, как перебиться.

— Ты знаешь, две жены — две беды, а трех жен иметь — без штанов ходить. Дернул меня черт на

третьей жениться, а она, как свинья. Нет моих сил их кормить. Прогоню всех...

А в другом углу, сидя на корточках, старая женщина говорила молодой:

— Что же я могу тебе посоветовать? Живи, будь с ним ласкова. Ты не семи братьев единственная сестра. Терпи. Некому за тебя заступиться...

— Погоди, горишь! — всполошилась молодая, хватая с пуховой шали старухи огарок свечки, упавшей с ближайшего подсвечника.

А хор пел акафист:

«Молю, дево, душевнос смущение и печали моя бурю разорити».

В нише с правой стороны, откуда хорошо был виден господь Саваоф на мягких белых облаках, закрывая друг друга и прячась от стариков, столпилась молодежь у большой иконы Георгия Победоносца, поражающего дракона.

— Конь — всем коням конь...

— Седла нет, — возразил другой.

— Долго на нем не удержишься, — сказал третий.

— Злой конь, нельзя ему довериться...

— Ну, положим, коню этому можно больше верить, чем твоей милой, — сказал первый, — ты на месяц ушел из деревни, а она другого полюбила.

— И не только его милой, — возразил третий, — женщине и лошади доверяться нельзя.

Сказав это, он сел на корточки и осторожно закурил, пряча огонь в ладонях. Маленький сизый дымок закружился над черной курчавой головой, но на дымок замахали папахами, и он растаял в общем ладанном дыме.

— Ты расскажи, что там ваша молодая? Как живет? Привыкла она к старшине? Ты, небось, ходишь к ней? — приставали товарищи к Атарбеку, который сегодня тоже пришел в церковь.

— Да ну вас, — огрызнулся он.

— Женщина, брат, что огонь — кого греет, а кого жжет.

— Старшину греет, а тебя, видно, обожгла...

— Чего ты злишься, Атарбек, или ты любишь ее?

— Вол воду пьет, а теленок лед облизывает, —

что горцы всегда боялись пушек и называли их «зеленая арба». Они безропотно покорялись непонятной злой силе этого громахающего маленького чудовища. Даже Уацилла, когда ему весной забудут принести в жертву белую курчавую овечку, не бывает так зол. Катаясь в своей колеснице, он только с грохотом носится по небесным просторам, мешая град с дождем, посылая черные тучи и блестящие молнии на скудные полоски крестьянской земли.

— Стой! С передков к бою!..

— По бунтовщикам прямой наводкой, угломер тридцать ноль.

— Наводить в правый срез красной крыши. Уровень ноль десять.

— Прицел тридцать.

— Трубка тридцать.

— За-ряжай!..

Начальник карательного отряда полковник Ляхов приказал дать четыре высоких разрыва по селению.

— Огоны!..

Посвистывая, полетел снаряд, прогрохотал где-то, как гром перед летней грозой.

Если бы было лето, на этот звук, может, и не обратили бы внимания. Но был декабрь месяц.

За километр от речки снаряд разорвался и с тяжелым уханьем ударился в отлогий берег. Серо-бурое облако дыма поднялось высоко над селом и через некоторое время растаяло в сверкающей голубизне неба. Шрапнельные пули, как горох, сыпались на красную крышу амбара.

— Боом-бум! Боом-бум! Боом-бум!—неистово кричали колокола.

В переполненную церковь ломились люди, хотя двери церкви были предусмотрительно заперты на железный засов. Народ, потеряв от страха рассудок, метался по площади в поисках убежища.

Старик-вожак, полчаса тому назад спокойно и уверенно отдававший приказания, теперь лежал с искаженным от боли лицом, зажимая рукой почерневший от крови левый бок. У ног его, хватаясь за полу белой сыромятной шубы, плакала девятилетняя девочка. Кровь текла по ее щеке.

«Дадá... Дадá... Дадá!..» — и она пряталась под шубу деда.

Тут же рядом сидел на корточках парень с шашкой есаула в руках. Он качался взад и вперед, как пьяный, и пытался встать.

Четвертый снаряд упал у самой церковной ограды. На церковной площади то там, то тут зачернели неподвижные скрюченные фигуры.

Стало тихо, совсем тихо... Тихо, как в полночь в глухой степи. Легкое облачко набежало на солнышко и потому вся левая сторона площади была ярко освещена, а правая пряталась в полутени. Раненые и убитые казались покрытыми серым прозрачным покрывалом.

Отряд полковника Ляхова въезжал в село. Прямо на площадь двигался конный отряд казаков. В наступившей тишине по мерзлым кочкам цокали подковы, спотыкались лошади.

Батюшка вышел из церкви. Народ бросился за ним. Всеми цветами радуги переливалась его новая риза, новенькая фиолетовая скуфья была аккуратно надета на голову. Маленькую иконку с изображением божьей матери с младенцем нес батюшка в левой руке, в правой он держал крест, говоря вслух, нараспев:

«Ты бо богоневестная, начальника тишины Христа родила, еси едина пречистая...»

Седая простоволосая женщина с диким криком прижимала к сморщенной щеке окровавленную девятилетнюю девочку.

— Простите мне, добрые люди, простите, что все-народно против всех обычаев оплакиваю я только свое дитя, позабыв об общем горе...

Площадь оцепили. Цокали подковы.

— Простите мне, старики и молодые, что смерть дитяти своего я ставлю выше горя общего... Дубняк она не рубила, лес у помещика не воровала, лавку не громила. Только девятую весну грело ее солнышко вечное!.. — причитала мать.

Старшина Дрис подходил к убитым и раненым. Родственники убитых становились отдельно. Они бу-

дут держать ответ за бунтарское поведение своих сыновей, отцов и братьев...

Короткое зимнее солнце блекло и торопилось скорее скрыться за гору. Казалось, что оно не хотело оскорблять своим сиянием тех, кто больше никогда не увидит света, не почувствует тепла. Разорванные черные тучи плыли с севера. Пошумел холодный ветер. Обледелыми ветками печально качал туютовник.

На площадь вывели освобожденного есаула Кулеша, без шапки, с оторванным погоном. Старшина Дрис старался развязать и вытащить из окоченевшей руки русоголового юноши серебряную шашку есаула, но рука убитого продолжала крепко держать шашку.

К отцу Харитону подошел полковник Ляхов и поцеловал крест. За ним подошли помещик Туганов, старик Сафа, старшина и есаул Кулеш.

Началось то, чего больше всего боялся народ. «Будут сечь. Сечь всенародно... умереть не позор. Но такая смерть...»

Слово предоставлялось начальнику экзекуционного отряда полковники Ляхову. Все молчали, потому что хорошо знали его...

9

Покойников не оплакивали. Никто ни к кому не ходил с соболезнованием. Нигде не закалывали на поминки скотину. Ночь была пуглива, тиха. Луна робко выглядывала из-за туч, то освещая протоптанные по снегу тропинки, то погружая их во мрак.

Хадизат доила корову. В высоком закрытом хлеву стоял теплый навозный пар. Она уже несколько раз бросала доить, прислушиваясь к каждому звуку. При каждом шорохе она вздрагивала, и тогда белые струи ароматного молока косо падали мимо ведра на влажную солому.

Дверь в хлев скрипнула. Хадизат быстро повернула голову. В хлев вошел мужчина. Хадизат вскочила, открыла рот, чтобы крикнуть, но в эту минуту вошедший подскочил к ней, обхватив ее за плечи левой

рукой, а правой зажал рот. Она пыталась сопротивляться, но, поняв что это напрасно, подняла на незнакомца свои большие, полные слез глаза.

Человек, припав губами к ее уху, прошептал:

— Молчи! Как бога молю тебя, не вздумай кричать. Я не сделаю тебе ничего плохого, я не оскорблять тебя пришел. Помоги мне спрятаться, Хадизат... Я муж Разиат, меня ищут казаки. Я друг Атарбека... Казаки бежали по моим следам... Не спрячешь — убыют.

— В вашем доме нет мужчины, сюда они не придут. Помоги...

Хадизат перестала плакать. Она поняла, зачем так поздно пришел незнакомый человек... Хадизат потянула его за руку, споткнулась о ведро, которое в страхе поставила в угол. Испугавшись звука, который издало падающее ведро, Хадизат остановилась и зажала рот ладонью.

В углу хлева, прижавшись к навозной куче, стоял еще один человек, но Хадизат теперь не боялась. Она молча подвела Темура к сему и шепнула:

— Прячьтесь оба.

Хадизат вышла из хлева с пустым ведром. Темур и Илья, прижавшись друг к другу, зарылись в пахучее сено.

Жует жвачку сытая корова. От ее близости пахнет приятным молочным теплом. Белыми крупными росинками лежит на желтых соломинках пролитое молоко. Ничто не нарушает тишину, только где-то в сене уютно копошится мышь, да тепло дышит корова.

— Уйдем к Атарбеку в отару, — шепнул Темур Илье. — Атарбек сегодня рано ушел из церкви. Я видел, как он уезжал...

Шумно вздохнула корова. Товарищи вздрогнули и теснее прижались друг к другу. Стихло.

— Сегодня нельзя, кругом караулы. Поймает Ляхов и пристрелит, — шептал Илья в ухо Темуру. — Молодая поможет. День-два здесь проживем, а потом — к твоему другу, — и он плотнее придвинулся к Темуру.

— Почему так долго не шла? — спросила Саниат вошедшую Хадизат.

— Никого во дворе нет, работник как с утра ушел, так и не приходил. Прибирала скотину, дрова наколола, чтобы теплее натопить тебе комнату, а то опять промерзнешь до утра... — ответила Хадизат, поправив свекрови подушку. — Страшно мне, — продолжала она. — На улице конные... Ловят, обыскивают. Боюсь я их, как бы к нам не пришли...

— А зачем им к нам идти? Разве сыновья мои лес рубили? Хорошо, что казаки подросли, а то бы еще что-нибудь... — говорила Саниат.

Хадизат опустила на край кровати, длинное черное платье широкими фалдами легло на ее коленях. Под черным шерстяным платком прятались ее непослушные кудри.

— А что же им делать, если нечего есть? — робко возразила Хадизат.

— Как что делать? — запальчиво сказала Саниат, приподнимаясь на локтях. — Им есть нечего, значит надо грабить чужое? Работать надо, а не разбойничать! — вскрикнула она, опустившись на подушки. — Повадь их только... Одна уступка, а потом пойдет. Шубу снимут, платок с головы сорвут. Молода ты еще, мало горя в жизни видела. Голода не испытала, — нервничая, продолжала Саниат.

— Я знаю, как голодают, — возразила Хадизат. — Знаю что уже в январе хлеба не бывает. Голодно и моим в горах... знаю я... — промолвила она и вдруг разрыдалась, закрыв лицо ладонями.

— О гормон, гормон, плачешь ты каждый раз, как малое дитя. Отчего им голодно? Калым за тебя немалый получили. Не умрут, — поблескивая впалыми злыми глазами, проговорила Саниат. — Ненадежная ты хозяйка, беспокойно я умирать буду... Растащут все, вплоть до надочажного камня... Плаксивая ты, ко всем жалостливая. Богатство тебя не радует. Ухватила я за тебя, как голодный пастух за кость. Эх-хе-хе!.. — вздохнула Саниат и, кряхтя, повернулась к стене.

Затихла и Хадизат. С треском горят в печке сухие чинаровые дрова, да щурясь, тепло мурлычет кот.

В большой квадратной комнате, увешанной коврами, устланной цветными войлоками и крашеными

циповками, уставленной блестящей медной посудой, было нарядно, но Хадизат смотрела на все равнодушно, ничему не радуясь, ничем не возмущаясь.

«У, какая гордая, — со злостью думала Саниат, глядя на Хадизат, которая прибирала комнату, переставляя посуду и поправляя ковры. — Ишь, какая богачка. Можно подумать, что ей недостаток оскомину набил, ничему не удивится, ничего не спросит».

А Хадизат хотелось разозлить свекровь, но она не знала, как это сделать... Она молча, прислушиваясь к треску горящих дров, убирала комнату.

Вдруг тоскливую тишину нарушили глухие звуки, донесшиеся со двора, будто стучали в дно пустой бочки.

Хадизат подбежала к окну, бросилась к двери, к печке и, подскочив к свекрови, сказала:

— В ворота стучат. Научи, как быть?..

— А почему так побледнела? Чего испугалась? Не бойся! Пока Дрис жив, не обидят нас, — сказала Саниат и велела ей пойти и узнать, в чем дело.

Высоко в небе сиял месяц, бросая холодные голубые лучи на заснеженный тутовник.

Стучали настойчиво и громко.

Подобрав подол длинного платья, Хадизат в несколько прыжков очутилась у хлева, и, повесив на двери большой замок, спрятала ключ тут же под камнем.

Она спустила платок ниже на лоб и, спокойная, гордая, сама не зная, чем гордилась, прошла к воротам.

Стук повторился.

— Иду, иду, не ломитесь. Постыдились бы в такой дом стучать! — громко сказала она, подходя к калитке, а сама удивилась своему голосу, такому уверенному и твердому. — Тише вы там! Хозяйка этого дома не заслужила того, чтобы в такую пору так стучать в ее ворота, — и подойдя к калитке, но не открывая ее, она спросила:

— Кто?

— Я, открой, Хадизат, — раздался за воротами шепелявый бас старшины.

Холодящий озноб испуга пробежал по всему ее телу.

«Что мне делать? Как обмануть старшину?» — мелькнуло в голове.

Стукнув копытом мерзлую землю, храпнула лошадь. Говорили по-русски. Хадизат ничего не понимала. Секунды казались ей вечностью. Открыв калитку, она вспомнила, как еще маленькой девочкой была с дедом в лесу. Дед рубил дерево, а высоко на этом дереве было свито орлиное гнездо. Орлица вместо того, чтобы улететь, все время низко кружилась вокруг дерева, а потом, вдруг, как подстреленная тяжело опустилась на траву около деда и подняла на него свои круглые влажно-блестящие глаза. И тут дед, бросив топор, сел на корточки, улыбнулся и сказал: «Слава создателю мира — как разумно устроено все. Мир не существовал бы, если бы не согревала его любовь матери... Смотри, эта свирепая птица, боясь за своих орлят, сама сдается в плен, чтобы только сохранить им жизнь. Уйдем, Хадизат, пусть живет она со своими детками».

Так сказал тогда дед, оставил недорубленное дерево и ушел.

Почему сейчас вспомнила Хадизат именно этот случай, она не понимала, но углы ее неприветливых губ тронула улыбка. Открывая калитку, она решила: «Его надо обмануть».

— Я думала, чужие. Почему надо было так шуметь? — непривычно тепло сказала она Дрису. — Целый день ждала тебя старуха, думала, успокоишь ее, — прошептала она, закрывая за ним калитку.

— Подожди, — сурово молвил старшина, остановив ее, — там люди...

— Люди?.. К нам?.. Так поздно? Думала, придешь, успокоишь старуху...

Старшина был трезв.

— Скажи им, пусть уйдут. Не оскорбляй дом старухи при ее жизни такими посещениями, — проговорила она властным тоном.

Черный платок сполз с ее головы. Точно вырвавшись из заточения, упала на белый высокий лоб куд-

рявая прядь. Пробиваясь сквозь сетку ветвей, круглый месяц всматривался в ее бледное, тонкое лицо, которое было так красиво, что старшина не мог вымолвить слова и, пораженный, смотрел на нее, словно видел ее впервые.

— Ну, идем, замерзла я... — шепнула она, перебив отвращение, взяла его за обшлаг шубы и, принужденно улыбаясь, сказала: — Не жалко тебе меня, идем... Видишь, замерзла...

Старшина был поражен.

«Что ее заставило со мной разговаривать?» — подумал он.

— Отошли людей, запири калитку, — приказала Хадизат и потянула его.

Старшина вздрогнул.

Он вышел на улицу. Хадизат слышала, как он что-то сердито и долго говорил по-русски, а потом добавил по-осетински:

— Сюда никто спрятаться не мог. Сюда никто не заходил. Дом этот — сундук.

Старшине ответили тоже по-осетински:

— Сундук тоже можно открыть, но раз ты говоришь, что здесь никого нет, пусть будет так.

— Поезжайте, обыскивайте дальше, я догоню вас, — ответил старшина, запирая за собой калитку.

— Чего вы их там жалеете? Были пушки, надо было стрелять и все, — сказала Саниат, увидя вошедшего старшину.

Старшина с довольным видом потирал руки у горячей печки:

— Пока я жив, тебя никто не тронет. Ты никогда ни о чем не беспокойся.

— Никто не тронет?.. — взвизгнула Саниат, — Сарай разнесли, амбар мучной разгромили, картофель из погребов на мороз выкинули, ульи растащили, а мне хохотать? — шипела она, бросая колючие, хриплые слова. — Как же. Защитник!.. — и она закашлялась, — ища глазами Хадизат, чтобы та помогла ей подняться.

— Сам царь, министры, полиция ничего поделать не могли. По всей России так... Самому царю смертью

грозили, а ты — амбары да картошка. Слава богу, у вас еще легко обошлось. А меня и вовсе разгромили, — говорил Дрис, вздыхая. — Весь дом растащили, чуть самого не убили. Ну, теперь, слава богу, смуте конец. Казаки поспели. Похаркали бунтари кровью... Ничего, — сказал он сам себе, — напугали кстати, а то разбаловались...

— Что разбаловались — это так, — сказала Саниат, повернувшись к нему. — В прошлом году земля моя, что под картошкой, так на целых два аршина и с той и с другой стороны перепажана была. Межи вспашут, камни перенесут — и поди придерись. А на огороде, ты думаешь, почему я каменный забор построила? Каждый раз, как плетут плетни, обязательно перенесут колья на пол-аршина. Восемь вершков каждую весну воруют. На границе у меня слива росла, так она теперь не у меня, а у соседа в огороде оказалась.

Старшина нетерпеливо слушал жадный старческий лепет. Ему хотелось поскорей избавиться от всего, чем полон весь прошедший день.

— Замерз я, Саниат, отогреться нечем у тебя?

— Ну как же, как же, — заторопилась она и громко позвала Хадизат...

Дрис сидел на низеньком стульчике около постели Саниат. Хадизат подала фынг, полный всяких яств. Подав ужин старшине, Хадизат вышла во двор. Быстро пошла она к хлеву, отперла дрожащими руками замок и, подавая темный сверток, зашептала:

— Казаки ушли от нашего двора. Вот... — и она бросила им две бурки.

Хадизат знала, что Саниат никогда не простила бы ей, узнав, что она сняла с траурной стены для каких-то бунтарей-голодранцев курчавые, смолой отливающие бурки. Но сейчас ей было все равно. Жизнь этих двух незнакомых людей, попросивших у нее, у слабенькой, убежища, была ей дороже всего. Она чувствовала в себе прилив какой-то новой силы и упрямства и решила их защищать во что бы то ни стало, хотя бы ей, как той орлице-матери, пришлось добровольно идти на смерть.

Когда Хадизат вернулась в комнату, охмелевший

старшина с красным носом и посоловевшими глазами что-то доказывал Саниат.

Увидев Хадизат, они замолчали. Она прошла к себе в комнату, и вдруг впервые за все время пребывания в этом доме ей захотелось громко смеяться. Ведь она обманула и казаков, и старшину, и старуху...

Подойдя к зеркалу, она сняла с головы платок и тряхнула мягкими светлыми кудряшками. Она внимательно рассматривала свое лицо, будто видела его впервые. Сегодня ей хотелось видеть Атарбека. Погордиться перед ним своим умом, посмечь прилажаться к нему и сказать:

«Все делала ради тебя: и руку подала ненавистному старшине, чтоб отвести его от обыска и спасти твоих друзей. Все могу сделать ради тебя, чтоб улыбнулся ты мне, чтобы назвал своей...»

— Обманул ты мои надежды, Дрис,—донесся до Хадизат голос Саниат, и она отскочила от зеркала.— Молодая, сам видишь, наследника моему богатству не принесла. Не собрались почетные старики со всего села, чтобы дать моему внуку достойное имя.—И, блеснув глазами, кашляя, села Саниат на кровати, накрыв плечи платком.— Боюсь, умру скоро, а хочется увидеть наследника, который понесет в потомство мое имя, честь и славу моего богатого рода.

Саниат говорила теперь так громко, что голос ее пугал Хадизат резкостью и злостью.

Старшина, опустив голову, тупым перочинным ножом виновато царапал деревянный столик, а потом, втянув шею в плечи, недоуменно развел руками и сказал:

— Молодая капризна... Подойти к ней нельзя...

— «Подойти нельзя»,—передразнила его Саниат.— С целым селом справился, а девчонка отшвырнула тебя. Не пеняй на меня, старшина, если я найду другой выход...— сказав это, она опять закашлялась, сжала тонкие губы и с ненавистью в глазах проводила старшину взглядом в комнату Хадизат.

— Убитые есть?—спрашивала Хадизат у Дриса.

— Семнадцать убитых, двадцать три раненых. Двадцать арестовали. Да вот, собачья сыть, главные ушли. Из допроса арестованных выяснилось, что во

всем виноваты мельник старика Сафа да этот временнопроживающий абрек Темур. Это они подбили народ взять в плен русского начальника, — рассказывал старшина, с нескрываемым восхищением глядя на Хадизат.

— Ой, как страшно! — промолвила она, — страшно даже оттого, что живешь в одной деревне с такими бандитами.

— Тебе не должно быть страшно, — произнес Дрис. — Ты для меня все. Я все сделаю, чтобы тебе жилось спокойно. Все твои желания для меня — закон. Да, забыл я сказать что среди убитых — работник ваш.

Хадизат вздрогнула.

— Какой? — тихо спросила она.

Сделав над собой усилие, она деланно равнодушно сказала:

— Знаю — сама целый день убирала двор, скотину. Он ушел и не вернулся...

Со страхом ждала она, что старшина скажет, что убит вовсе не Мухар, а пастух Атарбек. Старшина внимательно посмотрел в глаза Хадизат, но она ничем не выдала себя.

— Значит, хотел умереть, если пошел вместе со всеми. А ведь мог жить, — проговорила она и замолчала.

Глядя на нее, старшина сказал:

— Спасибо казакам, благодаря им я услышал твой голос. Ты помирилась со мной?

Он попытался ее обнять, но она вспугнутой птичкой отпорхнула от него к двери, холодно посмотрев на него, сказала:

— И кто мог поставить тебя главой над селом? Какой же он, если ты такой? — сказав это, она шагнула назад в дверь и заперла ее на ключ. Старшина ткнулся в дверь, но она не поддавалась.

— Пойду, посмотрю... не забыла ли запереть ворота, — тихо сказала Хадизат на вопросительный взгляд Саниат.

Морозная ночь тихо поскрипывала. В высоком, холодном небе, оставляя серебристые следы, падали большие звезды.

— Кто идет, стой! — раздавалось в тишине.

Хадизат приложила щекой к двери хлева. Тихо... Тяжело дышит корова. Она отошла от хлева и подняла к небу белое, при лунном свете, чуть голубоватое лицо.

«Что это? — глядя в далекое, расшитое серебром небо, вопрошала Хадизат. — Будто все бедняки сговорились... Да голодать разве легко? Как-то там мои живут? В это время у них уже не бывает хлеба», — думала она о своих, вспоминая горы и слова деда: «Разозлится когда-нибудь земля и силой своей убьет тех, кто портит людям жизнь».

«Был ли Атарбек с ними или испугался так же, как в ту ночь, когда ушел от меня и больше не пришел? — думала она, тоскуя по нему. — Неужели нет на земле человека, который мог бы спасти меня от этого унижения?.. Сним, с Атарбеком, я могла буйти куда угодно, даже в ад, где грешники ходят по остриям наточенных кинжалов».

Она присела на скамью под липой и улыбнулась: «Пусть, пусть посидит старшина за закрытой дверью. Поздно, стучать он не посмеет, а я его раньше утра не отпущу. А завтра, может, уйдут казаки, тогда пусть... лишь бы спасти их сейчас».

— Стой! Кто идет? Стой! — раздавалось за воротами. Жестко скрипел снег. Село было окружено. Экзекуционный отряд полковника Ляхова шарил в поисках «бунтарей» по чердакам, хлевам и сараям.

Глухое безмолвие декабрьской ночи пугало Хадизат. Белая зловещая тишина была так страшна, что она приоткрыла калитку и выглянула на улицу. Выли собаки, цокали подковы казачьих коней, скользя по гололедице.

— Кто иде-е-ет? Сто-о-ой! — металлически звенел голос в замороженной тишине ночи. Страх обволакивал село. Света не зажигали.

На церковной площади огромным распятием маячила виселица.

10

Залина подошла к столу, оторвала от ученической тетради листок и набросала Владимиру телеграмму:

«Владикавказ. Святополковская, 12, доктору Абаеву. Убедительная просьба приехать. Залина».

Свернув телеграмму, она подошла к окну. Было еще рано. Над селом занялось затянутое хмарью утро. В белесом затуманенном небе висел бледный лохматый шар солнца. Косматые от инея деревья были нежно-белы и курчавы, как ягнята. Залина натянула на плечи пальто, повязала голову белым с золотым шитьем башлыком и вышла во двор.

— Детей нет?.. Никто не пришел, ни один? — тревожно спросила Залина.

— Детей? — удивился Михайла. — Каких детей? Отцов на Голгофу посылают, а дети в школу придут?.. Да что это вы, Александровна, видано ли?..

Она торопливо прошла школьный двор и обогнула площадь, где лицами друг к другу висели двое казненных крестьян.

У сельского правления в двойном кольце плотно стояли с перевязанными назад руками обвиненные в бунтарстве крестьяне. Кони нетерпеливо били копытами землю, вскидывая головами и извергая из ноздрей густой белый пар. Казаки в овчинных полушубках и в папах ждали приказа к отправке. Вся улица была заполнена народом. Полковник Ляхов согнал с каждого двора по одному человеку, чтобы подписать «общественный приговор», вынесенный крестьянским сходом. Старшина Дрис деловито появлялся в дверях правления, вызывая очередного.

Добежав до почты, Залина еще раз оглянулась на затопленную народом улицу, на заплаканных женщин с грудными детьми на руках, на старух, одетых во все черное. Она толкнула дверь и у порога встретилась с Петровым.

— Только хотел к вам идти, Залина Александровна, — проговорил начальник почты. — Сегодня третий день, как пришла вам посылка из города. Простите, я не сумел вам ее доставить. Занят очень. Один, отойти мне от аппарата нельзя... То в город, то из города депеш...

Он назвал ее по имени и отчеству и, улыбнувшись одними глазами, взял ее руку и сжал в крупной жесткой ладони.

— Ваше благородие, прошу познакомиться, это здешняя учительница, — сказал Андрей Львович, беря Залину за руку, как берут маленьких детей.

Залина увидела за перегородкой у столика, на котором был установлен аппарат Морзе, маленького щупленького офицера, перелистывающего какие-то бумаги. Это был есаул Кулеш, два дня тому назад плененный жителями, а сейчас вместе с полковником Ляховым участвовавший в обысках и арестах. Почта была закрыта для частных операций; казак стоял у двери, а Кулеш диктовал Андрею Львовичу срочную депешу.

— Простите, ваше благородие, я сейчас. Учительница пришла за своей посылкой...

Сказав это, Андрей Львович еще крепче сжал ее руку и подвел к Кулешу.

— Рад познакомиться, — сказал Кулеш, вскакивая и звеня шпорами.

«Какая посылка?» — подумала она и, подавая Кулешу руку, посмотрела Андрею Львовичу в глаза.

«Окажись умницей, пойми меня», — казалось, говорили голубые глаза начальника почты, и Залина, сама не зная почему, промолвила:

— Да, пожалуйста, я пришла за посылкой... Подайте эту телеграмму доктору Абаеву...

— Никаких частных операций сегодня не производится, — проговорил Кулеш. — Но доктора Абаева знаю... Был в гостях у его отца, замечательный старик. Что ж, очень рад познакомиться, — снова сказал он, щелкнув каблуками, и приложил к виску маленькую, как у женщины, руку, а затем придвинул ей стул.

— Нет, не могу... тороплюсь, — проговорила Залина, протягивая Андрею Львовичу текст телеграммы и беря у него посылку.

Смутьившись присутствия мужчин, Залина, не прощаясь, сконфуженно улыбнулась и сказала уже у двери:

— Благодарю вас...

У церковной площади она отвернула голову и пробежала, будто за ней гнались. Башлык сполз с ее головы, одну перчатку она потеряла и маленькими по-

красневшими пальцами крепко прижимала к груди посылку. Две вороны, важно шествуя, быстро и жадно клевали мерзлый снег. И, как это бывает в такие минуты холодающего страха, вороны на секунду отвлекли внимание Залины от виселицы, и, приостановившись, она подумала:

«Что они клюют, что может быть съедобного на мерзлом снегу?»

Она нагнулась, но ворона продолжала клевать, перелетев чуть дальше. Ярко-красные бусинки, будто дети из кузовка просыпали калину, были рассыпаны по снегу.

— Кровь, — отшатнувшись в ужасе, прошептала Залина не губами, а бьющимся сердцем. Пересекла улицу, пробежала школьный двор, ворвалась в кухню и, бросившись на грудь старому сторожу, задыхаясь, прошептала:

— Кровь, Михайла, кровь!..

— Кровь, доченька, кровь, — дрогнувшим, незнакомым для Залины голосом проговорил старый солдат, прижав ее голову к лохматой, табаком пахнувшей бороде. — Это кровь, доченька, святее той, что пролита на Голгофе... Ей, этой крови, дочка, молиться надо... Помню... Давно это было, еще при Скобелеве, молодой был, — не выпуская ее головы, промолвил старый сторож, — тогда мы с турком бились... Был у нас в роте солдат, Григорий Медный, — кличка ему такая между солдат была... Худой, шуплый, ломаный, весь поротый... От ефрейтора до офицера — все на нем пробовали силу своих кулаков. За человека его не считали, в солдатские ряды не ставили. Вот и случись однажды в бою такой момент. Пришел роте час, что край нужно кому-то умереть, иначе бой взять нельзя... Пошел тогда Гришка и умер. Мы взяли верх над турком, а кровь гришкина впиталась в землю... И унесли мы эту кровь солдатскую в тряпицах да в ладонях зажав... — говорил сторож тихо, будто громким словом мог оскорбить память старого солдата. — Святая кровь, доченька, святая... Не за себя Гришка умер, не за себя страдают и эти, — проговорил он, выпустив ее. — Да вон... ведут их, гляди! — сказал сторож, прикивая к окну.

Повели через село по заиндевавшему декабрьскому снегу необутых, со скрюченными на спине руками, с обнаженными, бритыми головами, повели их в густой туман, в скорбную мученическую даль... Сжав кулачки, Залина, стояла у окна и видела, как маленький офицер, изогнувшись на спине лошади, хлестал нагайкой по бритым головам.

— Михайла! Михайла! Смотри... это он, Кулеш. А я ему руку подавала... Я знакомилась с ним только что, — шептала она, глядя вслед уходящим.

И показалось Залине, что все застыло в ледяном оцепенении и солнце никогда больше не согреет землю.

Не отходя от окна, Залина попросила сторожа:

— Прошу вас, Михайла, сходите к Абаевым, найдите старика Сафа и скажите ему, что я прошу у него подводу до города. Только сейчас, сию минуту. Не вечером, не завтра, а сейчас...

— Что так, вам еще долго надо заниматься, — напомнил он. — Каникулы рождественские еще не скоро...

— Батюшка разрешил... все равно дети сейчас не ходят, — ответила она. — За Асланом посмотрите, Михайла, от себя никуда не отпускайте...

— Знаю, не впервой нам с ним вдвоем ночевать, — ответил старик, — накинув на плечи овчинный тулуп.

— Попроси старика... скажи, что мне очень надо в город, очень...

— Ладно, ладно, что это тебе загорелось?.. Сию секунду в город.

«Что за посылка?.. От кого она?.. — подумала Залина и взяла ее со стола. Торопливо вспоров ее, она увидела, что посылка еще раз зашита в кусок серого плотного материала. Она собиралась было распороть и внутреннюю подшивку, но увидела приколотый к посылке маленький белый конверт, на котором было написано: «Учительнице Залине». Вскрыв конверт, она прочла.

«Я в селе новый человек, никого не знаю. Про вас говорят так много хорошего, что в трудный момент обращаюсь к вам, как обратился бы к старому на-

дежному другу. Спрячьте «посылку». Там книги. На почте может быть обыск... Если эти книги попадут в руки к полковнику Ляхову, то на церковной площади прибавится еще одна виселица. От вашей честности зависит не только одна моя жизнь, но и много жизней прекрасных и нужных... Спрячьте книги, сберегите их. В самом худшем случае, если меня увезет есаул Кулеш, «посылку» передайте только моей матери — Сухое русло, 4. Верю вам и знаю, что и вы верите в то светлое грядущее, во имя которого сейчас по снежному кровавому пути уходят на каторгу ваши земляки».

Подписи в записке не было.

Сердце Залины так сильно билось, что она прижала «посылку» к груди, будто у нее пытались ее отобрать. Прошмыгнув к себе в комнату, она вытащила небольшой чемодан, всунула туда «посылку», забросала ее платьями и закрыла чемодан. Натянув на голое плечо спящего Аслана одеяло, нетерпеливо поглядела в окно. Увидя Михайлу, медленно шагавшего через двор, она выбежала ему навстречу и спросила.

— Ну, как?.. Что сказал?

— Фаэтон уже у ворот, и Сафа там. Лавочник ихний в город едет. Сафа говорит, что можно хоть сейчас ехать. Вот и сам, — проговорил Михайла.

Сафа легким шагом перешел двор школы и, подойдя к Залине, проговорил:

— Еще б несколько минут — и уехали. Гамази в город едет, садись с ним и поезжай, привет Цораеву передай, отцу... А главное, — Сафа положил большую костлявую ладонь на плечо Залине, — дитя мое, сама знаешь мое отношение к тебе, ты разумна не по-женски... Прошу тебя повидать Владимира и сказать ему, что если он каким-либо действием или неразумным словом вмешается в эти события, которые, как это ни странно, возглавляют всякие студенты... Скажи — он убьет меня... Он тебя послушается.. Скажи, от себя... не от меня. Поняла? — папутствовал ее Сафа, провожая на улицу.

Подсадив ее в фаэтон, он бросил:

— На мельницу заезжайте за Гамази.

В фаэтоне Залина положила чемодан на колени, потеплее укутала лицо в башлык и, забившись в теплый угол, стала повторять про себя:

«Верю вам и знаю, что и вы верите в то светлое грядущее...»

Горячая волна залила грудь, — слезы неудержимо полились из глаз. Она торопливо отерла кулаком глаза и посмотрела в спину кучера.

— Сейчас позову хозяина, — сказал кучер, оглядывая Залину и сходя с фаэтона.

Когда Гамази вышел к фаэтону, то был очень удивлен, увидев Залину.

— В такой холод, Залина, куда так рано?

— В город... домой к отцу... — смутившись и давая ему место рядом с собой, проговорила она.

— Ну, тогда поехали, — промолвил Гамази и тяжело опустился на мягкое сиденье, запахивая полы лисьей шубы.

За деревней они обогнали конвой. Белый пар держался над мордами лошадей. Кулеш теперь ехал впереди, напоминая маленького ребенка, сидящего на спине лошади.

— Проезжай стороной, — приказал Гамази кучеру, откидываясь на мягкую спинку фаэтона. — Не мерзнете? — спросил он, оглядывая маленькую фигурку учительницы.

Гамази много раз слышал, что Сафа хочет просватать учительницу за Владимира. Поэтому он сейчас присматривался к ней с тем деловым любопытством, с каким выбирал на ярмарках вещи, которые ему необходимо было приобрести.

— Положите чемодан сюда, вам неудобно, — проговорил Гамази, беря чемодан...

— Нет!.. Оставьте мне его!.. Мне от него теплее!.. — пролепетала она, и схватившись за ручку чемодана, прижала его к груди.

Гамази накинул ей на колени бурку, и она, поглядев на него сквозь прищур мягких глаз, улыбнулась, сказав:

— Хорошо... Мне теперь совсем тепло...

Она потянула бурку на грудь и зарылась в душное тепло шерсти.

Только в Ардоне, когда фаэтон гулко проехал по мосту, Залина открыла глаза и удивленно спросила:

— Уже?

— Ардон, — ответил Гамази. Лошади пошли шагом.

Толпы народа сповали по улице села, а около сельского правления Залина увидела плотно сбившиеся массы людей, лошадей, арбы, конную полицию, казаков и так же, как в Христиановском, крестьян со связанными руками, полураздетых, замерзших. Полковник Ляхов был уже здесь и устраивал сходы, добиваясь «общественных приговоров» взбунтовавшимся крестьянам.

— Сами виноваты, недаром говорят, что бодливая корова без рог ходит... — проговорил Гамази, выглядывая из фаэтона.

— Стой!.. Кто едет?.. — задержали фаэтон двое полицейских. — Документы дайте!..

Гамази сошел с фаэтона и, став лицом к полицейским, проговорил:

— Нашли кого проверять... — и полез в карман шубы.

— Попались! Так, так, Гамази Сафарович! — раздался за спиной Гамази звонкий молодой голос.

Обернувшись на голос, Гамази увидел капитана Белогорцева.

— Задержали тебя мои хлопцы. Прости, дорогой, служба... Идите, — бросил капитан полицейским, подошел к Гамази и протянул ему руку.

— Ну, рассказывай, прошу тебя. Как у Георгия глаз? Здоровье?

— Неважно, — сказал Гамази, пожимая Белогорцеву руку, — должен был выехать в Москву на операцию. Да сам видишь — в город небезопасно проехать, не то, что туда... в Россию.

— Теперь все кончится очень скоро. Город объявлен на военном положении, приказ главноначальствующего — патронов не жалеть... Но тебе, дорогой, все равно нужен от Ляхова пропуск, иначе и там, дальше, все время тебя будут на казачьих постах проверять. Пойдем к нему.

И Гамази ушел с Белогорцевым.

Только сейчас Залина поняла, что, не будь с ней Гамази, ее обязательно обыскали бы... Она содрогнулась, сунула чемодан за спину и навалилась на него, плотнее укутываясь в бурку.

Был уже вечер, когда Залина вошла во двор священника Цораева. Она сразу увидела отца. Старик, сидя на корточках перед каким-то ящиком, заколачивал гвоздь. Он часто отдыхал, клал молоток, а потом снова стучал. Залина, бесшумно ступая на цыпочках, подошла к отцу сзади, обняла его за шею и закрыла ему глаза маленькими ладонями. Старик сразу догадался. Он знал, что нет никого в этом доме, кто бы мог так ласково прижаться к нему. Он заволновался, хотел встать, но, бросив молоток проговорил:

— Мое солнышко, что тебя заставило в такой холод ехать? Пусти, я знаю, что это ты, кто же еще, если не ты?

Наконец, он встал и положил на голову Залины большую костлявую ладонь. Улыбаясь своими померкшими глазами, взял ее за руку, как бывало брал в детстве, и повел к себе.

Каморка старика была пристроена к летней кухне. Низенькое окошко и дверь выходили в сад. Старик был зорким сторожем поповского богатства. Целое лето маленькое окошко и низенькая дверь были раскрыты, и старик добросовестно следил за тем, чтобы не воровали яблок, чтобы чужая скотина не забиралась в огород. Когда наступали холода, старик спал у окна, чутко прислушиваясь к каждому шороху.

Войдя в каморку отца, Залина вдруг расплакалась. Все в этой маленькой комнате ей было знакомо. Все здесь было по-прежнему, вплоть до двух заржавленных гвоздей под окном, на которых она еще маленькой девочкой вешала кукольные платья. Вот широкая железная кровать, потерявшая от давности цвет, бордовый ситец на отцовском одеяле, две подушки в клетчатых наволочках, которые она прислала ему летом, обрывки веревок, плетка, недочиненный хомут, а на стене, рядом с охотничьим ружьем, — коричневая шерстяная черкеска — ее подарок.

— Я больше не оставляю тебя здесь, нет... Со мной

поедешь, — говорила она, всхлипывая и обнимая растерявшегося отца.

А он, словно извиняясь перед ней за беспорядок, рассовал по комнате лишние вещи, ладонью смел со стола крошки хлеба и выплеснул за окно остатки ужина.

— Почему ты должен быть здесь, когда мы можем жить вдвоем?

— Должен я здесь жить, доченька, — перебил ее отец и устало опустил на табурет, упираясь руками в колени. — Многим обязан я этому дому... Не за себя обязан, за тебя. Кабы не Цораев, жить бы тебе по чужим углам, объедками, с чужих столов питаться. А такая доля женщине тяжка. Помог мне поп тебя вынянчить, в люди вывел.

— Все обиды ему за это простил... Теперь должник я его до самой смерти. Из-за тебя, доченька, не хочу, — говорил он. — Мне из поповского дома уйти — тебя поддержки в жизни лишит. Ведь поп, он вовсе не добренький... На тебя гнев его направится. Да и не плохо мне у них, привычно. Не горюй за меня, мало мне теперь в жизни надо. Слаб я стал, помочь ничем тебе не могу. Чтобы в жизни первым ветром не сдуло, поддержка нужна, без нее не прожить. Кругом все друг на друга злы, а ты маленькая... и никого у тебя нет.

Залина, сидя на отцовской кровати, внимательно слушала его, разглядывая сморщенное, усталое и, как показалось ей, смущенное лицо отца. Она только сейчас до конца поняла, что удерживало старика в этом чужом доме и почему он отказывался жить у дочери, ревниво охраняя поповское добро.

— Да разве ты за долгие годы не отработал им за все их услуги? Не крепостной же ты? — голосом обиженного ребенка бросила она.

— Книжки читаешь, детей учишь... Так умей и жизнь понимать, — упрекнул ее отец.

В дверь заглянула кухарка и всплеснула руками.

— Красавица ты моя, красавица! — взволнованно зашептала она, прижимая Залину к груди.

Залина тоже радостно обняла ее за шею и тихо прошептала:

-- Аннушка-мама...

С тех пор, как Залина стала зарабатывать деньги, она никогда не забывала старую кухарку: то и дело покупала ей подарки, а на праздники, присылала поздравительные письма.

— Ненаглядная моя, горлица ты наша, — ласкала кухарка свою питомицу. — Попадья обидится, иди скорей к ней, — сказала старуха и повела Залину в поповский дом.

Вечером, оставшись вдвоем, попадья привлекла к себе молодую девушку и, вздыхая, сообщила ей:

— Ах, милушка, счастье какое!.. Старик Абаев тебя за сына сватает, за доктора. Ах, какое счастье!.. Нет никого в Осетии богаче его.

Попадья, обняв Залину, одними восклицаниями передала разговор с Сафа, что ему «лучшей невестки не надо». За все время Залина не произнесла ни одного слова, испуганно прислушиваясь к восклицаниям попадьи.

— Почему отцу моему об этом ничего не известно? — вдруг спросила она, задетая тем, что сватают ее у попа, а не у родного отца. — И потом, доктор Абаев человек образованный, он сам должен сделать мне предложение... За меня мало предложить калым, меня надо уговорить, я должна полюбить, — резко сказала она.

Попадья очень удивилась: она все еще считала кареглазую дочь своего работника маленькой девочкой, и вдруг Залина, не стесняясь, заговорила по-мужски.

Удивленная попадья снисходительно протянула:

— И охота тебе, милая, от счастья отказываться только потому, что не отцу твоему первому сказали об этом. Отец твой не будет против, — продолжала она, — ему сном покажется породниться с таким богачом.

— А может, и будет против, — сказала Залина, желая разозлить попадью.

— Против будет? — попадья залилась веселым смехом.

Ночью в пизенькой каморке отца было душно.

Залише не спалось. Она вдруг поняла, что жизнь вовсе не зависит только от ее желания, что есть какие-то нити, которые она, несмотря на свою свободу, не может разорвать.

И вдруг вспомнила Аслана: «Как брошу его? Кому доверю?.. Нет, нет... Кто хочет, — пусть меня с ним берет».

Мальчик всегда спрашивал, что она будет делать в городе, когда придет и что привезет ему. Она оставила его всего лишь на несколько дней Михайле и уже была неспокойна.

«Если бы не ты — я умер бы давно...» — вдруг вспомнились ей слова Темура, сказанные в одну дождливую осеннюю ночь.

И снова, как тогда, почувствовала она, что слова эти живут где-то в глубине сердца.

В душной темноте зимней ночи она лежала с закрытыми глазами и видела, как вытирал Темур полую мокрой черкески бледные щеки и мокрую бороду... А кухарка Аннушка, прижимая ее к теплой груди, голосом попады шептала на ухо: «Ах, какое счастье, какое счастье...» Залише снилось, что Владимир в мягкой теплой ладони греет ее холодные пальцы, а Темур говорит: «Если бы не ты — я умер бы давно...»

Не спал ее старый отец. Несколько раз подходил к изголовью дочери, осторожно натягивал одеяло на ее плечи и садился, слушая дыхание. Вставала перед ним молодость промелькнувшей падающей звездой...

«Доктор Абаев. Прием от 6 до 8 вечера» — прочла Залина на парадных дверях, где жил Владимир.

«Странно, — подумала она, — он ничего не сказал мне, что у него частная практика... Неужели остается свободное от госпиталя время?».

Она позвонила. На звонок вышла узкоплечая молодая женщина с гладко зачесанными на лоб русыми волосами.

— К доктору? — спросила она, оглядев крохотную фигурку Залины.

— Прошу вас, передайте доктору...

— Вы на прием или так? — перебила она Залину, стоя у раскрытых парадных дверей.

— Скажите... что... Скажите — учительница Ка-loева... из деревни...

— Так бы и сказали... Идите, — проговорила женщина, пропуская Залину.

В передней докторской квартиры у стен несколько стульев, стол, вешалка, зеркало на стене.

«Все, как у настоящего доктора», — оглядывая блестящий, воском натертый пол, подумала Залина.

— Сюда, — сказала женщина, указав на одну из дверей.

На стук вышел Владимир в белом халате и белом докторском колпачке на голове. Увидев его впервые в профессиональном наряде, Залина смутилась. Владимир выглядел сосредоточенно-строгим и, как показалось Залине, холодно встретил ее, пропустив в комнату.

— Залина!.. Что случилось? Только что получил вашу телеграмму, — воскликнул Владимир, стягивая с ее головы вышитый башлык.

Из-под белого пуха башлыка на Владимира смотрело раздумавшееся от вечернего мороза, строгое молчаливое лицо девушки.

— Что случилось? — повторила она за Владимиром, развязывая шнурки башлыка. При этом голос ее дрогнул и, сверкнув на Владимира огнем темных глаз, она проговорила: — Со мной?.. Со мной ничего не случилось, я здорова...

Откинув башлык, она села на стул и закинула голову назад, как будто ей было трудно дышать.

— У вас какое-то горе... я вижу, — вы чуть не плачете...

— Какое-то горе... — усмехнулась она и бросила на Владимира взгляд, который он называл «обледенелый снег в лунную ночь».

— Какое-то горе!.. Разве это только мое горе?.. Вы оделись в белый халат... Вы лечите людей, — подавшись вперед на стуле, шептала она торопливо, будто боялась, что ее прервут. — Заперлись здесь в тепле, а там, кругом, у всех на глазах душат людей, вешают...

— Залина, успокойся, прошу тебя, — проговорил он, близко подсаживаясь к ней.

Владимир первый раз сказал ей «ты», и ему показалось, что это короткое слово вдруг сблизило их. Взяв ее холодные пальцы в теплую ладонь, он промолвил:

— Успокойся... послушай меня... я эти дни... последние дни был занят очень... Не мог... не имел права...

— Не имел права?.. — сказала она, прервав его. — Вы действительно не имсете права здесь сидеть, когда в вашем доме спит полковник Ляхов, когда ваш отец устраивает пиры в честь есаула Кулеша, когда, глядя, на ваш дом, матери проклипают вашу семью... Владимир Сафарович... Владимир!.. — глухо застонала она, уронив голову на стол, и разрыдалась.

Владимир положил руку на вздрагивающую спину девушки, с нежностью глядя на ее лаково-черные волосы.

Передернув плечами и скинув руку Владимира со спины, она повернулась к нему лицом и, заглядывая в глаза, проговорила:

— Как вы можете?.. Вы... все вы... с какой совестью?

— Да, — тихо молвил он, — с какой совестью, ты права... я хочу тебе объяснить...

— Ничего не объясняйте мне... не надо. Отец ваш... Сафа просил передать, чтобы вы не вмешивались в эти дела... Он не выдержит... говорит... Вы... вы берегите его покой... он не разрешает вам вмешиваться, — голосом, полным упрека, выпалила она. — А я говорю, вмешайтесь!.. Вмешайтесь! — вскричала она и вскочила со стула. — Или остановите их, или научите их бороться!.. Заступитесь за этих несчастных!.. Боже мой, сколько крови! — воскликнула она, оглянувшись по сторонам, схватила башлык и тихо сказала:

— Я пойду...

— Подожди... прошу тебя, подожди... Я скажу, ты должна знать...

В дверь постучали.

— Войдите, — с досадой проговорил Владимир.

— Уже шесть часов, доктор, вас больные ждут, — сказала женщина с русой косой.

— Да, Устинья, просите, — проговорил Владимир, глядя на Залину.

— Посиди в другой комнате... Я скоро... очень скоро. Прошу вас... тебя... — умолял он ее остаться, говоря ей то «ты», то «вы».

В комнату вошел высокий, чуть сутулящийся мужчина со впалыми худыми щеками. Залина узнала в вошедшем Уртаева, вожака гизельских крестьян, два года тому назад возглавлявшего «гизельские волнения», так называли восстание гизельских крестьян. Слишком явны были злоупотребления и бесчинства гизельского старшины Кундухова, чтобы судить гизельских повстанцев. Поэтому суд вынужден был ограничиться административной высылкой виновников из пределов Терской области.

Еще до суда, сидя в тюрьме, накануне судебного процесса, учитель Цаллагов, обвиненный в подстрекательстве крестьян, покончил жизнь самоубийством. Уртаев тяжело переживал трагическую смерть друга, и на суде, когда ему было дано последнее слово, он бросил в зал суда гневные слова: «Что ваш суд?.. Что ваши нагайки и пушки по сравнению с тем сознанием, которое растет у всех обездоленных людей... Вчера в тюремной камере вы убили Цаллагова. завтра вы закуете нас в кандалы, но правда бессмертна, ее не убьешь, не утопишь... не заставишь молчать...»

Его прервали, не дав договорить. В тот день в зале суда, куда собрались со всех концов Кавказа — из Нальчика, Грозного, Ростова, Баку и Тифлиса десятки людей, чтобы протестовать против приговора суда, — сидела и Залина.

Она запомнила лицо Уртаева на всю жизнь и вспоминала о нем, как о самом смелом человеке. Увидев его в приемной Владимира, Залина не сводила с него восхищенно-наивных глаз.

— Вы учитель Уртаев?.. Вы на свободе? Я не забыла вас... Ваши слова помнят все... — сказала она восторженно.

Встретив незнакомую девушку, так смело к нему

обратившуюся, он проговорил своим глуховатым голосом:

— Я и не был осужден. Начальство меня пожалело. Болею. Вот пришел к доктору, забил кашель... Помогите мне, доктор... — сказал он, глядя на девушку, но обращаясь к Владимиру.

— Раздевайтесь! — бросил Владимир и подошел к умывальнику.

Подставляя руки под струю воды, он сказал Залине:

— Пережди в той комнате, я скоро...

— Кто она? — спросил Уртаев, когда за девушкой закрылась дверь.

— Учительница церковноприходской школы села Христиановского... Очень ее люблю, Алексей, — промолвил Владимир, положив теплую руку на острое плечо Уртаева.

— А она тебя? — спросил Уртаев.

— Она далеко не разделяет моей любви.

По тому, как Владимир заговорил с Уртаевым о своем чувстве к Залине, было видно, что эти два человека знали друг друга близко.

— А что же, Володя, такую трепетную искорку не используешь? В нашей работе она сейчас нам больше всего бы пригодилась. Ведь она — сельская учительница.

— Боюсь, я за нее, Алексей, очень молода и, как ты сам удачно выразился, «трепетна»... боюсь...

— Жалеешь ее, но не боишься, понимаю тебя, — мечтательно произнес Уртаев, подсаживаясь к столу. — Не знаю, как бы я поступил на твоём месте, но такую искорку, действительно, прежде чем раздувать — подумаешь... Так вот, Владимир, — переходя сразу на другой тон, сказал он, — комитет решил, что встречаться на твоих «приемах» сейчас все-таки безопаснее всего... На Сухом русде после детского обыска нельзя, за той квартирой следят. М. Михенца нельзя, нужно, чтобы квартира была вне всякого подозрения. Решили, что у тебя самое удобное место: врач, прием больных. Кто может тебя заподозрить, если даже и твоего парадного будут выходить люди ночью? Только вот надо продлить на твоей вывеске прием отше-

сти, ну хотя бы до десяти часов... Получили пока это.

Уртаев расстегнул пальто и вытащил из-за пазухи плотно перевязанные кипы листовок.

— Я сейчас уйду... Мне больше нельзя... Сейчас придет машинист Петров, он передаст тебе остальное. Вызывай следующего «больного», — сказал Уртаев, засовывая листовки в ящик докторского стола.

— Следующий, — сказал Владимир, выпроваживая Уртаева в дверь.

На его приглашение поднялся широкоплечий светловолосый железнодорожник.

Протянув ему руку и улыбнувшись, Владимир проговорил:

— Я вас где-то встречал.

— Возможно, город небольшой, — ответил Петров.

— Вспомнил... Весной, в пасхальный вечер, на Мещанской улице. Вы помните цыганку? Она гадала вам, помните? А потом вы прикурили у меня.

— Да... что-то подобное было.

— Прощу, — предложил ему Владимир стул.

— Времени у нас очень мало, — предупредил Петров, подсаживаясь к столу. — Уртаев сказал вам, наверное, что сейчас ваш кабинет является самым безопасным местом для встреч. Я привез воззвание комитета... Листовки... И то, и другое очень быстро надо реализовать. Пароль принесет вам завтра Уртаев. Среди ваших «пациентов» могут оказаться и настоящие больные — помните это, доктор, а остальное все будет в порядке. В Осетинском конном дивизионе у нас есть свой человек... Вахмистр Кастуев... Дивизион поручается вам... Помните, это очень ответственное поручение.

— Понимаю, — кивнул Владимир.

— В вашей передней, доктор, пациентов, подобных мне, больше нет. Я пойду, а завтра в это время примите инженера Сергеева. С ним вы окончательно договоритесь относительно всего, что вам поручается.

— Следующий, — пригласил Владимир, глядя в спину Петрова.

Войдя в комнату Владимира, Залина опустилась на мягкий диван, прислушиваясь к тихомуговору,

доносившемуся из докторской приемной. В светлой теплой комнате она почувствовала себя успокоенной. Усевшись поудобнее, потянула к себе лежавшую на диване толстую книгу в шагреневом переплете, заложенную муаровой бордовой лентой. «Война и мир», — прочла она.

Залина раскрыла книгу и увидела подчеркнутые коричневым карандашом отдельные места: «Людовика XVI казнили за то, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы со своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват?..»

Залина несколько раз перечитала подчеркнутые места и задумалась:

«Кто такой Людовик?.. А Робеспьер?.. Как мало я знаю! Кто они и за что их казнили? И почему Владимир читает о каких-то казнях?..»

После каждой встречи с Владимиром Залина подолгу думала о нем, о его словах, которые не всегда понимала. Стесняясь сознаться в этом и желая скрыть от него свою неосведомленность, она с деланным равнодушием и даже некоторой важностью слушала его рассуждения. Сейчас, сидя в его комнате, Залина испытывала какое-то волнение, но волнение это ей понравилось. Желая подольше сохранить это новое состояние души, она сомкнула веки и облокотилась на спинку дивана. Потом она услышала легкий стук в дверь. Открыв глаза, увидела Владимира, который стоял в дверях, расстегивая халат и говорил:

— Ты моя пленница...

Он торопливо опустил ее около нее.

— Успокоилась немного, теперь расскажи, зачем вызывала меня телеграммой?

Она отодвинулась от него и, посмотрев изумленно, сказала:

— Я вам уже говорила, зачем вызывала...

— Из-за Ляхова?.. Из-за того, чтоб я прекратил... все эти истязания?

Он улыбнулся, подошел к ней и с нескрываемой нежностью посмотрел ей в глаза...

Залина встала, отошла к окну и оттуда молча глядела на него: на его плотные крепкие плечи, чистые руки, волосы, рассыпчато падающие на виски. Высокая просторная комната и вся мебель в ней, до блестящего стеклянного шкафа с хирургическими инструментами, — все было спокойно, уверенно, надежно, крепко, как сам хозяин.

— Вы читаете о каких-то казненных Людовиках и Робеспьерах и ищете ответа у Толстого, кто прав, кто виноват, вместо того, чтоб у себя предотвратить эти казни, — холодно, с ноткой презрения сказала она, поглядев на него гневными темными глазами.

— Что предотвратить? — удивленно спросил Владимир, сняв пенсне и моргая покрасневшими веками уставших от недосыпания глаз.

Залина порывисто подошла, села рядом с ним и проговорила:

— Вы здесь за стенами этой белой комнаты, Владимир Сафарович, ничего не видите... А я никогда не забуду эту декабрьскую ночь... ворона... кровь... Эта снежная дорога... Мне в фаэтоне в теплом пуху бурки было холодно, а они шли и шли в эту дымчатую вьюжную даль. Нет, нельзя забыть их лиц, когда, прощаясь с родным селом, они оборачивались назад... Дети бежали им вслед, бросая куски хлеба... А эта виселица на церковной площади, не где-нибудь, а именно на церковной площади...

— Так вот, Залина, вы скажете Цораеву, что виселица на церковной площади противоречит учению Христа. Цораев ваш воспитатель. Он влиятельный поп: принят у самого владыки, бывает в доме генерал-губернатора. Городской голова Баев, первый подавший мысль о том, что надо город объявить на военном положении, его лучший друг... Скажите ему.

— Нет, — возмутилась она, — лучше вы скажите своему отцу... Это он мстит за свою мельницу, за лес и вызвал казаков, Ляхова... Күлеша!.. — воскликнула она.

— Я не хочу защищать ни своего отца, ни своих братьев. Не упрекайте меня. Но если завтра в один час умрет вся моя семья, отряд Ляхова все равно

будет карать... Вся Россия сейчас иссечена карательными плетями. — Владимир встал и прошелся по комнате от угла до угла:

— Знаешь, Залина, есть в жизни каждого человека такие поступки, а в жизни целого общества такие события, которые... ну, как тебе сказать, которые нельзя ни предотвратить, ни предупредить... Они должны произойти...

— Фатализм... — перебила она его.

— Нет. Я врач и в судьбу не верю, но в закономерность событий верю... В жизни без причины ничего не происходит, как говорят старики, и волос с головы не упадет... Эти события, на которые ты так отчаянно реагируешь, должны были произойти, Залина. Ни остановить, ни предотвратить их было нельзя: и рубка леса, и разгром помещичьего имения, и лавка, и мучные склады моего отца — все закономерно... Птичка, посаженная в клетку, хотя и чувствует, что она в клетке, но бьется о прутья своей клетки, стараясь вырваться на волю. А народ?.. Народ, Залина, это не птичка, он может сломать и очень толстые стены. Но прежде, чем сломать эти стены и вырваться на волю, должна пролиться кровь. Революцию на розовой водичке не делают. Эти виселицы, казни, аресты — это страх имущих перед большой правдой неимущих, потому они вешают и стегают.

— Тогда научите их защищаться, чтоб их не убивали.

— Их учат, учат не только защищаться, а нападать, Залина... Выражаясь на моем медицинском языке, в организме больного бывает ведь не только пассивная защита, а и борьба... кренкая, трудная...

— Тогда защищайте их, помогите, — уже более спокойно сказала Залина, прислушиваясь к словам Владимира с неослабным вниманием.

— Если б я был юристом и выступил бы в защиту всех их, как бы я должен был построить свою защиту? Как ты думаешь, Залина?

Она недоуменно повела плечами и посмотрела на него широко открытыми глазами, ожидая ответа.

— Всякое преступление имеет причину, — проговорил Владимир. — И во главу своей защитительной речи я бы поставил вопрос: почему они, крестьяне, жгут имения, громят дома, захватывают земли богачей? Почему на цинковом заводе бельгийского капиталиста Дюкенна весной чуть не сожгли в топке инженера? Очень просто: и рабочие, и крестьяне живут в таких условиях, что дальше терпеть невозможно... Чтобы оправдать моих подзащитных, которых сейчас кидают в тюрьмы, обвиняя в царевбийстве и в самых страшных преступлениях, я должен обвинить власть, а власти не позволяют сечь себя всенародно... Не уговаривать надо власти, Залина, не просить у них свои человеческие права, как милостыню, а вырывать. Вырывать силой... ценой какой бы то ни было крови... Поняла?

— Нет, — покачала она головой. — Я не понимаю, только завидую, от души завидую тем, кто смело, ничего не боясь, может негодню сказать, что он негодяй, а честному человеку пожать руку и сказать перед всеми, что он заслуживает самых больших похвал. Вот Уртаев... Какой молодец! Скажите, Владимир, каким образом он на свободе?

— Срок его административной ссылки кончился. Сослать его на каторгу судьи побоялись, слишком громок был голос протеста против его ареста. Власти ограничились только административной ссылкой...

— А как его здоровье? Действительно он болен? — спросила Залина с искренней тревогой в голосе.

— Болен... но я вылечу его, раз ты этого так хочешь. Кстати, он холост...

— Как не стыдно, Владимир Сафарович, разве я потому?.. — сказала она, покраснев до ушей, и встала.

— Чувствую, что вы непременно уйдете в монастырь, Залина.

— Я замуж не выхожу, а вам уже сказала, Владимир Сафарович, что больше вас, я никого не уважаю, даже скучаю, когда долго не вижу. Но я на вас обижена. Почему вы делаете свахой попадью? Разве сами не можете об этом сказать? Она вчера целый вечер нашептывала, что Сафа приезжал меня сва-

тать к Цораеву... — Залина посмотрела на него строго, как на провинившегося ученика. — К отцу, небось, не пошли меня сватать... Конечно, унижительно сватать у работника... А раз вы не считаетесь с моим отцом, так я тоже не хочу вас... Больше никогда мне об этом не говорите... Не хочу! — сказала она дрогнувшим голосом и схватила башлык.

— Постой, Залина, что ты! Ни к попу, ни к попадье я никаких сватов не посылал. Сейчас не до женитьбы. Я сам посмею тебе сделать предложение, а не делаю только потому, что ты не любишь меня... Но я сказал тебе — буду ждать еще десять лет, надеяться на то, что ты когда-нибудь мне улыбнешься... А сейчас я должен тебя проводить, потому что пропуска у тебя нет, уже поздно. Ты забыла, что город на военном положении.

— Ой... как же я теперь пойду, — протянула она, тревожно глянув на него и доверчиво протягивая руку.

— Одевайся, — сказал он, набрасывая на ее плечи пальто.



— Абреки пристава убили, — сообщил Михайла, подкладывая в печку дрова.

— Что-о? — вздрогнула Залина, роая расческу.

— Пристава, говорю, алагирского абреки за селом убили.

— Как убили? Не может быть!

— А им недолго, убили да и все. Да их ведь тоже по головке не гладят. Пристава в город повезли, а убитого абрека в правлении заперли.

— Какого абрека? Какой он?.. — тревожно спрашивала Залина, подбегая к Михайле. — Вы его видели?..

— Не видел и не желаю видеть, — говорил старик. — Какой да какой... Обыкновенный абрек. Да вам-то что, Александровна? — с ласковым состраданием в голосе упрекнул он ее. — Все к сердцу, все к сердцу. Этак вас не надолго хватит. Крестьян пове-

сили — плакала, обыски делали — тоже, людей в тюрьму гнали — злая ходила, абрека убили — опять себе кровь портишь... И-и-и, доченька, — протянул он, — мало ты жила, а то бы ничему не дивилась... Конечно, не такая жизнь должна быть. Солнышко светит, травка зеленест, птички поют, а кругом одни мухи адовы... Неправильная эта жизнь... — ворчал старик, складывая дрова около печки.

— Нет, как же это? — говорила Залина, торопливо натягивая на плечи пальто. — Я пойду... Узнаю... — она повязала голову пуховым платком и быстро прошла через школьный двор.

В сумерках вечера она увидела у сельского правления кучу народа, несколько подвод и двух полицейских.

«Может... может быть, это он?.. Неужели Темур?» — тревожно билось ее сердце.

Еще никогда ни за кого она не боялась. Сама удивившись охватившей ее тревоге, не помня себя, она побежала к почте.

«Может, он скажет что-нибудь, начальник почты всегда все знает», — подумала она и, не оглядываясь, пошла через площадь.

Залина приехала из города только вечером, нигде не была и не знала, что случилось в селе. Подойдя к почте, увидела двух оседланных коней, привязанных у коновязи. Вошла. Два казака и один полицейский стояли у прилавка конторы и о чем-то мирно беседовали.

— Надоело, — сказал один из казаков, — скучно, делать больше нечего, а все держат, не отпускают на место. Сидим и караулим синицу в небе.

— Плохо, значит, караулите, коли пристава не уберегли, — вмешался полицейский, — ведь какие разбойники; у самого села его убили, середь бела дня. Убийца ровно в воду канул, пробежал в сторону села и пропал. Значит, все село за это к ответу призвать надо, в селе скрылся убийца-то.

— Оно так, конечно, но коли его захотят спрятать, так ты тут хоть в ветер превратись — не найдешь, не догонишь, — ответил казак, пристально посмотрев на Залину.

— Начальник сейчас придет, барышня, подождите, — проговорил полицейский и прошел за перегородку конторы, давая понять Залине, что он не из простого любопытства ввязывается в разговор, а здесь он как бы начальственное лицо.

Андрей Львович, выглянув из-за внутренней двери и увидев Залину, помедлил, потом проговорил:

— Вам письмо есть, только не знаю, куда я его дел. Хотел вам его со сторожем послать, да не найду сейчас. Не беспокойтесь, я пришлю вам его, сейчас я очень занят. Спешные депеши в город, простите....

Залина очень внимательно вслушивалась в слова Андрея Львовича, стараясь разгадать их скрытый смысл. Видя, что остаться с ним наедине невозможно, она вышла, полная тревожных раздумий.

«Кто убил пристава? Не виновен ли в этом убийстве Темур, а если да, то сумеет ли скрыться и в безопасном ли месте находится?»

У сельского правления подвод больше не было. Сумерки зимнего вечера быстро сгустились. Залина медленно шла по улицам села.

События последних месяцев так стремительно неслись мимо нее, что она не успевала разобраться в одном, как уже настигало другое. Она чувствовала себя такой уставшей, что ей хотелось молчать, ни о чем не думать. Но по натуре беспокойно-впечатлительная, она не могла не думать, не волноваться.

Ноющей и мучительной была тревога за Темура. Она прошла улицу, вошла во двор.

Михайла, глядя на нее, спросил:

— Что это, Александровна, чи альчики проиграла? Идешь так печально, или убитый абрек тебе родственник?

— Да что вы, Михайла, какой он мне родственник! Просто я спать хочу, голова болит... — раздраженно ответила она и прошла к себе в комнату.

Аслан, лежа в постели, укоряюще поглядел на нее и сказал:

— То в городе была, а приехала — опять из дому ушла.

— Больше нїкуда не поїду, надо было пойти... узнать... Ты нїчего не слышал? — вдруг нагнувшись к его лицу, спросила она. Сходство Аслана с отцом увеличило ее тревогу. — Дети нїчего не говорили про убитого?

— Нет, — ответил Аслан, не поняв ее.

«Неужели остаться тебе и без отца, несчастный ты мой», — нежно подумала она об Аслане и прилегла с ним рядом.

— Давай сегодня будем вместе спать, хочешь?

— Очень... — радостно воскликнул Аслан, обняв ее и улыбаясь, темными ласковыми, как у отца, глазами.

Подойв коров, Хадизат, кутаясь в большую теплую шаль, ходила по двору: загнала телят, заперла амбар, закрыла курятник. Илья и Темур еще прятались в сарае Саниат. Тревога за них не оставляла Хадизат. Она подошла к калитке, чтобы запереть ее на ночь, и тут же услышала легкий стук в ворота. Открыв калитку, она увидела Атарбека, помешкав с минутку, раскрыла перед ним ворота, а когда он заехал, быстро захлопнула и заперла их на засов.

— Жди меня... приду, — прошептала она и приказала загнать арбу под сарай.

Атарбек не успел опомниться, не успел разглядеть ее лица, как она уже скрылась в доме.

«Жди меня... приду», — горячо дышал Атарбек в морду лошади, распрягая ее.

Когда измученное тревогами село погрузилось в усталый сон, не спали только Атарбек и Хадизат.

«Или сегодня, или никогда!» — подумала Хадизат, выходя во двор. Днем было солнечно, солнце весело сверкало на заснеженных стогах сена, на потемневших снежных тропинках, на голубоватом льду замерзшей реки. Но к вечеру затуманило. Крупные мохнатые снежинки игриво запорхали в воздухе. Декабрь месяц в этом году похож на март: то игриво-солнечный, то нахмуренно-сердитый.

Хадизат прошла под сарай. При виде Атарбека у нее сильно забилося сердце. Она прислонилась к дубовому столбу сарая. Несколько минут оба стояли неподвижно, счастливые короткими минутами молчаливого свидания. Никто первый не хотел нарушать этого безмолвного счастья.

«Кто его знает, может быть, заговорю с ним и исчезнет вся надежда на счастье», — посилились опасения в голове Хадизат. Поэтому она ждала, когда он подойдет сам к ней и спросит: «Что ты хочешь?» Но он тоже молчал.

— Иди в хлев... там твои друзья!.. Они ждут тебя уже целую неделю, — проговорила Хадизат, не выдержав жаркого волнения в груди. Шагнув к нему, она взяла его за руку и втокнула в хлев.

В душном тепле зимнего хлева Атарбек почувствовал на спине тяжелую руку и, не понимая, в чем дело, повернулся.

— Наконец-то... — прошептал ему Темур на ухо. — Заждались мы тебя. Увези или достань лошадей. Видишь, сидим в капкане...

— Темур!.. Жив!.. Темур!.. — воскликнул Атарбек, бросаясь к нему.

— Тише! — шептал Темур. — Замучили мы ее, всю неделю в тревогах. Как на улице? Что делают казаки? — спрашивал он торопливо.

— Нельзя... Я пробирался задами, да если меня и поймают, все равно дальше Дриса не поведут, по ты...

— Лошадей достань, где хочешь, — прошептал Илья, становясь около Атарбека.

Оглянувшись назад, Атарбек увидел, что Хадизат все еще стояла у двери хлева. Он резко повернулся к двери и, пайдя ее руку в темноте, тихо проговорил:

— Ты спасла моих друзей, я твой должник навсегда, Хадизат, — назвал он ее по имени, не выпуская руки. — Подожди, не уходи, — жарко прошептал он, — припав к ее щеке. — Идем! Подожди! — несвязно лепетал Атарбек, держа ее за руку.

— Я скоро... сейчас приду, через огороды проберусь, я должен ее увидеть, — шепнул Темур на

ухо Атарбеку и скрылся в белесой мути зимней ночи.

— Увези их... Мне страшно, боюсь за них, — говорила Хадизат, стоя в темном мраке сарая.

— И тебя... уедем, уйдем отсюда, Хадизат... сбежим. Темур найдет нам убежище, — шептал он ей на ухо.

Возможность увезти ее вдруг показалась ему такой простой, что он заключил Хадизат в объятия, прижавшись к лицу обветренными шершавыми щеками. Стянув с ее головы шелковую повязку, он спрятал ее в карман.

— Зачем тебе повязка? — тихо засмеялась она, уткнувшись лицом в его грудь. — Пусти... пойду, — произнесла она, будто во сне, — а то спохватятся...

— Кто? Ты в доме одна. Постой, не ходи... постой, — шептал он, не выпуская ее.

Она уходила и снова возвращалась. Атарбек стоял, прислонившись спиной к столбу сарая. Она бежала к нему, он раскрывал перед ней бурку и с головой закутывал ее. Дыхание их смешивалось, и они тихо смеялись.

— После вторых петухов увезу Темура и Илью, а ты, — вздохнул он, — как? Мы будем вместе? Говори, ну... Темур сейчас к учительнице пошел... Он ее любит...

— А она его?..

— Тоже, наверное, — ответил Атарбек.

— Разиат очень его любила, — вздохнула Хадизат.

Падал снег. Казалось Хадизат, что белесая мутная ночь качалась и кружилась. И вместе с большими мохнатыми снежинками хотелось покружиться и ей.

Остановившись под окном своей комнаты, она скинула с плеч шаль. Двумя тугими жгутами упали на грудь косы. Она откинула их, подставляя лицо под легкое порханье снежинок, и оглянулась назад. Атарбек все еще стоял у столба. Оставив шаль на земле, она быстро побежала к сараю и, припав к груди Атарбека, тихо засмеялась.

— Свет очей моих... зерно души моей, Хадизат, —

шептал он, прижавшись губами к ее губам и кутая ее в бурку... — Счастье жизни моей, скажи... Ну, скажи, что любишь.

Но Хадизат тихо смеялась, не выпуская его руки, прислушиваясь к биению собственного сердца.

— Жив!.. Жив!.. — радостно приветствовала Залина Темура, протягивая ему руки.

Он, как всегда, подержал в больших ладонях ее руки и, не паядя ответных слов, опустил у края стола на венский стул. Как всегда, передвинул лампу к стене и с затаенной нежностью и волнением молча смотрел на Залину. А она ласково улыбалась. Тревоги последних дней не прошли для Темура бесследно: впалые щеки заросли жесткой черной щетиной, на обветренном лице сухим блеском горели глаза, углы потрескавшихся губ были сжаты.

— Если бы мне, как абреку, захотели придумать самую лютую казнь, как ты думаешь, какая бы это была казнь? — спросил он.

— Не знаю, я не люблю говорить о казнях, но, наверное, самая лютая казнь, когда человек умирает от жажды. Я читала про одного путешественника, как он в знойной пустыне искал воду. Это очень, очень страшно...

— Для меня самая страшная казнь не видеть тебя... Если бы начальство это знало! Они давно бы поймали меня! — Темур расстегнул верхний крючок бешмета и повертел головой, будто воротник был ему узок.

Желая переменить разговор, Залина спросила:

— Почему про сына ни слова? Не видел его давно. Отец!.. — упрекнула она его.

— Знаю, что любишь моего сына, учишь, воспитываешь. Подобно мне, не уйдет он в абреки. Прости, но когда я с тобой, то все забываю, прости...

Он замолчал.

— Слухам поверил... Говорили... без царя люди жить будут, без старшин... Земля нашей станет... богачам и знатым конец пришел... Слухам поверил, Залина, а теперь не знаю... Скажи мне, объясни, что

это? Я пришел тебя спросить. Ты читаешь книги, детей учишь, по-русски говоришь, скажи, что это? Зачем было кровь проливать, когда все осталось по-прежнему?

Застигнутая врасплох его вопросом, она растерялась, потому что сама искала и не находила ответа на него. Но сейчас Залина чувствовала, что обязана ответить. Она встала и, подойдя к нему, с грустью посмотрела в усталое и измученное лицо.

— Вы устали, — тихо сказала она и, положив маленькую ладонь ему на плечо, ответила словами Владимира:

— Революция не может быть без крови. Бывают виселицы, расстрелы... Все богачи требовали этой расправы, потому что испугались потерять свои богатства... Избежать этого было нельзя...

— Ну, а потом, потом что будет? Всегда так будет? — нетерпеливо перебил он ее.

Залина растерянно молчала. Потом виновато взглянув на него, проговорила:

— Читала я... но пока нигде не вычитала, чтобы бедный человек добился правды. И в жизни, и в книгах об этом только мечтают, думают о счастье...

Овчинная шуба, брошенная на спинку стула, сползла. Темур машинально натянул ее на плечи и устало-вопрошающе поглядел на Залину.

— Нельзя одному человеку о счастье думать, если кругом все остальные несчастны, — проговорил он и задумался. Потом, подняв на нее глаза, сказал:

— Я до тех пор буду думать о счастье, пока не добуду его... У русского народа поговорка есть: «Чем темнее ночь, тем ближе рассвет...» Я знаю, Залина, — сын Сафа, доктор, сделал тебе предложение. Почему ты не пошла?

— Не знаю, — обиженно ответила она, — не знаю... он неплохой, и любит меня...

— А ты? — побледнев, спросил он.

— Не знаю... Он неплохой, не такой, как они все, образованный, и думает не так, как остальные...

— Думает не так, как остальные... неплохой, —

медленно произнес Темур. — Ему можно быть хорошим, с чего бы ему быть плохим? — Он вздохнул и потянулся за шубой.

— Сидите, — промолвила она и взяла шубу из его рук. — Еще рано... Я так за вас сегодня переволновалась, не ждала увидеть так скоро... Говорили, что абреки убили пристава...

— И ты решила, что это только я мог сделать? — спросил он, передвинувшись вместе со стулом.

— Да, — ответила она, — только вы. В вас одном безудержная смелость, вы можете...

— Нет, Залина, я очень хочу жить, поэтому без крайней надобности не рискую... Теперь особенно. — Он встал и подошел к кровати Аслана. — Что бы чувствовал человек, если бы он сидел над пропастью, видел бы заходящее солнце и знал, что оно... оно больше никогда не взойдет, никогда не осветит мир? Скажи, что бы чувствовала ты на его месте? Я не умею рассказать, как много я думаю о тебе... Не прогоняй Аслана, Залина. Даже тогда, когда выйдешь замуж, оставь его при себе.

Он отошел от кровати и сел на прежнее место.

— Я даю вам слово, что никогда не брошу его, ни за что... Помните это и не беспокойтесь. Если вы мне не верите, я... я докажу вам, я не выйду замуж ни за кого. Никого не люблю, ни за кого так не боюсь, как за вашу жизнь.

Темур был поражен ее бледностью.

— Хотите, мы уйдем с Асланом туда, куда вы нас позовете... уйду, не верите? — губы девушки дрогнули.

Горячая волна счастья охватила Темура. Шагнул к ней, он нагнулся и сказал:

— Верю. Но ты понимаешь, что значит стать моей женой?.. Это значит уйти в неизвестность и прятаться в лесах, пещерах... Нет, нормальный человек этого не сделает... Мне никто не простит, даже мои друзья, если я уведу тебя за собой... Да и куда? Нет, Залина, вся моя жизнь не стоит того... я стал причиной гибели жены, но тебя, Залина... нет, выходи замуж...

— Так вы не любите меня?.. Скажите правду...

Холодной испариной покрывлся лоб Темура. Он не

Ожидал такого прямого вопроса. Взяв ее за плечи и сжав зубы, промолвил:

— Нет, не люблю, Залина, — а потом добавил:— Потому только и не согласился бы на нашу любовь, что я люблю тебя слишком сильно... Не думай обо мне, Залина, я не женюсь на тебе. Не могу! А сына не прогоняй...

Не подав ей руки, он шагнул в переднюю, держа шубу в руках.

Залина осталась сидеть, а спустя секунду сорвалась с места и выскочила во двор. Ночь была безмолвно-тиха, по-прежнему падал снег, застилая мир непроницаемой белой завесой.

«Ушел... и больше не придет, я никогда его больше не увижу», — подумала она и сразу же метнулась обратно. Заперев двери, она скинула с себя одежду и легла рядом с Асланом. Прижав его теплое тело к себе, она расплакалась. Целуя ребенка в волосы, вспомнила слова Темура:

«Что бы чувствовала ты, сидя над бездной, если бы знала, что солнце никогда больше не осветит мир?» Что же тогда значат эти слова? Почему же он сказал, что никогда не женится на мне, если я для него солнце?.. Нет, не любит... не любит он, Аслан, ни тебя, ни меня», — плакала она, прижимаясь к ребенку, и слезы бежали по щекам.

Здравый смысл ей подсказывал, что Темура прав, отказавшись от ее любви. И, постепенно проникаясь к нему нежностью, а к себе жалостью, она плакала, вытирая кулачком глаза и давая Аслану клятву, что назло Темуру выучит его.

12

Князь Макаев бесшумно ступал по мягкому ковру, устилавшему кабинет начальника Терской области генерала Колюбакина. Он передвинул хрустальный графин с водой на письменном столе, подошел к окну и, прежде чем затянуть на окне тяжелую гардину, протер ладонью вспотевшее стекло и посмотрел на улицу. Тяжело пикли к земле мохнатые от снега и

чуть голубоватые от вечерних сумерек высокие деревья. Вздуродной косматой стаей кружились вороны над белой крышей атаманского дворца.

В кабинет начальника Терской области съезжалось приглашенное на экстренное заседание все начальство города: начальник Владикавказского гарнизона Перскрестов, городской голова Баев, начальник Владикавказского округа полковник Вырубов, начальник жандармского корпуса полковник Гладышевский, полицмейстер города Владикавказа Ухтомский, командир Апшеронского полка полковник Вербицкий, начальник экзекуционного отряда полковник Ляхов и старший пристав города Владикавказа.

Князь Макаев прислушался к приглушенному говору собравшихся в приемной начальника. Заседание назначалось на десять часов вечера. Выйдя в приемную, князь кивком головы поздоровался с Баевым, но городской голова, не удовлетворившись этим, проговорил:

— Михаил Иосифович... Скажите, неужели его превосходительство еще упорствует?

Князь улыбнулся.

— Нет, Георгий Васильевич. После разгона офицерского собрания, когда ему самому пришлось красться, он сдался...

— Идет, — шепнул Макаев и, отскочив от Баева, стал у камина.

Генерал Колубакин, начальник Терской области, атаман Терского казачьего войска, вошел в кабинет решительным шагом. Присутствующие последовали за ним.

Окинув кабинет безжизненным взглядом белесых глаз и тронув белые, гладко выбритые щеки маленькой рукой, он стал к столу и с плохо скрываемой дрожью в голосе произнес:

— Господа, его императорскому величеству благоугодно было в манифесте от семнадцатого октября 1905 года возвестить с высоты престола твердую решимость положить начало дальнейшего устройства судеб земли русской. И весь народ единодушным кликом восторга встретил эту весть... С пламенной

верой в светлое будущее России государь приветствовал в своем манифесте всех своих подданных. Веря в любовь своего народа в его горячее желание послужить отечеству, государь сделал все, что мог!

Голос Колюбакина дрогнул, и он, отпив из стакана несколько глотков воды, продолжал:

— Государь верит, что народ отдаст все свои силы на самоотверженное служение отечеству, просвещению народа и развитию его благоденствия, памятуя, что для духовного величия и благосостояния государства необходима не только свобода, а порядок...

Снова отпив несколько глотков воды, он продолжал:

— Но этого порядка, господа, у нас нет... Сейчас окраины России напоминают неблагодарных детей, которым господь омрачил разум... Господа, вы знаете, Батумские события, Грозный... Баку... Бог берег нас. До сих пор в Терской области было более или менее спокойно. Но, господа, нападение на поезд его сиятельства в Минеральных Водах, отказ солдат-ашиеронцев стрелять по приговоренным при усмирении аграрных волнений и, наконец, разгон офицерского собрания... — проговорил Колюбакин и снова отпил воду.

— В Салугардане восставшие крестьяне сняли цепь со старшины Баснева — знак его старшинского достоинства. В Христиановском жители также сорвали цепь со старшины. В Ардоне крестьяне просто прогнали своего старшину и захватили причтовые земли, сказав священнику, что земли переходят в общее пользование. Господа, сельский старшина — это первая опора власти на селе. Вы видите, что мы стоим перед серьезной опасностью... Свежи в вашей памяти, господа, захват Цейско-Касарской дачи, принадлежавшей по контракту Бельгийской компании... Алагирский позорный разгром, где разгромлены не только частные дома, но и правительственные учреждения... Но самое страшное, господа, — это не крестьяне с вилами и топорами, а движение на заводах, беспорядки на железных дорогах и — что уж нам никто не простит, — это, господа, армия... Суровая дисциплина сменилась свободой и разгулом... Начальство

по-прежнему либеральничает и не обращает на это внимания. — Колюбакин нагнулся к ящику письменного стола и вытащил кипу тонких белых листов. — Вот, господа, свидетельство нашего позора и беспечности, — потряс он листами перед носом. — Эти листовки должны были попасть к вам, господин полковник, — угрожающе бросил он начальнику жандармского корпуса полковнику Гладышевскому. — Они найдены в одном эскадроне Осетинского конного дивизиона. На станции Георгиевск, по точным данным, полученным мною, есть опасность захвата артиллерийского склада. По главной кавказской линии свыше тысячи железнодорожников бастуют, принося государству миллионные убытки... Видит бог, я не хочу и не желал бы пролить кровь, но этого требует и от меня, и от вас долг перед царем и отечеством. Поэтому властью, данной мне, я призываю вас к самым решительным мерам, господа. Считаю, что и аграрные бунты, которые охватили крестьян, эти забастовки на заводах, разгром правительственных учреждений, застой на железной дороге — все возникло в результате агитации темных, анархических сил революции... И чего, господа, я совсем простить не могу, так это поведение Осетинского конного дивизиона.

Генерал бросил на Баева взгляд, полный возмущения, и снова потряс перед своим носом кипой листовок.

— Это, господа, воззвание комитета социал-демократической рабочей партии!

Генерал тяжело перевел дыхание и, протянув в сторону городского головы Баева маленькую белую руку, прошептал:

— Уж кому, кому, Георгий Васильевич, только не вам, осетинам, восставать против русского царя... Благодаря его неусыпным заботам осетинский народ вышел из мрака предрассудков и темноты. Кто, как не осетины, обласканы царем?

Басв встал и, тяжело дыша, схватился за ручку кресла, в котором сидел начальник жандармского корпуса полковник Гладышевский. Подавшись вперед он схватил рукой раздвоенный подбородок, но генерал продолжал говорить:

— Господа, упадок дисциплины начинается с единичных случаев и кончается такими событиями, как на «Потемкине». Как сложна, господа, психология этого простого человека, которого мы привыкли величать скотиной, показало нам последнее время. И сколько кроется во всякой роте этих дикарей, называющих нас, в свою очередь, тоже дикарями. Кто знает, возможно, что старая армия стояла в этом отношении со своими шпицрутенами и кабальными сроками службы выше, ибо мы знаем, что подобной вакханалии раньше не было. Я призываю вас, господа, к неослабной бдительности...

Голос генерала снова дрогнул, и он, возведя глаза к потолку, продолжал:

— Царь призвал нас всех, как отец своих детей, сплотиться с ним в деле обновления и возрождения нашей святой родины... Всевышним промыслом, властью, врученной мне над всей Терской областью, я, господа, объявляю Терскую область на военном положении...

Шум отодвинутых стульев, все встали и застыли в молчании. Последние слова губернатора были выслушаны стоя.

— Да исполнятся горячие мои желания видеть мое отечество спокойным, трон великого самодержца непоколебимым. Приступите с благоговением к тому, к чему вас обязывает долг, и оправдайте достойно доверие царя и народа... Бог в помощь вам и мне!

Задохнувшись от прилива умиления, генерал усталю опустился на стул и приник белым вспотевшим лбом к холодному стеклу стола. Присутствующие, выходя на цыпочках, покинули кабинет генерала...

* * *

После первых петухов начальник караула первой сотни дивизиона, расположенного сразу же за старым кладбищем, вахмистр Кастуев, высокий, с черными курчавыми усами, с бледным, сухим лицом, вышел из караульного помещения и направился в казарму. Затянутая в снежную белую муть, декабрьская почва

была безмолвна, в воздухе кружились мохнатые снежинки.

— Кто идет?.. — глухо раздались окрики часовых.

Вахмистр, подойдя к часовому, шепнул: «Чермен», и скрылся в снежной мути.

Вахмистр прислушался. Тягостно давило безмолвие. Белыми слепыми холмами могил глядело старое кладбище во двор казармы. Вахмистр поднялся по низенькой лестнице и вошел в казарму. На скрип двери вскочил дневальный и щелкнул затвором винтовки.

«Чермен», — снова прошептал вахмистр и прошел дальше.

С середины мрачного потолка свисала керосиновая лампа, отбрасывая скудно-желтый свет на трехъярусные солдатские койки. Подойдя к крайней койке, Кастуев осторожно опустил руку на спину спящего солдата. Солдат пошевелился, и тогда вахмистр Кастуев, припав к уху спящего товарища, прошептал:

— Пора! Вставай!..

Солдат вздрогнул, и Кастуев снова повторил:

— Заур, вставай... В карауле все свои... пароль — «Чермен».

Обойдя несколько коек и проходя обратно мимо дневального, шепнул:

— Не спи, скоро сменю... — и бесшумным, приглушенным шагом вышел из казармы.

За ним, наскоро одевшись, тем же осторожным шагом вышло несколько солдат.

В караульном помещении, маленькой тесной комнате с каменным полом и серым низким потолком, жарко топилась печь, густой серый дым махорки стремительно просачивался в широкую, открытую пасть двери. Вахмистр Кастуев, подсев к скрипучему столу, стянул с головы папаху, и в неровном свете керосиновой лампы черным бархатом блеснула его иссиня-черная голова.

Старший его брат Владимир Кастуев с первых же дней войны ушел сражаться против японского царя. У стен Порт-Артура в тяжелом бою рядовой Кастуев вынес своего раненого эскадронного, а сам принял неравный бой и погиб в этом сражении. От далекого

Порт-Артура до маленького селения Хумалаг, где родились братья Кастуевы, непостижимо длинная дорога. Несмотря на это, слава о солдате дошла до родной Осетии, до его села, до казарм Осетинского конного дивизиона, где теперь висел портрет героя русско-японской войны. Дивизион гордился героем-земляком. Тепло и с большим доверием относились конники и к младшему брату героя, вахмистру Кастуеву. Молодые конники в душе завидовали бессмертному подвигу героя, прославившего Осетию и с честью послужившего отечеству. Вахмистр Кастуев был на самом лучшем счету у начальства дивизиона, поэтому в эти тревожные дни он чаще всего нес караульную службу.

Сам городской голова упомянул его в своем обращении к конникам, призывал их следовать примеру братьев Кастуевых. Священник Цораев, духовный отец дивизиона, с чувством гордости и благодарности произносил имя вахмистра Кастуева.

Но Кастуев видел, что война кончилась, солдаты возвращались с фронта искалеченными, больными. Рабочие не покладая рук работали на войну по двенадцать-шестнадцать часов. Крестьянин отдавал последнюю корову. Кругом люди напрягали все усилия, чтобы выйти из войны... А потом он увидел, что и рабочие, и солдаты, и крестьяне — все оказались под карательной нагайкой полковника Ляхова. В душе Кастуева зрело возмущение, и однажды, когда доктор Абаев был на осмотре у конников, он спросил его:

— Скажите, доктор, вы человек ученый, разве такой должна быть благодарность народу за все страдания, которые он нес во время войны? За что секут в селах наших отцов и братьев?

Владимир, оставшись наедине с вахмистром, коротко ответил ему:

— Свободу у царя и у его министров надо не просить, а взять силой!..

Прошло немного времени. Вахмистр Кастуев, пользовавшийся доверием солдат, говорил им:

— Вы слышали, опять солдаты Аншеронского полка пошли умирять цинковый завод... Казаки хле-

шут в селах наших братьев и отцов. До каких же пор мы будем молчать?

Вскоре Кастуев возглавил в дивизионе подпольный кружок, куда, как родниковая капля в песок, неустанно просачивались запрещенная литература и мятежные листовки.

Сегодня на заре вахмистр Кастуев должен был передать в казармы Апшеронского полка воззвание осетинских конников, чтобы солдаты не шли против своих же братьев — рабочих и крестьян. Неся караульную службу, Кастуев был хозяином дивизиона. И сейчас в душной каморке караульной компании трое таких же молодых, как он, нагнулись к столу, просматривая в последний раз воззвание.

«Товарищи! Довольно терпеть, берите оружие и станем дружно на защиту наших человеческих прав. Вся Россия поднялась на борьбу со своими грабителями. Поднимем знамя восстания и примкнем к народу. Мы требуем освобождения наших товарищей-апшеронцев, арестованных за отказ стрелять в наших братьев. Требуем немедленного созыва всенародного Учредительного собрания. Как и русский народ, мы не можем больше терпеть этого гнета. Товарищи солдаты! Примыкайте к народу, покажите кровожадному правительству, что мы поддерживаем и поддержим народ. Товарищи солдаты! Требуйте, чтоб наши выборные ведали нашей кухней. Товарищи! Берите винтовки и скорее с красным рабочим знаменем примкнем к нашим братьям рабочим и крестьянам!».

Так заканчивалось воззвание конников к солдатам Апшеронского полка. Это воззвание сегодня непременно должно было попасть в казармы.

— Вот, — проговорил Кастуев, вставая, — пропуск на право хождения... Встретитесь у деревянного моста, с левой стороны липовой рощи, у края мельницы... Пароль для передачи воззвания — «Чермен», ответный — «Пугачев». Вернуться к утренней поверке.

Вахмистр провел их через караульные посты к воротам казармы. На улице раздались приглушенные голоса. Удивленный вахмистр, перешагнув калитку, был задержан городовым.

— Стой, ни с места!.. — вскричал городской, пре-

градив солдатам дорогу. Потом трое конных полицейских подскочили к воротам, стараясь загнать солдат обратно. Городовой повис на спине вахмистра Кастуева и толкал его обратно, шипя:

— Не выходить!.. Не приказано! Стрелять буду!

Трое солдат набросились на городского... Один из верховых выстрелил в спину солдата, и в одно мгновение сонный двор казармы огласился тревожными криками.

— Товарищи! К оружию! -- пронесся зычный голос вахмистра Кастуева. — Городовой напал на часового!.. Казарма окружена! Нас предали! К оружию, товарищи!..

В это утро отец Залины ехал в лес. Старый Мангай не успел за лето перевезти заготовленные им на зиму дрова. За городом, в густом лесу, вблизи будки, где когда-то провел раннее детство, он сложил дрова. За лето и долгую осень чинара и бучина хорошо высохли. По мере надобности старик ездил в лес и привозил дрова домой. Декабрь был снежный, старик изо дня в день откладывал поездку. Но вчера кухарка Анна сказала ему, что дрова на исходе. Поэтому Мангай, несмотря на снежную погоду, сегодня до зари поднялся, чтоб ехать в лес.

Он запряг в сани самую крепкую лошадь, укутался в тулуп и выехал за ворота. За ночь выпало столько снега, что деревья погрузились по самые ветви в рыхлый снег. Дорога вилась через всю Осетинскую слободку, мимо казарм Осетинского конного дивизиона, мимо старого кладбища, за город, к лесу. Сани легко скользили по белой дороге, оставляя за собой снежную пыль.

Подъехав к кладбищу, Мангай увидел в снежной белесой пурге зимнего утра перебегающие фигуры полицейских, которые окружали казармы конного дивизиона.

Ночью, после экстренного заседания в кабинете начальника Терской области, начальник жандармского корпуса полковник Гладышевский получил приказ: «Окружить казарму осетинского конного дивизиона... Обыскать и о результатах доложить».

«Что это за разбой», — успел только подумать

старый Мангай. Но в это время, перескочив забор казармы, утопая по пояс в глубоком снегу, к нему подбежал солдат и сказал, задыхаясь:

— Постой! Постой, отец! Подожди!.. Выручи! Спрячь вот это... Скорее спрячь! Это наша солдатская правда, спрячь, никому не показывай... Видишь, полицейские бегут по следу!.. Спасайся!..

--- Садись же скорее, прячься под тулун, — прошептал Мангай, записывая за пазуху воззвание конников.

— Стой! Стой! — кричали им вслед, и трое всадников, поднимая тучи снежной пыли, окружили сани.

— Заходи сзади! Не выпускай! Стреляй, а то уйдет!..

Мангай, сваленный с саней ударом полицейского сапога, ткнулся лицом в снег. Попытался встать, но горячая острая боль пронзила грудь, и он мягко опустился на землю. То, что он увидел, так поразило его, гаснувшее сознание, что он в бессильном гневе вскричал:

— Проклятые, что вы делаете? Человек же он!.. Свой! Свой же солдат... Сво-о-ой!.. — шептали холодеющие губы.

По щеке убитого солдата вилась ярко-красная кровавая канавка... Старый Мангай смотрел на него. Острые красные иглы замелькали на снегу, и, как в далеком густом тумане, он увидел свои сани... потом множество саней и много лошадей, несущихся через снежные бугры... Затем, как после долгого трудового дня, он погрузился в сладкое забытие, и на какой-то короткий, необъяснимо короткий миг услышал над головой короткие частые удары, будто в выюжную осеннюю ночь падали яблоки, глухо стучаясь о землю.

— Заходи! Не выпускай!.. Окружай!.. — кричали полицейские, подбегая к воротам и стараясь закрыть ворота казармы.

— Не выпускать никого! Закрывай! Бей!

Двор казармы огласился воинственными криками:

— Да здравствует свобода! Да здравствует народная власть!.. Долой офицеров! — несло отовсюду, и вооруженные конники стекались во двор.

Рассветом. Казарму окружил усиленный полицейский отряд. Конники заперлись, никого не пуская в казарму.

— Сделаем обыск и уйдем! — кричал с улицы помощник старшего пристава Максимович.

Полицейский отряд вломился во двор казармы. Офицеры дивизиона растерянно топтались за полицейским отрядом, не смея обратиться к своим солдатам.

Пристав выхватил револьвер и выстрелил в гущу солдат...

— Стойте!.. Не стреляйте! — закричал вахмистр Кастуев, выбегая вперед, но пристав, прицелившись в него, два раза нажал курок, закричав:

— Изменник!

Вахмистр прижал бок правой рукой, поднял левую руку над головой и, окинув ряды конников, вскричал:

— Товарищи солдаты! За свободу! Вперед!..

Потом два раза качнулся, мягко присел на колени и упал на спину, держась за бок. Сквозь растопыренные пальцы просочилась кровь.

— Бей!.. Бей их! — ревела стоустая солдатская масса.

Сбив пристава с ног, солдаты протащили его по всему двору казармы и, подкинув его лохматую изодранную фигуру высоко над головами, перекинули за забор на кладбище.

Полицейский отряд в панике бежал. Офицеров хватали и бросали за ворота.

— Вызвать вторую сотню на помощь! — раздалось отовсюду.

— В Нальчик! Гонцов в Нальчик!.. — бросал рядовой Караев горячие слова, собрав вокруг себя гневно бушующую массу. — Скорее в Нальчик!..

И мелькая темными крыльями бурок, рассекая белую порошу декабрьского снега, поскакали гонцы в Нальчик, где квартировала вторая сотня Осетинского конного дивизиона.

Над городом занялся тревожный день.

Начальник Терской области генерал Колюбакин,

заложив руки за спину, решительным шагом ходил по кабинету и диктовал князю Макаеву:

«По долгу совести, в интересах вверенных моему попечению граждан, и как сын, искони любящий свое отечество, болеющий душой за его судьбу, признаю необходимым теперь же принять по представленной мне власти все меры к водворению в Терской области порядка. Единственно в этих целях и главным образом ради исключительного воздействия на железнодорожных революционеров, объявляю всю Терскую область на военном положении, присвоив себе по отношению к ней права генерал-губернатора».

В кабинете генерал-губернатора непрерывно звонил телефон:

«На станциях Минеральные Воды и Пятигорск железнодорожные рабочие захватили артиллерийские склады».

«В Дербенте и Грозном захвачены арсеналы».

«На станции Георгиевск под командованием капитана Кубатиева арестовано 52 революционера».

«В Садоне аробщики-цинковозы отказались возить руду. Цинковый завод примкнул к восстанию, на заводе арестована большая группа революционеров, в том числе главный инженер завода Сергеев».

«Услышав фамилию этого крупного инженера, которого он знал в лицо, Колюбакин, задохнувшись, прошипел:

— Патронов не жалеть!.. Не жалеть!..

«Железнодорожная дружина во главе с мятежным машинистом Петровым обезоружила жандармов, захватила Владикавказскую товарную кассу и похитила оружие из складов», — надрывался телефон.

В затемненных гардинах кабинетах царила растерянность. Но генерал Колюбакин, присвоив себе права генерал-губернатора, был решителен. Сухим, тихим голосом шипел:

— Вызвать на Владикавказскую дорогу Елизаветпольский гвардейский... В Садон — пластунскую казачью сотню... На станции Незлобная, Хасав-Юрт —

Анапскую пехотную бригаду... На станции Минводы, Беслан—гвардейскую...

И все-таки, несмотря ни на что, тысячная демонстрация прошла по улицам Владикавказа с пением «Марсельезы», с требованием созыва Учредительного собрания и проведения перевыборов городской думы. Но к городу непрерывной цепью ползла пехота, скакала кавалерия и стягивались казачьи сотни.

Растерянность в кабинетах сменилась неистовством. Осетинский конный дивизион был окружен в казармах. Вторая сотня, примчавшаяся на помощь осажденным братьям, была встречена за городом казачьей картечью.

И началось паступление на юную свободу.

Сквозь свист казачьих пагаек, сквозь пули, гремя капдалами, шла молодая свобода, шла гневная, истекающая кровью, но с каждым часом мужала и крепла, чтобы больше никогда не умереть...

К ночи, когда город погрузился в синий мрак декабрьского холода, обледенелый труп поповского работника подвезли к воротам на его же санях. Вышедшей на стук кухарке Анне один из городских, передавая поводья, сказал:

— Примите... батюшка опознал его среди убитых, говорит, что его работник...

Кухарка пагнулась к саням и, увидя труп старого Мангая, не отводя глаз, долго смотрела. Потом все ее большое тело мелко задрожало, как от холода, и она зарыдала.

— Горемычная моя голубица, — голосила она, вспоминая Залину. — Кто же посмеет тебе сказать, что праведник-отец растоптан под копытами казачьих коней?.. Кто-о-о? — громко, надрывно голосила она, сзывая соседей на помощь.

.
.

Глухая тишина царила в поповском доме, когда на третий день после похорон Мангая поздно вечером Залина постучала в ворота. На стук вышла кухарка Анна. Увидя у ворот свою воспитанницу, закутанную

в шаль, покрытую инеем, она не выдержала, тут же прижала ее к груди и расплакалась.

— Ненаглядная ты моя, голубица... Ждал он тебя... не дождался...

— Что?.. Аннушка, милая, что? Почему меня в такую пургу вызвали?—тихо прошептала она, застыв в холодающем приступе страха.

— Утомился... жить устал, — снова заголосила кухарка и повела Залину в отцовскую каморку. — Умер... убили, оканные, — еле выговорила кухарка сквозь слезы и ввела Залину в комнату отца.

Залина остановилась посредине комнаты, не понимая, о ком говорит кухарка и кого убили.

Но, увидев отцовскую кровать, застланную белоснежной простыней, а над изголовьем, у иконы Георгия Победоносца, горящие три свечи, Залина шагнула к кровати и припала к ней грудью в судорожном беззвучном рыданье.

Попадья пришла к ней в каморку, погладила ее дрожащие плечи, сказав:

— Всем одна судьба... Не горюй, дитя мое, пойдем ко мне...

— Как всем одна судьба? — перестав плакать и повернувшись к попадье заплаканное лицо, спросила она. — Разве все так прожили свою жизнь, как он?.. Всю жизнь... Всю жизнь! — горячо зарыдала она, снова упав лицом на постель. — Почему, почему меня не дождался? — сквозь рыдания говорила она. — Как могли его схоронить без меня? Ведь он у меня один... Один... Одна я теперь на всем белом свете... Почему меня не дождался? — упрекала она попадью, громко рыдая. — Разве за долгую жизнь в вашем доме он не заработал того, чтоб его схоронить... Нет... нет—виновата я перед ним, виновата... Прости мне, прости, папочка, — убивалась девушка.

— Что ты! — обиженно произнесла попадья. — Разве не по-православному схоронили его? Как тебе не стыдно упрекать... роптать, да на кого? Мы ли его не жалели, не любили? А что не дождался тебя, так нельзя же труп целый месяц держать... Каждый день тебе телеграфировали. Но сама знаешь, что делается кругом. Может, телеграммы до вас не доходят? Что

там — все село передохло? — злобно добавила она.

Услышав слова попадьи: «Может, телеграммы до вас не доходят», Залина подняла голову с постели и глянула в угол комнаты. В углу, около стола, она увидела отцовский сундук. Сердце тревожно заныло.

«Отец умер три дня тому назад, не рылся ли кто в сундуке?» — мелькнуло в голове.

Она подошла к сундуку и осторожно, будто садилась на стекло, опустилась на него. В последний приезд она передала отцу ту литературу, которую просил ее припрятать начальник почты.

— Пойдем ко мне, — снова пригласила ее попадья, но Залина, прижав рукой крышку сундука, отрицательно покачала головой, сказав:

— Нет, не пойду, мне здесь лучше. Спасибо, я здесь хочу, оставьте меня... — слезы снова брызнули из глаз, и она бросила вслед обиженной попадьи:

— Простите, но мне так трудно... — и, упав на сундук, расплакалась.

Попадья, стукнув дверью, ушла. Тогда старая кухарка под села к Залине, прижала ее маленькую голову к груди и тихо зашептала:

— Праведник был... и как праведник мученическую смерть принял...

Долго кухарка и Залина сидели, не проронив ни слова. Залина положила голову ей на колени и думала, прислушиваясь к ее теплomu дыханию, прижавшись к ее телу.

— Постель тебе принесу, встань, голубица ты моя, встань. Может, и мне с тобой здесь переночевать?

Залина кивнула ей головой.

В то время, когда кухарка Анна и Залина молча сидели на сундуке, Владимир находился в кабинете городского головы Баева. Городской голова, захватив в ладонь белый раздвоенный подбородок, что служило признаком крайнего возбуждения, медленно шагал по кабинету, говоря:

— Если б я не знал, что ты сын Сафа Абаева,

столь почтенного человека, если б я не знал, что ты родной брат капитана Абаева, самоотверженным поступком спасшего жизнь наместника Кавказа, то, клянусь Уастырджи, слушая тебя, вполне можно поверить, что ты состоишь в той шайке темных анархических сил революции, которые носят за пазухой адские машины.

— Адские машины?! — улыбнулся Владимир, сидя в глубоком кресле и протирая кусочком серой замши стекла пенсне. — Я ничего не смыслю во всех этих машинах. Я врач, Георгий Васильевич. Вы сами знаете, как я хотел послужить, стать в чем-нибудь полезным нашему маленькому народу. Вы свидетель тому, что безо всякого вознаграждения пошел в дивизион, чтобы иметь возможность лечить своих земляков. Но я убедился, что там хорошая, здоровая молодежь...

— Здоровье, Владимир, заключается не только в широкой грудной клетке и в здоровой печени, — перебил Баев Владимира. — Последние события показали, что Осетинский конный дивизион, в прошлом которого так много прекрасных традиций, подвел не только своего царя, но и весь наш народ... Вахмистр Кастуев!.. Кто бы мог подумать? — недоуменно разводя руками, говорил городской голова. Он опустился в кресло рядом с Владимиром.

При упоминании о Кастуеве перед глазами Владимира мелькнула стройная фигура вахмистра и вспомнились его слова: «Разве такая должна быть народу благодарность?»

Повернувшись в кресле, Владимир сказал:

— Я пришел к вам, Гаппо (назвав его осетинским именем, Владимир хотел подчеркнуть, что считает его близким человеком), не для того, чтоб защищать кого-то. Вы ведь хозяин города, в ваших руках большие возможности. Повлияйте, прошу вас, на судьбу наших конников. Там столько хорошей молодежи, которая в будущем, я уверен, даст нам офицерские кадры.

Баев положил руку на плечо Владимира и проговорил:

— Нет, из них офицерских кадров сделать уже

нельзя... Ты врач и знаешь, что значит болезнь. Вылечить их больше нельзя, можно только залечить. А залеченная рана при благоприятных условиях снова дает вспышку болезни... Запомни, — продолжал Баев, — царь будет беспощаден со всеми, кто каким-либо образом желал его падения. Запомни это и будь осторожен. В конце концов, почему какие-то осетинские конники должны быть ему роднее, чем декабристы — Николаю Первому? Он не простил ни одного, а его правнук будет еще беспощаднее. То, что мы видим, — это только цветочки... Ягодки будут потом...

Баев встал и заходил по кабинету.

— Революционная зараза, которой охвачена вся Россия, должна быть искоренена сейчас же, иначе будет поздно... Видит бог, я не хочу проливать родную кровь, но должна, должна кровь пролиться... Понимаешь? — вплотную подходя к Владимиру, прошептал Баев и, снова положив ему руку на плечо, игриво сказал:

— Вспомни грибоедовского Молчалина. Этот человек вполне представлял себе дух времени, и, как видишь, карьера сама пришла к нему... Будь благодарен...

Владимир стянул пенсне с носа и встал. Баев отошел и, глядя на него, засмеялся:

— Или хочешь быть Чацким? Незавидная судьба...

— Быть Чацким — это не так легко, но стать Молчалиным — значит потерять к себе всякое уважение. Простите, Георгий Васильевич, я отнял у вас много времени.

— Ничего, друг мой, ничего. Да, кстати, я видел Сафа. Он привез общественный приговор, вынесенный мятежникам села Христиановского. Он очень просил моего воздействия на тебя, боится, как бы ты по старой памяти не стал сочувствовать студентам. Ведь ты не так давно покинул студенческую скамью...

— Странно, — проговорил Владимир, покраснев, — почему мой отец привез этот общественный приговор? Ведь он не занимает в селе никакого административного поста. Он не старшина...

— Не старшина, — улыбнулся Баев, — старшине дел по горло. Сафа доверяют самые секретные дела,

ты должен гордиться таким отцом... Ну, не сердись, дорогой, устал, не нахожу я сейчас для всех ласковых слов. Я люблю вас, детей моей родной Осетии, больше собственной жизни, видит бог.

Владимир, не подав ему руки, вышел на улицу.

«Пойду к Цораеву. Неужели она еще не приехала? Сам подавал ей три телеграммы», — подумал Владимир о Залине.

На душе у него было гадко от всего: и от полицейских патрулей, которые стояли в каждом переулке, требуя пропуска на право хождения по городу, и от циничного предложения Баева следовать примеру грибоедовского Молчалина.

«Образованный человек, — с презрением подумал он о Баеве, — а из всей русской литературы запомнил только одного Молчалина».

Тоскливое беспокойство за товарищей мучило его. Учитель Уртаев несколько дней тому назад выехал в Садон. Сумеют ли восставшие садонские цинковозы скрыть своего вожака от Ляхова? Ведь «гизельское дело» свежо было у всех в памяти. Теперь бы, наверное, власти не ограничились административной ссылкой учителя-революционера, если бы он попался им на «деле». А что стало с машинистом Петровым, который возглавил восстание Владикавказской железнодорожной дружины? Владимир знал, что все явочные квартиры были взяты жандармским управлением на заметку, и около них бродили какие-то темные личности. Нельзя было Владимиру показываться и на Сухом русле, у Петровых — таков был уговор. Доктору Абаеву, квартира которого была основным местом встреч, запрещалось возвращаться в такой среде, которая могла бы бросить тень подозрения на его причастность к подполью. И хотя Владимир точно выполнял приказ товарищей, все-таки не был спокоен за свою квартиру.

«Кто знает, — думал он, — как будут вести себя мои «пациенты», если кому-нибудь из них придется предстать перед тяжелым испытанием... выдержат ли?»

Вся литература их небольшого подполья хранилась в его хирургическом шкафу. В случае обыска след от его квартиры повел бы далеко...

Когда он услышал, что главный инженер цинкового завода Сергеев и еще ряд товарищей арестованы, Владимир забеспокоился сильнее.

«Куда бы перепрятать? — взволнованно думал он, шагая по темным улицам Осетинской слободки. — Кому можно доверить жизнь этих людей?» — неустанно билась мысль, но выхода она не находила. У поповского дома его остановил полицейский патруль, требуя пропуска и спрашивая: кто он, где был и куда идет?

— Доктор Абаев, — небрежно бросил он, протягивая пропуск, — был в гостях у городского головы Баева, иду к священнику Цораеву.

— Проходите, — сказал полицейский и про себя заворчал: — Нашел время в гости ходить...

На стук вышла кухарка Анна и, увидев его, обрадованно сказала:

— Проходите, доктор, приехала касатка-то наша...

Зная, что доктор Абаев принял самое теплое участие в похоронах отца Залины и что он уже несколько раз наведывался, справляясь о ней, она продолжала:

— Приехала... Все убивается по отцу, горемычная, — всхлипнула кухарка, запирая за Владимиром калитку. — Вы к матушке наверх подниметесь или к барышне пойдете? — спросила кухарка, глядя на высокое окно попадьи, откуда падал яркий желтый слоп света на протоптанную снежную тропинку, ведущую от поповских покоев к кухне.

— К барышне, — произнес Владимир и сам удивился слову «барышня», так оно звучало странно, непривычно в применении к Залине, к этой «искорке», как назвал ее учитель Уртаев в кабинете Владимира.

— Идите, а я за постелью ей схожу. С дороги голодна да промерзла... — словоохотливо говорила кухарка, открывая перед Владимиром садовую калитку.

Услышав скрип промерзшей лестницы, Залина подумала, что это кухарка несет ей постель, и, зябко кутаясь в гарусную накидку, с наслаждением подумала о тепле.

Залина, подвернув под себя ноги, все еще сидела

на сундуке. Когда Владимир вошел, она поднялась ему навстречу, а он, как полагалось по адату, стал от нее на почтительном расстоянии, опустил руки по швам и проговорил традиционное «рухсаг уад»¹, — слова, которые произносят при соболезовании. Потом первым протянул ей руку и сказал:

— Я надеялся, что отец мой поможет вам добрать-ся до города... Знаю, что проехать сейчас не легко...

— Садитесь, — предложила она ему стул, а сама, садясь на сундук, проговорила:

— Сафа выехал в город днем раньше, до вашей телеграммы... Я добиралась подводами целых два дня. Поезда не идут, — она бросила на Владимира испытующий взгляд. — А дороги переполнены «преступниками», — подчеркнула она слово «преступниками». — Ляхов катается по Осетии: контрибуции, штрафы, казни, «общественные приговоры». Потрясая нагайкой, он принуждает сходы, требует, чтобы общество подтвердило «преступные деяния» своих же... Какое вероломство! — воскликнула Залина и замолкла.

Они сидели молча, не поднимая друг на друга глаз. Молчание нарушил Владимир.

— Залина, простите, я хочу... я должен сказать вам что-то очень важное для моей жизни.

— Только не сватайте меня, Владимир Сафарович... не время.

Владимира передернуло, он снял пенсне, надел его опять и, ничего ей на это не ответив, продолжал:

— Я хочу с вами поделиться... спросить у вас совета.

— Я?.. Вам?.. Совет?.. — недоуменно глянув на него, спросила она. — Я недостаточно умна, чтобы давать вам советы...

— Вы достаточно умны для того дела, о котором я хочу с вами говорить. Я понимаю состояние ваше... не следовало бы об этом сейчас говорить... Но нельзя, ты поймешь... — обратился он к ней на «ты». — Рассказывать, объяснять, говорить много я не буду. У меня на квартире, Залина, хранится запрещенная литература... Не подумай, что я струсил, испугался

¹ Рухсаг уад — светлая память.

ляховских плетей. Нет. Я боюсь, что в случае обыска след от моей квартиры поведет Ляхова еще и в другие квартиры. Обыск в моей квартире, Залина, грозит многим честным людям ссылкой, а может быть и смертью. Поэтому я хотел у тебя спросить: нельзя ли эту литературу припрятать здесь на короткое время, пока не уляжется первый разгул карателей, ну хотя бы у кухарки?.. Эта мысль пришла мне в голову сейчас, когда я вошел во двор и увидел ее.

Залина подняла на Владимира темные, всегда прищуренные глаза, и Владимир со своей стороны выжидательно смотрел на нее. Странно новыми, не похожими на прежние, показались Владимиру ласковые глаза Залины с их мягким прищуром.

Не зная, как объяснить ее молчание, он торопливо и страстно, что никак не шло к его всегда спокойному лицу, прошептал:

— Поверь мне, Залина, если когда-нибудь верила, поверь, что сейчас только тот честен, кто уверен, что царь виновен, виноваты его министры и все его правительство. Не слушай тех, кто, бия себя в грудь, кричит о верности царю и отечеству... Все это, Залина, совсем не так...

— А как? — перебила она его.

Владимир посмотрел на нее, сжав зубы, и подумал: «Не сумел ей объяснить... вечно я многословен».

— Я говорю, как перенести все это из вашей квартиры в сундук к Аннушке? — повторила она свой вопрос странно изменившимся голосом.

Встав с сундука и близко подходя к нему, она проговорила:

— Не так я уж молода, Владимир Сафарович, чтоб не понимать разницу между смертью и жизнью. Я знаю, что все честные люди всегда боролись за счастье народа... Я хочу быть честной... Как сказал Коста, — произнесла она дрогнувшим голосом, — я «завидую тем, кто народ мятежной речью зажжет»...

— Залина, свет жизни моей, — проговорил Владимир, побледнев, встал, подошел к ней и, схватив ее руку, впервые за долгое знакомство прижался к ее маленьким пальцам горячими дрожащими губами...

«Сказать ему о тех книгах, что хранятся в папином сундуке, или нет?» — подумала она, глядя на склоненную голову Владимира. Но, потянув руку к себе, она тихо проговорила, натягивая на плечи гарусную накидку:

— Завтра Аннушка придет к вам на квартиру под видом прачки, за бельем. Вы положите все в грязное белье... А здесь я с Аннушкой сама договорюсь.

13

Ночь. Над землей висит пыльная духота... Желтыми огнями светится село. Плотной темной стеной стоят горы. Горят по холмам далекие огни. Звезды будто от холода мелко дрожат в зареве низкого неба. Где-то далеко за горами ухают раскаты грома. Сверкает молния, словно кто-то выбрасывает из-за края земли огненные арканы. Прошумел ветер, и над сонным селом разразилась грохочущая гроза.

Залине не спалось. Прислушиваясь к раскатам грома и к шороху дождя, она думала о Темуре.

Прошла долгая страшная зима. В селе было немного домов, где бы тяжело не пережили события этой зимы. У кого брат, у кого сын, у кого просто друг сидел в тюрьме. В народе носились слухи, что в сентябре будут судить всех «бунтовщиков». И люди с горестным нетерпением и надеждой ждали наступления осени. Недавно приезжал в село отряд полиции, якобы искать абреков. Но обыск произвели в почтовой конторе, чем все были очень удивлены. Однако начальника почты не тронули, и полиция проследовала дальше, в лес. Говорили, что в лесу прячутся сбежавшие от Ляхова крестьяне, а во главе их — будто бы Тему́р.

С той ночи, когда Залина сказала ему, что согласна с ним уехать куда угодно, Тему́р не показывался. Залина мучительно переживала долгую разлуку, упрекая себя в бестактности, но все-таки ждать его не переставала, прислушиваясь в ненастные ночи к каждому звуку.

Владимир сделал ей официальное предложение, но она отказала ему, сказав, что не хочет выходить замуж, так как со смерти отца не прошло еще и года. На это Владимир ответил ей, что будет ждать, хотя бы пришлось ждать еще десять лет.

«Лишь бы он был жив, — думала Залина о Темуре, — пусть не любит, не надо».

Михайла, придя сегодня с улицы, сообщил ей, что в сельское управление привезли каких-то двух незнакомых людей со связанными руками, посадили их в арбу и увезли в город.

«Нет, — думала она, — если б это был Темура — все село говорило бы об этом. Видимо, кто-то другой».

И все-таки, хотя она и знала, что Темура просто взять нельзя, она беспокоилась, не спала, прислушиваясь к шуму дождя.

В окно тихо постучали. Она подняла голову с подушки и прислушалась, затанув дыхание. Стук повторился. Она быстро надела чужаки, укуталась в платок и отворила дверь.

Не снимая бурки, в комнату шагнул Темура.

— Мы одни? — тихо спросил он.

— Одни. Я никого не прячу, — ответила Залина и оперлась о спинку железной кровати. Она посмотрела на пол: с блестящих черных кудрей нарядной длинной бурки сбегала вода.

Залина задержала глаза на темной лужице, образовавшейся на полу, подняла голову, посмотрела на Темура и тотчас же отвела взгляд. Он стоял неподвижно, смотрел на похудевшее лицо Залины, и ему стало перед нею неловко.

«Бросил на нее сына, — упрекнул он себя. — Похудела, выросла», — подумал он, и на мгновение чувство жалости, похожее на то, что испытывают к больным детям, охватило Темура.

— Вода на полу... Буркуними, — нарушила она, наконец, тягостное молчание.

Она видела его лицо и ласково улыбающимся, и нетерпеливо-страстным, и гневно-решительным, и задумчиво-настороженным, и рассеяннопечальным, но таким она его еще не знала. Ноздри его дрожали,

побледневшие губы были сжаты, угловатые брови сдвинуты к переносице.

— Сними бурку, — приказала она и шагнула к нему.

Он смотрел сверху вниз на ее плечи, просвечивающиеся сквозь светлое батистовое платье, на белую тропиночку пробора в блестящих черных волосах.

«Не отдам ее никому», — решил он, развязывая серебристый шнур бурки. Повесив бурку на гвоздь, он снял башлык и остановился. Залина посмотрела на него, горячая волна знакомого, радостного чувства охватила ее. Они молча глядели друг на друга.

— Похудела... стала похожа на горную лань... Маленькая, топкая. На охоте я не убиваю таких, на тебя похожи, жалею... — проговорил он...

«Как мало похож он на абрека, которым пугают детей», — думала она, садясь на кушетку.

Темур низко наклонился к постели Аслана и внимательно всматривался в детское лицо.

— Скарлатиной болел, теперь ничего, поправляется, — виновато произнесла она, осторожно тронув Темура за плечо.

— Почему не передала? — спросил он.

— Не знала, где тебя искать... Ты же ушел тогда совсем...

— Молчи, прошу тебя, не говори так... — попросил он, задохнувшись.

— Прошло полгода... Ты не приходил, но я тебя не забывала... А ты? — спросила она и расплакалась.

Темур посмотрел на ее вздрагивающие плечи, и опять чувство жалости стеснило ему грудь. Большой пеловкой рукой погладил он ее по спине и повернул к себе.

— У меня нет никого дороже тебя, но я знаю, что тебе, образованной, со мной, безграмотным, будет скучно, разлюбишь...

Сказав это, он взял ее за подбородок и посмотрел в глаза, прижал к груди и, не выпуская, прошептал:

— Я должен уехать, Залина...

— Аслана я тебе не отдам, — сказала она.

— Я не отбираю его...

Он взглянул ей в глаза и долго не отводил взгляда. Потом сказал:

— Не жди меня, родная, я теперь не скоро к тебе приду... Я пришел попрощаться и сказать, что не имею права обмануть доверие моих товарищей, таких же бездомных, как я, таких же несчастных... Они не простят мне... такого большого счастья, как ты. Потому, Залина, прощай. А если тебе очень трудно, тогда я возьму Аслана с собой...

— Скажи, куда ты уходишь? — перебила она его.

— Куда я уйду? — задумался он. — Только не в лес, не в горы, не в абреки... Я ошибался, Залина, когда думал, что, убив Амурхана Туганова, можно сделать людей счастливыми. Илья ушел в Россию, скоро даст о себе знать... Другие мои товарищи уходят в Баку, им обещали достать документы... Но я должен дожидаться Ильи. Не жди меня, Залина, прощай...

Громкие рыдания раздались в комнате. Темур и Залина одновременно повернули головы к детской кровати.

Аслан в длинной ночной рубашке, как на молитве, стоял на коленях в кроватке и громко всхлипывал, стараясь сдержать слезы. Залина подскочила к нему. Мальчик привычным движением обнял ее за шею и разразился судорожными рыданиями.

— Я с тобой останусь... Я никуда не пойду, — плакал Аслан, поглядывая на Темура с откровенной злобой.

— Конечно, не пойдешь, ты же мой, кому я могу отдать тебя? Разве сыновей кому-нибудь дарят? — ласкала она его, целуя в голову.

«Разве сыновей кому-нибудь дарят?» — ранили Темура слова.

Мальчик успокоился, увидев, что человек, который хотел его увести, собрался уходить.

Темур схватил бурку и, не оглядываясь, вышел. Залина, прижав Аслана к груди, тихо плакала. Теперь Аслан гладил ее голову, стараясь успокоить, говоря, что чужой человек ушел и больше никогда не придет...

Сурат сидела у накрытого бархатной скатертью стола, складывала в чистый холщовый мешок передачу в тюрьму, и, всхлипывая, бросала свекрови гневные слова:

— Недаром в народе проклятьем звучит: «Останься у потухшего очага бездомной сестрой». Кто б они ни были, но они — мои братья... Пусть они выповаты перед царем, но не передо мной же, перед родной сестрой... Что вы меня мучаете? «Один брат — бандит, другого с завода выгнали», — только и слышу от вас...

— Кто тебя мучает? Сама ты нас всех замучила! — прервала Кошер невестку, глядя на нее поверх очков, спущенных на кончик широкого мясистого носа. — Да как это так? — упрекала она ее тем спокойным голосом, который не выносила Сурат. — Как же это, милая, ты хочешь, чтобы старик позорился, ходил просить за твоего брата к тюремному начальнику... Ты подумала, что это значит? Ведь сам начальник области с ним за руку здороваются. Ведь ты хорошо знаешь, что им всем... — она подкинула очки к переносице и, покраснев, зашипела, — 3-3-запрещено носить передачу, пойми!.. Ни старик, ни сын мой Гамази не могут этого сделать... Слишком почетна моя семья и у всех на виду, чтобы просить помилования своим врагам... В продуктах тебе не отказано, бери, что хочешь, хоть быка жареного ему отвези... Но в эти позорные хлопоты, смотри мне, ни мужа, ни свекра не впутывай. Упа-а-а-а-си б-о-о-о-же! — протянула она и снова скинула очки с переносицы на кончик носа. — Да смотри, чтобы старик не узнал, что ты хлопочешь о свидании в тюрьме, а то выгонит нас обоих со двора.

— Тогда как же? Для чего же я их пакую? — разрыдалась Сурат и уронила голову на холщовый мешок.

Старший брат Тох Цуров участвовал зимой в восстании садонских цинковозов и с группой товарищей был арестован и посажен в тюрьму. Сестра хлопотала о свидании, но безуспешно: свидание не разрешалось, передачу не принимали. Сестра страдала от мысли, что брат ее, может быть, голодает в тюрьме. Тайму-

раз тоже уволен с завода. В доме у матери, кроме заработков брата, других средств к существованию не было. У матери нужда. Когда Сурат заговаривала с мужем о братьях, Гамази останавливал взгляд на ее красиво очерченных крупных губах и, язвительно скривив рот, говорил:

— Такая весть достойна того, чтобы ее из уст глашатая слышала вся Осетия... Виданное ли дело? Ты хочешь, чтобы я собственными руками кормил своих кровников?..

— Какие тебе кровники мои братья? — с возмущением говорила она, облизывая сухие полные губы. — Разве мои братья били тебя? Разве фамилия Цуровых рубила ваш лес или разрушала вашу мельницу?..

Тогда Гамази со стоном поворачивал к ней большое тяжелое тело, рябшки на его горбатом носу бледнели, веки краснели. И серые глаза, сверкнув, как лезвие отточенного кинжала, впивались в нее, и он хрипел:

— Да, твои братья — мои кровники. Те, которые рубили лес, и те, которые бунтуют на заводах, все они мои кровники... Никогда не заикайся о помощи твоим братьям-бандитам...

Глядя на его скривившийся рот и покрасневшие веки, Сурат в страхе пятилась от него. Но страх на лице жены вызывал в нем желание поколотить ее. Он хватал ее за руку так больно, что она, изогнувшись перед ним, кричала от боли: «Нана, уа, нана!» — призывая свекровь на помощь.

Сегодня утром, когда она шла по воду, встретила у реки старшего пастуха Саниат. Сурат еще зимой слышала от рыжего табушника Сафа, что среди «бунтарей-пастухов» самым дерзким образом вел себя сын Инала, распевая песни против царя, за что он и посажен в тюрьму. Сейчас, увидя Инала, Сурат пренебрегла адатом «молчания» перед старшим мужчиной и сама первая заговорила с ним, надеясь, что, может быть, Инал знает что-нибудь новое про арестованных.

— Пожалуйста, простите мне мою дерзость, — промолвила она, подойдя к Иналу. — Тревога за братьев лишила меня разума... Скажите, не слышали

ли вы какой-нибудь новой вести про арестованных, ведь мой брат тоже в тюрьме...

Пастух смущенно возвел на нее поблекшие глаза и с печальной укоризной в голосе сказал:

— Вам ли, невестке знатного Сафа, печалиться о вашем брате? Какие вести могут доходить до нашей глуши? Что мы знаем, что мы видим! — проговорил пастух, поникнув перед ней седой головой и расплакался, не стесняясь своих слез.

— Ничего я теперь не слышу, кроме свиста ветра, где мне чудятся песни моего сына, да шороха листьев в лесу, где, кроме страха, нет ни капли надежды...

Эта встреча так потрясла Сурат, что, вернувшись с реки, она торопливо стала собирать передачу в тюрьму, умоляя свекровь отпустить ее, тем более, что деверь ее, Владимир, тоже в городе.

— Не смей мне Владимира втягивать в свои хлопоты, — злобно шипела Кошер. — В гостинице остановишься, к нему не ходи. У него душа до всякой живой твари жалостлива, недаром же он доктор. Не проси его о помощи, тем паче, что... — Кошер сняла с носа очки, стряхнула с фартука обрезки сафьяна (она шила чувяки) — и потеплевшим голосом произнесла, что женить его скоро собирается старик. Ох, любя мне Владимира желанная, скорее б только уговорить ее. Кажется, не хочет она. Кого ждет? Где лучше моего сына жених? — горделиво спросила сама себя. — Только вот одно не по-моему: мальчик этот с пей...

— Меня за братьев упрекает: «Один в тюрьме, другой выгнан», а как же вы Залину в дом возьмете?.. Дочь поповского работника, воспитывающая сына Темура Савкуева.

— Это не твоего ума дело, не вмешивайся! — прикрикнула на нее свекровь.

— А я не дождусь, хочу посмотреть, — злорадствовала она, — как вы еще одну холопку в дом возьмете...

— А у меня и у самой кость не белая, не кровь алдара в детях моих течет. С нас достаточно и того, что она умна и образованна, умеет заработать деньги. А кровь на ладони не разглядывают...

— Посмейте вы меня тогда еще раз упрекнуть

моей бедной родней, — зло сказала Сурат, блеснув темным бархатом глаз.

— Поеду, все равно поеду. Не в город, так в Гизель, — отчеканила она, собрала всю передачу в охапку и хлопнула дверью перед носом изумленной све-крови.

* * *

— Открой окно, девушка. Ох, смерть моя, где же ты? — стонала Саниат, оглядывая большую комнату мутным взглядом впалых глаз.

— Пастух старший пришел, хочет вас видеть, — сказала Хадизат, появляясь на зов Саниат и открывая окно настежь.

— Ох, девушка, дай мне спокойно умереть!.. Душно мне, жарко, — шептала она коричневыми спекшимися губами.

— Говорит, что ему надо вас повидать, — снова повторила Хадизат, стоя у изголовья больной.

— Зови, что ему надо? — прохрипела она, откинувшись на подушки.

Выйдя во двор, Хадизат увидела, что Инал сидит под липой на скамье, молча уставившись в землю.

По адату Хадизат не имела права с ним разговаривать, поэтому, подойдя к нему, она остановилась, надеясь, что он услышит ее шаги. Но пастух сидел неподвижно, не замечая присутствия Хадизат. Тогда она кашлянула, давая о себе знать.

Пастух вздрогнул и вскочил. Она низко опустила на лоб мягкий шелк платка и кивком головы показала, что ему можно идти к Саниат. Инал шагнул мимо нее, потом остановился, поглядел по сторонам большого двора, повернулся к ней и тихо молвил:

— Прости, мое солнце, не сочти за дерзость попытку говорить с тобой, но я должен тебе передать. Слушай и запомни: как только состарится луна и спустятся на землю черные ночи, Атарбек придет к тебе, чтоб увести тебя отсюда.

Инал бросил на нее торопливый взгляд и увидел, что лицо ее побелело, а губы дрожали.

— Будь смелее, дочь моя, будь смелее... Чем скорее уйдешь ты из этого дома, тем скорее придет счастье. Вот сын мой сидит в тюрьме, ему негде больше распевать песен... Твоя жизнь — тоже тюрьма... без песен, без радости... Жди Атарбека и приготовь себе в путь все, что надо путнику...

Пастух сгорбился и, хрустя сухими арчита¹, прошел по песчаной тропинке и поднялся к Саниат. Хадизат долго стояла у крашеной скамейки, не веря ушам. Не верилось, что придет, наконец, день освобождения, что выйдет она за этот толстый дубовый забор, утыканный сверху гвоздями... Уйдет навстречу счастью...

«Куда угодно, куда угодно, только с Атарбеком», — думала она, шепотом произнося его имя.

Длинна дорога разлуки, слишком долго и мучительно ждала Хадизат этого дня, поэтому ее сразу охватило нетерпение. Она не знала, сколько ночей, дней надо еще ждать, пока состарится луна и почернеют ночи.

Когда Инал вышел от Саниат, звук его шагов вывел ее из раздумья. Она поглядела на него и залилась румянцем стыда.

— Что сказать ему? — спросил Инал, открывая калитку.

Хадизат подняла на него глаза и кивком головы сказала ему, что будет ждать... И тут же у ворот она встретила отца, которого ждала уже с весны. Асах вошел во двор и тяжело опустился на ту же скамью под липой, где недавно сидел Инал.

— Как она? — спросил он дочь, стягивая с плеч мешок из козлиной шкуры и развязывая ссохшийся толстый сыромятный ремень.

— Все так же, — промолвила Хадизат, принимая из рук отца запыленные дорожные доспехи.

— Так, может, она и вовсе не умрет? До каких же пор ты будешь караулить ее живой труп? — раздра-

¹ Арчита — горская обувь из сыромятной кожи.

жежно сказал он, не глядя на нес. — Хватит нас позорить... Завтра же увезу тебя!

— А как я ее брошу? — перебила она отца.

— Как ты ее бросишь? — с изгодованием переспросил он ее. — Так и бросишь, уйдешь и все...

— Она очень плоха, надо подождать, хотя б до новолуния. Знахарка сказала, что она дальше первого новолуния не протянет. Стыдно мне бросить ее умирающей и уйти. Сейчас все ее упрекают, что она меня держит около себя, а уйду — будут меня поносить, что покинула умирающую. Прошу тебя, отец, побудь со мной, мне очень страшно одной, побудь... А потом уйдем вместе...

Отец ничего ей на это не ответил, встал и пошел к Саниат. На скрип двери Саниат пошевелила стриженной седой головой и уставилась в лицо Асаха презрительным взглядом, полным злобы и бессилия.

— Хохаг? Подойди ближе, не прокаженная я, — проскрипела она, не поднимая головы. — Что, как вестник смерти, стоишь? — шипела она на него хрипло и злобно.

— Приехал проведать, — робко молвил Асах.

— Не проведать, смерти моей никак не дождешься, хохаг, — снова подчеркнула она слово «хохаг».

Это слово презрительно звучит в устах равнинного осетина. Зато слово «быдираг»¹ горный житель проносит всегда с завистью. Земля на равнине, например, не может провалиться в пропасть, ее не унесет ни обвал, ни поток. Если даже на равнине пройдут сильные дожди, бури, ураганы, — все равно: всочится вода в землю и напоят ее досыта, сделав жирнее и богаче. Иное дело в горах: ни от ветра, ни от дождя, ни от обвалов не жди добра. Хорошо, если после дождя найдешь то место, где была раньше твоя пашня. А бывает, что после дождя на том месте, где был посев, остаются только тысячепудовые камни. Много заманчивого в жизни равнинного человека, и недаром горец с такой завистью думает о равнине. Например, на равнине есть керосин, человек равнины наливает

¹ Быдираг — человек равнины.

эту жидкость в лампу, и в жилище его делается светло и радостно. А горец вместо лампы зажигает в сакле сосновую лучину, от которой, если долго ее жечь, начинает першить в горле. На равнине есть гвозди и веревки и даже стеклянные чашки, из которых человек равнины пьет сладкий чай. Сахар — это редкое лакомство для горских детей. Горец, возвратившись с равнины, приносит с собой белые сладкие квадратики и поровну делит их между детьми, рассказывая жене, какой вкусный напиток варят на равнине. И самое главное, на равнине есть мыло. В горах его нет. Куска хозяйственного мыла хватает целой семье от жатвы до жатвы. Да что и говорить! Много заманчивого для горца на равнине...

На равнине на каждый приход есть одна церковноприходская школа. Там учатся ребята, а иногда даже и девочки. Для горца недоступно все это, и потому он с завистью смотрит на «равнинных» мальчиков, которые на белой бумаге оставляют таинственные знаки, недоступные и непонятные.

— Хотя я и горец, — произнес Асах, еле сдерживая раздражение, — все-таки дочь моя, перешагнув все адаты нашего народа, во имя надгробного камня вашего сына сидит здесь, у вас... у вашего больного ложа. Уже за одно это вы должны быть нам благодарны.

— Не в качестве второй жены-содержанки вошла твоя дочь в мой двор и поклонилась моей надочажной цепи. Не каждый, кто захочет, имеет право ее взять. Она — законная жена... Это надлежит тебе помнить...

— Она давно хочет уйти, но с вашей стороны нужно соблюсти обряд, положенный адатом.

Саниат застонала, бросив на него взгляд, полный ненависти, и подняла голову:

— Греха на моей душе по отношению к ней нет. Она останется наследницей гуларовского очага... Доволен? — прохрипела она, и голова ее тяжело упала на подушку. Потом, сразу открыв мутные влажные глаза, прошептала:

— Возьми, возьми ее, если не боишься, что в царстве мертвых тебе придется держать ответ перед

Барастыром¹ за то, что она бросила меня на ложе смерти...

Больная сомкнула веки. Из-под ресницы капнула слеза, пробежала по морщинистой сухой щеке и упала на плечо. Саниат всхлипнула и зашлась в долгом, надрывном кашле.

— Хадизат, уа, Хадизат! — звал ее Асах, испугавшись, что Саниат может умереть.

«Не жилец она на этом свете. Пережду несколько дней, но дочь я здесь больше не оставляю людям на удивление», — думал он, глядя на судорожно быющее тело Саниат.

Хадизат подошла к постели больной и, нагнувшись к ней, приподняла ее голову на подушке.

.

Одинокой и совсем никому не нужной оказалась себе Залипа, когда вспомнила утром ночной разговор с Темуром и его слова: «Прощай, Залипа».

Не причесываясь, накинула она на себя полотняное пальто, под села к столу, вырвала из тетради лист бумаги и набросала:

«Владимир Сафарович!

Не удивляйтесь моему письму и при встрече ни о чем меня не спрашивайте... Я сама не знаю, зачем пишу вам это письмо... Знаю только одно, что я так одинока, так никому не нужна, и мне так тоскливо, что не хватает вас. Вы умеете объяснить мне самые необъяснимые вещи, за что я всегда остаюсь вам благодарной.

Мне сейчас совсем не стыдно писать вам такое откровенное письмо. Вам, мне кажется, пужно говорить только правду. Приезжайте. Вы всегда говорили, что будете ждать того дня, когда я улыбнусь вам... Не подумайте, я вовсе не собираюсь выходить замуж, но

¹ Барастыр — в осетинской мифологии повелитель загробного мира.

мне необходим человек, кому б я могла сказать: «Слушайте: объясните, отчего мне так страшно в жизни?»».

При этих словах она отложила ручку в сторону, опустила голову на край стола и, глядя на пол, заплакала: «Вру, вру... Я знаю, отчего мне так страшно... Страшно от своего чувства к Темуру, страшно мне оттого, что кругом все несчастны, совсем несчастны». Снова она вспомнила Темура: его бледное лицо, холодные руки и то, как он, не попрощавшись, ушел.

Она долго сидела, а потом, изорвав письмо на мелкие клочья, взяла чистый лист бумаги и написала:

«Владимир Сафарович! Приезжайте. Вы мне очень нужны. Когда? Хоть сейчас. Жду вас. Залина».

Запечатав письмо, она встала, чтобы одеться.

«Разве отсутствие одного человека может другого человека сделать столь растерянным, — думала она. — Как мне дальше быть, на что надеяться? Владимир должен помочь... Но сказать о Темуре кому-нибудь?.. Нет. На самой страшной пытке я не произнесу его имени».

15

Торжественно было бракосочетание доктора Абеева и учительницы Калоевой. В церкви служили три попа. Из Ардонской семинарии был приглашен протодьякон. Крестьяне ломились в церковь, чтобы посмотреть на Залину под венцом. Ее любили, потому желали ей счастья с богатым мужем. Залина была одета в осетинский костюм, вышитый бисером и шелком, с широкими рукавами и фалдами, обтянутый на груди и в талии. Богатый наряд изменил знакомую всем маленькую учительницу.

Под венцом она казалась совсем девочкой. Глядя на нее, знакомые умилялись, почему-то жалели ее и называли «бедной», «сиротинкой», «безродной».

Лидия Ивановна, приехавшая из Москвы после удачной операции мужа, была посаженной матерью. Она долго настаивала на том, чтобы Залину одели в

русское подвенечное платье. Но воля Сафа была непреклонна, и Владимир тоже был наряжен в белоснежную черкеску из дорогой шерсти.

Больше всех был рад счастью учительницы школьный сторож Михайла. Стоя во время венчания вместе с Асланом, он непрерывно крестился, поручая сироту попечению самой богородицы. Аслан, как незнакомую, разглядывал свою «маму-Залину» и все время спрашивал сторожа, почему она стала такая.

— Невесте печальной быть положено, потому как она к великому таинству приобщается,— отвечал Михайла. Он с тоской думал о том, что Залина покинет свою компатку, что вместе с ней уйдет и Аслан. А он, одинокий старик, лишится всех тех повседневных забот, которыми был полон его день.

В доме Сафа резали баранов, индюков, быка-трехлетку. Все село побывало на этой свадьбе. Пробовали жирную баранину, ячменное пиво. Сафа не пожалел для сына-доктора ни денег, ни меду, ни фруктов.

Сегодня четвертый день свадьбы. Беспорядок и шум, которые три дня царили в доме, понемногу утихли. Всадники не гарцевали больше у ворот Сафа, дожидаясь, чтобы им, как полагалось по обычаю, вынесли пирог с курицей и пенистого пива. Работники убирали, мели, скоблили дом и двор.

Сафа ждал к себе сегодня других гостей, гостей из города. Их нельзя посадить под сараем на голых досках, им нельзя подать одно вареное мясо на деревянных тарелках. Им нельзя поднести пиво в деревянных ковшах, скользких от жира. Это — особые гости. Для них расстилаются ковры, вынимаются лучшие скатерти из сундуков, достается фарфор и серебро из буфетов.

— Сам полковник Ляхов будет, городской голова Баев почтит мой дом,— хвалился Сафа старшине Дрису.

Готовились самые изысканные кавказские и русские блюда. Лидия Ивановна, искусная кулинарка, с голыми руками, в кружевном фартуке, будто священнодействуя, готовила сладкий крем к торту «наполеон».

Нервный, долговязый кадет Николай, названный этим именем в честь царя, тоже приехал на свадьбу к брату. Он все время вертелся на кухне, то около матери, давясь крутыми яйцами, то около Лидии Ивановны, облизывая ложки из-под крема. Набивая рот всякими вкусными кусками, без умолку говорил о том, что теперь он уже не такой слабосильный и что в корпусе он побил даже сына казачьего атамана, который называл его азиатом.

— Однако же, какой он уродец, — шепнула Лидия Ивановна мужу, отгоняя Николая от сладких пирогов.

У печки, приглядывая за пирогами, стоит Сурат. Она с презрительным снисхождением смотрит на Лидию Ивановну, возмущаясь тем, что эта инородка с открытой головой, голой шеей и обнаженными руками, не смущаясь, подходит к свекру и разговаривает с ним в присутствии своего мужа.

Это оскорбляло и Кошер, и она часто говорила об этом Сурат. Сказать что-либо мужу она не смела, заранее зная, что он обругает ее. Сейчас обе женщины, Сурат и Кошер, молчаливо суетились у печки, осуждая Лидию Ивановну за вольность в нарядах. Но где-то в темных застенках души, скрывая друг от друга, и Кошер, и Сурат завидовали Лидии Ивановне, ее свободе и особенно тому нескрываемому почтению, которое оказывали ей мужчины, на виду у всех целуя ей руку.

— Иннокентий! — громко позвала Лидия Ивановна денщика. — Держи тарелку, только не шелохнись, крем не разлей.

Вечереет. Столы накрыты. Послали на станцию фаэтон, чтобы встретить поезд. Залина и Владимир сидят на веранде. На Залине длинное лиловое платье, косы ее собраны в высокой плетеной прическе. Лицо бледнее обычного, в глазах — смущение и растерянность.

— Почему ты печальна? — тихо спросил ее Владимир, не спуская с нее восторженных глаз.

— Очень шумно у вас в доме, устала я, — ответила она и, сомкнув веки, откинулась на спинку камышового кресла.

— Это последние гости, потом будем одни... отдохнешь, — проговорил он, целуя ее в щеку.

Она открыла глаза и встала.

— Владимир, — сухо произнесла Залина, — я не хочу присутствовать на своей второй свадьбе... Свадьба моя уже была, на ней были все ваши родственники, знакомые и соседи. Этого достаточно... Я не хочу сидеть за одним столом с Ляховым... с Кулешом... Не смей мне возражать. Когда я согласилась выйти за тебя замуж, ты обещал мне, что никогда не будешь насильствовать мою волю без особой к тому необходимости. Какая необходимость мне сидеть за столом с ними? А тебе тем более! Я не ручаюсь, что буду вести себя за столом как полагается в моем положении. Я пойду в школу, у меня работы много...

— Тише... Пойдем к себе в комнату, — проговорил Владимир и взял ее за руку. — Мне, может быть, еще больше не хочется присутствовать на этом ужине, но он уже не может не состояться.

— Пусть он состоится без нас... без тебя. Я не могу тебя видеть с ними, не хочу, чтоб ты хоть чем-нибудь был похож на них.

— Наша свадьба, Залина, — это только предлог... Отец очень страдает, что мы не разговариваем с Георгием. Он нарочно устроил все эти свидания, чтобы убить молву о том, что образованные сыновья Сафа не говорят друг с другом. Сейчас у него есть возможность показать, что в доме Сафа Абаева все в порядке... Хорошо, ты иди в школу, переночуй там, но будет большой скандал. Скажут, что абаевская молодая на четвертый день своей свадьбы ушла из дома, на работу пошла. Ну что ж, этот скандал будет не страшнее того, когда я принял у Сурат ребенка...

В дверь постучали, и разговор оборвался.

— Что это вы попрыгали, — проговорил Сафа, остановившись у порога и оглядывая то невестку, то сына. — Пора гостей встречать, выходите в столовую...

— Я не могу, отец, присутствовать на этом ужине, мне надо ехать в Ардон... Я обещал навестить тяжело больного.

— Что-о? — переспросил Сафа. — Ты не можешь

присутствовать на этом ужине? Почему? Или гости мои тебе не по чину? Отвечай, что это значит?..

— Объяснений, отец, дать не могу, не спрашивай, но на ужине не буду, мне надо ехать в Ардон...

— Ах так, не можешь объяснить, не хочешь? Отец уже настолько дряхл, что с ним можно и не советоваться, с его желаниями можно не считаться? Зачем он тебе теперь? Ты взял у него все, что мог... Да, да, ты можешь теперь ложку сам подносить ко рту, сам стоять ножками. Нет!.. Не разрешу, пока я жив, раскалывать мой очаг, иметь в доме столько мнений, сколько ртов!.. Я здесь хозяин. Не смейте мне противоречить!—шипел Сафа, позабыв о том, что в комнате находится Залина, при которой ему по адату не полагалось повышать голос. Опомившись, он посмотрел на Залину и, пересилив злость, промолвил:

— Прости, дочка, забылся я, прости меня, старика... А впрочем, зачем от тебя скрывать, ты ведь член моей семьи теперь. Как слава, так и позор семьи тебя теперь не мишуют. Помни это и веди мужа по правильному пути. Ты умна, он тебя послушает. Пусть едет он лечить своих больных. Но Сафа Абаев покажет сегодня всем, что всегда делает то, что хочет. Мои невестки будут сидеть с мужчинами за одним столом...

— Я благодарю вас за такую честь, но не могу принять ваше приглашение, — сказала Залина, побледнев.

— Почему, дитя мое? Разве где-нибудь в Осетии ты найдешь еще такое положение?

— Тем не менее я не могу, — пролепетала Залина, — не могу сидеть за одним столом с убийцами моего отца. А вы б на моем месте как поступили, увидев своих кровников?

Сафа побледнел и, пораженный, смотрел на невестку, потом, подойдя к ней вплотную, сказал:

— Ты такая маленькая. Ты, которую я оберегал и сам выбирал в невестки... Ты не смей, ты не усугубляй раскола в семье. Не прощу...

Он хлопнул дверью и ушел. Некоторое время они молчали, а потом Владимир произнес:

— Пойдешь, когда наступят сумерки. Я приду, обязательно приду.

Он смущенно улыбнулся ей, как бы говоря: «Прости за скандал, как-нибудь уляжется все».

Залина припала горячим лбом к стеклу окна и увидела Аслана. Владимир молча обнял ее за плечи и, взглянув в окно, сказал:

— Аслан... Мальчик скучает, позови его, постучи...

Аслан понуро сидел около цветочной клумбы и разглядывал большой, чужой ему двор. Он повернул голову на стук, увидел в окне лицо Залины и весь зарделся от радости.

— Иди, иди в комнату, — позвала его Залина. — Тебе скучно? — спросила она мальчика, задержав его руку в своей, когда он прибежал к ней.

— Я к себе хочу, к Михайле, только тебя жалко оставлять здесь.

— Пойдем к Михайле, — прижав его голову к груди, проговорила Залина.

Мальчик ничего не ответил, нахмурился и посмотрел на Владимира. Аслан всех ревновал к Залине, даже тех учеников, кому она уделяла внимание, но больше всех он ревновал ее к Владимиру.

С первых же дней знакомства Аслан невзлюбил Владимира за то, что Залина часто с ним сидела, говорила и даже ездила в город. Теперь, после свадьбы, он ясно понял, что Владимир является причиной того, что она и Аслан не спят больше в одной комнате, и она не рассказывает ему перед сном сказок. Его уложили отдельно от нее, в комнате, где спит худой долговязый солдат. Солдат не говорит по-осетински, а Аслан плохо говорит по-русски. Мальчик не спал ночами, тосковал, плакал, уткнувшись лицом в подушку, затыкая уши от густого храпа Иннокентия.

.
.
.

Наступили сумерки. К воротам Абаевых подъехал фаэтон, и Сафа молодого пробежал по двору. Георгий

вышел навстречу князю Макаеву. Раздались приветствия, смех, звон шпор.

Знатный ужин Сафа все равно состоялся, хотя на нем не присутствовали Владимир и Залипа.

Залипа и Аслан ушли в школу. Кошер недоуменно глядела то на мужа, то на снох, не смея спросить, почему молодая так поздно вечером ушла в школу, разве ее школьные запытия важнее, чем гости Абаевых?

Стол был накрыт на двадцать человек. На самом почетном месте сидел полковник Ляхов.

Многим обязан ему Сафа. 1905 год, как страшное сновидение, еще свеж в памяти. Это ему, Ляхову, обязан Сафа, что богатства его вовремя оказались под охраной карательного отряда.

Предприимчивый полковник, друг его сына, сумел уберечь хозяйство Сафа, и поэтому он сейчас чувствует себя здесь как дома. Он постоянно ловит на себе любящий взгляд старика и благодарные глаза его сына Георгия.

По правую руку Ляхова сидят священник Цораев, помещик Туганов, батюшка Харитон, пристав Караулов, старшина Дрис и сам Сафа.

Лидия Ивановна сидит между князем Макаевым и инженером Дюкенном. Сын Туганова, Боба, и богач Макушев сидят по левую руку полковника Ляхова, затем — гости менее знатные.

Женщине сидеть за общим столом с мужчинами по обычаю не полагается. Но Лидия Ивановна не выполняет обычаев. Она внесла в семью много такого, что до нее считалось в этом доме неприличным.

— За царский закон, — сказал полковник Ляхов, протягивая ей бокал красного вина. — Господа! — сказал он. — Смутные дни, которые пережили все честные люди нашего края, как кошмарный сон, канули в прошлое. Господа! — продолжал он. — Для прекращения беспорядков, для восстановления спокойствия в свое время была необходимость быть жестоким... Мы были жестоки. В те страшные дни на Россию опустились густые сумерки, — говорил он торжественно. — Волна анархии с неудержимой силой катилась по всей стране. Зрела трагедия революции. За Россию, против

врагов России, встали в те дни лучшие люди нашей родины. Я здесь, господа, за этим столом, вижу людей, которые в сумеречные дни девятьсот пятого года не жалели своих сил, своих средств, своей жизни, встав за царя, борясь за него, за общую нашу родину, искореняя крамолу, призывая народ к мирному труду. Пью, господа, за нашу окрепшую родину, за царя и за народ, который ляжет за него костями! — гордо закончил он, чокаясь с помещиком Тугановым.

Громкое «ура» и рукоплескания заглушили слова полковника.

На столе были и жареные индюки, и вареная баранина, и холодная телятина, и форель, привезенная из ущелья. Мед в глубокой посуде, вложенной в белую плетеную корзину, вишни на ветках, вино в серебряных кувшинах, яблоки, груши и много других яств.

— Лидия Ифановна, — обратился к ней Дюкенн на ломаном русском языке, — пожалуй, мы с вами — самый почетный должны быть гость. Мы с вами не русские, у нас другой обычай, другой прав, нам трудно понятны их жизнь. Кавказский народ гостеприимен, но злой.

Лидия Ивановна улыбнулась Дюкенну и ответила по-немецки.

Сафа несколько раз выходил из-за стола: один из гостей еще не прибыл, и он волновался.

— Вам здесь не скучно среди них? — продолжал Дюкенн, обрадовавшись тому, что нашел человека, с которым можно не говорить по-русски.

— Мне не скучно, — ответила она, — я живу здесь только летом. Зимой я в Ростове, а на рождество — всегда в Москве. Люблю московскую масленицу, хоть я и не русская. Этот русский праздник самый лучший.

— Немцы много жирного кушают, а масленица тоже жирная, — улыбнулся он, рассматривая ее полные плечи.

— Не стесняйтесь, господа, пожалуйста, кушайте, — любезно сказала она, принимаясь за обязанности хозяйки.

— Прошу, прошу! — громко говорил Сафа, откры-

вая дверь и пропуская впереди себя плотного, белолицего, с розовыми щеками Баева Гаппо.

Все поднялись с мест, но Сафа быстро всех усадил, показав гостю место между полковником и священником. Все уже изрядно выпили и подобрали.

Вот пристав Алагирских рудников Караулов. В первые дни своей служебной карьеры он вместе с полицмейстером Котляревским участвовал в ограблении кизлярского казначейства. Котляревский покончил жизнь самоубийством, когда у него обнаружили банковый билет, а Караулов вышел из воды сухим и теперь имеет дом, собственный выезд, двух дочерей-гимназисток, сына-студента и свой пай в Грозном у нефтепромышленника Ахвердова. Как мило он улыбается, собираясь выпить на брудершафт с Макушевым, через руки которого проходит вся кукуруза Осетии.

Вот князь Макаев. Он очень любит деньги. Это ему обязаны дурдурские крестьяне своим выселением. Он настаивал перед судом о выселении крестьян с земли Туганова, ратуя перед начальником области за права помещика. Это он убил среди бела дня инженера управления железных дорог в собственном кабинете инженера, ограбив его несгораемый шкаф. В этот же вечер на Тифлисской улице во Владикавказе, договорившись с содержательницей публичного дома, купил у нее дом на всю почу.

Вот Амурхан Туганов, выгнавший с насиженных мест сто сорок девять семейств, подкупивший весь съезд мировых судей...

Рядом с ним священник Харитон, с худым длинным лицом, похожий на великомученика, тихо и смиренно каждый день обкрадывающий крестьян, отобравший у них землю для церковного причта.

А вот Баев Гаппо, став городским головой, посулил народу рай на этом свете, а потом ограбил город. Он купил себе двухэтажный особняк на улице Лорис-Меликова. Сейчас мечтает совершить заграничную поездку, чтобы посмотреть, как живут за границей. Он хочет устроить осетинским крестьянам «ладную жизнь... но только без социалистов», как писал он в 1905 году адвокату Вертепову.

Инженер Дюкенн улыбается Ляхову, показывая ему грушу весом с фунт, и говорит:

— Лючше алагирских грюша цету, прифифка надо делать, поеду Бельгну, стелаю прифифка, пофесу такой грюша домой.

У Дюкенна в арсиде находится горнопромышленное общество «Алагир». Крупный бриллиант украшает его длинные музыкальные пальцы. У него красивые серые глаза. Он играет на рояле, поет, танцует. Весной, когда в его нарядных покоях праздновали рождение сына, в шахтах произошел обвал, вспыхнула забастовка, которая продолжалась 28 дней. Но инженер Дюкенн съездил во Владикавказ, повидался с полковником Ляховым, и на шахтах пошло все по-старому.

А вот и сам хозяин — старик Сафа. Ночью в темной комнате не вздумай рассказывать его жизнь: страшно станет...

Сыновья его: лавочник Гамази, офицер Георгий, кадет Николай. Они только начинают делать карьеру, но можно быть уверенным, что надежды отца они оправдают.

«От шакала ягненок не родится», — говорят старики, глядя на здоровых, сытых сыновей Сафа.

Сын его Владимир — ипой. Сафа с большой надеждой ждал окончания его учения... Владимир — доктор, но Сафа им недоволен: «Не тот, не тот он, каким должен быть», — думает Сафа, вспоминая разговор с сыном. Последнее время он совсем не может понять, чего хочет Владимир.

Тут же старшина Дрис. Что же сказать о нем?

Крестьяне, повстречав, низко кланяются ему, а когда проходит мимо, сжимают кулаки и говорят детям: «Материнское молоко выхаркай кровью, если простишь ему обиду отцовскую и брата, убежавшего в абреки».

— Дорогие гости, — обратился Сафа, держа в руках бокал. — Я не ошибусь, если от имени всех вас поднесу бокал уважаемому Гапю. Мы прощаем ему опоздание к столу: человек он занятый, хозяин города.

— Просим, просим! — зааплодировали гости.

Гапю, расправив плечи, встал.

— Господа, — сказал он, обводя всех круглыми маслянистыми глазами. — В тяжелый час возложено на меня бремя хозяина города. Смутные дни миновали, но крамола еще не угасла. Все мы, без различия племени и вероисповедания, все, кому дорого спасение родины, должны помнить, что самое главное сейчас — это искоренить зло, которое осталось от тех дней...

— Ура! — закричали на другом конце стола.

Взгляд городского головы упал на кадетские погоны Николая, и он продолжал свой тост, глядя на него:

— Осетинам доверили военную службу, и пока что они с честью несут эту службу. Осетинские офицеры удостоились высокой чести. Некоторые из них за беспримерную службу состоят в конвое Его Величества. Что же пожелать тебе, юноша? — обратился Гаппо к Николаю, который все время краснел и порывался закричать «ура», но его одергивали сзади. — Желаю тебе, — сказал Гаппо, — стать советником в Петербурге, наместником на Кавказе.

Запели традиционную песню, которую поют, когда пьет кто-нибудь из знатных гостей.

— Ура-а! — закричали гости.

Осушим счастья бокалы,
Прими и выпей, друг.
Пусть не лишится твой дом славы,
Прими и выпей, друг.
Пусть даст вам создатель наследников сильных,
Прими и выпей, друг.
Да будет удача в дорогах дальних,
Прими и выпей, друг.
Да будет обилен дом твой радушный,
Прими и выпей, друг.
Пусть будет жена подругой послушной,
Прими и выпей, друг.
Да сбудется все, что желаешь ты сам,
Прими и выпей, друг.
Все, что желают враги тебе, пожелай врагам,
Прими и выпей, друг.

В раскрытые двери раздавались крики веселья. Работники толпились в коридорах, скользили по натертым полам. В кухне Кошер и Сурат продолжали суетиться у печи. В углу, над большим эмалированным тазом денщик Иннокентий мыл тарелки, нагибаясь и поднимаясь, длинный и худой, похожий на колодезный журавль.

Гости, наевшись и напившись, не торопились расходиться. Открыли двери в большую квадратную гостиную, где инженер Дюкенн по настоянию Лидии Ивановны играл на пианино.

Боба и Лидия Ивановна слушали инженера.

— Бетховен грубый, не нежный, как и весь немецкий музыка, Верди лучше.

— Верди не ваш, не бельгиец, — ответил ему Боба.

— Я понимаю Верди, все рафно понимаю, а кафказский музыка не понимаю. Кафказский музыка или сюмашедший или скючный, как плач.

— Играй, инженер, русскую, танцевать буду, — подходя к пианино, кричал Макушев, нетвердо держась на ногах.

— Теперь меня, конечно, поняли, теперь я хорош, — стоя у окна и куря папиросу, говорил Баев капитану Георгию. — Теперь они поняли, — продолжал Гаппо, — что в провале всего виноваты были те мелкие агитаторы, которые вертелись среди народа перед 1905 годом, заставляя крестьян идти против меня, — человека, имевшего мужество усмирить их во время революционного угара...

— Такая темная масса крестьян не может делать революцию, а рабочих у нас нет, а какие есть — у них не тот дух, что у русского рабочего. У нас фактически нет бедных, — перебил его Георгий... — У нас и помещик, и богач, и бедняк — все имеют право сидеть за одним столом, на одном ныхасе...

— То-то и оно. Нам революция не нужна, у нас все равны. Весь вред этой пропаганды и ее печальные последствия пророчески предсказал тогда... Да, кстати, где Владимир? Почему его нет? — спросил Баев Георгия.

— Уехал в Ардон лечить больного, он помешан

на своей медицине, а впрочем, я не интересуюсь его делами...

— «И правых, и неправых рассудит будущее, а будущее принадлежит истории, — говорил мне как-то Владимир. — Кто знает, что сделает с нами история? Или возвеличит и вознесет, или заклеянит и низвергнет»... Я помню эти его слова, — заметил городской голова, — с точки зрения социалистов все может быть.

Не желая продолжать разговор, он, указав на Макушева, сказал:

— Хорошо, бестия, танцует.

— Казаки — народ размашистый, стеснения не терпят, — заметил Георгий.

— А ну, батюшка, со мной... Танцуй! — кричал Макушев, вцепившись в попа, кружа по комнате худое батюшкино тело.

— Танцуй, святой, все равно все вместе в вечном огне гореть будем. Танцуй, бог не без милости, казак не без счастья, — крикнул пристав.

Их окружили, им дружно хлопали, а пьяный Макушев неистово вертел батюшку по кругу, а потом всунул его в мягкое кресло.

— Господа! Господа! — сказал Николай, глядя в окно. — Посмотрите, какая луна!

Лидия Ивановна подала руку Боба Туганову, и они вышли на веранду. Работник услужливо предложил им камышовые кресла.

Летняя ночь была тиха, и в сумеречной тиши часто перекликались петухи. Медленно поднималась большая запоздавшая луна. Темно-багровая, она окрасила заревом пожара ближние холмы.

— Красиво, но страшно, — сказала Лидия Ивановна, опускаясь в кресло. — Когда-нибудь не станет нас, кто-то другой будет любить и страдать, — добавила она.

— Мне всегда хочется знать, — вставил Боба, — какие люди будут лет через сто и что тогда вообще будет?

— Лучше не будет, — ответила Лидия Ивановна.

— Вы сегодня мрачно настроены, — проговорил Боба. — Посмотрите на луну, что она вам напоминает?

— Последние дни Помпеи, — ответила Лидия Ивановна.

— Похоже... — молвил Боба.

— Вы хотите знать, что будет на этом месте через сто лет, Боба? — обратилась Лидия Ивановна к нему.

— Женщины обладают даром ясновидения. Вам лучше знать, Лидочка, — ответил он.

— В одном я уверена, — сказала Лидия Ивановна, — что лет через пятьдесят сюда придет европейская культура... Кавказ должен стать земным раем. Кавказ надо окультивировать... Вместо войлочной шляпы — цилиндр, вместо черкески — фрак, — продолжала она. — Не все же вам носить черкеску, этот разбойничий наряд.

— Так если сменить черкеску на фрак — настанет рай? — спросил Боба.

— Смотря как понимать рай, — раздраженно ответила Лидия Ивановна. — Рай в загробном мире создать не сумели, а в этом мире его едва ли можно создать... Рай, который мне снится, должна принести сюда Европа...

— Жизнь идет себе и идет, не спрашивая нас, у жизни свои очень крепкие законы, они незыблемы, — ответил ей Боба.

— Последний год показал, что нет в жизни ничего незыблемого. Все законы «зыблемы», — сказала она.

— Для холопов что ни построй, все равно уклад жизни им не изменить. Построй им хрустальные замки — все равно в сакли сбегут... Холоп есть холоп.

— Ты, конечно, прав, — проговорила Лидия Ивановна. — Я ненавижу бедность, презираю нищету. Я люблю комфорт, хочу столько денег, чтобы пользоваться всеми радостями жизни, начиная от накрахмаленной простыни и до бриллиантовой шпильки на моей голове.

— Узнаю вас, Лидочка, — улыбаясь, промолвил Боба.

— А насколько я тебя понимаю — ты должен на зеленом холме построить больницу и лечить своих бывших крепостных, которых отец твой Амурхан предусмотрительно прогнал перед пятым годом, а то, че-

го доброго, они свернули бы ему шею... Ха-ха, — засмеялась Лидия Ивановна и взяла Боба за руку.

— Пойдемте пить вино, это приятнее.

— Пойдемте, — промолвил Боба, целуя ее руку.

Дрис не досидел на свадебном ужине. Он сразу же напился, почувствовал себя плохо и рано ушел домой. В полутемной спальне, шатаясь, добрал до постели и, не помня себя, лег. Среди ночи он проснулся, и ему показалось, что качается на качелях. Он несколько раз поднимал голову с подушки, но в комнате было темно, и он не соображал, с какой стороны двери.

В спальне пахло винным перегаром, валерианкой, ладаном и квасом. Жена старшины и зимой, и летом любила спать в тепле. Дрис поднял с подушки тяжелую голову. Он часто дышал. Хмель прошел, но голова болела, а тошнотное удушье вызывало тяжелую одышку. В душном мраке комнаты рядом с ним на подушке лежала голова жены. Боясь разбудить ее, придерживая дыхание, он осторожно опустил ноги на пол, ища в темноте свою одежду.

Но жена пошевелилась и, привычно потянув к столу руку, сонно прошептала:

— Выпей квасу с валерианкой, пройдет, — и тут же снова заснула.

Дрис ничего не ответил, пашупал в темноте черкеску, натянул ее на горячее тело, всунул ноги в чулки, и, тяжело дыша, вышел во двор.

Луна затянулась оборванными темными тучами, дул теплый ветер, где-то далеко серебряными арканами взлетали молнии и глухо грохотал далекий гром.

Старшина вышел за калитку, пересек улицу и остановился у гуларовских ворот. Он давно уже не видел Хадизат. Среди однообразных хлопот дня он часто вспоминал ее, но с тех пор, как однажды она показала ему нож, боялся к ней идти. Дрис бесшумно прошел через задний двор, потрепал собаку, и она ласково завияла хвостом. Окно Хадизат было открыто. На цыпочках прошел он по коридору, всунул ключ в скважину двери и перешагнул порог. Он дол-

го стоял, глядя на белую кровать, прислушиваясь к тихому, ровному дыханию Хадизат, а потом подошел и склонился над ней.

В матовом свете луны лицо ее казалось бледнее обычного. Закинутые назад, на подушку, руки были холодны. Дрис втянул воздух открытым ртом и, нагнувшись к ней, прижался к ее сонным губам.

Она слабо вскрикнула, уперлась руками в его грудь, прошептал:

— Уйди, убью!

Толкнув его, она соскочила с кровати.

— Слышишь? Уходи! Если подойдешь ко мне, клянусь прахом замученной сестры Фаризат... убью!

Дрис был поражен неожиданной силой ее голоса. Это был не шепот, а приглушенный крик, и слово «клянусь» звучало, как клятва кровника.

«Откуда у нее такая сила?» — подумал ошеломленный старшина.

— Думаешь, если отец приехал к тебе в гости, так тебе теперь все дозволено? — закашлялся он и в бес- сильном гневе шагнул к ней.

— Не подходи! — вскрикнула она, схватив со стола ножницы. Она шагнула назад, зажав ножницы в руках.

Старшина остановился: холодно сверкнула сталь в руках Хадизат.

— Ты что? Брось, я сейчас уйду, сосулька, — прохрипел он и на цыпочках вышел из комнаты.

Злоба душила его, и он подумал:

«Нет, я должен узнать, в чем тут дело, не обманывает ли и меня, и Саниат сама Хадизат?».

Он прошел к сараю и лег на кучу свежескошенной травы... Его тошнило, болела голова. Не спалось.

В глубокий сон погрузился большой дом Абаяевых. Работники, измученные сутолокой дня, тоже прикорнули в неубраных комнатах. Сафа вышел на веранду. Хмель не давал ему спать. Он прошел в сад и опустился на скамью, подставив горячий лоб под легкое дуновение влажного ветерка. Потом встал, прошел через двор и остановился у забора Саниат. Перелез

через забор. Бесшумной, плывущей походкой прошел Сафа через темный двор, поднялся на галерею и остановился. Дверь в комнату Саниат была раскрыта настежь. Он шагнул через порог и увидел постель, белевшую в полумраке комнаты. Присев на край кровати, Сафа нагнулся к лицу больной и услышал тлетворное дыхание ее сгнивших легких. Хмель колотился в его висках. Он дотронулся до руки Саниат. Кожа была потной и скользко-влажной.

Он встал и присел у кровати на корточках, тяжело дыша.

«Зачем я пришел?.. Что мне надо?—думал Сафа.— Все равно умрет... Есть бог или его нет?!»

Он знал от самой Саниат, что завешание сделано на имя Хадизат, но где оно — у Саниат, у Хадизат или у Дриса?!

«До конца лета не дотянет», — сказал Владимир, выслушав ее легкие. Тревожно было на душе Сафа.

«Надо, чтобы не было этого официального документа, тогда хорошо...» Он ведь ближайший родственник ее мужа... Кто, как не он, будет иметь право на богатства Саниат... «А если завешание у Хадизат?.. Спросить Саниат, заставить сказать, где завешание... Она скажет, она сделает это... она все делала для него... Спросить?..»

Он встал и нагнулся над ее кроватью.

— Прости, что поздно пришел, прости... Но я сейчас уйду... уйду... Ты только скажи... Где завешание?.. Слышишь? Или спишь? Слышишь?.. Доверься мне, как доверяла... Где завешание? Говори...— шептал он над самым ухом.

Чутко сон больной. Саниат высвободила руку и уперлась ею в грудь Сафа.

— Не шуми! Т-ш-ш... Дай завешание... Укажи, где... Я плохого тебе не желаю, мне доверься...

— О-ох! — слабо застонала Саниат, пытаясь разглядеть то тяжелое, что нависло над ней. — У-у, старый коршун! — прошептали ослабевшие губы. — В неподобрый час пришел ты проведать больную соседку... Пусть проклятия всех матерей падут на голову детей твоих!.. Что надо тебе?..

— Завешание... С-скорей, — прошептал Сафа.

— У-у-ух! — слабо простонала Саниат и широко открытыми глазами впиалась в глаза Сафа. — Не скажу... ничего не скажу, души! Не найдешь... — шептала она и, казалось, насмеялась над ним, над его жадной беспомощностью.

Он выпрямился и вздрогнул. Рука Саниат поднялась и вцепилась в бороду. Она с такой силой рванула его за бороду, что он покачнулся и упал на нее.

— Проклятие над домом твоим... Сафа, — прошептала она...

Он испугался и быстро зажал ей рот, укутав лицо одеялом.

В последние секунды жизни разум ее просветлел, перед ней с быстротой звука промелькнула вся жизнь... Она попыталась пошевелинуться, но Сафа крепко держал ее. Тело ее было жалкое, легкое, из уст вырывалось свистящее дыхание, лоб покрылся каплями пота. Руки Сафа чувствовали редкие, короткие толчки — Саниат икала. Она провела ладонью по лбу, будто хотела снять паутину, заткавшую прошлое... Вот он, кому после смерти мужа, тридцать лет тому назад, в такую же темную ночь, как сегодня, отдала она свою нетерпеливую горячую любовь...

Рука мертвой Саниат все еще держала его за бороду. Он с силой оторвал ее руку и шагнул к двери. Бесшумно прошел к калитке, постоял секунду, а потом повернулся, чтобы перелезть через забор, разделяющий дворы. Но в эту минуту ему показалось, что под сарасм мелькнула какая-то тень...

Дрис, подняв голову с кучи травы, пораженный, смотрел на Сафа. Он не заметил, как прошел Сафа в дом, но хорошо видел, как Сафа спустился с галереи и, хоронясь и сутулясь, остановился у забора, чтобы перелезть через него...

«О бог богов... Неужели? Неужели этот старый коршун, всю жизнь продержавший Саниат в колдовских своих чарах, ходит теперь к ее снохе?»

Дрис тяжело опустился на траву, не веря глазам.

Сафа постоял секунду, прислушиваясь, затем перепрыгнул через ограду в свой двор. Ему стало холодно. Он съежился, низко опустив голову. Зубы стучали. Бешмет был расстегнут. Ореховый пабалдашник

палки не умещался в руке, и он несколько раз брал ее за середину. Добежав до веранды своего дома, он, как маленький ребенок, за которым гонятся, толкнулся в нее, потом отошел и сел на скамью под деревом. Сняв шапку и вытерев ладонью вспотевшую голову, Сафа облегченно вздохнул и посмотрел на небо.

Наплывал предрассветный мрак. Размахнувшись, Сафа ударил палкой по стволу яблони. В разреженном предутреннем воздухе дерево издало глухой, короткий звук, и снова кругом все замерло. Сафа обрадовался тому, что он не оглох, что завтра опять вокруг него будут ходить люди, говорить и смеяться. Страшный ужас, овладевший им, сползал с него. Он вспомнил, что у него есть жена, которая сейчас тоже спит, по которую он, на правах мужа, может разбудить и поговорить с ней. Да, поговорить... услышать голос живого человека — вот чего он хотел, как он не мог понять этого...

Он поднялся на пустую веранду дома, открыл дверь спальни, прошел в угол комнаты и, найдя на столе спички, зажег лампу.

От скрипа двери Кошер проснулась. Она завозилась в постели и, со старческим стоном поворачиваясь к стене, заслонилась рукой от света лампы. Сафа без дела никогда не разговаривал с ней и не делился. Она знала, что если спросить его, то он или не ответит, или просто прикрикнет. Поэтому, натянув на голову бордовое ватное одеяло, она про себя ругала мужа, называя его полуночником.

В продолговатой комнате стояли две темно-зеленые кровати, которые сын Гамази привез для родителей из Ростова. Стены были увешаны коврами. На полу около просторной турецкой тахты большой бурый медведь скалил искусственные красные десна.

Очутившись в знакомой комнате, Сафа успокоился, но ему хотелось поговорить. Поговорить обязательно, хотя бы с самим собой.

— Что же ты, не слышишь, что я пришел? Мало того, что ты никогда не ждешь моего возвращения, да еще и слово сказать ленишься, — с упреком сказал он.

— Прошли дни, когда я, бывало, ждала тебя не

только одну ночь, а по пять ночей, не смыкая глаз. Хватит с меня, стара я стала для таких адатов, — ответила Кошер, не поворачиваясь к нему. — Ты сам велишь, чтоб работники не ждали твоего возвращения, вот тебя и не встретил никто. А что касается разговора, так ты меня удивил: не привыкла я, чтобы ты со мной когда-нибудь разговаривал или советовался как с матерью твоих детей. Вот я и молчу, — сказала она и еще плотнее укуталась в одеяло.

— Ты хоть сапоги с меня стяни, озяб я, — ласковым голосом проговорил он.

Тридцать лет эти два человека спали в одной комнате, были мужем и женой. Но давно они перестали замечать друг друга. Еще тогда, когда Кошер рожала ему детей, Сафа перестал на нее обращать внимание. Она знала, что он не перестал любить женщин, что он ходит к другой. Но Кошер так и не узнала, кто она, ее неуловимая соперница, так умело отобравшая у нее мужа, которого она не переставала любить.

Прошли годы, выросли дети, появились внуки и заменили ей любовь мужа. Поэтому Кошер, отвыкшая от ласковых слов, сейчас затаила дыхание и с изумлением прислушивалась к давно забытым, ласковым ноткам в голосе мужа.

— Сам снимай, — ответила она, чувствуя, что сейчас он не закричит на нее.

Сафа молча стянул сапоги, осторожно, чтобы не стукнуть, поставил их в угол и, постояв минутку в нерешительности, дотронулся до одеяла жены.

— Пусти к себе, согрей, — умоляюще произнес он.

— Дай мне отдохнуть, устала я, — ответила Кошер. таким тоном, как будто он просил ее об этом и вчера, и позавчера, и год тому назад, и вообще всегда.

— Не сердись, — тихо прошептал Сафа, — не сердись, Кошер, — по-старому называл он ее. — Не до ласк мне теперь, все хозяйство на мне лежит, одному Гамази не справиться. Поэтому, может, когда и бываю злой, неласковый, а все оттого, что дум в голове много, много забот о хозяйстве... Сыны в больших городах живут, денег больше поедают, чем вся наша семья. Хочется, чтобы они хуже других не были, не

завидовали никому. Не хочу я, чтобы у них молодость была на мою похожа, чтобы нужду они знали. Хочу, чтобы красивая жизнь у них была, не хуже, чем у русских офицеров... Не сердись.

Он прилег рядом с ней.

Кошер, удивленная, боясь пересбить его, лежала рядом, разглядывая его лицо.

Она повернулась к нему, прощая ему долгие годы равнодушия. А Сафа все шептал ей на ухо, все говорил, все на что-то жаловался, что трудно ему, что хорошо бы ему теперь отдохнуть, чтобы сыновья сами взяли заботу о большом хозяйстве, а ему бы теперь только сидеть на пасеке да разводить пчел.

Постепенно разговор его перешел в несвязный лепет, он согрелся и стал дышать тепло и ровно.

Только Кошер задремала, Сафа закричал во сне, как будто за ним гналась собака, которая вот-вот должна была растерзать его.

— Урри!.. урри!.. урри!.. — кричал он в ужасе.

Кошер толкнула его в бок.

— Стая собак тебя преследует, что ли? Чего ты разорался?

— Ух!.. — вздохнул он, увидя себя в постели рядом с женой. — Проклятая собака, она мне уже несколько ночей снится, кусает меня, терзает... То собака, а то превращается в женщину... Нет, не могу я больше... стар становлюсь, не под силу мне большое хозяйство...

Он встал на колени и начал молиться.

Кошер с изумлением следила за мужем — он не верил в бога и никогда раньше не молился.

Вскинув глаза на образ Георгия Победоносца, он шептал:

— Прости, господи, рабов твоих. Прости им, если они делают что-либо такое, чего не подобает... Все тебе видно с твоего небесного ложа, все наши действия тобой начертаны. И рукой злодея, и рукой святого водишь ты, о аллах, создатель добра и зла...

Сотворив молитву, Сафа почувствовал облегчение: он ничего не скрыл от того, кто все видит, все может, кто милует и карает...

В доме Абаевых наутро после званого ужина было тихо. Яркое солнце освещало двор. Аслан бегал по саду и ловил бабочек. Мимо прошел Сафа. Аслан постороился, старик посмотрел на него.

«Значит, и Залина уже дома, коли этот щенок здесь», — подумал Сафа.

Ни разу старик не заговорил с ним, не поручил ему никакого дела, но и не прикрикнул на него, как на других, не обругал его, как ругал остальных,—он просто не замечал мальчика. Аслану казалось, что, попадись он под ноги старику, и то он не заметит его и раздавит. Ничего, казалось, не было грозного в этом сухопаром старики, но Аслан знал, что, несмотря на это, все в доме его боялись. Без его совета, против его желания никто ничего не делал. Аслан не боялся Сафа, но никогда не посмел бы подойти к нему и заговорить. Но если Аслан хотел с кем-нибудь дружить в этом доме, так это только с Сафа. Об этом он не говорил даже Залине. Часто Аслан нарочно попадался старику на глаза, но Сафа не замечал этого.

Навстречу Аслану с рогаткой в руках шел первенец Сурат, краснощекий Ахмат. Гамази очень любил сына, дед называл его наследником, а бабушка Кошер всегда заступалась за него перед матерью и отцом, обожая его слепой старушечьей любовью. Владимир и Залина смеялись, называя между собой его Митрофанушкой, удивляясь его способности все время что-нибудь жевать.

— Давай в абреки играть, — предложил Ахмат Аслану, — только я буду абреком, а ты старшиной.

— Тогда я тебя обязательно поймаю и убью, абреков всегда убивают, — проговорил Аслан.

— Не поймаешь, я в дупло спрячусь, — выпалил Ахмат и побежал.

Ахмат спрятался в дупле старой груши. Аслан же с палкой, представляя из себя старшину Дриса, отдуваясь, долго кружился около дерева, притворно пыхтя. Он заходил то с одной стороны, то с другой, потом повалился грудью на землю и настороженно прислушался, как бывает в засаде. Ахмат высунулся из дупла и прицелился из рогатки. Камешек свистнул и попал в щеку Аслана.

— Ты убит! Ты убит! Не подходи, я тебя убил! — закричал Ахмат, возмущаясь тем, что Аслан нарушил правила игры и вскочил на ноги.

Шестилетний Аслан был вспыльчив и раздражителен. Когда он злился, то, подобно отцу, бледнел. А сейчас, оскорбленный тем, что его так быстро «убили», несмотря на протесты Ахмата, медленно, молча пошел на «врага». Он наскочил на Ахмата, подмял его под себя и, заламывая ему руки назад, говорил:

— Начальники всегда убивают абреков, а я старшина...

— Я так не играю, — кричал Ахмат, — я тебя раньше убил! — и Ахмат расплакался.

Гамази давно наблюдал из открытого окна за игрой мальчиков, любуясь тем, как сын его попал камешком в Аслана. Оголив мохнатую грудь, он улыбался, но, увидя, как Аслан вязал руки его сына, Гамази закричал:

— Эй ты, рожденный холопом! — и выбежал в сад.

Схватив Аслана за руку, он отшвырнул его в сторону. Мальчик кувыркнулся, ударившись щекой о пень.

— Тебе, волчье отродье, только в абреки играть, — закричал он на него и взял сына на руки. Ахмат громко рыдал, доказывая, что Аслан неправильно играет, что он его уже «убил».

Бледный, дрожа от глухой ненависти, Аслан поднялся на ноги и молча уставился на Гамази.

— Смотри какой! Недаром говорят, что от волчицы ягненок не родится.

— Брось ты их, связался с детьми, — сказала подошедшая в это время Сурат. Она хотела приласкать Аслана, но он злобно оттолкнул ее, взглянув на нее потемневшими, влажными глазами.

— Иди, щенок, проси прощенья, — крикнул Гамази.

— Не буду, — огрызнулся Аслан.

— Как не будешь? Я говорю, значит, будешь, ублюдок! — закричал Гамази, и опустив сына на траву, схватил Аслана за ухо.

— Оставь, оставь, — закричала Сурат на мужа.

Но Гамази не слушал ее и с размаху ударил мальчика. Аслан побледнел, кинулся на Гамази и укусил ему палец.

— Брось, брось, прошу тебя, — молила Сурат.

На крик прибежала Кошер, и увидя плачущего внука, обняла его.

В калитке показался Сафа. Он взял Аслана за руку и, глядя в глаза Гамази, сказал:

— И в кого ты такой мелкий, злой. С ребенком тягаешься, будто коршун с куропаткой. Постыдился бы...

Залина, услышав крик Аслана, спустилась с веранды. Увидев ее, Аслан вдруг громко расплакался и побежал к воротам.

— Не приходи больше сюда, абречье отродье, чтобы я не видел тебя во дворе!—кричал Гамази.

— Прошу вас, не кричите на него, он же сирота,— проговорила Залина, побледнев.

— Абрек он, а не сирота! Не к лицу нам воспитывать сына Темура Савкуева.

— Замолчи ты!—закричал вдруг Сафа.

Кошер шагнула к мужу, стараясь вступить за сына. Глаза старика сузились и посерели. Все знали, что он очень зол и сейчас нельзя попадаться ему под руку.

— Уйди, — он хотел еще что-то сказать сыну, но, взглянув на Залину, проговорил:

— Прости, не подобает мне при тебе так кричать. Не обращай ты на него внимания, не сердись... Пока я жив, я здесь хозяин...

И Кошер, глядя в посеревшие глаза мужа, ласково обратилась к Залине:

— Не следовало бы тебе, моя дорогая, из-за него разговаривать с деверем. Образование ни с кого не снимает законов наших гор. Ты бы лучше, душа моя, поручила его сторожу в школе. А в пище ему никто не отказывает, слава богу, всем хватит...

Залина посмотрела на свекровь, потом на свекра и, ничего не сказав, ушла на веранду.

Владимир стоял у окна, и, скрывая раздражение, смотрел на Залину. Непонятную ему самому неприязнь испытал он сейчас к Аслану. Ему не жалко

было того, что мальчика кормили и одевали. Ему было все равно и то, что он сын абрека. И все-таки порой, глядя на него, ловил себя на мысли, что было бы лучше, если бы не было этого мальчишки. Совсем не было... Но ему делалось стыдно своих мыслей, и он покупал ему какую-нибудь игрушку.

Мальчик нехотя брал подарок, не радовался и не благодарил, хотя Залина просила его, чтобы он сказал спасибо доброму доктору. Сейчас, услышав крик брата и слова Залины, еле сдерживая раздражение, проговорил:

— Нзачем было тебе вмешиваться...

— А как же? — удивилась она. — Через два года отдам сго в гимназию, избавлю вас всех от него.

— Как в гимназию? — удивился Владимир. — Не забудь, чей он сын, отец его слишком известен... Лучше в ремесленное училище... туда проще...

— Цораев обещал устроить, — прервала она его. Владимир недоуменно пожал плечами.

— Трудно сделать, я лично не берусь...

— Я и не прошу, — оборвала она его.

— Что это — эксперимент или проверка общественной честности? — улыбаясь, спросил он.

— Это не эксперимент, просто долг, — ответила она.

— Перед кем же долг? — глядя ей в лицо, тихо спросил Владимир.

— Хотя бы перед его отцом... Я обещала ему...

— Почему же ты никогда не говорила мне, что знакома с его отцом? Странно, что я не знаю об этом!

— Если бы я знала, что мужу надо рассказывать все, я бы никогда не вышла замуж...

— А как же иначе? — удивился Владимир.

— Я имею право думать, не спросив твоего разрешения? — тихо спросила она, вскинув на него темный прищур глаз.

— Что это за тон, Залина, из-за чего... главное?

— Не смей так говорить, — прошептала она, словно задохнувшись от морозного воздуха. — Так может говорить твой брат Гамази, мать, отец твой, но не ты. Я всегда твердила, что никогда его не брошу, он мой, считай его моим сыном...

Владимир увидел в ее глазах холодок.

— Я пойду поищу его, куда он делся, — проговорила она, побледнев, еле сдерживая слезы.

У ворот Залина встретилась с Атарбеком. Они молча поглядели друг другу в глаза.

— Что? — тихо спросила она, подойдя к нему вплотную.

Он молчал. Лицо его было землисто-серым. Губы дрожали.

— Что-нибудь случилось?..

— Случилось, — проговорил он хриплым голосом, — помоги, Залина, — Хадизат увезли...

— Куда увезли? Кто?

— Полицейские... арестовали... Ее и отца в город повезли: Саниат Гуларову кто-то ночью придушил... на нее свалили... Помогите... Темур все сделал... Мы должны были ночью убежать... Помогите, — просил он, не спуская с нее горящих глаз. — Свекру скажи... Сафа... он все может, помогите...

Залина, пораженная, слушала пастуха, потом, резко повернувшись назад, пробежала обратно к веранде.

— Знаю, слышал... — проговорил Владимир, спускаясь ей навстречу. — Отец был в правлении. Говорят, что вчера к Хадизат приехал ее отец, а утром старуху нашли задушенной с завязанным ртом. Успокойся, прошу тебя Залина, — умолял он ее, стараясь увести в комнату.

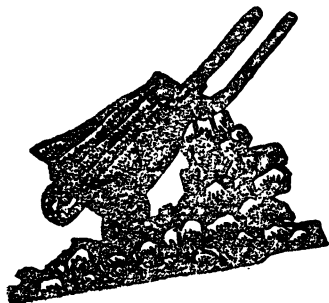
Но Залина пробежала обратно к воротам, схватила Атарбека за руку и прошептала:

— Постараюсь... все сделаю, чтобы ее освободили.

Затем, помолчав, добавила:

— Скажи Темуру, пусть не беспокоится за сына...

Конец первой книги.



О Г Л А В Л Е Н И Е:

Ч А С Т Ъ П Е Р В А Я

3	ГЛАВА 1	104	ГЛАВА 9
21	ГЛАВА 2	114	ГЛАВА 10
28	ГЛАВА 3	121	ГЛАВА 11
37	ГЛАВА 4	132	ГЛАВА 12
52	ГЛАВА 5	140	ГЛАВА 13
62	ГЛАВА 6	153	ГЛАВА 14
74	ГЛАВА 7	164	ГЛАВА 15
89	ГЛАВА 8		

Ч А С Т Ъ В Т О Р А Я

174	ГЛАВА 1	237	ГЛАВА 6
192	ГЛАВА 2	257	ГЛАВА 7
204	ГЛАВА 3	265	ГЛАВА 8
215	ГЛАВА 4	289	ГЛАВА 9
224	ГЛАВА 5	307	ГЛАВА 10

Ч А С Т Ъ Т Р Е Т Ъ Я

328	ГЛАВА 1	430	ГЛАВА 9
337	ГЛАВА 2	439	ГЛАВА 10
349	ГЛАВА 3	460	ГЛАВА 11
359	ГЛАВА 4	469	ГЛАВА 12
373	ГЛАВА 5	490	ГЛАВА 13
392	ГЛАВА 6	494	ГЛАВА 14
406	ГЛАВА 7	502	ГЛАВА 15
416	ГЛАВА 8		

Езетхан Алексеевна Уруймагова

НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ

(роман, книга первая)

Редактор К. И. Бойцова. Художник Н. Ф. Василенко
Художественный редактор Х. Т. Сабанов Технический редактор
Е. У. Датриева Корректоры А. Х. Агасян, К. М. Кодзаева.
Наборщик Л. Н. Вашецкая. Печатник В. И. Журавлев.

Сдано в набор и подписано к печати 25-VIII-1975 г. Формат бумаги 84x108¹/₃₂.
Печ. л. 16,5. Усл.-п. л. 27,72. Учетно-изд. листов 26,98. Заказ № 2486. Тираж 120000
(1 завод 1—40000) экз. Изд. № 82. Цена 91 коп. Бум. тип. № 3. Книжное издатель-
ство Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Со-
вета Министров СО АССР, г. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 2. Книжная типогра-
фия Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Совета
Министров СО АССР, г. Орджоникидзе, ул. Тельмана, 16.

Цена 91 коп.